

АЛЕКСАНДР САМАРЦЕВ ВЕТВЬ ОБЕТОВАННАЯ



Александр
САМАРЦЕВ

ВЕТВЬ
ОБЕТОВАННАЯ

БИБЛИОТЕКА «КРЕЩАТИКА»
ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА



ДРУЖБЕНЬКИЙ ДВІР
Олега Федорова

Александр
САМАРЦЕВ

ВЕТВЬ
ОБЕТОВАННАЯ

Друкарський двір
Олега Федорова
Київ, 2025

УДК 821.161.1'06(477)-31

С 17

СЕРІЯ «Бібліотека “КРЕЩАТИКА”»
Заснована у 2023 році

Самарцев А.

С 17 Ветвь обетованная/А. Самарцев — Друкарський двір Олега Федорова.
Київ, 2025 — 408 с.

ISBN 978-617-8477-70-7

«Ветвь обетованная» — первый (а, по словам автора, скорее всего и последний) роман Александра Самарцева, известного, по большей части, как поэта, но ткань романа отнюдь не заслуживает клейма «проза поэта». Элементы магического реализма и антиутопии не настаивают здесь на чистоте жанра, они попутны, уступая то бытовой фабуле, то органике внутренних монологов. Легко догадаться, с кем автор чувствует путь отдалённое и всё же родство, но важнее для него правда (и объём) характеров, где нет наиглавнейшего, при этом исследуется (фрагментарно и намёками) отношение каждого из основных персонажей к любви, которой он (она) либо добивается, либо терпит крах — и лишь на этом фоне пульсирует исторический контекст, хотя канва событий порой неотличима от чисто документальной, потому что не противоречит ей, не уходит в чистую фантазию, а как бы вьётся вокруг событий, не имеющих сослагательного наклонения — но художественный закон этого и не должен знать.

Роман лёгок в чтении, будучи, тем не менее, запутанным и на первый взгляд не оконченным, с открытым финалом. Внутренняя определённость вряд ли нуждается в жирной точке.

УДК 821.161.1'06(477)-31

ISBN 978-617-8252-14-4 (серія БК)

ISBN 978-617-8477-70-7

© Самарцев А., 2025

© Федоров О.М., видавець, Київ 2025

ЧАСТЬ I

Пролог

...несколько электрических точек держат горизонт, оставляя центр за тобой, и центр корректировки ест логово страха, как соль с йодом слизистую при нырке. Мобилизованные силы остаются ни с чем — теплоходы (а чего их бояться?) нереально, беспечно далеки, пересыпь волновая фосфоресцирует в ласкающем режиме, идёт какое-то бодрствование сна — сна с обеих сторон — ещё бы ночь пропахать, чтобы ночью и вынесло в намеченный квадрат.

Обман за обманом — хоть бы уж заварился какой-нибудь шторм ясности, нельзя расслабляться, но и напряг держать неэкономно, судороге душевной плевать: в клочья разнесёт, как флаттер.

Хорошей парой были у него мать-отец, не друг на дружку смотрели, а в одну и ту же сторону, по ястребиному горды, стойки, притворством не задетые и неглубоко — так хотелось думать — израненные службой, но всякое самоотречение чревато...

Не додумал — плюнула молния. Ещё, ещё...

...чревато любовью.

Любовью.

Опять нахлынул первый проплыв — колония стрекоз, жирно усеившая границу прибрежного ареала, как хлопьями, и жажда...

Мутит наизнанку, губы обмётаны, раскалённый диск, шипя точильным кругляком, сначала складывается, квёло садясь, затем — или не затем, всё сразу, без утомительных стадий — вспух! — и ты в центре гигантской малиновой поляны, прихлопнутый какими-то присосками, свиристеньями, царство ночной кожи, барабанных пустот, кишмя кишащих за шиворотом, только нет его, шиворота...

Хорошо, неспокойно. Самолётный режущий зуд иногда с той стороны наволочки — низко и плотно укутан, хочешь — вёсла урони, а зажмуришься — и плотное, укачивающее, облеплен глазами (скройся с глаз — рад бы, но и радость усеяна глазками стрекозами, «стрёмно!») — было словцо на стыке большой пере-

мены по вытертому паркету в сортир, куда врвалась завучиха в поплине-миди с овальной брошью на высоченной командирской груди, и куряки, забыв о «шухере», не успевали смыться «мёртвой петлёй»).

Уютное сжимание — раскат, сжимание-раскат, и гляжка, и карусельно переваливаешься, скользя — членок-юла с идеей сменить модуль вращения (а лучше конус — храм вращения) на калошу не-потопляемую... переделать в условиях... сами понимаете... жуткой антисанитарии стрекозиного месива, консистенцией же — чистый гагачий пух.

Что ж, так и должно всё быть, накликал. Или само?

«Накликал» — да.

К самой ночи.

Это которая ночь — вторая?

А на что день?

Был день. День всегда «был».

Ночь — настояще. Только ночь.

Посвежело. Укоротил вёсла. Пришлось к ремню над плавками привязывать весь груз. Днище лодки хлопало и подскакивало.

Опыт качелей (каких качелей?) забудь. Качелей.

Всё равно, спасибо!

Трещит лодка. То взмах, то крутит.

Огоньки, огоньки!

Много, цепочка огней.

Да ведь рано ещё!

А пояс, пояс где?

Разорвал пакет — враз намокла приготовленная одежда — и улетела, с пакетом же...

...на месте... Ну, теперь...

Теперь его подкидывало не меньше, чем на высоту трёхэтажки, а следующей фазой — такой же глубины овраг.

Взрыв гребня — и вылетел из лодки, недалеко, но ритмы распались, дрогёб, снова перевернулся, слитно, меньшей силы взрыв — держу! Держу!!!

— Море... — заорал, себя не слыша, — спаси, спаси меня! (голос, как лифт без троса, усвистывал в шахту)... Спаси — небо (глотает-ся — бо)!!! — заорал на той же пружинящей ноте — орётся во весь пищевод — жалкое сипение наружу — ...си!!! си!!!

Ни тела, ни лица — простынь, разодранная на все углы, вижу — веретёнце — не вижу — веретёнце свечения, стоймя и сильнее вдруг вытолкнулось с п а с и!!!

Голос — где голос? В чём? — плыви, плыви, доплывёшь!

Вьющиеся воронки плясали, но никаких высот — петлёю загорится шея — ах, ещё и шея остаётся... осталась, светляк жужливый вяжет ноздрю с затылочной впадиной — тот же смерч — и замерцал совсем-совсем оставленный, оставляющий, неостановимый голос-голосок.

И тогда — и никогда! — тогда, с надмирным, не оставляющим борозды нажимом:

ОТДАЙ...

БОРЬБУ...

ПЛЫВИ!

С воронок соскачивали обручи, как модель атома, налипая на ядро... я... я...

...На промокшем конского цвета песке увидел пять пальцев одной ноги, вторая чуть подогнута.

И ногти, как слипшаяся соль.

I

Ни облачка. Ни шороха, ничего. Свист крови в ушах, слышимый на километры. Особенно, если послезвучие от выключенного двигателя, тает и тает по экспоненте, струечкой.

Какое-то время все трое, в остановившемся «Жигулёнке», мужчина, женщина и вихрастик, лет 7–9 с полуоткрытым ртом, сохранили нирвану.

— Может, в тень? — Игорь, наконец, взялся за ручник.

— Лето ж бабье, не сгорим?

Катя вывалилась из машины вслед сверкающим пяткам Артёма — сын во что-то воображаемое дудел и быстро-быстро скрылся.

— Далеко не убегай, помидоров не оставим! — крикнул Игорь в сложенные «домиком» ладони.

Ответом были зудение стрекоз и несколько сыпанувших в гречумечь тишине листьев.

Бивак присмотрели в низине за меловым карьером. Её дугой окаймляла осиновая чаща, хватало и кустов, с хворостом проблем не будет. Всю дорогу Игорь гнал под сто, чтобы успеть до закрытия

переправы ГЭС, а на той стороне захотелось остановиться (наверняка с ночёвкой) вблизи Ширяева — и место поживописней, и солнце утром всходит как бы над городским туманом. Переезд в районе гидростанции отец хотел опробовать (только-только плотину открыли, до шлюзов оставалось всего-ничего), но «Москвич» при объезде мирно стоящих полуторок заюзил на увлажнённом после грозы асфальте и свалился в кювет, из разбитой колымаги (дважды перевернувшейся) перекуривающие шофёры вынули родителей, всё обошлось их синяками, а для 9-летнего Игоря лишь рубцом над бровью (место на шоссе сильно впечаталось и, миновав район той аварии, он выдохнул, сбавляя скорость, будто бы замаячили тени отца с матерью и остерегли).

Через год Иван Григорьевич взял по очереди «Москвич» свежей модели, а перед самой защитой сыном диплома обменял его на «Жигуль», но порулить почти не пришлось: вскоре он и жена рейсом на Софию разбились при взлёте из Шереметьева.

Прикасаться к отцовской любимице, даже заглядывать в гараж на Садовой Игорь заставить себя не мог весь позапрошлый сезон, под этим шоком, с отчаяния и женился, тесть уговорил из самолётного КБ перейти в облупление органов («молодых специалистов» до истечения законных трёх лет отработки не отпускали, без звонка «сверху» не обошлось), где сам служил на довольно скромной должности без особых карьерных перспектив, но был уважаем, с хорошей анкетой. С анкетой Игоря было посложнее (из-за пятого пункта бабушки по маминой линии), но всё же тесть, семья, репутация, в общем, взяли на что-то вроде испытательного, не подпуская к оперативной возне. Поручая лишь первичный приём посетителей.

В тот августовский день вообще была тоска. Он перекладывал бумаги, при этом обдумывая, как бы уклониться от запланированной тестем вылазки порыбачить. Чуткий тесть старался любыми способами сгладить отношения в их союзе.

Безделье нарушил дежурный, доложив о посетительнице. Посетительница казалась потерявшей голос, от страха или чего — не понятно. Поперхнувшись водой из графина, понесла нечто бессвязное. Успокаивая, он дал чистый лист, потом другой (на первый брызнула слеза и чернильное пятно расплылось). Но что-то расплылось и в нём самом, что-то смутное, гулкое. И пока она черкала и зачёркивала свой бред, в нём как будто ледоход ухнул.

Что делает он здесь? С кем тянет лямку? Почему не она? Почему бы не она? Вообрази: вот, вот ведь, настоящая твоя жена, твоя девочка. Типа Маринки Влади, только чуть шире скулы, уголки глаз приподняты, но без лукавства. Щёки, улыбчивые даже при сомкнутых губах.

Год миновал с того бархатного дня. Бог ты мой, целый год! И всё никак не укладывалось, всё не привык. Точной даты не запомнил. Примерно та же стояла погода, что и сейчас. А лицо из детства — не исключено и такое. Например, лет в пять, когда родители взяли на похороны деда в Москву, ближе к ночи выглянул из купе в пустой коридор и чья-то девичья головка выглянула тоже. Выглянула — пропала, врезавшись (хотя и рассмотреть не успел). Или в другой раз у остановки автобусов на Московском шоссе, когда отец повёз всех (и Захарьяны ехали следом) в лес, возле Курумоча — вновь не успел рассмотреть среди голосующих, чтобы подвезли насупленную девчонку, опять же, смутная догадка — сверстницы (ещё смутнее — похожей на ту, в поезде).

И захотелось теперь этим же детским маршрутом — через Красноглиниье, Мехзавод, Царевщину, открывающим вид на дальнее слияние главной реки с притоком, мимо церквушки, на чём ржавом куполе подрагивало безлистенное деревце, уже через плотину ГЭС на ту сторону — закрепить, замкнуть петлю: опять семья, она-она-сын, их снова трое, будто неким причастием (с расписанной женой уже всё без скандалов согласовали, подав на развод тихо, условившись тестя поставить перед фактом — факт вскрылся бы в ближайший понедельник), настроение поездки, ветер поездки ощущались как пятница перед бесконечной субботой, это передавалось и 9-летнему Артёму, он что-то выкрикивал в открытое заднее окно за водительской спиной.

Катя взмахнула матерчатым ковриком, вынула пару сваренных картофелин из пакета. Игорь с готовностью растянулся за её спиной. Бугорок в траве под лопаткой, да и пусть. Лежал бы и лежал, считая юркие облачка, незаметно меняющие очертания. («Низко, это к осени», — мама говорила как бы себе, не то, чтобы делясь, а проборматывая своё же детское), он мог бы занять «мама!», но место мамы занимала сейчас Катя, и он, полуупривстав, обнял её спину, водопад сильных прямых волос, пахнувших горячей травой, густых, роскошных, обнял и утонул в них.

Колечко недоочищенной кожуры зависло, выпал из Катиных рук нож. Она отмахнулась плечом, как от осы. Близко-близко дышала Ширяева гора, та самая, с чьей тыльной стороны она и проныра Витька Постриг (с которым уже «ходила»), желая отыскать клад Стеньки Разина (областная газета обещала нашедшим десятипроцентную долю), нашли лаз в пещеры, едва пролезли, он вдруг, осмелев, полез целоваться, отбиваясь, кокнула китайский фонарик, во мраке они заблудились. Витька, поняв, что не выйти, разбил о своды бутылку минеральной и собрался было резать вены осколком, но... но... доверясь женщине, сколько б ей не было — а сколько ей? 15? Только-только минуло (а тебе 16) — они лихорадочно тыкались друг в друга (зачиняя Артёмку), ещё и ещё раз — не умирать же, так ничего и не узнав!

А в промежутках, ориентируясь на шорох летучих мышей, продвигались с выставленными руками — его левой и её правой.

Двое суток.

«Зачем именно здесь?» — Катя отвернулось, но видение подступало со всех сторон.

— Нет, — хотела мягче, но вышло с привкусом железа, — прости. Он сейчас плывёт назад. Как обещал. Прости, не могу, прости!

Игорь переполз (чтобы видеть лицо), аккуратно высвободил картофелину, поднял ножик с обмылковой рукоятью и безмолвно, механически продолжил чистку. Катя умоляюще провела по его груди несколько раз большим и указательным. Движением крестящим, тремя, без последнего. Как бы крестя, но не до конца.

Игоря ещё в кабинете догадался, о ком захлёб и якобы бред. Виктор, Витюха Постриг из параллельного «Б». Рыцарь-драчун. Что-то в нём было смешное, но и тарзанье.

«Прыгнул... чтобы плыть в Турцию... С верхней палубы “Иван Франко”... Согласно заданию... Обещал, вернуться за нами, если... Я сопротивлялась...».

Отдавало психушкой (вплавь, к Турции, тайно — «по заданию органов»? А её отправил донести на себя же?!), но (интуиция включалась только в крайних условиях, предвещая либо ужас, либо что-то полярное) стрельнуло: правда. Всё правда. И девушка тебе не просто нравится, гораздо больше. Словно бы у тебя с ней история. То есть, самое цепкое. Недоказуемо родное. Родное. Так оно и бывает.

Порвать бумагу? — докладную всё равно потребуют (паспорт зафиксировали), докопаются уже до тебя. Предложи, чтобы

доверили разработку дела (как лично знающему беглеца), не факт, может сыграть и не в твою пользу). Рискнёт начальство подключить его, неопытного? Вилами по воде. Будет ли повод попроситься по собственному, дескать, «не готов, профнепригоден»? (Уже после доверия.)

Запрос в Москву, где на предполагаемого фигуранта наверняка есть всё, дело долгое. Жену возьмут в игру. Попросить, чтоб дали шанс, а потом, из-за отсутствия результатов, покаянно уйти? Ну, то есть, или рассосётся («обещал, да не вернулся, сгинул, дело закрыто»), или «провалить», чтобы отпустили. Выиграй время, начав с нуля — да-да, с ней, перед которой сейчас дурак дураком (бабником не был — и это для всех заинтересованных выглядело дикостью — при его-то внешности с обаянием загадки — не был, не хотел, и вдруг щелчок: «Я нравлюсь! Нравлюсь — я!»).

Следил, как она пишет, от сосредоточенной растерянности вскидывая два серо-бирюзовых сплоха (вроде бы коленки из-под мини должны были первыми ошеломить, но нет, глаза. Эти глаза были *его*).

— В таком виде, — листок смял, отправляя в корзину, — каша. Ещё воды?

Закусила губу.

— Ну, вот, — положил перед собой чистый А4 (вынутый из надорванной пачки в левом нижнем ящике стола), — диктуйте...

«Муж посвящал в детали «задания»? За-да-ние... Заверил, что приплывёт назад — за мной и сыном... Чтобы с новым заданием и тем же путём... Я растерялась, отговорить не сумела... Готова сотрудничать... Предупреждена о неразглашении...».

— Здесь поставьте: «С моих слов записано верно». Дата. Справа в верхнем углу — от кого. Пропуск (из того же ящика, где и бумага, достал ванночку с пористой жирно-фиолетовой прокладкой и круглую печать, которую несколько раз для верности в эту прокладку вдавил, то же самое проделав и с бумажкой, выданным в обмен на паспорт) — прошу. Вызовем, если что.

...Фифти-фифти, что удастся. Наружку могут и за мной установить (если дадут работать, или не дадут). Интереса не выказывай. Для проверки. Буду отнекиваться — прикажут. И уже после тык сюда, тык туда — устно и письменно: «по собственному». Неправляюсь. Не прошёл испытательного. Тестъ страдать не должен.

Это пронеслось мгновенно, как в шахматах на флагжке «блиц». Или как (он уже не помнил, у кого прочёл) при клинической смерти.

А Катя всё не снимала пальцев с его груди.

Подтянул миску, порезав туда очищенное, взялся за помидоры.

— Соль взяли? Вилки?

— Он плывёт назад, возвращается. Прямо сейчас! Ты не слышишь?

— У меня, — перевёл дыхание, — в понедельник развод. Ещё две недели вообще свободен. Дело-то провалено. А насчет возвращения... Он ведь не звонил?

— Нет.

— Ни разу?

— Зачем переспрашивать?

— «Жучки» так и не сработали.

— Я бы не взяла трубку на звонок межгорода — как ты научил.

— Ему нельзя сюда. Изменник Родины... Может приплыть только в одном случае...

— ...каком?

— ...если будет уверен, что «контора» отстала. Для этого и нужен прозвон. Убедиться, что нет прослушки. Он же догадливый — готов ему капкан или нет.

— А если поймёт, что всё равно пасут?

— «Пасут» — ну, ты и нахваталась... Не знаю. Может, риск — лишний стимул. Я прав?

— Ты всегда прав! И будешь всегда прав. А с нами теперь что?

— С нами, — он весело тянул паузу (тёплый комок в горле говорить мешал) ...Мы тоже изменим Родине. По-умному. Вариантов два...

— Какая ещё измена?! А родители?

— Папа — военный пенсионер?

— Откуда? Геолог.

— Но пенсионер. Да ещё и в деревне... Пенсии не лишат.

— У нас могут всё.

— Видишь, — Игорь собрал очистки в кучку и аккуратно сложил в расправлённый полиэтилен, — я понял то же, что и твой беглец — только не в одиночку, — будущего здесь нет. Через Аджарию либо Хабаровск. Выбирай.

— Никуда не хочу!

— Шанс был: прыгнуть втроём. Три спасательных пояса, лодок две. Или одна побольше. Сейчас бы все жили на Западе (из Турции много путей). Он ошибся: если любишь, не отпускай. В свой план побоялся посвятить — и потерял всех.

— Я же чувствую, он упрётый, он меня тогда на палубе — я же не знала, что наш круиз был и затеян узнать, где безопаснее прыгать — он меня почти убедил, что это задание, операция прикрытия, тонкая игра, поклялся, там, на палубе: «Вернусь за вами, если там есть жизнь»...

— Логично: «есть жизнь — вернусь, нет — прощай!». Или «просто вернусь»?

— Издеваешься?

— Южнее Батуми, у меня друг-военврач на заставе, перебраться по горам проще...

— ...я такая дура и для тебя, да?..

— ...но и поймать могут, с овчарками... Остаётся самолёт.

— ...ковёр-самолёт?

— ...легкомоторный. В Хабаровском аэроклубе отцовский со-служивец, инструктор, когда у тетки гостили, учил управлять. Очень хвалил. На низкой высоте радары не берут. До Японии чуть дальше, чем до Турции морем, я всё продумал.

— И что? Из органов? Отпустят?

— Не забывай, — Игорь потер затёкшую ногу, — я провалил задание и сам попросился!

— А знаешь, я ведь на спор прыгала с парашютом, один раз.

— Такая трусиха — и всего раз? Догадываюсь, кто спорщик.

— Не важно, — покраснела.

— Высоты я сам боюсь!

— Ты?!

— Только не за штурвалом.

— Ой, Тёмки нет уже час!

— Десять мужских минут равны женскому часу. Один к шести...

— Математик, — она резко встала, глядя в сторону чаши.

— Не торопись, я с тобой.

— Лучше постереги машину.

— У меня табличка!

Достал из-под сиденья кусок ватмана с крупной надписью **з а м и н и р о в а н о и**, вдвое сложив, прикрепил на дверце с опущенным стеклом.

II

Ба-бах! — и всё куда-то сорвалось, хорошо, если не в ключья, и заметно по не сразу выявленным признакам. Земля несётся с дикой скоростью, а внутренняя скорость не прыгает, градус прежний, прочие показатели тоже на месте.

Они шли, бежали. Лесок долго не давал просвета, и тревога росла.

Наконец, открылось топкое место, кой-где засыпанное валежником, будто его сюда перенесли. Вырубку пришлось огибать. Оглянулись — вход в лес ещё заметен. Тропа впереди упёрта в холм, или курган, развернутый по дуге, выкрикивая имя убежавшего, Игорь эха не получал.

Холм, по мере приближения, оказывался частью свалки, без явных границ. От неё несло аэродромной заправкой, и почему-то — входом в подъезд Катиной пятиэтажки.

...Подъезд как подъезд, с обязательной гнилью из подвала, от батарей или от чего неизвестно, конкретный аромат «хрущёвки» почти посередине спуска, между Остапенко и набережной. В темноте с намёком на жёлтую покраску из-за ещё не облетевших тополей. Пара скамеек, стол для домино, фонарный столб без лампы.

...Начальник управления вернулся к пяти, за час до ухода всех, кроме дежурного. По глазам, по мимике читавшего Катин сумбур, Игорь понял: дело заведут, но после согласования с Москвой. Согласование он и хотел опередить.

Дверь на третьем этаже была дешёвая, без дерматина, хотя и с глазком. Едва поднёс палец к звонку (тот болтался и пришлось придерживать), дверь распахнулась (шаги в безлифтовом доме, отдавались слишком гулко) и в слабом свете лампочки за спиной (этажная молчала) Катя показалась загадочней, красивой, нет, больше, чем красивой, слова точного не знал, если существует оно вообще.

— Извините, извини («вы», «ты» — всё смешалось), — прозвучало это шёпотом, и Катя инстинктивно подалась, прикрыв дверь и прикладывая палец к губам: «Тсс!»

— ...прослушка с телефонного узла, так полагается. Не бойся.

— Я не боюсь, — она прошептала уже на ухо, — лучше в кухне, оттуда не слышно.

Путь лежал через прихожую, где она, идя на цыпочках (Игорь старался след в след), щёлкнула выключателем и щелчок был как взрыв — остановились синхронно, темнота окрасилась мерцанием её глаз, а после разворота, оказываясь в руках изумлённого Игоря, она вновь почувствовала себя с разбитым фонариком в пещерах, отвечая, отзываясь, как там, под землёй, долгим тёплым поцелуем, удваивая его свободой блаженной боли. Слабый отсвет фонарей бульвара перекрещивал кухонный потолок, в этой тесноте всё и случилось, обмороочно, быстро, сильно. При спящем за стеной Тёмке. Случилось долгим утиханием беспамятства. Смыванием беспамятства и его же выпаданием, как снег. Как самый ранний снег.

Через ночь на полу вновь, уже слаженнее, и как бы играя. Спустя неделю, на разложенной диван-кровати (суббота, сын в школе) в состоянии лёгкого угара они, тем не менее, шептались: жучок действует (искать его не стоит), в открытую видеться нельзя, но всё будет хорошо, надо потерпеть. Катя специально ходила встречать Тёмку из школы, объясняя, что к ним будет приходить дядя Игорь, для связи с папой, который включён в секретную операцию, её нельзя обсуждать даже дома, иногда «связной» будет у них оставаться, иногда приходить просто — говорить об «операции» нельзя ни в его присутствии, ни потом.

О Викторе угрозений, вообще мыслей, не возникало, пропал, исчез, будто нет и не было, всё исполнила, пусть и не веря, честно, как оно будет потом, неведомо, если не звонит, значит, с концами. Надо не терпеть, а привыкать к этой новой, пока что недо оформленной ситуации. То есть, мысли так или не так были, но под контролем.

Тёмка легко втянулся в конспирацию, между ним и «связным» возникла столь же таинственная мужская дружба. Сын походил на Витюху вихрами, полуоткрытым ртом, отличаясь, разве что, энергией терпения. Словом, «Зарница» отдыхала. Юному существу всё стало нипочём. Так что, ищите, ищите.

...По периметру бугристой дуги кургана были разбросаны мотки ржавой проволоки, осциллографы, железные штыри, лопасти, гнутые безымянным левшой, пара перевёрнутых больничных каталок, а затем, будто подбитые дустом тараканы в человеческий рост, странные металлические круги с зубьями — циферблаты-не циферблаты, вросшие в солому, вроде бы кукурузную, обвитую цепью,

всё вместе походило на взорванный дом, точнее, завод с лабораториями, бегущие это месиво преодолевали, вязли. А когда взобрались, открылся амфитеатр, кратер, аrena чуть выше уровня оставленного позади леса, «яблочко» арены занимал ослепительно белый самолёт по типу «кукурузника» (судя по фюзеляжу и синей, крупными буквами на нём надписью CESSNA, явно «не наш»), сорванца, который в кожаном лётном шлеме вздыпал над бортом мешок цвета хаки, заметили не сразу.

— Мам! Я парашют нашёл!

Винты крутились — их дрожь склеила Катины губы словно скотчем.

— Вылезь!!! — Игорь также застыл на месте. Ноги не слушались.

Мешок и шлем исчезли.

Катя первой, не обращая внимания на оцарапанные щиколотки, прихрамывая, поскакала навстречу видению.

Ступор Игоря продлился чуть дольше, он понёсся кенгуриными прыжками, не переставая кричать, пока не подтянулся к борту, биясь об него бедром.

Они отрывали (мешая друг другу) Артёма от сидения (для пилота — сзади, его и занял Артём), вдруг винты взревели, жахнув, и биплан взмыл, подобно вертолёту.

Игорь, выпихивая Катю на переднее, перебросил к ней сына, лихорадочно ища на приборной панели нужные кнопки (всё и так слишком работало), альтиметр! — но стрелка застыла, до земли метров 50, отрыв рос. Управление не слушалось. Их несло всё дальше и дальше от излуки, под углом к падающему солнцу, на северо-запад.

— Надень парашют!

— Как??!

— На пакете молния, — Тёмка, помоги маме! — вынь, вытащи, нашупай кольцо. Не дёргай. Спокойнее, молодец, теперь слева. Нашупала?

— Есть.

— Крепче прижми, пусть он к тебе спиной, пригнись!

— Но второго же нет?!

— Крепче обними — там ремень быть должен, слева, обстегни ремнём!

— Да, да! Я с тобой! Мы с тобой!!!

— Троих не выдержит! Не бойся — помнишь, ты обещала?
В темноте прыгать опасней, а уже начинает!

— Нет!

— Умоляю! Штурвал — моё, прыжок — твой. Ваш!

— Нет, вместе!

— Теряем секунды, любимая!

— Мам! И я люблю тебя!

— Держи руку на кольце, как толкну — раз-два-три — дёргай!

— Нет!

— Давай! Раз... два...

— Не отпускай нас! ...

— ...три!!! —

Игорь не слышал своего исступления. Катин крик был им съеден.

«Игрушка» безо всякого рулевого вмешательства накренилась, мать, прижимая сына, выпала — и красный купол вспыхнул.

III

Первое — всегда запахи, всегда. Ещё глаза не успел открыть — чем несёт? Что-то жарят. Чеснок, травы... Кинза, наверное. Запахи давали полную картину окружающего, Постриг не спешил просыпаться от пелены ароматов. Турецкие в нём тоже не остывали. Чувствуешь всё-всё, перебиная мысль о том, где, куда вынесло.

Скорее всего, в забытьи. Доплыл? Донесло течением? — и то правда, и это. Без лодки, в одном поясе. Барсетка цела. Фотографии, доллары — не промокло. Пять вечера (в Турции, меньше на час). Всё в рамках плана. Только правая нога в спазме, затекла.

С трудом, едва ли не со стоном, поднялся, попрыгал.

Мог и погибнуть.

Полупустынный, скорее всего, дикий пляж, народу почти никого, вдалеке рейд. Кажется, сухумский. Дважды его видел — из Новороссийска на юг и обратно.

Ещё раз потёр правое бедро — ноет, но вроде без гематом. Воскресенье? Точно? Скорее всего. Вернуться надо сюда же не позднее пятницы (лучшего места не будет, лучшее враг хорошего), уговорив Катю (Артёма хлебом не корми, дай чему-нибудь приключиться), у местных купить лодку, простую, рыбачью (под стеной ракушечника одна вон сохнет вверх дном) и резиновую про запас, и два пояса.

Что-то внутри продолжало ухать, взлетать, рушиться. Таять и глохнуть. К ночи, на вторые сутки, сверкнуло: всё. Молись, не думай. Где небо, где море — молись! Ори!

Он и орал. Пронесло. Кто спас или что? Бог? Зачем теперь знать?

Лысоватый, не очень бритый коротышка неподалёку вёл козу на верёвочке по шпалам, затем в прогале меж олеандрами за железной, в дырах, сеткой, и рвущейся во все стороны мимозой. Коза брыкалась, церемонно скучая.

— Гамарджоба! — Постриг, держась за бедро, заковылял к незнакомцу, — эй!

Мужчина с достоинством и жалостливо скользнул по только что вышедшему из остывающего моря крикуну. Хотя в эти часы курортников можно было пересчитать по пальцам (вдобавок, на приличном расстоянии), зачем-то, как поднимают полный стакан или рог на долгий-долгий тост, обнёс взглядом весь пляж и дальше, по часовой стрелке аж до свайной пристани с рестораном «Амра» (к северо-западу), завершив полукруг круг мысом, скрывающим шоссе на Мерхеули.

— Давно приезжал?

На всякий случай сделал вид, что «выходец из пучины» здесь не впервые. Ну, ошибся. Старый, левый глаз — глаукома, одним правым разве разберёшь?

— Лодку перевернуло, сознание потерял, видишь я в чём, — Постриг оттянул резинку плавок, — мне бы штаны, вроде твоих (на коротышке были холщовые, до колен), рубашку и перекусить, заплачу, сколько попросишь.

Постриг достал из барсетки пару ассигнаций с Бенджамином Франклином.

— Что ты, что ты, спрячь, — залопотал пастух своей невольницы, отводя руку с банкнотами, — таких нэ надо!

— На чёрном рынке, поменять сообразишь. Мне на билет. Ну, или чуть больше...

— Э... Куда билет — Москва?

— До Ростова, там на новосибирский. У вас тут что ближе — Батуми? Гагры?

— Ты шпион? — лысоватый осклабился.

— Шпион, шпион, только свой!

— Сухуми ближе, полчаса троллейбус.

— Возьми, — отчаянно уговаривал Постриг, — это рублей на 600–700, а в пятницу вернусь, столько же прибавлю.

— Часы продаешь?! — толстяк заметил-таки швейцарские, с компасом — 100 рублей дам.

— Без них какой же я шпион, а? Ладно, твои.

Не теряя важности, выгуливающий козу, жестом фокусника скрутил 100-долларовую банкноту, засовывая за пазуху (карманов псевдошорты не имели) вместе с часами.

— Падержи, — он передал толстую витую верёвку, — сильно нэ натягивай, Эльза нэ любит. С тобой пастаит, ай мэ?

Коза не подняла продолговато-бесслёзных зенок *вслед* хозяину. Он вернулся минут через 10, неся пару чем-то заляпанных, штанинов, шлётанцы, три помидора, ломоть лаваша, остывшую кукурузину, клеёнчатый (без молний) баул и 50 рублей.

— Перейдёшь рельс, после два участка выход на шассе, трамвайбус мэтров сто, канечная. Челбаш из Зугдиди, а... нэт... — выходит и харош: чеснок задахнёшься, но трамвайбус будет, будет! Астановка рынок, ай мэ? У вход киоск найдешь, будка, Мехди сапожник. Ат Акакий скажи (Акакий — эта я — дацент), — распрямил покатые плечи, — нада паменять ецё? Надёжный, вазьмёт... А ат рынок вакзал минут 5, любой знает, прямая-прямая, сам! На атыхающее го пахож? Нэт! Мэстны? Нэт! Шпион — и то нэ очень. А кто? Панимай? — он кивнул куда-то по диагонали вверх.

— Акакий, мне к пятнице лодку! С вёслами! Чтоб троих выдержала. Цена любая.

— Лодка — сложна, ай сложна...

— 50 накину, сто!

— Такого... 100–150 стоит, нада спросить...

— Всё получится, добавлю, как обещал!

— Шпионам памагать наш долг! — поднял доцент руку, словно бы голосуя и не шутя.

Трамвайбус на кругу, казалось, только его и ждал. Забился на заднем в самый угол, давясь помидорами, лавашом и жёсткими зёрнами початка (вечно забываешь про воду...), как бы впервые вдруг сквозь платановую рощу чувствуя мягкость и ослепление предзакатной синевой, чем-то похожей на волжскую (сезоны совпадали).

Оказывается, море — это когда и только с берега, странно, да? Если плывёшь, а тебя вздымает или клонит в сон, какое к чёрту мо-

ре, ты в утробе, море — это что-то послушное, это свобода к нему подходить, издали втягивая испарения йода и соли (на запахи у тебя феноменальный нюх, стихия запахов тоже была морем). Вот куда бы приезжать с Катей, всем троим! В круизе на «Иване Франко» однажды стучало в мозг: где у погранцов мёртвые зоны (место миновали ночью, днём только горы, прибрежная галька, тенты, зонты, полотенца)... Жили бы у самой кромки, да хоть в той лачуге, что над ракушечником...

Граница меж миром и этим, загробным (теперь точно знал, что загробный существует, ещё как существует!) и привычным, стёрлась, её смыло, Турция, Германия, Штаты — самое настоящее загробье, там похоже на здесь, но ярче, богаче запахами, смерти можно теперь не бояться, умер ты дважды — туда и обратно, больно только перед смертью, но мы в третий (для меня) раз пройдем это, уже не разлучаясь, что бы ни было и как бы неказалось, втroeм, я знаю, я смогу, с вами смогу, получится, уже получилось... Безо всяких «только бы» и «если». Конечно, Бог — я же кричал? Роженицы так, наверное, кричат, да? Меня родили, теперь нас родят, дай время, Катюня, и не спорь, не спорь.

IV

Чуть ли не весь наличный состав экскурсоводов должны были согнать в конференц-зал на политчас. Опаздывать Краев патологически не умел, но это сейчас и грозило. Ничего бы серьёзного, но измена самому себе дороже. В некоем полуутрансе он потерял берега времени сразу после обзорной по Москве, идя к метро, и когда ехал от «Комсомольской» с пересадкой до «Дзержинки», стоя на эскалаторе вверх, почти шаркая в густой толпе выхода из «Кузнецкого» к сквозной подворотне (киоски справа-слева), открывающей улицу Жданова и фрагмент дверей Бюро, у которых и за которыми всегда что-то клубилось наподобие приёмной де Тревиля с его мушкетёрами. Он и рассказывал-то в автобусный микрофон всю дорогу, все 2,5 часа как бы на паузе, на автопилоте, не глядя на часы.

Причиной был сон. Сны обычно бесследно растворялись, дразня и покалывая исчезновением. Но этот был не просто сон, а выдвижная подзорная труба сна. Рельефнейшего, в трёх сериях. Задним числом настигло сравнение с тремя частями *La Commedia Divina* (из которых одолел «Ад» — и то не до конца), только без

рифм и терцин. Продрав глаза, тяжело, вечность или полторы, не мог сориентироваться — не четвёртая ли вокруг серия? Чтобы закрепить (хотя видения совершали виток за витком сами по себе), растолкал Тоню и стал чётко, реконструировать вроде бы испарившееся зрелище. Жена пребывала в каком-то детски радужном состоянии.

Так они сидели при немного сползшем одеяле и слушали каждый себя отдельно, но Краеву просто необходимо было словами обжить зрительные наплывы. Обжить, чтобы отвязаться. Но картины только что, казалось, отброшенные, как ракетные ступени, возвращались на самоподзаводе.

Сначала он, отец и мать (почему-то все одного, примерно, возраста) стояли в тёмной комнате на высоком этаже, скорее всего, не боскрёба, вокруг стола, занимающего чуть ли не всё пространство. И прошибло: мама сошла с ума (отца прошибло в точности, как и его). Она побежала к двери, а их будто пригвоздило. Неимоверным усилием оба оторвались от пола и бросились за убежавшей, по лестнице, не пытаясь вызвать лифт. Лестница вилась то вверх, то вниз, а когда закончилась, перед ними расстипалось ночное будто бы аэродромное поле с цепью посадочных огоньков, в затылки — его и отцовский — дышала, как в кроссе, туча других бегущих, зачем они все бегут, Краев не понимал, мама не могла их опередить, да и с чего они (со всеми, дышавшими) решили, что бегут за кем-то? Ухо заполнял громкий шёпот: «Будем признаваться или наслаждаться?» и мерный повтор неким надмирным голосом:

**«ВНИМАНИЕ! ОНИ ПЕРЕСЕКАЮТ КРАСНУЮ ЛИНИЮ!
ВНИМАНИЕ! ОНИ ПЕРЕСЕКАЮТ КРАСНУЮ ЛИНИЮ!»**

Тьма сменилась ещё более тьмущей тьмой, и теперь он, Павел Краев (хотя, совсем не он, совсем кто-то до боли знакомый и зачем-то совпавший с его неощутимой оболочкой) летел один. Какая-то сила его несла. В необозримо сияющей тьме, странно космической. В этом космосе ему, близорукому не просто вернулось полнота зрения — она утысячерилась — во все стороны разлетались неизвестной природы саженцы, безлистные, цвета китайской чёрной туши, гораздо чернее среды, и от каждого ежемгновенно взрывались касетным образом не меньше дюжины саженцев новых, близняшек, от каждой такой близняшки вспыхивала куча новеньких — простор

позволял не сталкиваться, он расширялся ещё быстрее, и Краев — или тот, неузнанный пока другой — от восторга не мог закрыть выпученного рта, ощущая себя беззвучной массой зрения за пределами чувств.

Скачок в третью фазу ощущался не сразу — поза полёта не поменялась, но теперь он висел, выгибаясь, над поперечными плоскостями биплана, ровно посередине, удерживаемый в такой позе без вант и других скрепляющих элементов. Происходило всё в длинноящем коридоре какой-то художественной галереи — по бокам впритык мелькали полотна — в рамках и без, мельтешня сгустилась жанровым разнообразием сценок, в духе малых голландцев, но с яркостью супрематизма, только сильнее — пулемётная очередь картин, ни одной знакомой, летящий видел их одновременно, с противоположных стен, не вертя головой, в позе как бы гимнаста, распятого на кольцах, но выгнутого ласточкой. Под шасси биплана мерцал не музейный паркет, а угольный сланец. Некая точка финиша колыхалась далеко-далеко, но прежде, чем созрела тревога и точка ударила бы наглоухо запертым выходом, биплан с «распятым гимнастом» вильнул вправо, в новую бесконечность, с мельтешней другой (или тех же самых — кто разберёт?) картин, и та же сланцевая земля склинивалась к новому тупику, то есть, к вновь спасительно-му повороту, и так раз за разом, на каком-то из них охваченный сном подметил: стены сдвигаются, значит их — его — расплющит, и тогда шёпот-шептунец погладил ему оба виска: «Лети сам, сам!» — и, отвечая подсказке, он дёрнулся талией, крутанул ею (руки были бесполезны — некий бруск, если не плеть), крутанул — и куколку-самолётик смыло, рассыпало, это не поколебало крестообразной позы, стены продолжали тихо-тихо сближаться, полотна — издавательски мелькать и Краев (или кто-то вместо) взвил из солнечного сплетения нутряное «ма-а-а...!!!», упавшее назад, в родовую воронку.

— Проходи, Паша! — его заметила главная методистка, указывая на свободный стул в первом ряду, ретироваться поздно. Да и сон (сон ли?) ослаб. Грузноватый лектор уже взобрался на подиумное возвышение, делая знак «сидите, сидите!» (хотя приветствовать вставанием никто и не собирался), не без гордости обведя зальчик бюро, заполненный, преимущественно женщинами, умеющими не только нараспев сыпать именами-датами, но и внимать.

Краев непроизвольно, как бы продолжая этот горделивый взгляд, обернулся: притихшие (вместе со всеми) на заднем ряду Люся Майзель и Наденька Синявина из литературной секции опустили (на всякий случай) ниже колен спицы и вязанье. Лектор набрал воздуха, сыпнув предупредительным градом борьбы за мир на паях с подготовкой к Олимпиаде — до неё пять лет с копейками, но расслабляться нам, нашему сокнувшему строю солдат, сержантов и ветеранов первого из первых отдела по борьбе за справедливость, окруженного врагами-завистниками кагала дядей Сэмов и прочих разжигателей, непростительная ошибка.

— Но мы её и не совершим! — как сбрасывают выжатую штангу, поднял обе руки лектор, недоверчиво задерживаясь на Краеве, у которого внутри уже почти заглохла вторая, восторженная линия сна.

— Партия, друзья, — лектор сбавил пафос, — не сомневается в нас, мы строим общее дело! — вновь оценивая «непричёмный» вид Краева, — Солженицына все знают?

Синявина и Майзель не оторвались от спиц, но и вида не подали, остальная аудиториядержанно сохраняла статус-кво.

— Как только Запад не пытался выставить этого... этого... — с победным омерзением заключил, пропуская ожидающее клеймо, лектор, — этого... ну, сами понимаете.... Как бы сладко было им всем видеть этого врага из врагов мучеником в... исправительном учреждении, а ведь просчитались! Мы гуманисты! Выдворили, дабы не портил, чего не надо. И где, где он теперь?

Или другой случай, этого не покажут, но вы... вам... ладно. Год назад один лётчик из Валерьянова, в отпуску (был назван его, Краева, напротив Жигулей, город, вспыхнул абрис первой школы, где на уроке труда его чуть не изувечил сосед по парте, метнув рубанок в ответ на подразнивание), лётчик, на красивую жизнь потянуло, сбежал, морем, прыгнул ночью с теплохода. Рискуя не доплыть, и очутился — детали опущу — не где-нибудь, а в Нью-Йорке (ЦРУ постаралось!) — и всё-всё понял там. Тайно! (он подчеркнул), тайно — иначе бы его живо упекли — тайно (в третий раз повторил счастливый лектор-втирала) пробрался назад, на турецкое побережье, чтобы вернуться, в резиновой лодочке попал в дикий шторм, всё выдержал и явился с повинной к нам, в органы, заявив, мол, родину не предавал, секретов специально не приберёг, детектором лжи его в Лэнгли светили, предлагали даже работу, чтобы натовцы

знакомились с нашими обычаями, нравами, прекрасно, да?! Вернулся, совесть наша! Так что, если приставать будут, ну, всякие же делегации готовятся, вы про этот случай намекните. Точку, так сказать. Жирным колом. Есть вопросы?

Хитрый красавчик, муж главной методистки Саня Бурдонов (по-доброму откликавшийся на прозвище «Бурбон») хотел было уточнить, был ли прощён блудный герой, но жена сжала его колено и, встав, предложила поаплодировать. После короткого рукоплескания зашумели отодвигаемые стулья.

В коридоре Бурбон ухватил Краева за локоток:

— Что это мы на мероприятие опаздываем? — свой антисоветизм Бурбон прикрывал подмигиванием и близостью к начальству.

— Да я их... — Краев осёкся и посыпале зависло.

— ...А-а-а... Усиливать атеистическую пропаганду не будем? — он проникновенно сощурился.

— Ни в жизнь!

— ...и в общем ряду ни гордиться, ни внукам рассказывать, как мы тут оборонялись от засилья всяких там любопытных в овечьей шкуре?

— Предлагаешь застрелиться?

— Ай-яй-яй... Ну, пойдём.

— С вещами? А сколько на сборы? Зубная щётка, то-сё...

— Коньячок не желаете? Я после двух «левых». Угощаю.

Всю дорогу вниз до Столешников Саня, жмурясь, слал флюиды хорошенъким и не очень, полуубинимал Краева, кому-то махал типа «здравствуйте», это заняло минут пять-шесть, аказалось, они уже час другой вместе. В кафе взяли по тарелке жареных шампиньонов, Бурбон прихватил две и впрямь кофейных чашки, но за столиком, даже не озираясь, разлил по ним из виртуозно вынутой откуда-то 0,25 фляги «Дагестанского» (пять звёзд), хлопнули, почти без паузы Бурбон разлил по второй.

— Ты, Паш, — Бурбон был ещё весь во власти уличного ритма, жуя грибы, — открыт до безобразия! За такое выражение лица я бы просто забирал. Знаешь, сколько на тебя жалоб моя Надька передала в отдел, доносов — от групп! — Копытину? Он тя прикрывает, даже не вызвал ни разу, так?

Краев что-то промычал, мучительно вспоминая, где и что себе позволил.

— Я б отсюда, — Саня спрятал пустую четвертинку в портфель, — сам удрал, а этот, «с риском для жизни», морем приполз назад — сдаваться. Не, не верю. Ты б сдался? Геройски, блять.

— Мотивы разные, — Краев допил последние грамм десять, — но зачем тебе я?

— Настроения коллекционирую, — вздохнул Бурбон, — ты б держался поближе, по-компанейски. Жил бы с «левых», утренние были б твои тоже, ну, людям утешение, взамен куча бонусов. Не ценишь свой «пятый пункт». Что ты здесь забыл? Кого?

— Вспомню, — Краев опрокинул чашечку, слизнув последнюю каплю, — скажу кого.

— *«Но люблю мою бедную землю оттого, что иных не видал»?* Или «потому, что»? Как там в оригинале?

— Я поучаствую? — Краев полез в задний карман за кошельком.

— Вали, вали, Паш, — остановил его Бурбон, сердито мурлыча.

— За «доносы» — мерси. Ну, и... Следующий раз мой.

— *«Следующий, сказал заведующий...»*

Но Краев уже летел к метро. Летел по эскалатору «Проспекта Маркса». Летел, стоя в душноватом вагоне. Клочки безумного сна в нём были как мухи после зимней спячки. Летел к троллейбусу по Вернадского, затем от остановки напротив пустыря через четыре полосы проспекта, мимо арочных столбов, а там налево, по ступенькам в подъезд. Летел один в лифте, старинном, двери которого закрывались вручную. Летел, уже на тахте с чёрным, рельефной обложки бабушкино-дедовским фотоальбомом, из которого коллективные снимки за первый и четвёртый классы высовывались (неформат), к разгадке, придуманной, то есть, к сну во сне, к зеркалу зеркал и к минусу на минус.

Постриг? Витюха?

Впился въедливее. Он? Фотограф расставлял — кому на верхний ряд (скамеек на скамеечку), кому присесть. Ушастики оба, верхние пуговицы не застёгнуты одинаково, Краев — с каким-то блеском отчаяния — слева, плечом вперёд, а Постриг — чуть по-разбойничьи (долг исполнен), с раздвинутым, как створки ракушек, ртом.

Часть снимков посыпалась на покрывало тахты. Затолкать обратно всю пачку не вышло, один выпал вновь.

Зажмуренный, 23-летний, Павел стоял там на коленях, раскинув руки. На него, полулёжа, опирались хохочущая простушка и круглица, счастливо прищуренная — её правый локоть захватывал оба Краевских колена (простушка опирающийся локоть как бы выталкивая), левый же был накрыт его жадной ладонью, он вспомнил — именно жадной. Даже не вспомнил — та же, сквозь безумный сон — жадность тела в кончиках пальцев сейчас. Обрамляли композицию два стоячих, крупнотелых ангела: парень с бычьей головой слева, справа — в профиль — высокая стеснительная брюнетка. В центре заднего плана выделялся довольный как бы творец всей группы, в «планктаторской шляпе», рядом, глядя на раскинувшегося для касаний руки, с опущенными веками ревнивица, покусывая травинку, блеклый фон снимка не скрывал каскада холмов и полян к реке, воображение рисовало слёт с песнями на плоту, Сок, Волгу (непонятно, кто там в кого впадает). Ничего потеряннее этих локтей на коленях и медвяныхibrаций — от зноя, от заражённых им волос, от волнистых складок блузки и того, что под ней — ничего реальнее Краев не впитывал нигде и никогда. Они были его сейчаc, его спецзапас, его повсюду.

Да-да, он провалился, ухнул, ничего не перебирая, не касаясь, не помня.

И воскрес. Воскрес именно в эту, поглотившую его точку.

V

— А со мной? — Алка льнула по-лисью.

Фотограф щёлкнул, и она с Краевым принялись догонять цепочку двинувшихся вверх, оглянулась только Майя.

После Грушинского с палатками, кострами, гитарным треньканьем два коротких броска оставалось до железнодорожных путей, когда на этой полянке Ронин предложил всех снять.

Композицию выстраивала Майя. Геннадий Харченко в «пастушьей» шляпе, смахивающей на сомбреро, возвышался над Краевым, который центровым в позе летящего стоял на коленях с раскинутыми (для, скорее покровительства, чем объятий) руками, Тихановская — чуть правее вожака, габаритная Брюхнова к ней вполоборота (обе как бы тянули вверх Краевское левое плечо), слева же от Харченко Петров это уравновешивал (что-то было в нём от силача «Девочки на шаре», но во весь рост и невероятно радостного).

При этом Павел накрывал Майин локоть (её другой, вместе с предплечьем, опирался на оба его колена, вытеснив с одного из них Алкин, симметрию это нарушало только для очень прицельного наблюдателя: Алкин локоть был накрыт чуть менее жадно, чем у Майи), прежде, чем расположиться, атлетичный Петров и всех и вся любящая Алка долго выделявали пародию на танго, но не в обжиманцах, а как «Рабочий и Колхозница».

Догнав, Краев Майю подхватил на руки.

— Ой, — обвила шею, но рука соскользнула на ключицу, — не надо, 51 килограмм...

Опустил, чуть задерживая, грудь в грудь.

Харченко первым двинулся по рельсу одноколейки, помахивая «сомбреро» для баланса — удивительно, как его, в общем-то, увальня, не шатало. Краев попытался ступить след в след — хватило на два метра. С «ФЭД» ом через плечо, ещё не остывший от отчисления с философского Ронин, и распустившая волосы Тихановская со стебельком в зубах, безпарные, брели по каждой из сторон. Брюхнова, слегка подвернув (на манер джинс) брюки свободного покроя (сшитые Майей), подбирала ритм шагов к чередованию шпал, то и дело бубня «...под нафытью, фо вву нефофоном».

Гудок дрезины заставил отступить. Харченко держался до последнего: «сомбреро», которое поймало махаонскую пластику, двигать рукой владельца даже нравилось.

— Ребятки, — заголосил Ронин, — остановим?

— Жу-жу! — не сдавалась эмблема «Мосфильма», — пыль-пыль-пыль: танец — важнейшее из искусств.

Короче, к чёрту ваше кино!

У Краева свело пальцы в сандалетах.

— Давай-давай! — санкционировал Харченко.

— Сколько нас? Семеро? Семеро смелых?

— Восемь.

— «Ахт штольцихъ», — Краев щегольнул крохами дойча, — так будет «смелых»?

— По-немецки?

— «Штольцихъ», значит «гордых», неучи! — ввернула Тихановская.

— А это не одно и то же?

— Женись, Пашаня, тогда узнаешь...

— У меня с языками туговато, — Краев будто пускал пробный шар.

— Китайский учи! А то, кто ж за тебя, кокетку, пойдёт! — Харченко сиял.

— Я пойду, я разве-дё-нн-ная! — Алка взяла высокую ноту.

— Попрошу без сленга, — гудел её партнёр.

— Если «развод» — сленг, что тогда «девичья фамилия»?

— Не выражаться! — осадил Харченко, — вход на палубу, согласно очереди!

Дрезина была нестандартная, длиннее обычной. Залезли быстро, не меняя позиций.

— А нам ф эфу фтовону? — засомневалась Брюхнова, оборвав нудёж Блока.

— Да какая разница, Зин? — Петров у неогороженного борта двигал Алкину согласную руку.

Майя совсем затихла, гладковолосая, как на довоенных дагерротипах, улыбалась, не размыкая губ. Ну, или чуть разомкнув.

Лицом к небу, в блузке бардового шелка, лежала Ольга Тихановская с закусенной былинкой. Повторяя, как мотоцикл по вертикальной стене про себя: «Так и будет, чтобы услышал. Чтоб услышал, нежный-нежный, ничтожество мое, чтобы только услышал...» — обращаясь как бы ни к кому, но Павел всё же учゅял.

Плавная дуга рельса уводила плато всё дальше от озерца и бурьяна, перемежаемых иван-чаем, тропа подъёма давно скрылась. Ватник на машинистке был не по июльской жаре.

Добрая распаренная тётка с начёсом из-под косынки.

— *Кавказ подо мною*, — задекламировал Харченко, ловя шляпой одному ему ведомых мотыльков, — кто больше? Все в клуб, не забыли? «Магия и её слабые места» — сеанс-лекция, а затем праздновать, праздновать наш июль, никакой складчины, у меня уже всё припасено. Послезавтра!

— Пофефафта не нафтуфит нифофа! — возгласила Брюхнова.

(«Никогда» — эхо подправило её произношение.)

— Плохо танцуем? — обиделась Алка, управляя лапой Петрова по типу «дворника» на ветровом.

— Не выспались, — уныние Тихановской (с якобы размытым адресом) ушло в сторону.

Покосившийся было на неё Ронин, гладя лысину, решал: щёлкнуть девушку в три четверти, либо рискнуть на поцелуй?

— Как здорово! — Майя, жмурясь, вдыхала заросли, зависшее солнце, весь простор, как с горного перевала.

— Вас, кто против нашего прекрасного послезавтра, я вы-зы-ва-а-а-а-а-ю! — вывел Харченко на мотив тореадора.

— ...а-ру-жи-е! а-ру-жи-е! — подхват Ронина был явно в сторону отвернувшейся Ольги с её былинкой в зубах.

— На книгах! Книга — лучшее оружие! — Харч крутил шляпой какие-то фокус-круги.

— Феннафий, Фы фофались! — тембр Брюхновой достиг контральто, — у мефя Ефанфевие!

— Евангелие?! Все четыре? С посланиями? Уж не от баптистов ли?!

Книжный кубик извлёкся из кармана пышных штанин.

— А у меня, — мяукнул предводитель, — Маркс. Маркс! «Капитал» — видали?!

Он распахнул мирно греющийся портфель.

— Нечестно, — надулась Алка, — танцуем только мы...

— А... это не «Майн Кампф»? — у Ронина меж ресниц загорелись библиофильские гнилушки.

— В некотором роде, — бросила Майя, прильнув лопатками к груди Павла, стоявшего на коленях, как на только что рассыпавшемся снимке.

— Конечно! Конечно! Замаскированная! — Харч забыл о своём якобы сомбреро.

Секунда — погоняемое стрекозами, оно вспорхнуло — и уже не угнаться.

— Я фофафна, — Брюхнова, широко расставив лыжные ноги, обозначила выпад, как бы дуя на фолиант размером с котёнка.

— Пашка, суди!

— Ему нельзя.

— Нельзя, — подтвердил Краев, пытаясь и отстраниться от Майиных лопаток и ещё сильнее к ним прижатый, — я не читал ни того, ни другого.

— Ты приговариваешься к чтению книги победителя! — отмахнулся Харченко, страдая от утраты муляжного сомбреро, как от настоящего.

— Я могу, — вступил Ронин, — у меня по «Капиталу» хор.

— Фуфь фуфет Кфаеф, он фифо нефаинфефефофанное.

— Почему «пусты», почему «незаинтересованное»? — возмутилась Майя, — где мы, кстати, едем и едем?

— Ладно, — Харченко разжал створки чёрного «кирпича», — это кукла.

— «Манифест»? — не понял Ронин.

— Неужто «Манифест» не читали?! Всех уволю!

— Борька, я устала, нас не ценят. Клешню убери. Петров меня замучил, чи-икотно!

— Итак — брошюра на брошюру. «Вот, матушка, достойный Гамлета платок!»

— По моему сигналу...

— Мы же договорились, — перебила Петрова Майя, — свистнет Паша!

— Я — нет, подожди — я и свистеть не умею!

— Пфф, пфф — так, да?

— «Манифест» дайте листнуть!

— Не на госах, обойдешься.

— А по философии тоже «отлично»? — Майя приготовилась Павлом гордиться. — Ты так приложен? Или светлой головушке всё легко-легко?

— Есть способ. Угостить?

— Заняли позиции! — Петров окончательно забыл об Алле, о танго с пылью, о каскаде полян и холмов.

— Четверых пропускаешь, — Краев расставил в воздухе «пропущенных» подбородком и пальцами, двух — своими, последнего — Майинным указательным.

— Тпrrr...

— Что случилось? — Алка с Петровым запутались в брезенте. Задняя часть прицепа, казалось, встаёт на дыбы, как столб костяшек домино.

— Дальше сами, — изрекла распаренная машинистка, — слазим.

Ну и ну... Концы рельс торчали над бездной тумана (днём — туман?!). Прямо расстилалась золотистая пыль, вправо — хоть скатись кубарем. Влево — тоже всё заволочено. Тем более что и поднялись по самой жаре — оттуда.

— Во-о-н до той поляны! — женщина двинула рукавицей под неопределенным углом от бездны, — а у меня смена.

Первым спрыгнул Харчелло, приседая, как после сальто. Долговязую Брюхнову он же принял на себя, и дрезина резво растаяла задним ходом.

— Нам кто-нибудь разъяснит, отчего мы с этой не остались... Харонша какая-то...

— Воффафафься фнафомой фафокой — фуфной тон, — Брюхнова, у которой отобрали чистую победу, казалась похорошевшей, а, может, и не просто казалась.

«Дурной тон» и «знакомая дорога» ничего знакомого не обещали, какой уж там «возврат». Что за нескончаемый склон? Подъём занял от силы полчаса. Вниз-то легче, да и где этот самый низ?

— Братцы, мы разве приехали одноколейкой?

— Расслабься, философ! Догоняй!

Маяя то и дело на Краева падала — не из-за неспортивности (в школе брала в высоту 145 см прямым разбегом при 165 роста). Кусты сгущались, надо продираться, разгребая ветви, по линиям и толщине — яблоневые, но совсем не яблоневые. Чёрные, будто вычерченные китайской тушью. Или японской.

— Водички ни у кого?

— Ген, у тебя Маркс один затарен? У Петрова жажда.

— Терпи, большой!

— Пофафейте, фофопода, Маффа — ему ефё с Отфофением Иоанна ффефяться.

— Ка-а-рлик! ты помнишь наши встре-е-чи! в при-морс-ком па... — Алкин слух преобразжал романс в страдания.

— Жалеть основоположника? Разговорчики! — Харч прочистил свое украинское горло, — я и пятью хлебами напою!

— Насытю.

— Какой же ты зануда, Павлик!

— Не Морозов, уже хлеб.

— А есть такая форма «насытю»?

— И шляпой, — не унимался Краев, — обещал, — съешь. Тронул — ходи!

— Злыдни вы злыдни, она же улетела!

— Но обещала вернуться, — Ронин просить о привале робел, действуя интонациями, цитатно (получалось не менее робко).

— Карлсон и шляпа, а что, сыграем? Кто режиссёр?

— Они подерутся, — вставила Тихановская, продолжая глядеть в никуда, — режиссёр и шляпа.

— Вчера комары были, стрекозы, почему никого не слышно?

— Зря бабку послушались. Бараны, просто бараны... Есть хочется... Мои карпы уже бы на сковородке шипели... А давайте все ко мне? Борька, или к тебе?

— Интересно же! Может, это никогда не кончится?

— Вы только представьте, — Харч, как бы смычком собирал воедино и танцоров-первобегунов (ау-ау!), и шалтай-болтай арьер-гард, — лет, скажем, через тридцать-сорок...

— ...пятьдесят! — прилепилась Майя...

— ...и пятьдесят, или двадцать — на выбор! — где будет каждый из нас? Этот переход кто сумеет описать без вранья?

— Запросто. Но с враньем слаще, — Тихановская повернулась было к Павлу с Майей, отставшим и явно двоим. — Врать — это же талант, это же благая весть, ведь так (былинка в зубах у Тихановской тоненько посвистывала), правда, Паша? Правда, философ?

— «Евангелие», — опережая ответ парировал влюблённый Ронин, — не бесплатный сыр в мышеловке и не молоток для гвоздей...

— А как по-гречески «спасибо»?

— «Эухаристо».

— Какая-то «канистра»... Только без бензина... Его кто-то выпил, да? Кто выпил весь бензин?! Ура-а! — крикнула Ольга-Оленька, прежде тихоня из тихонь.

— Не ты ли, Паша? — щека Майи что-то выделявала с его щекой и шеей, растворяясь в них, вновь заговорщицки мерцая, — не ты ли выпил?

(Господи, что со мной!)

— Дрок? — она остановила его губы, указывая на выющиеся стебли (в кустах Краев не разбирался, из деревьев знал только американские клёны — на Замайской их от комля мазали белым, как новобранцев, а здесь, будто в волосах, жёлтые цветочки).

— Почему дрок? — он уже обнимал её всю, они тоже были как два свившиеся стебля.

— Дрок. Подожди.

Какая покрасневшая...

Какой он, оказывается, тяжёлый. Неприласканный.

— Ты сорвёшься в Москву. Ну, а потом, нескоро...

— Километров шестьдесят по Казанской. Фаустово, — Краев сидел, приподнявшись, а ей было хорошо и так. — Но я (по распределению) отдаю это место, не хочу...

— ...нет, делай всё, как надо. Я тоже здесь не останусь. Когда-нибудь...

Несколько его поцелованных позвонков раскрылись как лотосы.

— Жаля...

— Что?

— «Жаля» — это «мой». Деепричастие. От осы. Маленькой-маленькой осы.

— Белорусское слово?

— Не знаю. Моё.

— ...Ма-яя! Па-а-вел...

— Нас ищут! — вскочил Краев, натягивая ковбойку.

— Трус, — ласковее не слышал, — думаешь, ты один «не отсюда»? А если я тоже?

— Никому не скажешь?

— Что ты Дубровский, да?

— Хуже. Я — это я. Но об этом...

Она прижала палец к губам. Его указательный — к своим. И на-оборот.

VI

У неё в Фейсбуке было не много френдов, особенных записей не делала, так, поздравляла с днями рождения, поздравляли её не менее тепло, всех, практически знала, если не впрямую, то через рукопожатие (или поцелуй в щёку). Поздравитель Сечинцев знаком не был, отвечать не стала. Через год поздравление повторилось, смутно припомнив, что таковой уже встречался, ответила уважительно, как привыкла со всеми. Незнакомец оказался настойчив, удивляясь, что с ним на «Вы». Это было странно, поскольку человек с такой фамилией, журналист, давно умер. История обещала стать интригующей, но инкогнито разоблачился, прислав фото с поездки на один из первых Грушинских фестивалей и два стихотворения о любви, навскидку мастерские, даже щеголяющие мастерством, нечто вроде визитной карточки. Стихи брали некоей тайной, даже темнотами, музыкальной волной. Не узнать Павла Краева, который огорожил её когда-то предложением руки, но вдруг необъяснимо ретировался, исчезнув, что называется, с концами, было невозможно. Признать его авторство за присланным было ещё невозможней — в те далёкие, «клубные» годы выглядел он воспитанным,

скромным, донельзя интеллигентным, безо всяких бурь в душе, стихи же ударным образом эти бури выплескивали, но во вполне классических рамках. Точно бы чувствуя её смущение и не давая опомниться, Краев (Сечинцев — литературный псевдоним) просил разрешения позвонить, чтобы услышать её, Майи, голос. Она бы с гордостью это прекратила, собираясь перед уже своим исчезновением высказать всё, что так и не высказала ни во времена снимка (или чуть позже), ни за долгие годы без него (сама эта формула «без него» предполагала подспудное наличие внезапно всплывшего, который так никем ей не стал, не состоялся, но вот на письме, в ритмах и чувствах к другим — почему, почему не к ней, разве она хуже? Чем?!?) состоялся и даже очень.

Она разрешила, невысказанное подавив. Голоса каждого из них признал в другом теми же самыми, в свой Майя не верила. Точно зная, что не врёт: модуляции, мальчишеский запал, мгновенная перемена темпа никуда не делись, а к его признаниям отнеслась скептически, подозревая комплименты. Не нарочные, а всё же.

Они стали перезваниваться. Он возник из Одессы (не вдаваясь в объяснения своих географических привязок), она, удивлённо молодея, возвращала ему живость лет, как выяснилось (для него, по крайней мере) никуда не девшихся, узнала, что её голос «грудной, но звонкий» (разве так бывает?), всё более влюбляясь в присылаемые стихи, перепечатанные из его же книг, какие-то не понимая, что не мешало растущей привязанности к ним же, эмоциональным без восклицаний, а одним лишь проживанием (по его же словам, «адом наружу» — или, что гораздо чаще — полной противоположностью аду), пыталась заучивать наизусть, но стихи не давались, не впускали, не ложились на язык сами собой, сложные — без намеренных усложнений, неожиданные — то там, то здесь в каждом следующем прочтении (она грешила на свою «дырявую память», но Павел признавался, что наизусть и сам себя почти не помнит) выявляя дополнительные зацепки смысла или ещё какую-то грань.

Она пересыпала снимки себя сегодняшней, позавчерашней, на карточках с маленьким пухлым сыном, которого целовала, утягивая губы летящим лицом, Краев же — редкие старые фотки, лишь две из которых слегка напоминали кудрявого загадочного не сказать «вздыхателя», но всё же явно к ней направленного. Изменился ли? Сильно? Разве не все меняются? Себя Майя держала в форме, «цивильной». Это было заметно. Улавливал Краев и никогда ранее им

не замечаемый скепсис улыбки, некую тяжесть и усталость от времён, когда приходилось быть двужильной, поскольку на тебе и парализованный отец, и сын, у кого после института не сразу, но возникли психические отклонения, и «невенчанная семья» — 10 лет счастливейшего проживания со скульптором, ушедшим ради неё от жены-однокурсницы и нелепо сгоревшим в собственной мастерской (было в нём и отеческое, и старшебратское), затем у Майи ни с кем так и не срослось, целых 20 лет она постепенно теряла сына, хороня одного за другим из их компании врачей, архитекторов, журналистов, одиночество перестало тяготить — и вдруг Павел. Стихи втянули в самое глубинное, она их переживала, как, наверное, никто, потому что не к ней, не с ней, вроде бы и ревновать не к чему, но выныривалось оттуда тяжело, с «послезвучием» (он когда-нибудь придумает это слово), потому что раз и только раз (оказалось ей) такое приходит и не исчезнет, не рассосётся, теперь ей это не прожитое, зачем он попытался связать тот миг на полпути от Грушинского к одноколейке через Майстрошки стихами к другой, и видимо, не отпускаемой истории, которая не моя? Не наша. Тогда зачем я звоню? Ему я зачем? Не осталось других вариантов?

Примитивная ностальгия?

Никакой ответ бы не удовлетворил.

Они уже обменивались ко многому обязывающими признаниями. Она скучала, если утром по мессенджеру или скайпу не раздавалась настойчивая трель из Одессы. Возвращала ему его же цитаты, как ещё одну из улик — что это? С кем? Когда?

Он пытался (так думала) списать всё на «художественный вымысел», объясняя, что даже самое точное слово, призвано искажать, перемещать смыслы, преображать импульс и отклоняться от реалий на неизвестную заранее глубину.

Мозг соглашался, упаковано было мастерски (по-другому, видимо, и не умел), а что-то внутри твердило: ну, почему, почему не я, зачем отпустила, отказалась, зачем исчез — куда теперь с этим временным провалом, страшно сказать, на каком десятке лет?

Как он живёт? Только перемарывает варианты? Ходит ли к морю? Почему на Украине («в» Украине — уточнял Краев)? Ничто не держит в Москве? А квартира?

История с продажей квартиры, с деньгами от её продажи выглядела мутной. Понять его перемещения умом — ладно, принять — вот задача. Связать с тем, широкоплечим, открытым, да,

технарём, но вовсе на своём технарстве не замкнутом, задачка решения не имела. Он лишь притворялся технарём, она же — никогда и никем.

Взял и переменил судьбу, вернувшись (как она и предсказывала там, на холме) в Москву. Не поступил на высшие сценарные (или же литературные) курсы, но пробившийся-таки на журнальные страницы, а перед тем проработав несколько лет аж в самом журнале «Юность», после чего улетел в Кёльн, где задержался на пять лет, затем вновь Москва, телевидение, последний же зигзаг — Киев и Одесса. С гражданством, полученным на законных основаниях (отец родился на её нынешней территории, в этой самой Одессе), она же так и не решилась поступать на искусствоведение в родном Питере. Осталась модельером, в масштабах Валерьянова успешным. Но с распадом Союза пришлось оставить карьеру.

Все картины прошлого (якобы прошлого) и уточняющие мысли кружились, не утихали, создавая некий спасательный (знать бы — от чего) пояс и готовили его, Павла, приезд, объявленный, с то и дело переносимой датой, Майя углубилась в поиски съемного жилья, отвергая вариант за вариантом, всё сошлось — за две недели до Нового Года и одну до высадки Павла на морозный перрон их давным-давно переставшего быть общим города. Уютная, чистая, в пяти минутах пешком от дома, где оставался сын, квартира, район посередине меж старым центром и раздавшимся далеко-далеко новоприобретённым, уютное и не самое дорогое место, пока на три недели, там будет видно. Без прицела, но втайне и с ним. Чувствовала — ему понравится. Хорошо, что подгадал приезд к Новому Году, они станут гулять, и теперь она всё-всё про него узнает. Если оба захотят.

Никаких если, никаких обещаний.

Она же хотела с ним *тогда* подружиться?

VII

Задним числом тоже многое меняется. Значимое, по меньшей мере.

Дату вечера в их Молодёжном клубе, когда Краев заметил и разглядел Майю, Майю Авдееву (фамилия проявилась не сразу и вовсе не из-за скромного её места, напротив, девушка всегда была в облаке пусть не подруг — хотя и подруг тоже), он пропустил (хотя обычно важные даты сами на себе настаивали). Стёрлось и меро-

приятие, клуб дискуссионный, точнее дискуссионной звалась их часть, выделяясь перманентно праздничной суетой, рядом с лекционным залом, а после — походами. Но к походам Краев примыкал редко.

Укололи Майины интонации, тембр, ничего с их провинцией общего, тёплый голос-голосок, так в лесу различаешь некую скрепляющую пространство птичку, не соловья, не столь сладкую, как соловья, но через неё и слышишь весь лес.

Он её сначала расслышал, заметил же спустя не помnil сколько пятниц — именно пятничные собрания собирали человек 20–25, как на балу, обсуждающих неделю, сор событий, шуры-муры, ну и какую-то дружески серьёзную лекцию заодно.

Мягко сказать, Майя ему понравилась. Но вёл себя Краев столь же мягко. Сам себе не желая признаваться в страхе, что его попытки приблизиться отвергнут. Если учесть, что к тому времени отвергнутым он побывал дважды (если по-крупному), а положительных примеров «дружбы» не имел вовсе. Рана от главного «отвержения» ещё побаливала, душа оставалась зажатой, хотя и начинала бунтовать.

Ему было удобно поддерживать образ уж очень интеллигента, сдержанного. К нему и в этом образе тянулись, но короткости в ответ не возникало. Впрочем, не оставался без внимания и его взгляд на Майю, как он её выделял, вроде бы ничем себя не выдавая. Но в тесной клубной обстановке любая мелочь отношений, даже намёка на отношения была на виду, ей просто негде было таиться.

Повод «начать» возник сам собой. Семеро «клубников» плюс изредка заглядывавший чей-то двоюродный брат, фотограф-любитель, отправлялась на Грушинский. В первую же ночь они с Майей оказались рядом, без спальных мешков, как раз на восьмых была палатка, Майя дышала близко-близко, а он боялся её якобы случайно коснуться, на самом деле, обнял бы, прижал (естественно, учитывая соседство компании, а может и вовсе про всю их шарагу забыв). Заснуть в таких условиях не представлялось реальным, шумно ворочаться — тоже. В конце концов (уже светало), стараясь не шуршать, выбрался на волю. Могло показаться, что с обидой. Но и, если с обидой (куда ж без неё?), то лишь на самого себя. Расстегнул пару пуговиц рубашки в зелёную клетку, повалился на землю, на довольно густую траву, покусывая стебелёк, чтобы внутри утихло и заслушался колыханием сосняка.

Таким и обнаружила его полусонная Майя, удивясь отсутствию, выглянув на свет: зелёная ковбойка, грудь к небу, в зубах былинка, таким и запечатлела (о чём виновник узнает с её же слов, но в следующей жизни, а эта не спешила со взлётом).

Следующая могла и не начаться. Хотя планировалась чётко, билеты оплачены онлайн, паузы между отрезками путей намечены с запасом: поезд Одесса-Киев, автобус Киев-Москва с пересадкой на границе в районе пассконтроля пункта Троебортное (предстояло тащиться чуть ли не километр по коридору, стиснутому колючей проволокой, колесики тяжело гружёного чемодана чуть что и отвалились бы), с возом провинциала пересечь на метро всю Москву, оставаясь долгое время без Интернета и втиснуться в двухэтажный состав на Казанском, на верхней полке, наконец-то выдохнув.

От Крыжановки трамвай до вокзала в Одессе не задержался. Поезд часа через полтора, в просторном зале ожидания почти безлюдно. Какого-то бомжа безнадёжно выпроваживали, это не мешало. Минут за 15 до отправления, не спеша поднялся, на одном из путей светился красный огонёк его состава. Странно, что перрон пустой.

Вдруг огонёк поехал. Медленно, дразняще. Краев со всем дредбезящим грузом кинулся было вдогонку, но ему даже не помахали. Он опоздал. Впервые за сотни поездок. Спутал час отправления. Рушилась вся запланированная цепочка. Деньги поступят лишь в конце месяца. Возвращаться некуда. Беспречность, которая берегла столько раз, дала мстительный щелчок даже не по лбу, стыдно сказать — куда.

Но и крах порой не без добра. Какая-то говорившая по мобильному женщина засекла его убитый вид и беготню.

Оказалось, что в двухстах метров автовокзал и рейс на Киев вот-вот. Он бегом успел сдать билет жд и, задыхаясь, проследовал за спасительницей к автобусу. Денег хватило. Заснул — от напряжения — тотчас же. Лимит на опоздания был вычерпан до упора. До конца следующей жизни. Которая вот-вот должна была начаться.

Теперь он ехал в неё, к ней сквозь всё прошедшее-непрошедшее, начиная с той поляны, той композиции, с того фотощелчка, пустившего ветвей несчётно, а его — больше не боись — возможно, самую-самую.

И эта, возобновлённая, пульсация меняла, зыбила изначальный вид, никакая даже самая точная память с ним не справляется, всё вновь, всё впервые.

VIII

Ронин с Тихановской тоже отделились, выпав из общего потока.

В траве дрожал и слегка постанывал перфорированный стальной лист.

— Твою ж...! — Ронин ойкнул, потирая ушибленную стопу, — Завод здесь, что ли?!

Тихановская откинула мешающую прядь. Пораненное место покрылось поцелуями. Она стеснялась лица, большую часть которого закрывали роскошные волосы, ухоженный водопад. Ронин целуя эту голову, чувствовал, как в той замирает кровь.

Никто не видит, спуск продолжался, уже не аукались.

Руки, осмелев, скользнули ниже, на пылающую талию.

— Не надо... — низкая нота призыва юркнула обратно, в гортань и Ронин ускорил суетливую возню с зачем-то пояском на плащ, молнией и со своими джинсами, купленными у спекулянта в туалете на углу Кузнецкого и Петровки.

Их нёс вихрь взаимного стыда (взрослые же — а ни разу!), рыхловатый Ронин громко дышал на закрытые Ольгину глаза, будто бы учился плавать — и тело, в которое он окунался, скапливающим движением волны готовое, казалось, захлестнуть его — вдруг выгибалось, как мостик.

Покоритель уменьшался и уменьшался, навсегда расставаясь с потраченными на книгопоедание часами. Жар дополз до ногтей, впившимся в неловкую спину. Детская щека Ронина покоилась в песках неизвестной планеты, меж двумя барханами. Осадочно тяжелели ядрышки белых (в сердцевине) слов, переходя от илистой вязкости к сухости алебастра.

Две судороги совпали. Муть привлечённых видений тоже была необременительной, вольно тасуя свои гнездилища. Откуда-то с присвистом взялись жухлые дубовые папиросы, ковчеги с голубями, клюющими землянику и непонятно ком зароненный в лесостепной полосе кизил. С веточками этого кизила в клювах впередсмотрящие носились, как с библейской оливой, вычерчивая сразу несколько замысловатых алфавитов, клейких и лакмусных. Из засады ударило звено противных майских жуков, за ними распластанно следили змеиноязычные ящерицы (компромисс орла и кенгуру), точно бы сплюснутые клещами для колки орехов. Через косой проход перетекающих друг в друга, подобно песку в часах, дворов, ковыляли

сорванные листовки, пластмассовые детские совки, пряжки от босоножек — с ветерком, или без него, с завязшим в открытом чемпионате лета снегу, который ошибся прицелом, немного не досеменив до рустовки, до намеченных окон, обратных входу в кирпичную «хрущёвку» и, ясное дело, немытых. Четвёртое от угла окно, закно-пленное парой распятых «Правд», бесстыдных и бесстрашных в силу старости, смотрелось особо запущенным. Вся округа, видимо, предназначалась к сносу. Из-за гаража (его железо приобрело мёрт-вую цепкость валуна) вышел поджарый, в чёрной маске (с наслаж-дением сорвал, но лица вновь не видно, только палёная борода) «дикий гусь» (судя по «милитари») и приладил на плече подстволь-ный гранатомёт.

Передумав стрелять.

Он взлетел без видимых усилий, цельное пламя дхнуло из ос-тавленного в покое окна по всей, словно бы приговорённой, стене дома с потолками три метра двадцать.

Ни жертв, ни злорадства. Ничего похожего на инверсионный след на закате.

Над сохнущими клинками клевера, спрятанного в тени пара-шютоподобных сосен и того самого дрока, прошелестела будто чья-то борода, призрак бороды или всё же она сама — невозможно по-щупать, ухватиться.

Они с Ольгой согласно приподнялись: непомерные, на обман-ном отдалении двигались людские прозрачные обличья — раз, два... семь. Семеро (да ведь их, с Харчелло во главе, тоже семеро! Только не розовых, как эти).

Шаг видений был пробным, подобно шагу слепых с неистре-бимой целью — двигаться до ближайшего упора, но упор не скла-дывался. Ронин прижал Ольгин лоб к горлу, пытаясь дотянуться до макушки. «Обличья» сохраняли дразнящую дистанцию.

«*Они пугают, а мне...*» — Ронин эту мысленную заглушку, штампованный афоризм Льва Николаевича оборвал, поскольку Ольга вслух произнесла «нам» — он не ослышался? «*Нам не страш-но!*», — повторила новым шёпотом, ближе близкого, из каких-то сдавленных глубин, из тёплого, единого пока что ствола, который позванивал, как провод, готовый рассечься на два беспомощных и оголённых русла.

Вихрь умер, а они сидели прижавшись, хотя и были далеко-далеко друг от друга.

IX

Одно из русел петлеобразно вильнуло и вновь выпрямилось.

Харчелло, на корточках, вырвал две страницы из «Манифеста» и дважды провёл, чиркнул спичкой. Её остаток скрючило.

— Надо вернуться, — Краев сжимал Майину ладонь. Ладонь смягчила его порыв.

— Мы идём! — Тихановская поспешило стала рядом. Не обернулась к Ронину, зная: он за спиной. Он теперь всегда будет за спиной, пока в позвонках не погаснет.

— До нижней трассы километра два, — застрельщик ворошил кучу сухих веток.

— Фафите, фафите фибы инфефефные! — у Брюхновой на лбу перекрецивалось несколько длинных царапин, выстраивая рельс и шпалы. А с ладоней улыбались не то камушки, не то человечки-нэцкэ, слепленные из хлебных мякишней.

— Это не грибы! Брось! — Краев толкнул руку с «интересным».

Принесённое выронилось. Фигурки на земле мгновенно потемнели до свекольно-фиолетового. Таких же оттенков были у неё на лбу рельс и шпалы.

— Быстрее! — выдохнул Краев.

— Ой, — Брюхнова удивилась, — фсих, фсих!

— Гена, разве не видно: здесь не так что-то! — едва ли не взвизгнул Ронин, пытаясь докричаться до Харченко.

Вожак продолжал сосредоточенно раздувать костерок. Петров с Аллой сцепленными пальцами на вытянутых руках крутили чёртобы колеса, репетируя завтрашний капустник. Яркая ковбойка — он, ситцево-жёлтый топик — она. Две бабочки. Застывшие уже на явлном отдалении.

Четвёрка — Краев с Майей, Тихановская и Ронин — вскарабкались уже на довольно приличное расстояние от не пожелавших присоединиться. Краев подтягивал Майю, пропуская вперёд, чтобы меньше уставала. Сгущались кусты — на пути вниз порой было не за что цепляться, а теперь там же, но вверх — кусты. Непролазно колючие, как на старых кладбищах.

Опять же, вся ботаника пятого класса вылетела из головы.

Ольгу била дрожь, она повалилась набок, подтягивая колени. Краев наткнулся на её щиколотку и предложил руку — тут же отброшенную.

Тонко-тонкий дымок уже метрах в трехстах то и дело заслонял предводителя. Ни Брюхновой, ни пары бабочек-танцоров не было нигде.

— Ты злой, — Тихановская перевернулась на спину.

— Злой! — она отбросила теперь руку Ронина, — нельзя их оставлять! Пусти меня, пусти! Не хочу с вами!

— Ну, давай! — взбешённый Краев плюнул куда-то в сторону. — Давай-давай. Силой кто спасёт? Вертолёта ждать? Рация есть, чтобы вызвать?! Руку!

Широкий розовый дым склубливался вокруг исчезающей то и дело стоянки. Дым походил на медузу, протекшую сквозь деревья, сквозь стволы даже, а не через по-осеннему позванивающую крону. Что-то страшное, страшнее огня. Обволокнув просквожёные туда и назад стволы, розовая масса шла в новый разворот, продвигаясь волной, без ниспадания.

Заворожённые они, четверо, молчали. Тихановская сидела, уже не всхлипывая. Краев, секунду назад всех торопивший, заставил себя из оцепенения выйти.

Облако расплылось вверх и вширь — всё вокруг порозовело и обрело новую прозрачность. У Ронина шевелились на чуто сплющенным орешке головы несколько последних волосинок. Майя со стиснутым и каким-то исчезающим ртом следила за розовением спуска, где трудно раздувался костёр, где Харченко и Петров с Алкой и Брюхнова упрямо их, отдаляемых, не видели.

Наконец далеко-далеко меж редких сосен показались одна за одной четыре спины — они спускались, уходили! Они были живы.

А мы?

Майя хотела заплакать, у неё не вышло.

— Догадалась? — Краев сказал, потому что ближе некому.

Ронин беззвучно шевелил губами.

Поверить во всё увиденное не могла одна Тихановская, с опущенной головой (волосы вновь закрыли стыдящееся самого себя лицо).

— У кого-нибудь, — спохватился Ронин, — часы есть? Паш?

Краев ковырнул пуговку с правой стороны шорт.

— Стоят.

— А сколько? Мои тоже.

— Начало двенадцатого.

— И у меня! 11.07.

— 11.11. Завести забыл.

— Оля! — ужас Ронина разрастался, — а на твоих?

Маяя вынула из сумочки с замшевыми вставками сначала свою «Зарю», затем «Чайку» Тихановской.

— 11.07 и 08... погодите... Я ничего не вижу...

— А солнце?

Солнце не перешло зенита. Но сколько же они поднимались, потом ехали на дрезине, вниз бегом, отставали, ссорились, на поляне минут сорок... В 11 только начали подниматься, Грушинский давно скрыт из виду.

— Два часа прошло, ну, где-то...

— Чепуха. Время — фикция.

— А что не фикция? — Ольгин вызов не дотягивал до сарказма.

— Вечность.

— Я думала ты просто злой, а ты, ты...

— Договоривай!

У Тихановской были неповторимо те самые, из помутнённого таганского детства, когда с Валеркой Ивановым загоняли кошку на чердак (якобы «ведьму»), «оборотневые» зрачки, с игольчатыми пузырями.

Краев отвернулся, жалея почему-то Ронина, как бы оценивая их пару. Что соединило? Почему держатся друг дружки?

— Не двинемся сейчас, до той одноколейки никогда не дойдём, — горло не слушалось.

Маяя взяла поникшую Краевскую руку, левой подтолкнула Ольгу, которая без сопротивления подалась, а с ней вверх двинулся и стыдливый лысенъкий только-только её философ. Её мужчина. Сейчас лучший на свете, а не потому, что первый, кто всё это запечатлел. Какое-то магнитное поле, или неизвестного происхождения, стирало сомнения (предварительно их же сгустив), подправляло пейзаж по своему плану, без нажима, или казалось, что без нажима, вело, не давая оглядываться, разрезав группу на две якобы равные части — уступающих этому нажиму-ненажиму, и тех, кто «всё сам», «всё сами».

Держите свою правду. Держите и обрящете.

X

Вроде, ничего такого «уж слишком» на спуске тогда не случилось. Или всё же «да»? Было, но «давно и неправда»?

Ошибаетесь: неправда — всё, чего не было. Что испарилось. Чего нет «сейчас». А сейчас Павла прошибала, продолжала прошибать молния, свёрнутая в нимб — нимб от улыбки, от локтя, удобно устроенного на его напрягшихся коленях и зазор меж ладонью, так и не посмевшей коснуться Майнего предплечья, этот зазор влёк, утягивал воронкой, которую вывернуло, но и неполнота выворачивания терзала, как зубы тот стебелёк после мучений от незасыпания, главным же образом — от недотрагивания, рядом под брезентовыми небесами.

В странной Зоне половина разделённых докарабкалась-таки до рельс одноколейки (Харченко и трое других — до совсем других рельс, только параллельные совсем по-лобачевски скрещиваться перестали), а как ехали вместе, в электричке, на двух лавках, как подмигивал им с Майей Ронин и джокондовски опускала ресницы Тихановская — линия, заискрив, порвалась. Нет ничего.

Какие-то вехи, впрочем, невидимо проросли, путаясь корнями где-то на глубине. Одиночные, но вехи. Поездка, например, в один из кинотеатров Безымянки на прозёванное «Иваново детство». В тесноте Майя к нему с верхней ступеньки стояла лицом, он же оказался зажат гармошкой дверей и чьим-то здоровущим торсом.

Носом и губами Краев невольно утыкался в Майн живот. Смущение от объятий по дороге к Майстрюкам, где всё могло быть, но всего лишь обозначилось (уж не придуман ли тобой весь эпизод?) цепко держало, и всё же руки то и дело Майю приближали, как бы невзначай, от поворотной тряски, сдержанно и ответственно (а со стороны смешней смешного). Также и в зале — взять бы пальцы, ну что, что мешало? Но и это представлялось интимом страшной силы, хотя, почему страшной?

Останавливал (так бы мог себе объяснить) профиль — что-то королевское (по контрасту с мнением о себе Майи, как о ничем не выделенной на фоне красавиц подруг — якобы куда красивее — узнаёшь в *когда-нибудь жизни*, ставшей, наконец-то, стержнем, *стремлением*, пока же профиль из киношной близко-близко тьмы, по благородному надменный и не знающий, как смотрится, внушал робость восхищения или в обратном порядке слов).

Мелочи эти, вместе с другими, считай, мелочами, были рассыпаны стружкой и вдруг задышали, задвигались от попадания в некую полынью. Полынья была вполне себе полынью, с паром от выбросов Станколитейного завода чуть выше и левее, но туда бросался

Постриг ради своей (тогда ещё не своей) Кати, а Павел и знать не вёдал ни про какую Майю, только-только вынужденную поменять сырые питерские зимы на Валерьянов с его дровяным оцепенением.

Как бы в кометном хвосте от пост-Грушинских странностей и флюидов, после интимной тесноты автобуса Павел осмелился в канун открытия очередного клубного сезона на прогулку с той, перед кем привык робеть, уговаривать не пришлось, Майю (как прояснился лет этак через...) эта робость удивляла, объясняя себе, что, видимо, интересна парню чуть выше среднего (может, интерес и кажущийся, но посмотрим).

По дорожкам Строгановского сквера они спускались почти в одиночестве, слегка моросило, ещё далеко не все листья пожухли, не все под ногами приобрели оттенок меди, либо шоколада, говорили, говорили, ему казалось, что вот оно, сближение, она же, склонная к прямоте, вдруг, безо всяких интриг, задела самое большое: чем объяснил Павел впечатление неопределённости, которое производит и на неё же?

— Боязнь, — признался Краев.

— Боязнь? У тебя (они были давным-давно уже на ты, что не мешало дистанции)?!

— Боязнь ошибки.

— И часто это бывало?

Девушка становилась настойчиво серьёзной.

— И отказа, — добавил Краев, чтобы совсем уж всё стало ясно.

Майя задумалась. Они побродили, в том числе, по траве склонов, натыкаясь на хворост, перейдя на вполне отвлечённое, ни к чему не обязывающее, дошли по новому (тогда) отрезку набережной до Нижней Луговой, вспоминая переплыть на «ОМ»-ике вместе с четой Захарьянов, и при возвращении облюбовали ют, сидя плечом к горячему плечу — опять никакой инициативы Краев не проявил (подстеленная, пружинная соломка «ошибки и отказа» была тут как тут), а что-то ведь и нарастало, совсем, совсем бы ещё немножко, но когда в пёстрое сбوريще накануне ноябрьских на квартире у одного из «клубных» ворвалась оживлённая и счастливая Майя рука об руку с одним из «технарского крыла» зачастивших к ним персонажей, внутри Павла рухнула и робость, и сдержанность, и боязнь, он ушёл по-английски, убежал, попав под раннюю метель, не зная как смять себя, порвать себя, прекратить этот мазохизм одной спичкой, одним гвоздём или взрывом.

Взрывом бы, спиртом бы — спирт, однако, не лез в глотку, пить не умел (клапан срабатывал, если булькая, вливалось больше, чем надо), предстоял диплом, а перед ним предновогодние суэты, вновь сбирающие на той же квартире, куда позвал (для поддержки?) друзей школьной давности: «однопартника» Илью с его не слишком общительной Ритой (беременность ещё не была видна, месяц третий) — в незнакомом обществе оба только присматривались — и чету Захарьянов, чувствовавших себя в своей тарелке более чем, Краев рьяно импровизировал что-то испанское, краем глаза не выпуская Майю из виду, он хотел устать и устал, уже начали прощаться, когда Майя наклонилась к нему — он удивленно услышал, уже обнимая в медленном как бы фокстроте полуслёпот о том, как она в ноябре была ошарашена его бегством и как сейчас поняла, видимо, дляющуюся боль, в которой виновата, хотя причины вовсе не было. Ведь правда? Правда-правда?

С того часа они стали для всех чуть ли не официально «ходить», отметили — один на один — его диплом в зале Клуба Офицеров, Краев («на счастье» — сказали оба синхронно) задел рукавом бокал игристого Цимлянского и по скатерти расплылось розовое пятно, схожее очертаниями с картой Москвы, куда вскоре уехал отмечать свой день рождения (а мог бы и её позвать — первая бы поездка в купейном, первые вдвоём родные Таганка-Маяковка и осенённая Цветаевой Таруса, мог бы — и март, и пустая бабушкина мансардных размеров комната — откуда маму с ним, пинающем её изнутри — увозили в роддом, конечно же мог, имей привычку думать и отвечать за себя, не отмеряя семи раз, там, где надо лишь ответить на запах судьбы.

Ошибки догоняют дёргано и беспощадно, да и весна, если свезло в ней, сосульчато и тающее зимней, родиться, торопит наверстать всё якобы готовое меж «рано» и «поздно». Вдохновлённый столичным ритмом, хрустом под ногами, глыбкой наледью и рыхлыми «шапками» сугробов (лом в помощь), Краев и попросился к Майе в гости, как выяснилось, грипповавшей, но за перевалом кризиса.

Дверь он застал отпертой специально для него, Майя в позе полусидя располагалась под пледом на покрывале дивана. Павел выждал паузу и не дожидаясь приглашения сесть, выпалил: «Давай поженимся!».

Не «выходи за меня» (единственное число, а «давай», то есть разделим решение, главных нет (меж тем, как главный быть обязан, обязан мужчиной, кто ж ещё?)).

Ему не сказали «да». «Нет» (категорического «нет», «нет и нет») он тоже не услышал.

Майя что-то промычала, перекладывание ответственности на «обоих», удержало её от внятной точки:

— У меня папа... — Краев застыл, — папа очень резкий. ГрубыЙ. В общем...

Ответ наполнил его ужасом.

Следовало расплескать ужас, как тот бокал на праздновании диплома, но ужас остекленел и не поддавался.

Майя смотрела на него полными, не похожими на только что сказанное глазами.

Теперь он просто ничего не понимал. Будто в кошачьем прыжке, готовясь ли к прыжку, опустился на край дивана, беря Майю за плечи, затем властно, ещё властнее покрыл выворотом губ шею, подвинулся ближе, прижимая всё, что можно прижать — и выздоравливающая отозвалась, уступая напору, едва ли не ожесточению, успокаивая и раскрываясь, а его руки были везде, отчаянно, без тормозов.

И всё закончилось. Непоправимо и поспешно, так и не начавшись. Майя, почти раскрытая, в недоумении его попыталась удержать, но Краев, уйдя в себя и в ужас неудачи, рвался в прихожую, как с низкого старта.

— Ты что, ты куда, Паша? — она запахивалась, в растерянности, не зная, как реагировать, привыкшая виноватить себя, но догадок о причине произошедшего — ноль. Или корень из минус единицы.

Краев захлопнул недавно побелённую дверь, затем ещё дверь, на улицу.

Даже без поцелуя в щёку.

Он захлопывал дедо-бабушкинский альбом, но снимок не исчезал.

Снимок не сдался, втиснутый в груду прочих и ждал своего часа.

Девочка, облюбовавшая локтем оба его колена там, на поляне, лучась во все стороны, взывала к его инстинкту опасности, обычно мешающему жить, а сейчас жертвуя собой же: «Бестолочь, ты теряешь меня от слова «совсем», тебе везде тонко, здесь — тоньше тонкого, тебе давалось и благоволило всё, где это всё? Поставь же, самую жирную, самую обетованную точку!».

Все движения, все манипуляции с этим клочком фотобумаги сжались в одно, Краев поднёс её, материализующую участников, к губам, как губную гармошку, и отдалил, узнавая каждого, и не узнавая.

Перед тем, как пропасть.

И всё равно смотрел, смотрел.

XI

Море и манило, и скрывалось за кустами, в тоннель, из тоннеля. До самой темноты. С Постригом оно укачивалось и в плацкартном.

«Сухарики, сухарики, печенье, лимонад, кому сухарики!...») — танцующе заполняла коридор изящная, неопределённых лет официантка, официанточка (голосок теребил Катиной интонацией), заглядывая и в его купе — открытое (специально взял не в купейном — если дверцы запираются, невольно возникает исповедальная беседа с соседями, а этого ой как не хотелось). Тем более, что всего за год (с момента как нырнул ночью в шипящую пену засухумского акватория) сначала брошенная и вновь якобы обретённая страна веяла чужим, после тюремных ароматов Финдыклы, Франкфурта с тротуарами, которые моют стиральным порошком, не говоря об американских, чужих до неприличия, привыкать не желал, но вагонные стенки пока защищали от агрессии этого всего чуждого теперь.

Позвать разносчицу, на полчасика, за тот свободный столик напротив, у окна? Вагон полупуст, расслабиться не с кем. Подстерь Катю у их дома (чтоб никто не заметил, не опознал — это самое сложное, уломать — не проблема). Если успеет раньше, чем придёт из управления (так надёжнее). А если уже дома, выманить на площадку и уломать там. Добыть документы тестя и тёщи (его паспорт, вероятней всего, «засвечен», хотя с родителями разве они похожи?). Сроки состыкованы, прорвёмся.

В нем завёлся неостановимый бег — начиная с нырка, перед которым лихорадочно целовал Катю, практически уболтанную, снабженную инструкциями — как себя вести дома, на работе, в управлении ГБ, как прожить без него, и когда ждать сигнала, ждать ли вообще, какую игру мы с «органами» затеяли, тайную для всех. И пока никто за тобой не гонится, попридержи, сбрось передачу с третьей почти на нейтрал.

Стёрлись грани меж сном, ясным в упор и тем, чего быть никак не могло, цепкой памятью и пузырями провалов её же. Всё теперь правда — восстановленная или придуманная, что за разница? Удар о кипучую (от дизелей), но штилевую воду всё обнулил, а теперь — вот фокус! — возвращает беспорядочной мошкариной атакой.

У входа на базар в глубине палатки Мехди (дратва на ящике), рябой, как Сталин — и впрямь, что-то сталинское — прищур? усы?) взял пару двадцатидолларовых ассигнаций, взамен 200 рублей из баночки для гвоздей, не проронив ни слова после пароля «доцент Акакий» — и ещё жест-отмашка типа «я тебя не видел, свободен!» Базарная толчея (странныя для неугасаемой жары) автоматом переносила в нью-йоркскую толпу, но что в тамошней сосредоточенной и очерченной незримой границей прайвеси (свободы) смущало, здесь отслаивалось, как сетчатка — ты, бично, ай мэ, чужой? Нэт? Когда приехал?

Вроде всё ласково, но какая-то настороженность, будто все что-то нарушают, всё исподтишка и сапожник-айсор у ворот базара всему смотрящий.

Стены фильтрационной тюрьмы Финдыклы (сам сдался, успев повидать свадьбу, выплеснутую на улицу и даже вкусив от громоздкого торта во дворе невесты, затем пытаясь уснуть среди зарослей кукурузы на краю городка) сыпятся от удара кулаком (саманные, видимость, а не стены!), две спецслужбистки-турчаночки вывозят из конспиративной квартиры ЦРУ в аэропорт рейсом на Франкфурт (с одной он пытался танцевать, но когда прыгнула на колени — всё, стоп! У меня жена! (вайф) — где вайф?! (с частями света не разобрался, ткнул на предполагаемый восток, девица жест поняла и даже примирительно пнула); вокзальный перрон в его родном Валерьянове (отец ковыряет пяткой штиблета край воронки на асфальте, неужели больше не свидятся? — переводили в Читу, Катя там уже обустраивалась), мама гладит лацкан его пиджака, будто пытаясь обмануть слёзы, будто заранее прощая все авантюры сына, какие не расхлебает; Брайтон, где на неогороженной площадке у пляжа учил вождению на своей «Мазде» суетливую Габи, Габриэль (таксистом однажды подвёз, восхитив лихостью и русским акцентом, а спустя три недели провожала перед обратным рейсом в ту же Анкару, и хотя ничегошеньки не было, прощаясь, Постриг насильно впихнул в сумку ей ключи своей «сэкондхэндной» малышки («Через год не вернусь — твоя!») — гордая Габи даже не

помахала ему, бегущему на посадку (не речь, а Ниагара, характер жёсткий, если не сказать, жестоковыйный, семитский, с мексиканским заквасом).

Дверь из тамбура, как в бомбоубежище, в следующий тамбур — такая же (сто пудов свинца!), ветки хлестали по замызганным стёклам, скорость и трущаяся о вагон стихия скорости обострили голод, голоден, значит, живой (хоть всё и понарошку).

До вагона-ресторана пришлось одолевать чащобу плацкартных, чьи-то простыни, высунутые в проход ноги, усталое равнодушие разливающих по гранёным в подстаканниках чай проводниц, пару купейных с дядьками в пижамах, длящих пляжные беседы на повышенных тонах, ибо вокруг стучало и вообще шумело. Разносчица из-за стойки его приметила (других клиентов не было), прищекав с блокнотиком и карандашом, от неё сквозило скучой и флиртом.

— Что-нибудь мясное, — Постриг смотрел не в меню, а в глаза, залихватски, — ну, там салат, любой.

— Водочки?

— 100...

— 100. Графин?

— Годится.

— Хлеб? — продолжала подсказывать ублажительница (хлеб тонкой нарезкой покоился среди салфеток).

— Отчего нет? — принял игру, — посидите со мной?

— Я на службе, — деланно засмущалась, — пить ни-ни.

— Ни-ни, — подхватил клиент, — а я и после службы. Что-нибудь полегче. Пиво?

— Ой, не люблю...

— Каберне. Пригубить. А мне остатки.

— Есть Негру де Пуркарь, молдавское.

— Молдавия — это почти Франция?

— Италия, — поправила девушка, — мы с итальянцами родственны.

— Кстати, вы на итальянку похожи. Немного.

— На четверть, — она обрадовалась.

— А на остальные три?

— Кто ж знает... Папа всегда шутил про татаро-монголов... Мы все ведь смешанные... А вы только русский?

— Чуваш-мордва-удмурт-мариец, выбирайте!

— Заблудиться можно... Костя! — крикнула в направление раздачи, — салатик готов?

И перешла на шёпот (перед тем, как упорхнуть):

— Мясо мигом разогрею...

...Поддался привычке? Нарочно? Да. На контрасте. Ведь всё не взялправду?

Она уже спокойней, чинно, будто бы и не уходила, вернулась, раскладывая приборы, бесшумно касаясь графином со слегка подрагивающей водкой скатёрки, ловко придинув тарелочку с нарезанными овощами — Постриг размышлял, коснувшись ли тонкого запястья, и коснулся — не отреагировала и вновь упорхнула с какой-то беличьей сноровкой, одновременно продолжая сидеть напротив, а он так и не понял, какая здесь, а какая снуёт? С чего начать — с гуляша? С помидорных долек? Со стопки, наполненной неизвестно каким из двух «на четверть итальянкой»? С разбега к дымящейся полынье в конце спуска возле Станколитейного, на глазах у почти завоёванной Кати, но, чтобы совсем твоя, надо ухнуть, обжигаясь на морозе — обжёгся, бросился, завоевал (в произвольном порядке). Всё сошлось! И на тебе.

— Ешьте, ешьте, остынет! Ещё простудитесь!

— А вы ясновидящая? — засмеялся.

— Конечно. У вас в зрачках река, озеро, не знаю, но зимой и вы туда ныряете!

У неё даже слова искрились.

— Значит, ясновидящая. За знакомство! — он опрокинул стопку, — Виктор.

— Екатерина. Что-то хотите рассказать?

Поперхнулся. Всё как-то мигом было съедено и будто бы не им:

— Про меня всё известно?

— Давай на ты!

— Тогда, можно, буду звать вас... тебя — Катей?

— Да, Витя! Не всё, но знаю. Дай руку...

Он с готовностью протянул через стол мальчишескую ладонь.

— Дорога... Извилистая. Казённый дом... Два казённых дома. Встречи... Две встречи в одной, а почему пустота? Между ними, видишь? И линий жизни... не могу сосчитать, — подняла два ярко-зелёных как бы софита — и софиты перемигнулись.

— Лётчик, — он выпрямился, — лейтенант.

— Лейтенант? — поддедала, — младший, небось?

— Зачем же? Поручик!

(Именно так прозвали его в гарнизоне под Мурманском, кличку подхватили, когда за сальности в адрес жены одного из сослуживцев, Постриг вызвал замкомандира по политчасти на дуэль, а получил месяц гауптвахты и перевод в Забайкалье.)

— Господин поручик, похожий в профиль на Магомаева, откуда прилетели?

— Приплыл. Сначала прилетел, это правда. Из Нью-Йорка.

— То-то я вижу... Прямо через океан?

— Через океан в Турцию. Анкара, ну, и так далее... Оттуда — на вёслах.

— А я дочь *камергера*, не видно?

— Ещё как!

— В Америке все такие прыткие? И по-русски говорят?

— Смотри! — он разложил три наугад вытянутые из барсетки фотографии: секвойя на территории Фонда, себя за рулём красной «Мазды» и себя же с Александрой Львовной на фоне церквишки (типа гаража, но с православным куполом и характерной чуть склоненной поперечиной о двух витых концах).

— Это кто? — девушка тронула ноготком цветной глянец «Полароида».

— Дочь Толстого. Младшая из одиннадцати.

— А зачем? Зачем ей Америка?

— Догадайся.

— Чтоб с тобой познакомиться?

— Шесть баллов.

— Жадничаешь! Шесть из пяти — всего? И где ж в Америке жил, в Голливуде? Или за кулисами Карнеги-холл?

— Стоп! Ты знаешь про Карнеги, потому что провалилась в балетное училище!

— Сто шесть баллов!

— До стольких я и считать-то не умею. Если только голову не задрать...

— А ты задери, задери! Где ж ты там целый год ошивался?

— Год?! Исчерпались мои баллы догадливой цыганке...

— И всё же?

— На даче для русских эмигрантов. В специальном Фонде, под Нью-Йорком.

— Эмигрантов? Ну, какой из тебя эмигрант, Вить... Зря ты всё это затеял.

— Есть такая вещица ма-а-ленькая-премаленькая — клятва. Никогда не клялась?

— Почему? В детсаду. Что замуж никогда не выйду.

— А я попозже. Что если в Америке хорошо, я вернусь — за женой и сыном. И мы все переберёмся (тайно, как я в первый раз) в Нью-Йорк. Её зовут, кстати, как тебя.

— Может, я придумала себе имя? Как ты — клятву.

— А зачем?

— Захотелось. На лбу твоём увидала. Дай, дай руку. Нет, левую.

— У меня завтра день сложный... Меньше десятка (он пошарил непротянутой рукой в кармане подаренных Акакием штанов) нет, в общем, возьми все.

— С ума сошёл! Мне?! Я и на правой прочла: тебе нельзя всего этого... И не пытайся.

Постриг привстал, она привстала тоже, быстрым семенящим шагом нагнала его у входа в короткий коридор перед тамбуром, а когда закрыла за собой тяжеленную дверь, обернулся и, стиснув широкие (почти Катины) скулы гадалки, не давая ей говорить и сопротивляться (она и не сопротивлялась) поцелуями, слегка поптичи, неумело, словно бы стыдясь их и от стыда заслоняясь ещё в завитках возле уха, повторяя «погоди, погоди!», держал и держал обмякшую, потом прижатую к стене, возле печки, невыносимо растворённую в нём же ответно.

— Иди. Ну, иди же. Целоваться научись.

Отомстила.

Будто в прыжке, оторвался от укора, который потонул в грохочущие сцепки.

Совсем идиот?

В своём вагоне задержался на расписании: между прибытием на вокзал Валерьянова и обратно из Новосибирска почти двое суток. Значит, вечер пятницы. В запасе тридцать часов. Самолёт сэкономит 20, но там непонятки с паспортами, а Катю в её управлении торговли хватятся в понедельник. Сутки форы. Всего сутки. Дальше стык в стык: Акакий, лодка, воскресенье, ближе к темноте, но до погранобхода. Он успеет. Они, так и не научившиеся целоваться, успеют.

А всё-таки «научись» ...

«Лишь бы не было войны» — донеслось из каких-то затхлых глубин и погасло.

С курса его ещё ни разу не сбивали.

XII

Здорово лететь ночью, газуя на подъемах, иногда лихо вздыбливая будто бы дрессированный старенький, но ещё — о-го-го! — «Иж». Мотоцикл брата он выкатывал из гаражика во дворе Дома Специалистов, конечно же, без спросу (брать научил держаться в седле шестиклашку Пострига смеха ради, но Виктор довольно быстро на вык отточил и с появлением Кати быстро наглея, затем уже привычно устраивал этиочные обьезды. Катя ждала за углом, на Кибальчича. Кожаную (лётную) в потёртостях куртку брата, взятую в том же гараже, надевал на Катины плечи (почти целую, но всё не решаясь), сам и застёгивая, садиться медлила, но потом крепко-крепко скрещивала руки у него на животе, и, если резко газовал или на поворотах с выражением — визжала, прижимаясь ещё и щекой, всем-всем.

Пустая набережная, редкие фонари, казалось вот-вот и лёд треснет, а душа — стоит чуть-чуть поднажать, её душа — вылетит, но это заглушалось визгом, а Постриг взправду мог перемахнуть парапет и на этом воображаемом отрыве он был волк, несущий на спине Иван-Царевича (в женском обличье, в девичьем, дьявольски смелом при всей хрупкости), но взлёт угасал, наездница обволакивала газующего как парашют и ничего-то Постриг не слышал, никакого рёва, никаких чихов мотора — кроме своего прыгающего сердца.

Лента двухэтажек с каменным основанием сменялась домишками, чьи низкие ставни, потрескавшись, вросли в тротуар, а с поворота на Войнова это были уже ладные довоенные красавцы розово-кирпичные даже во тьме (благодаря слабому, свету) ночью же серо едва ли не всё. Чуть выше путь пересекала изгибаемая Замайская, уходящая влево до Луговой почти проспектом, куда Постриг, не тормозя и сворачивал, несся, как по взлётной полосе, чтобы, не доехая до трамвайной линии, забирающей по Ново-Садовой, рухнуть вновь к набережной, на тех же третьей передаче и вдохе выдохе замыкая оттянутый прямоугольник маршрута.

Этот маршрут после выхода на покатую привокзальную ночную площадь он и прокручивал в голове, беря странный сейчас и вслепую родной город-городок в проводники по сну и союзники по сну, по разведплану, по играм в «немцев и наших». Он и был сейчас «нашим немцем», «нашим самураем», перешедшим нейтральное подобие границы у Амура с Днепром, торопиться было бы себе дороже, запас времени не тёр кармана, да и кто бы его сейчас узнал,

его, хлебнувшего сетей автобанов и хайвэев? Он чувствовал, что нужные слова, убеждающие, убедительные слетятся сами, на первую же Катину улыбку и потому отдался, затягивал пешком прозрение: ничего не делай специально, твоя удача — тот самый оседланный «Иж», только собственный, а не взятый тайно, как в 16.

Совсем не тянуло глязеть на со щербатым крылечком бывшую женскую гимназию, (выбегали после уроков, лупя друг дружку портфелями), в районе которой он с Игорем Старухиным и Пашкой Краевым (иногда и в другом составе) устраивали слежку-облаву «трое на трое» за хохотуньями в той же волнующей (особенно, скрип-скрип зимой) получьме Игорю «доставалась» ростом почти с него Римма Ковенацкая, скромница Ника Марчук — Пашке, Постригу же — Анечка Модилян (он и придумал эти длинные круги накануне первой посадки в мотоседло), но потом троица распалась (обе), Катя всё и перекрыла, смахнула, оттёрла, оттого и предыстория грела-согревала мучительно слаше. Слаще, чем что? С чем собрался сравнить?

Даже не думай. Думал за него, ну, если не Бог, некий диспетчер, судья со стартовым «пугачом», думанье было вне слов, мимо слов, как думают фотоны или коршун с разверстым, «стоячим» крылом, думанье — лишь хвост птицы, а птица — знай себе отрывна, одиночка, изнанка одиночеств, но не вровень, снизу-сзади, хордой над, не впереди, впереди же — блеск жажды и жажда-лицо.

Путь легко удлинялся, хотя внутренне ничто не мешало его скоротать, оказываясь в любой точке из школьного задачника синхронно. Представь (думал он про себя, сдерживая слова), она ждёт на перроне, ты ждёшь-не дождёшься, пока проводница обтирает от несуществующей пыли поручни, спрыгиваешь, отталкивая проводницу дежурным «До свиданья! Спасибо!», скидываешь невесомый баул, и вы стоите друг напротив друга начальную вечность, а потом — кто у кого на шее?

Так вот, в полузыбыи-полуполёте он и очнулся во дворе дома, единственной из кирпичных на Остапенко «хрущёвок». Над подъездной дверью покосился козырёк, лампочка выбита. В беседке с краю двора кто-то бренькал, компания покуривала. Боковым зрением Постриг должен был убедиться: слежки нет.

Брытая перед столиком для домино лавочка пахла ржавчиной не успевших пожелтеть смятых листьев, но и запах, и шаткость лавочки давали повод собраться перед самым важным. Перед полной остановкой часовой и секундной. Катины два окна находились на противоположной стороне.

Четвёртый этаж, без лифта. Кажется, дрожит не левая рука, дрожат перила, облезлые, давно без краски. Он отзывался на их каждую щербинку, каждый поворот был как выражение на мотоцикле. Отчего все так рано спят, ведь нет еще и десяти?

Чем бы еще оттянуть миг, сотни раз всплывавший поплавком на этой морской реке, огибающей курган с как бы срезанным верхом, лесистую пирамиду с основанием, выбритым налысо, тылом же с заросшими лазами в пещеры, откуда выбирались двое суток, не зная, что их уже трое, и третий (зародыш-запятая), уже 9-летний, должно быть, такой же драчун, весь в тебя, твоей крови. Кровей твоего курса.

Перегоревшую на площадке лампочку в наморднике заменить, конечно же, некому. О, Русь — вздохнуло что-то между правым и левым лёгкими.

Лёгкий осенний шелест, лесной, как на «той стороне», когда замирают все прочие звуки, шелест, почти безветренный заставил потянуться к унылой кнопке на дверном косяке, ощупью. Вдавил — и отдернул палец. Два раза. Как точку-тире.

За дверью (сквозь этот странный лиственний шелест) глухо.

Нажал еще и еще. Никакой трели (он помнил это младенческое «агу-агу»).

И только шелест не утихал.

Шелест исходил от узенькой бумажной полоски, с неё свисал шпагатик под лепешкою сургуча, в двух местах — на уровне глаз и там, где прорезь в замочной блямбе их с Катей и Артёмом квартиры.

Опечатанной квартиры.

XIII

Варианты... Бывает, что и нет никаких, любой лишний, решение же, одно-единственное, не оставляет места раздумьям и страху. Страх — это воображение задним числом. В лодке, под захлест волн он что-то делал, вопил, орал, его куда-то вздымало, было, даже успокаивало, несло, а здесь? Здесь и нырнуть было некуда.

Ведь наказывал: всё расскажи, как есть: «прыгнул... удерживала... поклялся... задание, ваше задание...» Да, не поверили (я и это учёл), колпак, прослушка, вот и не звонил, родителям не звонил, не могла же Катя выдать, что я обещал приплыть!

А вдруг могла? Но это же не повод сажать, почему сургуч, их же двое с Артёмом!

Просто исчезла?

Мысль о родителях — живы? У кого ещё узнать? И у них, наверняка прослушка.

Вспомнил про гадание официантки. Её и тамбур. До рейса на юг ещё сутки. Но к чему теперь этот рейс? Как найти, через кого? Зачем исчезла, девочка моя? Зачем?!

Капкан.

Машинально спустился, толкнул входную — молодняк смылся. Обострённый слух улавливал скрежет колёс трамвая при повороте с Ново-Садовой на Луговую, лай дворняжек далеко-далеко, ворчание, а не лай, шорох спирально падающих листьев — такой же машинальный, сонный, или это свист в ушах?

Брошенный, виноватый-невиноватый город, со спусками к маляющей реке, с лязганьем цепей у дебаркадеров и свистом шпаны, костёлом, «ящиками» Безымянки, площадью космодромных просторов, на которой за двое суток до Гагарина играли в футбол, раздевшись до трусов — бежал, рвал со всем этим, теперь изменник и агент, агент лоб в лоб, как два встречных состава, за океан вернувшись — агент ГБ, здесь — агент ЦРУ, схватят на вокзале или рядом с почтамтом (наверняка уже изображения расклеены по всем людным точкам)...

В нём, внутри, стояла будто бы вода разлива, даже не вода — желе, запертое болото, есть не хотелось — уже почти сутки не до еды, у кого заночевать, не в зале же ожидания, там патрули, а он в летней одежде. Денег хватало на поезд в любую сторону. С долларами — пять купюр по сто и шесть по 20 — лишняя улика. Стоп. Что? Грин карта, заламинированная. А за ней? Паспорт, советский. Как же я забыл! Тюремщики разглядывали, ничего не смысля в кириллице, выдав Чейзу, курирующему перебежчиков. Уже когда заカンчивалась посадка на рейс во Франкфурт, Чейз вышел из кабины пилотов и с таинственным видом вшептал: «Вик, ты югослав!», и, выпрямляясь, добавил: «О кэй?», а затем, направившись было к выходу, развернулся и, подмигнув, жестом соблазнителя вынул красную чуть потрёпанную ксиву: «На память!».

Но ведь в свои планы Чейза ты не посвящал, что это было — чутьё профи? Тест? Провокация? Приглашение в двойные агенты? Почему двойные? — выскоцило слово. Будто в другое ухо нашеп-

танное: «Попробуй!». Мысль ошеломила. Если считают агентом — им надо стать! Настоящим. Агент для всех — и ни для кого. Между струечками. Разыскать Катю помогут здесь, там — приютят.

Идея обрастила мясом, как жемчужина.

Сдаться. Как в Финдыклы, когда вылез ночью на берег, переоделся в полосатое, слился с толпой зевак, прошёл городок насквозь, до кукурузного поля, и сдался.

Но ведь турки, а здесь свои. Которые пострашней.

Всё удаётся, пока не боюсь.

Вновь некая сила подобрала его, теперь с Катиного двора к подъёму Луговой, в направлении родительского дома на Специалистов. Сократить путь лучше троллейбусом, троллейбус в переулок и заворачивал, точнее, заворачивал на Кибальчича, мимо дежурной в подъезде можно и не проскакивать — откуда ей всё знать? А если заметит? Пусть замечает. Совсем заболтался, поручик. Неси меня, лиса, за синие леса! Спать рано (на часах пол-одиннадцатого), без звонка надёжней, мама, батя. Пусть в последний раз, я виноват (салон полупуст, вновь на заднем, как тогда по дороге на Сухумский вокзал). Не может не повезти (слева осталась школа с гипотенузно склоненным углом — балкон второго этажа держали хилые атланты), погоня, ау! — а метров через триста кинотеатрик «Смена», какие-то знакомые, похожие друг на друга халупы за высоким забором, ТЮЗ с глубоко вдавленным входом — и можно соскакивать. Жизнь пулемётной лентой промелькнула в обе стороны, разминувшись с ним и сама с собой. Дом о шести этажах, как всегда, освещён, никаких лавочек, где могли бы судачить бабульки, всё подметено, вылизано — приводить сюда школьных товарищей он стеснялся, а учителя считали хулиганом — так он пытался расплатиться за привилегированное (как ничего не знаяшим казалось) положение обкомовских служак, мать вообще «сидела на письмах» и часто возвращалась с лицом, полным удержаных слёз. Этих слёз он сейчас и страшился.

Дежурная прихлёбывала чай в окошечке своей каморки, он прошёл мимо почти на цыпочках, хотя и не опасался расспросов. Чистые лестничные пролёты, цветы в кадках на каждом полуэтаже, пейзажики — да и что за год бы всему этому сделалось? Этому запаху чистой палубы, слегка дезодорированному (ёкнуло — как в Америке, где запахи океана пропускались сквозь кондишены), даже на Брайтоне этот кондишен цивилизации постанывал, словно бы сетка от мух — память на запахи была хищная, она и в море зашкаливала: чем ближе

к побережью, тем отчёtlивей различал птичью гниль, перемежаемую свежескошенным сеном и спермой, запахам, подумалось тогда стоило бы придумать особый умный фильтр, заслон, ну, или что-то вроде мелкозернистой тёрки, сепаратора, потому что в запахах что-то было для него, лишающее свободы, что-то капризное, как детские слёзы, даже потяжелее маминых. Перед которыми как раз и стоял, точнее, перед обитой дерматином в пупырышках дверью, как перед люком в открытый космос, только без скафандра. Дерматин сильно смягчил бы стук, но звонить — слишком резко, слишком жаляще, насквозь, безапелляционно и потому всё же постучал, трижды, костяшкой указательного пальца, по косяку.

XIV

Лишь бы не было. Не было, не было, не было... — стояло эхом. Разлитый эхом во все стороны страх перед войной, не приманивал её, зато все сферы, все самые дальние и заповедные уголки существования этой безразмерной земли-не земли, этого ареала-не ареала (Бог знает, как назвать ещё) войной пронизывало. Это был как бы двусторонний (с изнанкой) культ войны. Государство — если приравнять к нему страну, или отделить как нечто высшее, сакральное, этим культом спаялось. Без любви, без ненависти — нечто бесхребетное спаяло этот якобы организм, якобы традиции, порядок, где, когда что и прорывалось — тут же гасло.

Зарплата у обкомовских полагалась выше средней даже у малозаметных сотрудников. Основное в «конвертах». Это было войной в свой черёд, но без салютов.

Семья Пострига занимало по этой шкале место на «донышке», однако отделённость давала себя знать: скучно живут едва ли не все, им тоже выпячивать нечего, но квартира в номенклатурном доме — это сильно выше «ординара».

Отчасти по этой тонкой причине отношения близкие с родителями сложиться не успели, затем и вовсе стало не до них. Пострига не водили на футбол (напротив клуба железнодорожников трибуны стадиона «Динамо» стиснули часовню, таблички с цифрами забитых голов переворачивались, закрывая её колокола, вручную, но знал об этом Витюха от одноклассников, которым завидовал), у них долго не было дачи, потом отец сдался, взяли участок на Проране, чахлые грядки, надо возиться, засаживать, искать плотников, для бывшего аэродромного инженера стыдно, мама, про-

студившись на одном из командировочных вылетов, нередко болела, ей бы и поправить здоровье на своих шести сотках, но тоже без привычки, на юг они вместе не съездили, дикарями (случайно и всего-то раз по путёвкам в закрытый санаторий, потом наотрез отказываясь, что-то сдерживало и вовсе не безденежье, хотя он и не донимал вопросами, не привыкли ни за обедом, ни так деляться пережитым, вообще откровенничать). Даже машину отец брать не хотел, держался замкнуто, скрывая заботливую и слишком податливую на любовь натуру.

Старший брат мотался по северам, от Нарьян-Мара до Тюмени, так и не женился, редкими наездами вываливая кучу подарков, «Иж» продали по окончания Постригом лётного училища, с Катей они копили на машину, а начал готовиться прыгать в море, к обустройству охладел, если бы и не охладел — перевозить мотоцикл из Валерьянова в Читу, а далее в Гродно геморрой, да и с машиной не проще. О службе проката, как в Америке, не догадывались (как и о свободе, о её инстинкте — здесь этот инстинкт атрофирован страшно вслух назвать — когда).

Отец вроде бы должен был войну по возрасту пройти, но коснулась она его лишь на одном из аэродромов прилётом лендлизных бортов, о увиденных там живых американцах помалкивал, и в сознании Пострига любой иностранец (а уж американцы тем более) представлялся инопланетянином из повестей Ефремова. Орденских планок не надевал даже на 9 мая — какой там героизм-то, в тылу? А после перевода на Среднюю Волгу, стали продвигать по kolej партийной — попробуй посопротивляйся, он и говорил (молча) «Слушаюсь!». Особо не радея, совсем не карьерных жилок, видом тоже — прямой, абсолютный добряк (только без улыбки), мать любил отчаянно, хотя заметней всего это было по редко вынимаемым из альбома фотографиям, где их головы сближались — при застывших глазах (у него с налётом ужаса, у матери — гордого терпения и боли). А чтобы какие-то ласки, тем паче, внезапные, да при нём — исключено. Единственное, что удалось выпытать из материальной истории — крестьянские корешки, тоже без подробностей. Никите, старшему, вроде, призналась, что деревню затопило Рыбинским водохранилищем в 37-м, когда открывали канал Москва-Волга — может, брат и выдумал, как проверишь? Валерьянов тяготил Никиту, а тут набор в геологоразведку, нефть-газ, от нуля (рядом с вечной мерзлотой — во всех смыслах).

Место и обстоятельства знакомства родителей сильно интересовали Пострига, правда, тайной они были тоже. Хотелось верить брату, что, мол, танцы, обычное дело, а работала мама вольнонаёмной, при лагерной администрации, рядом с «врагами народа» и военным городком, при котором танцы редко, но устраивались, вот и совпали две скучки, но у чуткого Пострига своё кино про всё про это крутилось, куда романтичнее, о чём и соврал Кате, врал он, впрочем, бескорыстно. Веря в бескорыстное враньё — оно по яркости замечало правду и становилось ею.

Да просто на ту сторону сплавать трамвайчиком, или по грибы — всё мимо, даже не вспомнить, собирались ли у них гости, а ты резвился ли между ног, на коленях у одного из друзей дома, чтобы стать центром внимания взрослых? — ничего, ничегошеньки. Мама, несмотря на частые хвори была чем-то вроде сшивателя этой бедной и прозрачной ткани, где праздники оборачивались буднями с плавностью перетекания облаков из перистых в кучевые и обратно, без единого шанса для грозы.

Как очутилась в обкоме (на письмах)? Взяли за компанию с отцом — слухи о работе при лагере были не без оснований, кадры проверялись почище чем на полиграфе, никаких сюрпризов. И всё же часто удержанные после работы слёзы однажды выплеснулись, но в другом агрегатном состоянии — едва ли не льда. С ледоходом (пока не сдана была ГЭС, они гремели регулярно, до десятых чисел апреля) это совпало: мать (у неё был отгул), стоя с ним у парапета набережной, показывая на ту сторону (район Прорана) затаённо, чуть ли не мстительно произнесла: «Витенька, запомни: там фашисты живут!» — и широкая полоса заскрежетала, вздыбилась, трогаясь на юго-запад, по течению, всей необозримой длиной. У него язык отнялся, резонируя этому сдвигу, бурю вопросов обрушивая (жест в сторону дач и догадка о режиме в целом срослись попозже и логично, в итоге ледоходного же анализа, самостоятельно). И всё это ледоходом впадало в ту же войну, как Волга в Каспий, войною же всё и резонировало. Ровной, неотменяемой, своих со своими, которые только и шепчут «лишь бы не было». Потому что «боятся, значит, уважают». И победного конца в этой ушной кровью свистящей войне было не нащупать.

Теперь, перед серым дерматином двери, будучи собранным в комок слуха, он чувствовал себя голым, как на медкомиссии.

Всё утраченное и несбывшееся сейчас значения не имело. Только серым обшитая дверь с двумя замочными прорезями (над ручкой и симметрично ниже) и свое колотящееся сердце. Он загадал: откроет мать (скорей всего) — Катя найдётся, причём, быстро, и сумашедшее везение для реализации обдуманного бегства (теперь втрём) придёт, а если отец, значит с мамой что-то не то, вдруг слегла?

Значит... а что значит? Скрываться неизвестно где, бега, ни здесь, ни там...

Никаких звуков. Повернуться и уйти — обрушить все расчёты. Сдаться на месте. Предел сдачи. Зачем тогда всё — шторм, спасение? Катя? Бог, наконец. Или кто?

За дверью зашаркали.

Скрип дерматина о притолоку смял страхи. Дверь подалась.

XV

Наверное, так рождаются, тянут и тянут, а тебя (который внутри) так много, отняли от этого «много» и всё заливает кипятком рёва.

Глаза на фоне тёмной прихожей видели его, не желая узнавать.

Не удивилась, не двинулся ни один мускул, мать была и кая.

Не обняла, не охнула. Не взяла за рукав, чтобы убедиться — он?

Это была тень с не согнутой спиной, за которой Постригступил в прихожую, последовал, не понимая самого худшего — идти ему больше некуда, искать Катю, прощаться, отдавать сыновний долг (первый и последний) — поздно. Поздно всё. Свет горел только в кухне. Свет в отсутствии запахов, как после поминок. Проследовать за тенью пришлось в ванную, освещённую из оконечка как раз кухни.

Мать включила воду и только после этого ткнулась Постригу в плечо. Которое сделалось мокрым совсем не от брызг бодро льющейся воды.

— Когда? — шёпотом выдохнул догадавшийся обо всём ещё с порога.

— Позавчера месяц, — от вытертых слёз у матери отсвечивали два провала под глазами, вроде мешочеков. — Нет у тебя больше папы (прибавила, как бы самой себе), скоротечный рак. Уволили, отняв партбилет (после известия о твоём бегстве), я за ним. Сейчас кассирша в бане — напротив Авиационного, там ещё твои Краев и Старухин жили, а сейчас не знаю, ничего не знаю.

Хотела заплакать — и не смогла, гладя ему плечо, оба плеча, грудь, щёки.

— Зачем, зачем ты здесь, сынок?

Впервые сказала «сынок» — он так долго этого ждал!

— Прости, я должен был предвидеть... увольнения...

— Не в чем виниться, — она скжала губы ниточкой и тотчас словно бы ещё на 10 лет усохла, — я всегда знала: ты скрытный. Весь в нас.

— Помнишь, как (ледоход ещё был) указала вниз по течению «там фашисты живут»?

— ...какие фашисты... Это пока фашисты, а будут, помяни слово — нелюдь. Витенька. О чём со мной беседовали, не расскажу. Да и видимся — не перебивай! — в последний раз. Ты за Катей? Она смеяла — к нам приходить боялись, а она один раз, но была.

— У нас, на Остапенко, дверь опечатана. Что-нибудь знаешь?

— Вряд ли её взяли. Меня, обкомовку не трогают. Не любит она тебя.

— Мам...

— ...по лицу было заметно. Хорошая, честная. Только не любит. Привычка, долг — всё не то — ты такой же, до слепоты. Добивался её, добился, сына родили, а всё равно как чужая. Может, и покорная, но чужая... Ты весь в деда. Он за твою бабушку готов был застрелиться, если б мать и сестра её не сумели сосватать (отдаватьсь-то не хотели, пока старшая дочь не замужем...). Но это не Катин случай. Может, от слежки сбежала (ходила к ним, как ты научил, только не помогло). Может, и появился кто.

— Мама!!!

— Тише. Уходи, сыночек... Даже переночевать оставить боюсь.

— Я найду её.

— Она тебя ждала. Со страхом. Всё повторяла: «приплывёт за мной, он обещал...».

— Знаю, я там, начиная с Турции, это чувствовал.

— Ой, не рассказывай, мне от подробностей тяжело. За ней приплыл? Опять в лодке? Тебе здесь нельзя. Предателю, как считают. Думаешь, можно поправить? Она призналась, что советовали отвечать на твои звонки, чтобы завлечь. А ты не звонил.

Постриг обнял мать осторожно, как невесомую. С какой-то хроникой в лёгких, с чем свыклась. Зная взрывного сына и не показывая, что знает. Терпя и видя.

Взгляд в полутьме казался жадным, беспомощным. Вновь жадным. И никаким.

— Она врать не умеет, это больнее. Взгляд настороженный, а если тебе не верит самый близкий, это ад. Мы с отцом так и прожили.

Её чуть покачивало на бортике ванной. Вода лилась оглушающе.

— И покормить нечем. Бутерброд возьмёшь? С сыром? Ой, пиджак отцовский — ты же в летнем и без денег, наверное? Сейчас принесу.

— Не ходи! — Постриг задержал её руку, вялую, но пальцы скжали ему запястье.

— Не ходи! — повторил, давя комок в горле, — Я должен быть в этой одежде.

— Почему в этой? Холодно же, — помяла рубашку, — опять назад, в Турцию?

— Деньги, — он быстро запихал ей в карман халата оставшееся от обмена с Мехди (нужное для трёх билетов на самолёт до Сочи, а там и на электричку), — есть ещё доллары, мам, оставил бы, но...

— Куда мне с ними, сыночка? Дай-ка... в последний раз, — она прижалась сухим, высушенным лицом к его предплечью — вся гордость, вся отчужденность, вся невозможность родственной близости хлынули, опадая, как будто их могли впрямь услышать, эти прощальные клочки объятий.

Постриг не посмел — оттолкнула, крестя, во тьму коридора, далее, неизвестно во что.

XVI

«Не любит», «чужая», «не любит» — вязало по ногам, но слушать, смиряться, пускать всё прахом? План, долг, решимость — остальное забудь. Бросился в эту воду — не оглядывайся. Будто бы за тобой Содом и Гоморра. Нет улик, и не надо улик.

Путь за угол Кибальчича с поворотом на Валерьянова до площади Революции, а там и к Хлебной через Венцека мог пробежать с закрытыми глазами.

Сенсоры — вплоть до тактильных — на стрёме. С проверкой там не шутят. Где зевнут, на чём отыграются? Дыши, пока свободен. Свобода — это навсегда, это же вечно?

Пустынна Кибальчича (бывшая Панская).

Ты не спятил? Пустынная? По табличкам — вновь Панская! Странные тумбы (навроде гранитных) расставленные в шахматном порядке, «съели» проезжую часть. Два три дома (узнаваемые архитектурно), прочерчиваются вертикальной подсветкой (год назад ничего близкого!). Исчезли деревья с решётками на тротуарах. Пеших вообще ноль. Зато на узеньких платформах, как если бы мотороллер лишили движка и сиденья, а ствол руля вытянули вверх, мелькнули юноша в облегающих джинсах и, видимо, подруга, прижатая к его такой же узкой груди спиной, несколько таких парочек просвистели стайкой, у каждой пары позади самокатной платформы (что это как не самокаты?) краснел огонёк-габаритка. Странные самокаты. И сразу много, как саранчи. Бесшумно, легко и без излишеств. Не то, что у них с Катей — вихрь таинственности — схватят ли? Не нагонят? И вывески, одна другой иностраннее — аналоги он видел в Квинсе. Аптека, другая аптека («низких цен»), банк, ещё банк (за роскошной дверью одного виднелись устройства, напоминающие пульт управления с экраном, как на командных пунктах).

Что за мираж? Почему этот сон рельефен и неотвязчив?!

Почтамт? Нет, вход с угла отсутствует. «ОРДО-БАНК». На другой стороне Кибальчича — кофейня? (название вновь латиницей), на двери, видимо, расписание работы — 24/7! За стёклами совсем уж подростковый молодняк. Это наш «Брод»? Вылизанный, с толчёй вертикальных подсветок — на каждом здании, как что-то ракетно-ступенчатое. С рукой в кармане, занимающий (хоть что-то привычное) центр сквера на Революции Ленин, держа будто указку обещания: правильно вернёшься, дорогой товарищ, пусть и не до мой, всё равно правильно, к своей личной вечности! — подсвечен с трёх сторон.

Сотрясённый мозг впал в отключку, что не помешало перед зданием на Хлебной очнуться. Сюда он посыпал Катю и других вариантов попытки свою девочку найти кроме как сунуть голову в пасть зверю — нет.

Первый этаж зарешечен (мелкие новшества уже не колышут). Пара окон светится на втором. Справа от входа вмонтирована табличка, рельефом будто жалюзи.

Постриг потоптался, пытаясь приложить кулаком явно массивную дверь. Из таблички зашуршало: «Не надо стучать. Говорите».

Над обеими углами двери справа и слева заметил устройство сглаженно квадратного сечения с мерцающей линзой (сон продолжал плодиться и размножаться).

Да-да, за ним следили, а, может быть, и вели.

— Лейтенант ВВС Постриг Виктор. Виктор Ильич. Номер части 07329 (он его никогда не забывал). Срочное сообщение.

В двери пискнуло. Между ней и фойе было нечто вроде диффузионной камеры, а на выходе буквой П подобие ворот, справа от них подставка с ящичком.

— Телефон, ключи, всё металлическое — сюда. И масочку наденьте.

— Чью? — замяв абсурд о каком-то телефоне, попытался было сострить.

Один дежурный (в чёрной маске от подбородка до ноздрей) с отсутствующим взглядом надзирал за ящиком, другой, видимо, главный, тоже черномасочник во всё лицо (которое делалось похожим на летучую мышь) располагался в глубине слева, перед ним за стеклом перегородки светилось несколько экранов (не меньше пяти), а на столе — агрегат с горизонтальной клавиатурой и тоже экраном, занимающим всю поверхность крышки агрегата (если это была крышка).

— Руки поднимите, — приказал равнодушный верзила, проводя по бокам и ногам Пострига странной штуковиной, размером с полицейскую дубинку.

— Виктор Ильич? — без интонации повторил сидящий за стеклом, что-то выщелкивая на клавиатуре агрегата, когда преодолевший П-образный ворота предстал перед ним, — такой не числится. Нумерация в/ч тоже. Паспорт?

Постриг достал из подаренных Акакием парусиновых брюк документ в целлофане, выдержавшем перелёты «Анкара-Франкфурт» и «Франкфурт-Нью-Йорк» плюс два проплыва (особенно, второй, со штормом).

— А российский?

— «Российский»? — опешил, впрочем, уже почти не удивляясь, — в РСФСР отдельных паспортов нет.

— Винтажик, будьте любезны! — паспорт лёг Постригу на ладонь.

— У меня секретное сообщение.

— Слушаю.

— Только начальнику управления.
— На ночь глядя? — с усмешкой проконстатировал распорядитель экранов.

— Это разведданные. И вот ещё обо мне.

Под разделительное стекло аккуратно просунулась заламинированная грин-карта.

Дежурный осторожно, будто пинцетом, подцепил зелёного цвета пластик, пристально сверяя снимок на ксиве с лицом чудаковатого визитёра.

— Американец? С 74-го года?! Как проникли в Российскую Федерацию?

— Вплавь. Я видимо, не ко времени, — Постриг не успел повернуться.

— Стоять! Задержи! — бросил главный дежурный, ткнув на ещё одном устройстве диспетчерского типа три цифры: ОлегВаныч! Простите за поздний. Тут бомж у нас объявился, непохожий на бомжа. С американским ВНЖ 40-летней давности. А самому (он покосился на Пострига) чуть за двадцать. Нет, ничего не отмечаем. Есть. За нарушение масочного режима. До утра? Загран тоже нет. Слушаюсь.

Верзила слева от П-образной рамки взял схватил Пострига за локоть, ведя по коридору до поворота к лестнице на второй этаж и под ней же ступенькам в подвал. Ещё одни прутья вместо двери, замок, два замка, топчан, живо напомнивший о камере в фильтрационной тюряге, где он углом стола ковырял саманную стену.

Едва стихли шаги верзилы, Постриг блаженно растянулся на топчане и поплыл. Не по знойным волнам первого раза и не по штормовым взлётам, а из камеры в камеру, из этой, чуть студёной — в турецкую, с ее полдневным потом, в пещеры Ширяева, где Катя, отбиваясь от его натиска, заставила выронить китайский фонарик, а затем, безо всякой связи, он в такой же блаженной позе на той стороне растягивался у Кати за спиной (чего никогда не было), она резала на весу помидор для салата, он гладил её спину, эта галлюцинация была объёмней самой что ни на есть яви, страннее же всего ужалило, что чувство свободы распускалось именно в закрытом пространстве — в душном турецком узилище или в сырватом подвале родины, в самолёте (когда попали в грозовой фронт перед самой Германией), в маленьком, почти ненастоящем храме на клочке русской земли под Нью-Йорком, но

только не на воле, не в окружении ѹодистых солей, наконец, не в космосе, о котором долго мечтал, но, струсив, заменил это лётным (какое-никакое, а всё ж небо).

Так бы и лежал, забыв о времени (выдумке учёных, ведь если нет ни границ, ни направлений, если всё повторяется, или чудом *не* повторяется, если чудо способно по мановению и без него вмешаться, столкнуть с расчерченной колеи, взорвать и вылечить, какое может быть *ещё* время?). Странно, что даже пить не хотелось, расслабленные мышцы пели, а топчан казался жестковатой осеннею травой, да-да, на той стороне, где им с Катей даже позагорать не пришлось, откуда же тогда галлюцинация, да ещё тактильная до невозможности?

Она (если галлюцинация, а что, что *ещё*?) холодила, как Волга в жарищу, растекаясь, вроде бы стиснутая изгибным руслом, тая с первым же бликом рассвета.

Ощупал край топчана. Прутья затряслись — их тряс он, забытый всеми, забытый верзилой, его непосредственным начальником — и выше, по всей вертикали.

— Катя! — заорал, — Кто-нибудь!!! Эй! Я согласен!!! Согласен я!!! Кто-нибудь!!!

К прутьям якобы дверцы спускались трое, из них двое с пистолетами чуть ли не в упор. Ожидаемых масок, впрочем, не было ни на ком.

— Стёп, — повернулся к одному из них явно главный, с лицом деревенски сметливым, — что за шутки?

— Мы никого не сажали! — ступор спрошенного исключал и ложь, и хитрость.

— Год жену слушали, а субчик прямо к нам?! Самотёком?! А завтра что выкинет??!

Руки за голову, ты, чё, спать сюда что ль приехал, разлёгся!

XVII

Перебив тишины.

Кривая на экране вздрогнула. Потом вновь — через секунд десять.

— Странный случай, профессор: вроде бы кома, но показатели в норме.

— С улицы принесли?

— Да. Слух не реагирует.

— И не будет реагировать, ещё чего хотели, — называемый «профессором», славился умением диагностировать по лицу, — у него летаргия и она вот-вот кончится. Дайте (он перечислил несколько препаратов), когда придет в себя — и домой.

— А сможет?

— Хотите анекдот? — рано постаревший, с наклоном головы, создающим ложное впечатление сгорблённости, доктор любовался гармонической лепкой лица того, кто впал в столь редкую кому (викинг, но без рыжей бороды, вообще без признаков бороды, скромно-весёлый без улыбки, женщины должны млечь).

— Обижаете, Илизар Ёсич, — ассистент сработал на опережение.

— Ладно, прощаю, — я в кабинете, не отвертитесь, — где-то лицо это профессору встречалось, в каком-то американском кино.

Игорь всё слышал, не пытаясь проснуться.

До забега в поисках Артёма, до влезания в кабину CESSNA он просто существовал, теперь была некая за-жизнь, над-жизнь, одним словом — вне. Протекая со скоростью, можно сказать, субсветовой. И только что прозвучавшее, и начавшееся перелётом произвольно возвращалось, ещё и без всякой логики.

Настигали свои же приказы Кате прижать сына крепче, дёргать кольцо лишь в момент отрыва — настигали, долбили, садистски же и улетучиваясь.

Скорость сама упала почти до нуля, машину, трепещущую по стрекозы, с места срывали его приказы прыгать, и тогда, Катя с прижатым сыном ушла куда-то, вниз головой. Не ощущив, как вспыхивает красный, ставший вдруг радужным, купол.

Всё вырубилось — мозг, сердце — всё.

Угол снижения CESSNA держала.

Три!!!

Микшированно, эхом собственным же и заорал. Может, и после прыжка заорал.

Какая-то блуждающая внутренняя точка ему, ослепшему, сообщала: комок из Кати с Артёмкой несёт на пригорок, их ноги поджаты, чтобы смыкшивать удар.

Веер секунд — и стропы уже путаются, мягкая встрияска, легче ожидающей. Катя перебрала опутывающую ткань, будто взмахивая простынёй. Воздух меж сосен розовел. Сросшиеся верхушки ещё держали зуд удалявшегося мотора.

Игорю это всё воображалось. Он подался вверх, чтобы из-под крыла зацепить ветвь пожёстче, и — о, чудо! — повис, не чувствуя обдираемых предплечий.

Вольт удалился — и «заколдованная» CESSNA по-вертолётному взмыла куда-то вбок.

Не чувствуя боли, вообще ничего, «катапультант» добрался до ствола, съезжая по нему, рухнул на песчаник, ударившись «вынутым» ребром. И от удара об это «вынутое» брызнула боль, настаивая, что сейчас главная в этом оркестре она.

Болело всё, включая биочасы. Сколько пролетел он один после выбрасывания Кати с мальцом, в какой стороне искать, куда оборачиваться? Почему так долго светло после заката? Откуда знаю, что именно долго, если биочасы стоят, а наручных нет? Сосны — значит, рядом с Царевщиной. Или Курумочем, где сегодня — или сколько тому назад (названия менялись, как бы друг друга обгоняя, как тот же «Москвич» обставлял то и дело захарьяновскую «Победу» (слямзенный у немцев «Опель-капитан» — копию штатовской «Шевроле»-1938) по воскресеньям, направляясь на общий пикник (азартный Иван Григорьевич устраивал поединки по любым поводам).

Он умел отличать звук идущих на посадку двигателей от набирающих высоту. Не было никаких. Это не удивляло. Вместе с беспилотным норовом CESSNA на дне амфитеатра (издали казавшегося свалкой) восхитила, смыв удивление.

По густоте веток определил север. Пробираться к шоссе надо перпендикулярно (держа в уме свет заката, ориентируясь по самому яркому от него пятну).

С геометрией порядок, с памятью не так, оставалось аукать. Веря и не веря в удачу.

Лёгкие выдохлись, ходало, но и с терморегуляцией проблем не знал. Боялся только ночевать в лесу. Прыгнувших всё ж двое, парашют вместо пуховика.

«Идите к шоссе, идите к шоссе!» — внушал он или молясь беззвучно. «Господи! — прошелестел, — помоги! Помоги найтись мне, им! Зачем это всё, зачем полёт, зачем любовь к ней, к ним — не знаю, не мне знать, выведи, не отпусти, не разбросай!».

Запели клёсты. Или сова? Нет, сова ухает. Сам ты ухаешь.

Будь профи, вместо инженеришки не пришёл кобыле, взнуздал бы и биплан. Какие кнопки, где и для чего понятно и детям, если

технари от Бога. Вот на фига было прятаться в техническом вузе! (От армии, зато и без профессии теперь.) Любимую вытолкал за борт, якобы о ней же и заботясь. Чужую жену. Брошенную (с благой целью). Сам же гвоздил: муж твой оставил вас, прыгая на разведку — есть ли жизнь вне родины? Он тебя, дорогая, сберёг от риска, он же тебя, вас, и потерял.

Теперь терять моя очередь, сам накликал.

Гул или тень гула — что-то нарисовалось мерное, с эхом. Заглушая стрижей, клёстов (а скоро и соловьёв), гул трассы (не аэродромный — сто процентов). Лезли, как из мясорубки, заученные страницы «Бравого солдата Швейка», перемежаемые Ильфом и Петровым (после 7-го класса в пионерлагере для детей сотрудников Авиационного щеголял перед Пашкой Краевым липучей памятью, там же оба и курить пытались, смешно кашляя, Пашка больше не экспериментировал, а Игорь, не испытав удовольствия, так и не начал тоже, иногда лишь, за компанию на чём-нибудь дне рождения (конформизм в малых дозах лишь укрепляет самостоятельность)).

Склон вёл в гору, а сосняк редел. На какой-то фазе подъёма замердало, будто струйка светляков. Река, река фар и подфарников! Прибавил вязкого шага, прыгая на одной ноге (вторую свело в спазме). Чуть не упал, одолевая кювет.

Мимо неслись странные — плавных и затейливых линий — лимузины, даже в иностранной кинохронике не встречались. Перебежать дорогу и голосовать интенсивность движения не позволяла. В направление плотины реже, но шныряли на приличных скоростях фургоны (непомерной длины), каплевидные или растянуто-каплевидные малютки, либо что-то с прицепами.

Дождавшись «окна» в этом потоке, он по-заячьи проскакал по нагретому за день асфальту и поднял-таки на противоположной стороне ободранную о шершавый ствол руку. Проезжающие не реагировали. Опускал (рука обессилевала, затекая), вновь поднимал, теперь метров за 150–200. Жалко, и глупо дёргаясь.

И лишь когда совсем не злой, выпотрошенный, двинулся по обочине, со спины накрыло скрипом тормозов. Что-то крикнул, высываясь, водитель фуры (длиной с хоккейную коробку). На месте решетки радиатора, в самом центре уготованного ей места красовалось троелучие, вписанное в круг.

— Сбежал? — водитель оценил одежду и ссадину на предплечье. — Безымянка не влом?

А как же Катя?

Но уже влез.

XVIII

Парень был его лет, слегка за тридцать или вокруг. Весёлый, как говорили, с «татарщинкой». Равиль (догадка не обманула) дышал жаром оптимизма. С кем-то (не с собою ли самим?) ведя беседу через прищепку наушника, поглядывая в плоский предмет, лежащий на приборной панели — от прикосновения пальцев тот вспыхивал, показывая того, кому в наушник говорилось.

— Мы же на Кирова договаривались? Да хватит палаток, хватит. Ребят, я бы в одной сам спал! Суток сколько не спал, сказать? Давай, на связи.

— Представляешь, — не оборачиваешь, безостановочно плёл он, — рассыпь, говорят, своё снаряжение от «самолёта» до Гипронафти. Казанцев колонна за мной следом, часть поездом. Давай на «ЛУКойле» заправимся, а то у моего динозавра сушняк.

Тормознул перед иллюминированным зданьицем ближе к одной из башенок со шлангом для бензина, потянулся, разминая плечи, сам ввинтил хоботок шланга в отверстие на боку фуры и сделал знак — иди, я сейчас.

Игорь узнал место: чуть впереди, у поворота на Красноглиниье) церковка (бывшая, конечно) — всё правда! Но утром на куполе деревце росло — сдуло? («Катя! Зачем? Надо же вернуться! Уезжать раньше меня вы бы не стали, что ж я-то за сволочь!»)

— Айда, — дальнобой повесил шланг на башенку со стрелкой литражка, — кофейку? И гуляш не помешает. С борщом. Или ты за рассольник?

— У меня жена, — Игорь смутился, — и пацан, мы летели, потом разминулись, над лесом, я вот вышел к трассе, а теперь как найду её?

— Над лесом?! Разминулись?

— Перелетали с той стороны... типа на «кукурузнике», на троих один парашют, управление потерялось, — соврал Игорь (иначе пришлось бы начинать с этой самой CESSNA, кто поверит?), я им отдал его, а сам будь что будет.

— Без телефона?

— Какого телефона?

— Давай МЧС вызову, — чёрный предмет, из которого только что лилась чья-то речь, Равиль взял с собой, — километр, на каком подсел, не вспомню. Но примерно. К полиции лучше не суйся, у них сейчас работы — о-го-го!

— К полиции?!

— Те же менты. На двукрылке должен быть маячок, её найти, как два пальца.

— Она, — Игорь сделал жест вверх и назад, — взмыла, с концами.

— Двукрылка? Взмыла — это как?!

— Вообще не слушалась, рулил для видимости.

— Ты вправду с Луны?

— А МЧС, а эта вот коробочка (телефон), а полиция — не Луна?!

— Без перекуса не соображу, как пояснить. Ну и без этого, — щёлкнул чуть скрюченным пальцем по горлу, — я рулю, Аллах обидится, а тебе в самое оно.

Перед ними бесшумно раздвинулись стеклянные створки. На подставке чуть выше головы барменши (в не закрывающей носа голубенькой маске), потрескивал телевизор, оттуда со смесью страха и елея вещала симпатичная дикторша. Которую выдавали расширенные зрачки.

— Ситуация остается напряжённой. МВД предупреждает Сечинск и окружающие регионы о возможных последствиях незаконных акций, — дикторша едва сдерживала нотку истеризма.

— Переключи на «Губернию» — потребовал Равиль, облокотившись на прилавок.

Изображение сменилось кашей точек, появилась другая дикторша, как две капли с предыдущей и повторила её текст.

— Два дня был наш! Ничо, и с ними разберёмся... Налей соточку... вон того, — Равиль указал на коньячного типа бутылку рядом с телевизором.

— Нельзя. Роспотребнадзор.

— Да где он, твой Роспозор? От какого числа?

— Уже неделю. Маски наденьте. Заказывать будем?

— Борщ — два борща и мяса два, гарнир — на выбор. За две маски скидка! — он хохотнул, беря две марлевые тряпочки, выстриженные не совсем ровно.

За считанные минуты Равиль посвятил попутчика во всё. Стихийные шествия по Московскому шоссе и периметру центра начались после ареста губернатора. Средь бела дня, когда выходил из Дома правительства («Белого Дома»), к нему подлетели семеро молодцов и, оттеснив охрану, затолкали в спецвронок. Якобы открылись какие-то тёмные дела двадцатилетней давности. Губернатор (привезенный Москвой с Дальнего Востока) за годы каденции стал небывалым любимцем. Из бюджета не крал, прекратил снос лачуг с редчайшей резьбой наличников и другими свидетельствами купеческого модерна (средства, даваемые на все проекты, осваивал в тютельку). Свободней (не в пример соседям) задышали торговые центры и знаменитый Крытый рынок, откуда исчезли перекупщики. Внешностью губер напоминал скорее жестянища 6-го разряда, чем наместника-назначенца, посаженного на «кормление», он был «свой» (пусть из пришлых) и это нравилось. Даже рост цен, вызванный санкциями за Крым и Донбасс, губернский глава (теперь всё по-дореволюционному) гасился адресной помощью пенсионерам, школам, бюджет рос на чём возможно, и жители почувствовали не только слом стены меж властью и собою, а и город-полутораммиллионник впервые стал для них чуть ли не семейным очагом. Всего-ничего до переизбрания, а в прицеле это был бы настоящий «народный» президент (выборы для «свалившегося с Луны» были ещё одним признаком Луны подлинной). Такого поворота Москва не допустила бы любой ценой, но и регион всполошился, предвидя худшее.

Полиция несколько дней не вмешивалась, но подтянулись ВВ (переименованные в Росгвардию) — и противостояние обещало принять серьёзный оборот. На помощь патриотам Сечинска (древнее имя вытеснило память об одном из коммунистических вождей, коротконогом красавце и бабнике Валерьянove, чья статуя — на «тумбочке» — озирала самую большую в Европе площадь, названную по нему же) подтянулись татарстанцы, оренбургские газовики, Ульяновск, Пенза и Саратов — уж очень выгодно расположен мятежный городок — чуть больше тысячи км до Москвы и столько же до Урала, он вполне годился на роль столицы компактной страны (тем более, что в 41-м по факту стал ею даже не для компактной, а для всей ощетинившейся державы).

— Понял! — Равиля вновь предупреждали, меняя планы. — Есть объездная, найдём.

— КПП успели выставить, мрази, — добавил беззлобно.

Извилистая грунтовка вывела к параллельной дороге. Второй звонок на чёрное устройство подтвердил, что палатки вдоль трассы сбрасывать не надо, их ждёт площадь. Нет, не имени партбонзы, а перед монументом (ну, да — того, с «гусём»)

Они обгоняли весело шествующие кучки молодых и не очень, с транспарантами «Верните Колчагина!» (фамилия губера), «Я/Мы Колчагин!», «Москва — иди в Кремль и на Лобное!», самоделки либо с текстом, который казался тиражированно заводским. Чем ближе к месту доставки, тем гуще в этой тьме шли, не толкаясь, веяло солидарной истовой силой, силой не толпы, а убеждённых победителей.

— Безымянка, — кивнул Равиль Игоревой догадке, — стоит. Заводы позакрывали, но Фрунзе и ещё парочка крутятся. Вот и приехали. Поможешь?

Палаток было десятка четыре, Игорь помогал их стаскивать, несколько тут же развернули. Площадь была запруженя, однако тесноты не ощущалось. Тысяч 20-30. Одни уходили, кому-то нужен передых, но вливались ещё и ещё.

С кастрюлями, пакетами, термосами подходили женщины средних лет — с кульками пирожков, другой снедью. Возле монумента, с вершины которого из рук юноши (слепленного не с Гагарина ли?) силилась взлететь и всё никак не могла, стальная птица («гусь Паниковского»), были свалены, связанные как баранки, шины, покрышки, со стёртым протектором и другие, без пробега. Несколько либо конусом, либо навалом располагались по углам прилегающего сквера. Их подвозили на легковушках (таких же невиданных для Игоря, как и лимузины на шоссе).

Перед входом в резиденцию стояла цепочка щегольски экипированной охраны.

— «Космонавты», — Равиля расpirала гордость, — эти с нами, остальные думают.

Лица ментов ничего не выражали, даже вполне бы понятной усталой скуки.

Что-то горячее крепло в этом воздухе, что-то страшное — Игорю было просто не прдохнуть от наката волны за волной нового за

новым, ещё свободней, ещё острее — непереносимо чистый прибывающий кислород. И он упал, продолжая всё видеть, ни на что не влияя. Губы склеивало будто пластирем.

И проснувшемуся, было страшно признать, что проснулся.

XIX

Если на тебя смотрят, как на Тунгусский метеорит — именно это было написано в глазах турецких тюремщиков — ещё поживём. А здесь ты ёжик. Или учебная бомба.

— Вставай, вставай! — Пострига трясли за плечо, а казалось, что сам, всё сам.

Не стал ни отмахиваться, ни брыкаться. Двое накачанных явно в спортзалах (не мужиков, но и не забритых по мобилизации), бойцовски накачанных, ко всему и вся равнодушных молодчиков простили спящего (или притворно спящего) сначала по цементному полу, затем по таким же ступенькам, чтобы усадить в особой комнате перед ещё более равнодушным (или притворно равнодушным, какое кому дело?) инспектором. Курирующим город и все в нём инциденты. У обоих волокущих, чего не мог видеть Постриг, чёрные маски закрывали до глаз практически всё. У инспектора маска имела ещё и клапан сбоку.

Приволоченный и усаженный продолжал спать с открытыми глазами. Обычно дрых он при любых условиях, без каких-либо картинок (и задних ног). В общежитии Саратовского лётного, на сеновале в Подгорах, с Катей в пещерах, даже на туда-сюда переплывах, даже четырёх-пятибалльный шторм самой опасной ночи домой из Финдыклы не мешал сну-забытью, контролируемой отключке и всему такому, даже настигающие видения не мешали, но то было явное сверхбодрствование, а сейчас, пока его несли-усаживали цепных два сна успели-таки просклизнуть.

В одном изгибала широченного разлива река, вроде бы Волга, но чем-то и Миссисипи (никогда, впрочем, не виденная). Река, утыканная разбродом льдинок, шугой. С каждой на каждую там прыгал некто, напоминавший его школьного кореша Игоря Старухина, Григоря, чье лицо менялось от бутуз-щекастика до красавца-викинга (в которого бутуз и обещал преобразиться надолго, навсегда, за которым увязывались кучки, стайки тайных и явных поклонниц, а он лишь стойчески скромно лыбился — и это притягивало куда сильнее).

Рук у Игоря было то ли две, то ли восемь, он ими вращал, будто взлетая, будто не один. А был один. Сквозь этот сон быстро-быстро брезжил другой: шумный водопад, типа вновь никогда не виденной Ниагары, по её хлещущему «занавесу» сплавлялся (вися, впрочем, на месте) парень вовсе неизвестный, он держал водопад спиной, наподобие атланта и воинственно его перекрикивал. Но лицо псевдоатланта было скрыто брызгами. Эти два сна-полусна шли друг сквозь друга, и лишь топот удалившихся сотрудников вроде бы пресёк вакханалию. Но её тени ещё гуляли по углам потолка особой комнаты.

— Отличная работа, — инспектор, сидящий напротив Пострига, попеременно тёр и рассматривал на просвет советскую паспортина и green cart. Да и вы сохранились, Виктор Ильич, как в анабиозе! С 74-го! Средством не поделитесь?

Сарказм инспектора венчал за его спиной средних размеров фотопортрет в рамке, очевидно главы ведомства, чьи стиснутые губы и презрительно-медовый взгляд смутили — не Брежнев. Новая власть?! Или розыгрыш всё того же сна?

Над портретом шебуршилась оса. Не замечающая инспектора, который продолжил:

— Как пересекли границу? Где?

— Морем, — Постриг ос боялся больше, чем допроса, — на лодке.

— На подводной? — подзудил инспектор.

— Резиновой.

— Резиновый у нас ёжик. С дырочкой в правом боку. Или в левом?

— Лодку пришлось бросить. В спасательном поясе, теченьем вынесло.

— И прямо к нам?

— Товарищ полковник, у меня сообщение...

— ...откуда известно, что я полковник, может, генерал-полковник?

— ...сообщение, — перебил Постриг, — точнее, предложение

— Мне интереснее, какое у вас задание.

— Хочу служить в органах. Агентом.

— 48 лет ждали, а теперь агент. Зачем агенту раритетных ксины? Особенно, советская, — теперь оса шебуршилась прямо над головой инспектора.

— Я ищу жену...

— ...Агентом чьим?

— Вашим. В Штатах. Откуда приплыл. Через Турцию.

— То есть, мы должны заслать вас в Штаты. С женой? Или жену отдельно?

— Я оставил её на теплоходе, прыгая в море, чтобы доплыть до Турции, затем попасть в ЦРУ, доказав свои агентурные способности...

— ...доказав кому?..

— Органам! Я год прожил в Нью-Йорке, даже получал от Пентагона предложение консультировать о наших ВВС.

— Виктор Ильич, вы координатор беспорядков, нам всё известно. Документы фальшивые. Диссиденты, которые вплавь — прошлый век. У вас задание скоординировать беспорядки по всей стране. Добровольное признание, ну, и т.д.

— Мне, — Постриг окончательно пришел в себя, — скрывать нечего. Найдя собственную квартиру опечатанной, понял, что или вы арестовали Катю, или она успела скрыться, только госбезопасность (в любом случае) способна её мне вернуть. Я смогу быть полезен в Штатах, засыпать не надо, маршрут проверен, полезен как двойной, а в действительности — только наш агент, вы же вернёте (или отыщете) Катю? Это просьба, единственная. Могу и отсидеть, сколько надо.

— Давайте так, — «разоблачённый» полковник в штатском придинул подготовленные три листа и шариковую ручку, — адреса, явки, через какие соцсети связь (сложится, мы и текст для ТВ писать не станем, вы очень убедительны сами по себе)...

— Какие беспорядки? Я несколько часов как с поезда Ростов-Новосибирск. Госбезопасность может всё. Пусть Катя у вас, я должен знать где, что с ней.

— Катю менять на какие будущие сведения? — инспектор на смешливо подобрел. — Кто их вам предоставит? Русская община разрозненна, мы в курсе без вас. Что ещё?

— Я там проходил полиграф, меня знают в первой и второй волнах эмиграции, община Лос-Анджелеса знает, дочка Толстого, знает Пентагон, я даже начинал учиться управлению F-16 на стенде, предлагали работу!..

— И отказались? Ай-яй-яй, Вик Ильич, шанс-то был!

— Быть наших летчиков описать, привычки, слабости, но я и этого не стал...

— Ништяк легенда, — словцо их общей с Постригом юности выскочило неожиданно для самого полковника (оса сделала третью попытку взобраться на его переносицу, чтобы поскрести по мор-

щинам уносящегося в неведомые карьерные выси загорелого лба, хотя пенсионный возраст не обещал даже генерал-майора), — но есть проколы: F-16 — позапрошлый век, за штурвал Стеллс вам сесть не дадут (вдруг и впрямь наш агент?), все дочери Толстого мертвы (младшую включая), а вот в качестве координатора мятежа работа — самое оно. Почему бы вам им не стать?

— Мятежа? Здесь?!

— ...явки, шифровальные коды, пароли аккаунтов, — голос набрал вкрадчивые обертоны, — кто возглавляет, спонсоры (не надо плыть, договоримся на берегу) организации. Сетевой, с которой связаны. Американец вы наш...

— Я действительно американец — вот же документ!

— Липа.

— Отправьте на экспертизу в Москву!

— Для вас, Вик Ильич, Москва — это я. Даю (он предельно понизил голос) минут... десять. Послезавтра по любому всё зачистим. Сократите число жертв до... скажем, ядра этой заразы. Десять, — он положил на стол чёрный типа блокнотика предмет, нажав на него раза три. Блокнотик разноцветно вспыхнул и затикал.

В голове потрескивало. Оса, отогнанная мучителем, теперь ползала по его, Пострига извилинам. Аккаунт — это что? Коды?! Шифры?! Сон (бред) чересчур плотен. Лица, лица мелькали с обратной стороны глазного яблока — любые, виденные, не виденные никогда, искрой, скрыться некуда — столько лиц. Кроме Катиного. Катя не всплывала. И мать больше не увижу. Отец панически боялся даже простуды — первый же инфаркт — всё. А если Катя сбежала? К родне в Усть-Илимске. К родителям в деревню — возьмут сразу. Кроме этого кита-кашалота кто поможет?

— Ладно, — изобразил колебания, — пишите. Куратор ЦРУ Чейз лично меня готовил. Через человека в аппарате ЦК (вероятно, звено передаточное) обещали назвать местного активиста. Но я пришёл к вам.

— ЦК? — ехидно прищурился инспектор, отогнавший, наконец, осу, — вот как?

— Сначала Катя. В этой стране любого найти можете лишь вы.

— В «этой»? — издевательски проехался полковник, — Может, «в нашей»?

— В «вашей»? — осмелел Постриг, скользя по стеклу портрета с медовыми глазами.

Медовые глаза гласили: зачем нам после меня этот мир?

— Жизней, — процедил куратор, — жизней сколько завтра ляжет, подсказать?

— Из-за несогласия себя оговорить?

— Встаём.

Постриг, помедлив секунду-другую, встал.

— С каким заданием приплыли? На меня смотреть!!!

Перед вставшим клубился уже не высоколобый инспектор, а вышибала, в свитерке, типа водолазки, помельче, привыкший к вихрю оглядок. — На меня, сука!!!

Пострига окатили ведром остро пахнущей воды.

— Согласны? Десять минут истекли...

В сон клонило уже самого полковника.

— На меня смотреть!!! — встярхнул мокрого Пострига шибзик-опер, обойдя стол, ещё не переживший все эпохи. — Будешь нары вспоминать, как рай. За-да-ние!!!

— Увести, — полковнику резко захотелось на улицу, в народ, затеряться, выпить газировки, без сиропа или с двойным, апельсиновым, — уведите уже этого...

— Задание!!! — ревел сквозь этот броунов карнавал, отстёгивая кобуру, свитерочек с Леонидом Ильичём (вместо лысоватого с медово-рыбными глазами) на той же стене.

— Увести.

— Задание!!!

— Увести.

— Задание!!!

Пострига могли бить, обливать из ведра, топтать, мять, завязывать морским узлом — он стоял, тупо стоял и лежал в подвале, не помня, как попал сюда, как его несли дюжие молодцы, как вновь поднимали с нар, в двух явственных временах. Ничего не чувствуя — как на отцовских похоронах (которые не застал). Или на своих. Только вмешаться в них нечем. Всё вижу — и всё мимо. Есть я, нет меня. Это уже не смерть.

А тогда что?

XX

Жажда, возникшая в ходе ненужного, идиотского допроса, была не просто жаждой. Это была жажда летом газировки. С двойным сиропом. Почти на каждом углу Валерьянова стояли храмины этой

всегда холодной, чуть ли не ледяной газировки, с вдавленным обширным входом, обязательным стаканом (и ведь никто не крал, так, побаловаться разве). Вот всего этого и захотелось.

Присланный курировать ситуацию с полыхавшей искрой мятежа, полковник передвигался пешком. По своему родному, потом брошенному и, казалось, совсем забытому Валерьяннову (которому после неудачного путча на заре новых времён вернули его исконное имя Сечинск), где неожиданно заварилось нечто вроде очагов сепаратизма не чисто местного, а и соседних Татарии, Башкирии, Оренбуржья и Саратова. Его, Ивана Арсеньевича Соустина (кто ж лучше уроженца разберётся в обстановке) и прислали — для решений, возможно, твёрдых и крутых.

Соустин держал в уме две версии: его прислали, чтобы в точный момент пресечь всякую заразу, но сливки с решения всё равно снимет Москва, по второму варианту его сделают крайним за провал операции (которую завершат одним ударом, типа ковровой бомбардировки), от него, такой двухходовкой решено избавиться, засиделся, перспектив по службе ноль, за спиной, практически никого.

Допрос вымотал необязательностью, наконец, духотой. Верить, что этот «из Штатов» ради своей пассивии будто бы переплыл Чёрное море, тайно (без ведома ЦРУ!), явился — ага! — с повинной, чтобы ему разыскали «жену». Вы же ведь её и взяли? А если сбежала от задержания, причиной всё равно вы? «Готов исполнить любое задание родины!». Родина тебя только и заждалась. Насмотрелся шпионской туфты (её сейчас щедро гоняют по всем каналам)? Но зачем паспорт из 70-х? Кем заслан? Почему сейчас? Москва требовала: применять силу против массы (может, и управляемой), только при крайней необходимости. Минимизируя пропагандистский эффект и пример для недовольных (число которых ширилось неравномерно, с оглядкой на сечинцев). Сведения от информаторов не давали пока оснований для удара. И тут этот... Ещё и масочный режим (Соустин маску срывал по выходу из управления), соблюдаемый не всеми, вон сколько их гуляют с незакрытыми ртами!

Похватаны все более-менее активные крикуны, разогнаны местная ЭхоМ и бывшая партийная, ныне губернская газета, но после каждого хватания активность росла по экспоненте. КПП задерживала на трассах всё, что пульсировало, но просачивались, как сквозь кусты. Не помогли облавы, отключка Интернета — хитрый Маск,

заигрывая с Кремлём, нагнал тучу спутников, хоть прикурирай от бесплатной раздачи. Группа «Ипсilon» маялась в повышенной готовности почти неделю, резались на биллиарде, правда, без экспессов, на бухло запрет.

Курорт, Швейцария. Но где отмашка? «Не время». Если не время, зачем я здесь?

Он уже понял (а должен бы догадаться с первого взгляда на забитую два дня тому перед резиденцией губернатора площадь вокруг обелиска «с гусём»), что «космонавты» не справятся. Только армия. С полной выкладкой.

Ещё в Академии Соустина за глаза сокурсники прозвали «Джон» — даром, что Иван. Иван, да не наш. Солидность, выправка, мгновенная реакция (первый разряд по шахматам), казалось, далеко пойдет, но самоназывание упёрлось в потолок — он теперь полковник пожизненно. С издержками, которые на него же и спишут. Кровь, прежде всего. Быть может, нарочно, давая движению разбухнуть, а и ударить, никого не щадя. До какого разбухнуть? Тысяч 150–200 (с учётом ротации) ничего не боялись. Информаторы так и не выявили ядро зачинщиков, лохи (лохи повсеместно и по всем отраслям — и ведь будет хуже. Страна дилетантов. Яма дилетантов).

Зачем ты здесь, в городе, откуда после армии сбежал, сбежал от черепашьего ритма и пьяных рыбалок, от говора татарско-деревенского (гласные выпаривались, а по согласным будто кулак стучал), от развалюх со ставнями, достающими до тротуаров, от всего этого тления непролазных четырехсот с копейками лет!

Полиция — молодая (в основном), и часть неувольняемых «пивных животов» — явно симпатизировала плакатикам и кричалкам «Я/ Мы Колчагин», отчего ж нет? Её уважали. Преступность едва ли не смыло (кроме бытовой). Спелись, что называется, с народом. Так вот и мрут государства (довольно прикормить — и споются свой своему). Какой ещё народ? Аналогов нам — «ни в море, ни на суше». Царскую семью в Ипатьевском кто-нибудь защитил? Отбивал с оружием? «Наро-о-о-д»!.. Не надо грязи — залп-другой, как в Новочеркасске — и муха не пролетит.

Но что-то ведь и треснуло. Губернатора в окружении пары соратников по благоустройству гуляющего без охраны синим вечерком на глазах у пенсионеров и обгоняющих друг дружку на скутерах с чередой огоньков меж колёсами заснули в «Audi» с тонированными стеклами. Слух, что местного любимца упекли «за всё хо-

рошее» достиг окраин со скоростью пандемии. — с нею же в резонансе. Площадь перед резиденцией, прилегающие Замайская (вплоть до Верхней и Нижней Луговых), Ильичёвская, а также имени революционера Лактионова по периметру и на подступах запрудило, будто по свистку сарафанного радио.

Пить, пить хотелось ото всего — и от вариантов тупика, от расуждений же, особенно. Пиджака не снимал. Вычислить присланного ничего бы не стоило, а он и не скрывался, нарушая все протоколы.

Из окон резиденции, со всех этажей размахивали не триколорами, а флагами с гербом региона (козёл на фоне Жигулевской луки). Менты именно машущих (от кого, пока неясно, и по чьему приказу) охраняли.

Навскидку (если вообразить себя дроном) людей могло встать и до 200 тысяч.

«Ипсилон», оценив обстановку, может и отстраниться (как было с «Альфой» в 91-м). Эти учли киевский опыт — зараза на слабом ветру чувствовала себя по-хозяйски, навороченные столбами покрышки подтверждали готовность к задымлению и феерии коктейлей Молотова. Полиция либо сдаст оружие и вольётся, либо....

Мысли путались. Откуда у «языка», пришедший «сдаваться в обмен за девушку-жену», столь искусно подделанная американская ретро-ксива — в придачу к новенькой (!) советской? Говорил же я на совещании: лучше не трогать этот улей, лучше отдать Колчагина, извиниться, свалить всё на самоуправство средних чинов!

И когда жажда стала совсем непереносимой, на углу Замайской и Ярмарочного спуска увидел газировочную молельню. Ту самую, детскую. С гранёным внутри сторожем-стаканом! И ещё, ещё две — метрах в тридцати — по обе стороны. А на противоположной же стороне... будку... телефонная, с покосившейся дверцей!

Может, перегрелся? Но и уродливые многоэтажки (точечную застройку губер- популист не сумел прекратить), и новодел в золоте над спуском к Волге стоят, как стояли. Пей не хочу! Звони, хватило бы «двшек». А четвёртый угол перекрёстка занимала не что-нибудь, а бочка с квасом (словно бы на гаубичной платформе)! За ней вилась очередь... с бидонами!!! Теми самыми, в которых раньше отпускали молоко. Только не было никакой границы меж «раньше» и «сейчас». Часть людей стояла в цивильных шортах (всех цветов), другая (бессистемно) — в невзрачном совсем по-советски (может, винтаж?) ширпотребе (откуда слово-то всплыло?). Мимо шуршали

белые хэтчбэки, Toyota и Reno современных номеров, уютно вклинивались и «Волги» с оленем на капоте (номера уже исчезнувшие, ВША!), дополненные боковой хромированной линией, и «Москви-чи» позабытых моделей свеженького вида, и почему-то именно первые «Жигули», неотличимые от «Фиата» (собственно, это и был Fiat начала 60-х, переведённый на кириллицу).

Жестяные таблички без российского флагочка с цифрами региона чувствовали себя вполне, и весь, казалось, смытый в Лету автопарк уверенно шаркал, тормозя и стартуя, словно и светофоры были у них только для себя, с чужими не смешиваясь.

Полковник нажал на «С двойным сиропом», стукнув что есть силы по туше агрегата с надписью ЗиМ. Автомат поерепенился, но сработал, без монет. Затем Соустин дивясь самому себе, попросил у одного из толпы с бидонами (клёш и засаленная майка «прощай, молодость») двушку. Тот, не глядя на просившего, пошарив, дал три. Для полноты картины требовалось звякнуть Галине, Галке, от которой сбежал в Москву перед Олимпиадой. Номер помнился (все, хоть раз употреблённые, носились в голове, как спутники перед падением в плотные слои атмосферы).

«Номер не зарегистрирован, — пропело приятное контральто, — наберите префикс».

Зарядка 5%. PowerPoint забыт в гостинице (до электричества розданного со спутника Маск не додумался, «гений», тоже мне...).

Операцию начать немедленно. Максимум сутки на готовность, оцепить Росгвардии центр. С 8 вечера комендантский час. Отмена жд-сообщения. И авиа тоже.

А если этот (с полуоткрытым ртом) Ромео и впрямь провокация кротов из АП, чтобы направить по ложным следам? Ксила качества явно мэйд ин...

Любой исход операции — мне конец.

Ох, прижало! На что надеяешься: разорвут, в пыль. Но что могу? Я, игемон-куратор!

Вторая очередь набережной от Нижней Луговой сменялась уже третьей. Масса — кто в «капри», кто в разноцветных майках и кроссовках, стайкой или поодиночке спешащая к реке, не пересекаясь с озабоченными (хотя и весело, с не меньшим оживлением) группками, курсом явно к площади перед резиденцией увезённого в неизвестность Колчагина (где и без них было не протолкнуться, но это никого не заботило). Места чудесным образом хватало и тем, и другим.

Набережная была местом фестиваля в честь основания Сечинска, якобы в честь. Колчагин приурочил его к празднованию Дня Москвы (обе даты падали на первые числа сентября, обе условны), главной мыслью градоначальника было польстить верховным властям, дескать, мы даже родились в один день со столицей, мы исторически спаяны, никаких сепаратистских позывов — но и это не спасло, лишь усилило подозрительность к народолюбцу, слишком перспективен. И недаром из окон взятого митингующими здания развивались флаги не только старого Сечинска, жовто-блакитные пропоры, и с грузинским крестом, и молдавские, и беларусские тут как тут, примазались и казахстанцы — все рьяно болели за успех бунтарей.

Дойдя до штанг, огораживающих карнавальное пространство, Соустин ощутил холодок беспомощности от уже более часа молчавшего телефона.

Он влился в толпу «других». Дети на электросамокатах, очкастые студенты, «качки» лавирующие на «третьей скорости» скутеров (самокатчики ещё и подпрыгивали, как и отдельные, на «винтажных» скейтах или роликах), юные семьи («мелкие» на шеях у пап вида вполне подросткового), щебечущий девичник с мороженым или воздушными шариками (похожих на гигантские плюшки розовых сердечек), их непременный матерок (при парнях или без) никого здесь не смущал, а ты вздрагиваешь по привычке; белые шатры с подиумом для оркестра на пляжных настилах (любил танцевать — вдвоём, или что-то испанское импровизируя), отовсюду с немалым вкусом аранжированная советская и свеженькая, 90-х, попса, даже некоторые из её молодящихся ветеранов устраивали что-то показное бальное, им аплодировали, собравшись кружком.

Попадались и совсем-совсем «неотсюда» вкрапления, (как те же газированные автоматы из эпохи квасных бочек с очередями). Одного «уклада» с тем, кто подарил «двушки», эти со следами несмыываемого угрюмства столь же добродушно сновали меж ярко и разнообразно одетых «новых горожан» (забывших кому наследовали, да и вряд ли себя ощущавших «новыми»), без любопытства и ужаса, входя в праздник, словно тупой нож в подтаявшее масло, словно бы не было их самих, а не всей этой мотыльковой разноголосицы. Тысяч, может, сто, а то и избытком (если взглянуть с квадрокоптера). При том, что совсем рядом завтра (неровен час, и сегодня) прольется кровь (если не уже пролилась). Ситуация достигла

«площадки текучести» (въелось из сопромата, хотя, можно сказать, гуманитарий), но впереди кровь. Разгром. Патрули. Не рыпаться. Лицом к стене. Хряск давленных гаджетов.

Рядом же, ничегошеньки не замечая будет похаживать юная толпа (юная — всех возрастов), тусоваться, танцуя-виляя нечто среднее меж самбой и танго — без кокошников, но всё по-русски! Или это вот всё, что по-русски мы ещё можем?

А кому в жилу самовыражаться, но с перпендикулярным безвыходом, начнут кидать «коктейли»? Обматываться полотнищем, «креативить» плакатики?

Примеры «бархатных» и «цветных» не в корм, а вдруг «да»? Зерна-то шевелятся. Но и тех, кому на всё это никак, больше не станет. Никогда! У нас — никогда. Кто ж эти гордые собой «мы»? Всё равно «мы», «наше» всё равно, почему? А ты, ты кому свой? Или оценщик, труп среди живых? Труп, упёршийся в карьерный потолок?

Спутниковый аппарат (новейшая разработка, тяжеловат) чтобы раскрыть он искал уголок поукромнее, он был под боком — темистая лестница чуть выше набережной, на старых, крошащихся ступеньках (губернские службы до реновации не добрались), целоваться вот где было б здорово! Пахнет развалинами (часть ступенек под железной окантовкой западала подобно клавишам). С Галей бродили как-то по Строгановскому (названному в честь известного графа, он здесь пользовал недуги кумысом), всё «культурно» — скамеек (волной), затейливые фонари, гrot...

Сбежал, чтоб сейчас ныло! Тесный коридор — липы, ракиты, кусты? (Всё забыл, всё.)

— Ситуация угрожающая, — бросил в трубку, с нажимом.

На том конце не удивились.

— Уверены?

— Нужны полномочия, или опоздаем. возможны сотни жертв (если скромно считать) — с нашей же стороны я не допущу никаких. Гарантия.

Мимо пропрыгала пара — пожилых-не пожилых? — рука в руке. На секунду посмотрел вслед, с завистью и насмешкой.

— В чём гарантия? — в тон ему и невозмутимо, — письменный приказ исключён.

— Письменного не прошу. Я знаю город (вы ж не зря выбрали меня?), есть версии, кто за всем стоит, из местных, есть и выше.

— Выше?! — в трубке напряглись.
— Я не исключаю прослушки.
— Линия защищена, говорите!
— Подтвердите устно, — он растянул по слогам, — пол-но-мо-
чи-я.
— Диктаторские? — иронии в голосе не было.
— Почти, — он перехватил манеру. — Войска округа, оба спец-
наза и Росгвардия. Командование должно быть единым. Людей ту-
ча, наши прикидки ошиблись.
— Сколько?
— Число растёт. Виноват в том, что потребовать должен был
позвавчера.
— Догадываетесь, *кто* решает?
— Резиденция под контролем толп. С оружием (самопальным,
а чём чёрт не шутит, и штатным) у них не будет проблем. Сочувст-
вующих масса (не только татары). Сеть верните (с провайдерами).
Так мы быстрее отловим подполье.
— Отвечаете головой, вам понятно?
— Если захват продержится сутки, да что сутки — полтора ча-
са! — сколько ни совещайтесь, *** с моей головой! Есть план —
вообще без крови. Подробностей не даю — наверху крот (или не-
сколько, выявите позже). Любой значок, любая криптограмма (что-
бы не догадались — да или нет). 30 минут. В зависимости от време-
ни поступления сигнала пойму, «нет» или «добро». До условлен-
ного срока или с задержкой, — вновь пробросил без интона-
ции, — на связи. 12.07. Придёт до 12.37 — отказ (есть план и на от-
каз). Позже... ну, держитесь тогда.

И двинулся к запруженной площади. Вслушиваясь в штиль
«спутникового».

XXI

Забывается всё, лишь тебе не дано забываться. Нет, не так,
приедается... И не «забываться», другой глагол — Шибаев бы уточ-
нил. Где обретаешься, Лексей Лексеич? Всё забыл. А с Галей связан-
ное, забыл сознательно.

Кроме искры знакомства.

Накануне осеннего призыва они с приятелем (позабытым то-
же) стояли в очереди внизу Строгановского к лодочкам-качелям.
Очередь топталась, хотя и не напирали. Вдруг Соустин ощущил спи-

ной горячее прикосновение. Повернувшись, наткнулся на смешок (если не хмык). Перед ним извинялись (надавили сзади). Умное (женски умное) и даже чуть нездешнее (так показалось: лица хорошеньких местных, валерьяновских — слава об их сравнительной красоте разделяла первые два места с ростовчанками — почему-то не врубалась) лицо его смущило, но когда очередь подошла, приятель успел ступить в качелинку, где второе место занял впереди них стоящий, и разлученный Иван, определяя с кем ступить в свободную, инстинктивно подал руку той, что извинилась за грудь к спине, так они, то и дело взлетая на тросах к небу, попали в одну лодку.

25-я минута истекла, молчал спутниковый.

... лодку...

А была ведь ещё лодка, взятая напрокат, не совсем до той стороны. Один из разбросанных вдоль Жигулёвской излуки островов их ждал. С костерком, для которого сгодился хворост, горевший слабо, но дымно. Без ночёвки, разумеется. Зато можно было с разбега проехаться животом по горячему песку — ласточками. Две ласточки, последний волжский зной — за недели полторы до его сбров. А Галя только-только вернулась из Москвы, где закончила режиссуру при Вахтанговском — заочную (в Соустине заочное обучение театру не укладывалось, но живут же люди!). Никуда из Валерьянова не хотела, устройство на ТВ, ездить по командировкам разве мало? Соустина же держала цель: после дембеля прощай, «немытый» город!

Она и не пыталась отговаривать. Отговаривало само произношение, с налётом южного, может и Ставропольщины, или ещё южнее. Что-то гордое, казачье в повадках, в прямоте, несмотря на близким-близкое тепло. Несмотря на уступчивую, едва ли не материнскую, опеку-лидерство. Соустин, ровным счетом тогда ни в женской психологии, ни в психологии вообще не догонял. Не пытался догнать.

Главное (в чем признаваться сам себе не хотел): ровней он себя Галке не чувствовал. Ни по интеллекту, ни просто по интересам. Его влекла разведка, её — сцена, стихи, компании (раза два брала с собой в актёрско-художническую тусовку, все запанибрата, но тарелка-то чужая). Разница у них меньше двух лет, а столько всего прочла, в стольком разбирается, с чего ты взял, что ей нужен? Трусость перед любовью и трусость отвлечённая, трусость просто — где меж них грань?

Выкинулась из памяти армейская двухлетка вместе с Галкиными письмами, согревающе-отчуждёнными (классификация была

защитной работой его мозга), и, наконец, расставание (после службы заехал навестить мать — накануне вступительных в академию, позвонил привычки ради, загадав: будут глаза лучиться той же тёплой насмешливостью, как тогда в Строгановском, будет ли *первый раз* вновь, значит, судьба пожениться — или ничего. Видимо, втайне этого *ничего* и ожидая. Чтобы не помнить, затоптать окурком, чтобы ничего-ничего.

Разве от неё такое укроешь?

Поцеловала, будто извиняясь за то, начальное касание — сколько ж можно? Уголками губ накрыв левый уголок его, готовых раскрыться. Но — смазалось. Это и было бегством. Как стало ясно с предельной широтой сегодня — безостановочным. Его бегством. Непризнаваемо-непризнаваемым — и вот на тебе. Зачем звонил (попытался)? По несуществующему номеру. По мёртвому навсегда. Как говорят украинцы, *понадусе*. Будто бы что-то решалось именно звонком. Этим звонком. Будто не только во вспыхнувшем Сечинск, где временно задавят, зальют свинцом и бетоном, кругами — сначала в образе вторжения (полномасштабного) на бывшие задворки бывшей Империи, расчехлённой в своих шипах и ядах, затем — кругами же — по всей Ойкумене, другого, мы (страна-война, страна-убеждённая война и выживальщица) не просто не умеем (умеем, да ещё как! — но импульсно, собранные в кулак, в миг — и тут же махнув на всё: да гори оно!).

Почему в самый-самый решающий не миг даже — пред-миг вместо мыслей о любимой жене, о друге (кто в этой роли один? — мать убеждённо считала, что и жена, и друг — выдерживают лишь единственное число), почему не на них зацикливаюсь, когда над всеми, не только надо мной *нависло* думать мне, идиоту, выпало про эту сильную в себе и странную девочку-женщину, в чём-то повелительницу, как всё ясней с годами чувствуется — балансом характера и верности семейной? Ведь и вернуться можно лишь туда, откуда не уезжал. Где тебя много-много (вокруг и, особенно, внутри). Даже прощения не прося. Ведь она (ты) простила бы любую вину. *Значит, нету вины. А иначе б меня ты простила.*

Как в воздухе пронеслось. Вот, что больно.

Звякнул таймер 30-й минуты.

И он увидел сообщение. Пустое.

Никаких значков.

Это и значило. На прицеле вы и только вы.

XXII

Ни «да» ни «нет». Или оба сразу. Оставили себе право карать за любой исход.

Префикс, префикс — продолжало буравить мозг. Да это ж код региона. 846, вряд ли менялся. Какой же ты лох! — шестизначные номера давно исчезли, какая-то цифра должна быть впереди шести. Какая? Двойка?

Одна из будок автомата с полураспахнутой дверью ждала на углу Замайской и Чкалова. Не переставая одной половиной мозга повторять намеченный порядок действий с мятежниками, полковник другой уже вставлял двушку в прорезь висящего в будке аппарата. Набирая номер с двойкой впереди.

На пятом гудке хмурый, какой-то скомканный голос, привыкший командовать и заранее всем недовольный, выждал столь же хмурую паузу.

— Галину? — переспрашивая, когда Соустин представился однокурсником, в командировке, — опоздали. Её уже четыре года, как нет. Да не за что. Всего доброго.

Узнавая о чьей-то смерти, особенно, близкого, немного умираешь сам. Или сильно, как сейчас. Всё непрожитое, несвершённое, давит и давит. Ведь ничего же и не было!

А могло?

Ему контузило вторую, правую половину мозга и чуть ли не всю правую половину тела, но порядок действия раскручивался также неумолимо.

Итак. Дезорганизация. Которую надо возглавить. Ради чего? Умри вопрос.

Почти соннамбулой дошёл до уже засевшей в печёнках площади перед резиденцией арестованного символа собравшихся.

Лидеров не просматривалось, и всё же зорко глаз (возле возведения напротив ступенек входа, где у микрофона сменялись то возбуждённые, то декламирующие что-то вроде агиток, средних лет и помоложе активисты) выделил пару-тройку лиц с печатью вовлечённости в план, в некие как бы штабные игры, и это были не подчиненные ему осведомители, а способные сыграть вне правил.

Мужчина, харизматик, возможно, из десантуры, не офицерского, скорее, старшинского типа, но уже не советского старшины, а из разряда «солдат удачи», в котором турецко-египетский

загар накладывался на чисто здешнее упорство, лёгким (осколочным) взглядом уцепил Соустина раньше, чем тот развернул корочки.

Лицо Соустина обычно с гэбнёй не идентифировалось — удлинённый овал, чуть скептические носогубные складки, обаяние некоей даже спеси, но в рамках, оно могло принадлежать и дирижёру, и бизнесмену (если не олигарху).

Начал без артподготовки (не убирая удостоверение в левый внутренний пиджака).

— Да, для вас я Контора. Но придётся поверить...

«Десантник» продолжал поощрительно сиять.

...Время истекло минут... не важно, сколько тому. Для Центра я командую операцией по зачистке — полной! — не считаясь с потерями, — полковник повёл не рукой, подбородком, как бы вбирая тысячи тысяч стоящих, — я обещал (он впрямь волновался) минимизировать кровь. Обещал, что с «нашой» стороны её не будет. Но теперь «наша», то есть моя — вы все. Иван. Иван Арсентьевич.

— Юрий, — «десантник» протянул не ладонь, лапищу. Он был без маски. Его нейронная сеть отсекла все версии, кроме прямой: «этот» не врёт.

Сам ли сложился пазл, сколько всего понадобилось для сгущения диагноза, как вообще всё понеслось вразнос, не просто в разнос, а по накатанной, — он и спустя месяц с небольшим в одиночке, ожидая объявление смертной казни, так и не восстановит, шевеля варианты в обритой, высушенной голове. Он знал, и не знал сразу, slitno, что карт-бланш по спутниковому липовый, отвлекающий, город оцеплен, уже орудуют отморозки спецгрупп, вышвыривая из больниц даже лежачих (коек для раненых не хватит — да и кто заботится о раненых?), что из подвала УФСБ также вышвырнут и «бомж-американец», при допросе умолявший найти его жену в обмен (важнее ничего нет, правда?) на работу агентом не где-нибудь, в самой Америке! И оцепление вот-вот возьмёт в клещи бурлящую сердцевину.

...Если эти вот радостные десятки тысяч разойдутся, испарятся — их вычислят, отловят по камерам распознавания лиц — выход один: биться. Полиция даст бронежилеты, остальное добудем. Кто не чувствует в себе силы, свободны.

«Я — полковник ФСБ Соустин, под моим началом спецподразделение, которое должно подавить вас любыми средствами, жертвы

считать не будут! Как в Чечне. Я предлагаю: это не государство, его не должно быть и сейчас вы, от кого не ждали (я сам здешний уроженец) — столица сопротивления, столица будущей победы, победы силовой — потому что губернатора миром не вернуть, переговоры для них — наша слабость. Удастся нам — вспыхнет полстраны.

Спортсмены, «афганцы», прошедшие Кавказ — каждый во главе своей «сотни». Общаемся по Сети. Резиденция — мишень для десанта, оставаться в ней нельзя. Кто знает ближайшую воинскую часть, возьмём, что нужно, у меня полномочия».

Никто не кричал ему «Провокатор!», ноль ропота, слышавшие — вплоть до смотровой площадки в одну сторону и до трамвайной линии в другую, до Ильичёвской и обеих Луговых, то есть на все четыре вектора, стихли. Это длилось вечность, вечность каких-то секунд. Или вообще другого измерения.

Плац перед резиденцией опустел. Ещё не все халупы с деревянным верхом, не все затрапезные дворики (в тени двадцатиэтажек) были сметены плановым ураганом, не разворочены под котлован подполы, не сдвинуты крышки коллекторов, но столько исчезнувшего народа им не вместить. Прочёсанная дронами, округа безмолвствовала. Медлила, оставаясь на взводе, группа «Ипсилон». Ближайший арсенал располагался рядом с также бастующим пивзаводом. Сотен сколотилось несколько дюжин, три самых активных смяли охрану склада, разбирая калаши, гранаты, броники (на кого хватило). Скоординированные хакеры взломали контур связи войск (медленно подбиравшихся к резиденции, а также действующего автономно штаба — то есть, параллельно ему, липовому координатору). Часть не экипированных активистов рассосалась в гуще празднующих День основания Сечинска — осью фестиваля была конная статуя у выхода с Нижней Луговой: князь Сечин, со штандартом, основатель крепости, отлитый по проекту Захарьяна-младшего, чей отец приятельствовал с одним из друзей Пострига, которого полковнику так и не удалось привлечь на роль «организатора беспорядков», а потому не до тебя, мужик, радуйся — и вместе с другими вышвырнутый из подвала на Хлебной, узнавая и не узнавая привычных улиц, шёл как неопохмелённый, безо всякого навигатора, замечая одиночек и стайки жителей двух эпох, а также ничуть не стыкуемые с небоскрёбами квасные бочки, самокаты новейшего типа, рыдваны первых «Жигулей», весь хоровод времён сквозь времена, где никто никому не мешает, и не нужен, как и он сам — не нужный, и не мешающий.

И на этой-то звенящей ноте Соустин, тоже один, безмерно больше, чем один, а как бы один за всех спокойно дожидался людей в чёрных шлемах (похожих на байкерские, но грознее). Ждал как изваяние. Осанка, выправка, плечи, слишком цивильная для поздней жары одежда подчеркивали его статус и его бесстрашие.

К нему, под защитой нацеленных стволов приближался некто в штатском.

— Полковник... — но Соустин, игнорируя увертюру к предложению сдаться, не дал одному из главкарателей договорить:

— Начинайте. Люди отведены, я сделал всё обещанное.

XXIII

— Ну, куда ты мчишься, мама! Люди голосовали, там девочка с мальчиком — брат и сестра, наверное — давай возьмём!

— Лолка, — недовольно включилась женщина в спортивной одежде, — вечно твои взбрыки!

Но дала заднюю.

Это были Катя и Артём.

Открылись обе дверцы, и Катя уселась на свое обычное место, впереди, Артём, не здороваясь, рядом с дочерью той, что была за рулём. Он пристегнулся, подражая соседке, женщина сама пристегнула Катю, которая ещё ничего не успела осознать.

Если не думать, не заниматься безнадёжной тряской обоих мозгов (спинной включая), пусть будет сон. Сон, вставший лесом. Из которого выходы найдутся, как нашёлся этот. Может, в другой. Может, кроме снов на этой земле ничто уже не светит, но раз тебя подвозят, будь благодарна.

Хозяйка машины дала возможность возле себя привыкнуть к дороге, к то и дело торможениям из-за пробок, наконец, к соседству рядом с Артёмом года на два старше девочки, в креслище пристёгнутой серым эластичным ремнём и к её затейливо расписанной маске почти до самых глаз.

Маска матери чёрным уголком высовывалась из кармана блузки, простроченной зеленовато-золотой полоской. Возбуждение Кати усиливалось приборной панелью с экранчиком чуть правее руля, а та, что его не отпускала, выглядела героиней фильма с Вивьен Ли, если не американского про южан из Новой же Англии.

— Арина, — оценив успокоение попутчицы представилась деловитая владелица.

— Катя.

(Скажи: «Екатерина», самой бы стало смешно.)

— Вам куда?

— Остапенко, можно и не доезжая Луговой. В общем, как вам удобней.

— Я до рокады и налево, где Управленческий. В город лучше не соваться.

— А что там?

— Вы не местная?

— Валерьяновская, почему...

— Судя по возрасту, — голову Арина держала прямо, — это я родилась до переименования. Валерьянова тридцать лет как не существует, даже больше. Сечинск. Название вернули после путча.

— Путча? — Катя не уставала удивляться каждой мелочи мира, куда её забросила поисковая энергия сына, — это в Чили путч, а у нас... разве у нас возможно!?

— В Чили? Дай Бог нам жить, как чилийцы! У нас не путч — бойня, город зачистят, всё оцеплено. Жертв будет...

— Что вы такое... Какие жертвы? Кем оцеплено?!?! Мне же на работу... — у Кати не было сил кричать, сели связки.

— Серёж, — отвлеклась в наушник-прищепку, чуть отстающий от щеки на лишь ей слышный звонок, Арина, — заночуешь у своих, не ввязывайся, скан паспорта у меня, билеты забронированы, выбраться помогут. Да, завтра. Майору. КПП на углу Красногвардейской. Ну, где цирк. Он там один такой, глаза ореховые, как у Дон-Кихота (засмеялась). И рост соответствующий. Связь дали, продублируй ватсапом родительские паспорта. Люблю. Не лезь, слышишь? Ты где? Поняла. Да поняла я!

— На работу?! — Арина была насмешливо невозмутима. — Заводы бастуют. Даже оборонка. Торговые центры — на усмотрение хозяев. А вы не в торговом?

— Я в управлении, машинистка. В этом... в обкомовском.

— В министерстве? — Арина пыталась вернуть девушку хоть на какую-то землю, — министерства тоже. Лола, — она вывернула назад свободную руку в направлении коленок дочери, — перестань пинать моё сиденье!

— Министерства же в Москве!

— Теперь все министры. Культуры, торговли, соцзащиты (Катя, вы ж на деревенскую не похожи, да щас и деревень таких не осталось). Губернатор — вроде президента. Наш слишком популярный. За то и повинтили. Город, можно сказать, восстал. Он в блокаде. За бабло — выпускают (муж с его родителями завтра будет здесь, на даче. Обошлось знаете, во сколько? В треть этого джипа! А могло и в целый).

Любая новая подробность Катю добивала. И на лице это было написано.

— Может, вы откуда-то из Стругацких или Уэллса?

— ...говорить надо «Вэлса», мама! Или «Уоллса»...

— Хоть тебя учат на совесть, Лолка, прости безграмотную!

Девочка покосилась (будто бы только-только заметив) на притихшего Артёма, не дышавшего на всю эту через край новизну. Ей нравилось нравиться, хотя и надоело. Даже погода шептала, вызывала эту надоедливость — ни лета, ни осени, сплошное бабушкино солнце, по азимуту которого с закрытыми глазами доезжаешь до участка, огороженного коротко стрижеными высоченными кустами, Артём же усваивал всё на лету, но и он был заверчен (ладно, что не вверх ногами) всем увидено-услышанным, как бесперебойной волной подбрасывает (вместе с якорем) утлую посудину, буксир на приколе, вообще плавсредства. Не терпел кривляк и болтушек, а у Лолы (имя резало воображение, как пилкой по фарфору), манеры деловые, без кокетства, конечно же, он запал.

Но всё вокруг было несравненно интересней: писк при закрывании дверей машины, окна во весь этаж особняка, свет в прихожей включается, когда в неё входишь, вода из умывальника возле ванны течёт лишь при подставлении рук, несколько экранов — на стенах посреди залы, в кухне (почти под потолком) и в быстро вспыхнувшем с обратной стороны крышки плоского белого (или под сталь) ящика (слова «металлик» опять же не знал) — дочь хозяйки первым делом и занялась воспитанием неофита, на сумасшедшей скорости что-то выстукивая по клавишам, размером как раз с подушечки пальцев — картинки сменялись картинками...

Речь хозяйки выносila на его слух слов-находок неизвестно, хотя это как бы продолжала колею новизны, открытую находкой на дне свалки Ширяева сверкающей CESSNA, и парашюта в ней (зря мама заставила его бросить в сосняке), и прыжком

вниз головою под вспыхнувшим куполом. Этот вызывающе новый мир был ему гораздо более свой, чем школа, игры во дворе и пр ordinary детсад.

Арину же удивлённый испуг по-своему радовал тоже, её как будто прорвало, что бывает в тесных купе — Катя однажды в купе скорого Валерьянов-Ленинград чувствовала нечто схожее от вздрюченного соседа, который вывалил на неё и ещё двух пассажирок по-старше свою типичную (она догадалась) историю: ревновал жену в усмerte, следил, ничему не веря, пока не застал на улице за ручку с коллегой-сослуживцем, избил того в кровь, сломав нос и два ребра, вышел по амнистии, а жены и нет (к матери вернулась — чтобы его не видеть — на севера). Но Арина выговаривалась ей, будто подружке, не виденной класса с пятого (именно в пятом у Кати семья лучшей подруги переехала в Питер) теперь же вообще не до подруг, попала (с открытием кооперативов), на самое перспективное направление, в один из строительных, свой бизнес давно выше среднего (Катя вздрогнула от «вражьего» словечка «бизнес», таким же запретным, развратным ей представлялось в детстве слово «ресторан»). Строительство ширилось и при дефолте, и при кризисе нынешнем (ёкнуло и от слова «кризис», а «дефолт» улетело неразгаданным).

Лакомый (Арина подчеркнула) бизнес для разного силовичья, продавать его с мужем им вовсе не мечталось. Но судов-то нет, отобрать — раз плонуть! Антимонопольный закон? (Катя уже не спрашивала, что это). Демократия? Кому она сдалась? Сергей донатил всем, кто против системы способен самоорганизоваться (дай волю, он бы и с оружием пошёл, завтра увидишь революционера (на «ты» перешла незаметно). Активы (самые ценные) у нас в Чехии (там и квартира куплена) и в Болгарии. Прорвало Читу, её губера закатали в СИЗО (как здесь Колчагина) — не встал ни один регион, а сейчас все опомнились и сдаваться не хотят.

— Конечно, — Арина бросала недокуренные сигареты одну за другой в пепельницу (стеклянное сердечко), — вырежут активистов — а их сотни! — замуруют город, но риски мы заранее рассредоточили (страстный монолог Арина перемежала звонками коллегам и ответами на сообщения адвоката (бесполезного, по её же словам).

— А ты? — вспомнила вдруг про Катю, — хотя, прости, можешь не рассказывать.

— Я вам, тебе так благодарна, — начала спасённая и осеклась: про CESSNA, про парашют с ночёвкой, про жизнь, из которой её в эту, фантастическую, перенесли? (Она бы и сама не поверила, расскажи кто.) Но упоминая Игоря, нельзя же было не начать с той находки. Даже не с неё, с настоятельной просьбы мужа-беглеца самой влезть «под колпак», с их скандала на палубе «Франко», как она за Виктора цеплялась, про две любви — долг и свободу, а теперь ни той, ни другой...

— Не знаю, — Арина погасила экран складного устройства с клавиатурой, — стоит искать их, нет ли, уверена, кого любишь? Лидеры оба — по твоим описаниям. А нельзя перезнакомить? — Отыщется второй, куда денешь «беглеца»? Это ж из каких ты времён?! Чудеса, мне вот не достались... Слушай, а давай с нами, в Эмираты! У тебя паспорт есть?

— Дома.

— И загран?

— Заграничный? Я похожа на дипломата?

— Эх, дрёма-дрёмушка... Подожди — она вновь что-то набрала на вспыхнувшем экране гаджета (непроизнесённое слово): Генчик! Здорово! Сделаешь загран? За день. Сколько б ни стоило. Внутренний тоже. Число ... ну, месяца три назад. Лучше пять. Да, ребёнка впиши! (Сколько твоему — пальцем указала в сторону Артема — 9? Точную дату мне рождения и месяц, свои тоже.) Ты в безопасности? Всё. Перевожу.

— Я не полечу, Арина...

— Год рождения, — она перебила, — 1995, 24 октября — годится? Отчество... Андреевна. Фамилия мужня? Артём Викторович... Постриг... 6 марта 2012. Очень похоже. Не бойся, фамилия в невыездных списках отсутствует, искать не будут, вы ж все как Древний Рим.

— Бог с вами! Зачем всё? Игорь (я чувствую) рядом совсем, я найду...

— Что умеешь? Если ничего, начнешь с посудомойки. С уборщицы. Я в 90-х челночила в Турцию. На работу б взяла, но там ещё налаживать... Слушай, а давай пока побудешь у меня, управляющей по дому? За участком поглядывать. Освоишь ноут. Карту, — она вынула из бумажника что-то пластиковое, с золотым отливом, — оставляю, до банкомата машиной минут 10, кто из соседей подбросит, или сама прогуляешься. К себе-то — некуда, ведь так?

— А Игорь? А Виктор? Они меня здесь найдут?

— Покурим?

Катя замотала головой, как школьница.

— Крови прольётся ой сколько, — сквозь ароматную струйку дыма мелькнул отсвет на стене просторной кухни, — что с домом делать, спрос ниже плинтуса.

— Пойдём! — она вдавила ещё окурок в стеклянное сердечко, — поспиши в Серёжиной, одеяло... там комод, правее окна. Сыну-то, глянь, хоть бы хны, с Лолкой в игровой уже спелись, не волнуйся.

И повела гостью-сомнамбулу на второй этаж.

Катя пришла в себя лишь на пороге спальни.

— Со мной хлопотно, зачем оно вам?

— Секреты должны быть? — Арина подмигнула, закрывая дверь, на которой снаружи реял плакат «Беспокоить исключительно по пустякам».

XXIV

Спать не удавалось. Ей нужно было утрясти прошедшие сутки. Привыкать к потрясениям опыта не накопила. И опыта одиночества не наросло. Когда сама на себя оставлена, как сейчас. Почему она здесь. Кто я (она) такая вообще.

Не сон ли всё, что не утихало, а лишь напластовывалось баллами прибоя?

Вспомнилось, как её разбудил в лесу Артём, тряся куском кварца в форме гриба фиолетовых оттенков, который темнел прямо на глазах, а она удерживала тающее видение: красная, пробитая снарядами, стена. Похожая на отбивную, вставшую дыбом — холм, взгорье, без явных признаков леса, и чей-то вроде бы Виктора, как бы из мегафона угрожающий вопрос: «Это всё наше?» — «Нет, это Сталинград!» — отмела Катя, свой же новый, грудного регистра голос не узнавая, и быстро-быстро перед этим ускользнуло ещё одно (как бы заползая подкладкой): к ней, лежащей ничком, приближалася с лицом Игоря крупный, квадратноголовый физрук Звоненский, в сером дождевике, странно независимый, подчеркнуто равнодушный. «Ты счастлив?» — в мужа или в спортсмена-отставника, с лицом улетевшего без них с Тёмкой любовника, тыкалось ребро вопроса?

Лже-физрук сместился на средний план, а её до пят пышная, в оборках юбка и белая полууприталенная кофта вызывали образ казачки, стену, одежды связывала паутина, где барахтались осы (усохшая и ещё живая при ней же).

И как отбросила угол парашютного брезента (под ним, рядом с прижатым Тёмкой — оба, как два зародыша — ночью береглось тепло). И как убирала Игореву ладонь со своего колена при виде Ширяевой горы.

Косметичку оставила дома (перед кем охорашиваться?).

Совсем, совсем сыном не занимаешься... Ему завтра 10, тебе 26, только-только женщина, едва от кукол, а уже мамаша — внешне вроде старшей сестры цепкого подростка-ищейки (скоро начнётся компаний, девочки... — ничегошеньки о нём не знаешь, а узнать уже и не даст... Стыд-то какой).

В особняке, похожем на маленький дворец, события проносились то водопадом, то на манер калейдоскопной трубы, из которой матрёшечно выезжает окуляр за окуляром.

Единственная дочь часто пропадавших в экспедиции геологов, она воспитывалась бабушкой откуда-то из Саян, заботливой до занудства, перекармливающей наставлениями, осторожениями, поцелуями — формы бабушкиной любви отложили в её объекте привычку закрываться, уходить, ускользать, отстраняясь от себя же. Хорошенькая и непонятно чем волниющая, рано заметившая на себе интерес мальчишек, иногда и постарше. Природа интереса не вынуждала задумываться, порой мешая, но вряд ли сильно, это, возможно, цепляет особо предпримчивых, главное, чтобы вовремя — Славка Митюшов, на даче детсада кроме дёрганий за косички строил и другие каверзы, но всё невпопад, а Виктору хватило терпения, когда яблочко вот-вот созреет. Врождённое чувство долга, верность долгу, воспитанием усиленное, не исключали доверчивости, уговорить, страстно убедить, (при этом воля оставалась не сломленной, а приглушённой) один раз (как Постриг невольно доказал на палубе «Франко»), единственный раз возможно, повторно — вряд ли. Потому что с Игорем всё и началось на почве долга, теперь активней (пусть вновь не до конца раскрытой) оказалась она, отчасти Постриг, сам того не желая, и переключил её на всплеск вольности, опять же вышедший из-под контроля, попутное давление совести, муки долга взведя тоже, как часы.

Тоненькая простынка и упругость поролона заснуть так и не дали. Присела на кровати — не помогло. Не помогла и прохладная доска пола (слишком гладкая для паркета). Простор спальни скрадывал (на треть) во всю высоту шкаф, наполовину зеркальный — зеркальность комнату столь же зрительно и увеличивала.

Привстав, Катя начала изучать заляпанные снимками (один у другого на головах), грамотами (с двуглавым орлом) стены. Выделялось в этой мешанине лицо женщины, полупрофиль, черно-белое, с прической каре и меланхолично-приспущенными взглядом (больше в себя и вверх, чем вперед). Если бы не слабость взгляда, была бы красивая, а так — лицо и лицо, этапами, как бы прыжками: двадцатилетняя, под — (или чуть за) тридцать, наконец, где-то 40–45, скорбно-смиренное. Оно же, опознаваемое сквозь растаявшее двадцатилетие, занимало фоновое место в явно увеличенной композиции с видом на каскад холмов и нитку Волги — узнала рельеф — это был подъем от Грушинского фестиваля к железнодорожной одноколейке, Майстрошки. Она как-то хотела с Виктором туда съездить, но у него перед отлетом в Читу был цейтнот, пришлось одной. Почудилось (или на самом деле?), будто щелкнутая компания соседствовала ей в переполненном вагоне, занимая две скамьи напротив одна другой справа по ходу электрички, а также половину двух через проход. Весёлые (без ржанья), театрально и не очень (у неё таких компаний не было, а зависти к ним — полное решето). Да-да, снимок увеличивал тех самых: внизу в центре жмурился, раскидывая руки, чернявый юноша, на его коленях (прочных, несмотря на субтильный вид) теснились локтями две хохотуньи: одна — во весь широченный рот, вторая, сталкивая с этих колен товарку (видимо, удобней было чувствовать своими оба), лучилась безмятежным светильным женским детством, неброской, но и нездешней женственностью, за спиной юноши благостно таял некий затейник (вероятно, вожак и тамада), стоящая же по левую его руку девушка и была той, чьи портреты «сшивали» своими разными возрастами комнату — мать Арининого мужа (догадалась Катя).

Себе Катя увиделась маленькой и вполне так ничего. Ещё больше себе она приглянулась в метре от двойника. Два фиалковых (или бирюзовых) всполоха радужной оболочки зрачков, бёдра чуть шире прямых, но с кокетливым закруглением, руки приятной полноты — сама женственность.

Копаться в себе не привыкла, не вступала в игры, даже «классиков» сторонилась. В школе «забивали» её куда более яркие, шумные. Она любила, особенно, ранней зимой через площадь с Валерьяновым «на тумбочке» прогуливаться до Клуба Офицеров (напротив Обкома), затем к Некрасова (не доходя квартал до гудящего «Брода»), и тут же назад, к Замайской. Иногда вместо Марчук с ними увязывалась Семёнова в кукольных кудряшках. Среди преследователей лидерствовал, конечно же, Витька Постриг, ему ассистировали Костя Курков (насупленный, гордый отцом-журналистом) и сын дворничихи Шаганин, высоченный брюнет слегка семитских черт — ему симпатизировала соответствующая ростом Ковенацкая, но гулял Шаганин из солидарности, Курков девчонок презирал и лишь Постриг держал цель: Катя и снова Катя, завоевание неизбежно — его девиз, его кredo.

Строя гримасу зеркалу, Катя вспомнила в ночной рубашечке Наташу Ростову, (книжные образы всегда были при ней, хотя Наташа самый из них некнижный).

Ведь родила в 16 — и вернулась к себе 16-летней, чудом сохранившейся (при паспортных 26 сейчас). Отец, видимо, сильно пил (с матерью у них не ладилось), обзавелся второй семьёй в Катиных 6 лет, а потом вернулся, побитый. Катя привыкла жить, как бродят в лесу, сквозь сосны этого леса просвечивала солнечная поляна, овраг, малящий поворот за клинышком другого леса. Так Наташа или всё же Татьяна? Достоинство Татьяны соединять долг и гордость не отдавало гордыней, упрямством, а в Кате она где-то близко зыбилась. Образования никакого, зато чутья хоть отбавляй. Курсы машинописи, затем бухгалтерские уравновешивал аэроклуб, а страх высоты преодолелся первым и единственным парашютным прыжком.

Чужое даже трогать не привыкла, но белую мачечку (плечики с ней Арина подвесила к ручке дверцы шкафа) натянула на отдохнувшее тело (не худое, не полное, сбитое плотно, и всё равно девичье — прикосновение свежевыглаженного хлопка отзывалось Игоревым (Виктор где-то свистел у неё в лодыжках, в пятках), Игорь обнимал всю, сдавливал едва ли не медвежьи, не доводя до боли, деликатно. Именно ткань майки превращала Катю в распахивающую все двери Наташу (помнила по экranизации).

Конструкция дома, включая спальню мансарды (наклонные окна на это намекали) перекрытий и несущих не скрывала. Их коричневый окрас действовал успокаивающе. Столик у окна манил

чем-то серебристым, сплющенным (ноутбук — вспомнила название, внизу на кухне был похожий, но чёрного цвета), рядом листок с инструкцией от руки, его Катя отодвинула, огладив серебристую плоскость, будто стирая надышанное с запотевшего окна. Через площадку на том же мансардном этаже обнаружилась туалетная, где царила баснословной длины ванна и ещё одна — чуть поменьше и пониже, напоминающая гитарный вырез. Немыслимой белизны унитаз и соответствующие причиндалы — в другом углу, полный баланс.

У зеркала ванной она вновь знакомилась с изменённой неизменяемой собой. Нос как нос. Глаза... глаза мерцали), фиалковорадужное сменялось бирюзовым, а там и до зелёного совсем ничего. Подмигнула: вот она я, вот я какая!

У неё два мужа.

Хотя мужа ли? Прыгая с «Ивана Франко», Виктор её и сына (про родину лишнее заикаться) бросал — мало ли что за фантазии, поверить им было путём наименьшего сопротивления, а если по правде? Попробуй устои. Теперь ни Виктора, ни пещеры в Ширяевской горе, где «согревались», да и кто кого бросил — Игорь их с Артёмом, они его? Нельзя прыгать отдельно, поддалась голосу, бархатным низким ноткам. Даже в крике бархатным, убедительно-любовным. Он любит. Любит, даже настаивая. Властно — сам покоряясь. Скромность — в ней вся соль.

Вновь поднялась на мансарду — что там неизученного?

Всё на месте: шкаф, столик, двуспальная кровать с отброшенной простынёй. Фотография группы, покидающей Грушинский и Майстрюки, в том числе. Меланхоличная девушка (вспомнилось: Арина перед уходом загадочно пояснила — мать моего мужа отыщешь, если не лень, в разных видах) с лицом, полузакрытым распущенными едва ли не до пояса волосами (волосы теперь были отведены — как и глаза от центрового персонажа, стоящего на коленях. Правый локоток той, кто на них, на оба опирался, вытеснил влево простушку «рот до ушей»).

Занимали её лишь эта пара внизу: доверчивая счастливица локтем на его несоразмерно мощных коленях (с чего взяла, что парочки?) — ладонь юноши касалась предплечья удобно расположившейся хотя и робко, но касалась, как-то музыкально, а той, справа — только для вида, приличия, клубилась интрига (остальные в неё втягивались движением ёлочного серпантинса, особенно

же — будущая мама обитателя спальни, от неё разило жертвенностью и приятием не своей жизни, которая могла бы стать своей, но... и ещё раз но...).

Главное: все смотрели на «вытесняющую» и парня в центре, все, начиная с довольного (будто сам он родил и группу, и дымчатый фон, и отренчавшее мероприятие) верховода компании, блаженно уставшего дирижировать; двое других — атлетичные ангелы (он, чистая душа спортсмена, и она, стушёванная тёмными очками) тоже подались на полу шаге, готовые либо взбираться, либо перпендикулярно — из рамы снимка в сторону Кати. Ей же стало невыносимо, возмутительно легко ходить, кружить, порхать, не ощущая, как взгляды смещаются, спрессованные в один солидарный, подсолнухом поворачиваясь и следя за ней.

На столе кухни покоилась ещё одна инструкция — как пользоваться телефоном, ноутбуком и план действий: «Звони в любой час. Еды на неделю. Паспорт привезёт Валерий. Никому кроме него не открывай. Даже полиции. Будь умницей. А.».

Всё это не только было её, но и лежало теперь на ней (в детстве, одна в закутке, образованного углом шифоньера и куцей тахтой, ждала выпрыгиванья злых чудищ — кто мог явиться? Кого не велено пускать? Арина улетела? То есть, муж прорвался, родители, а она проспала? Сейчас — это с ей ч а с? Или сдвинутое в ч е р а?

Не вопросы, клубок ёлочных лампочек, лабиринт, где у него тупик хотя бы?

Артём! — всплыл, наконец-то, возглас-ключ, — Артёмушка!!!

«...шка» — отзывалось стеклянное покрытие электроплиты.

Ни в одной из комнат (включая кладовки) не было сына, ни замотанного занавеской, ни под попоной электросамоката на террасе второго этажа — с террасы открывался вид на строевой лесок с аккуратным участком до забора в полтора великанских роста, не было на участке, а за ворота выбегать ещё нелепее.

Заставила себя вчитаться в прыгающие буквы инструкции «борьбы с телефоном», нажимая на все указанные цифры и решётки-звёздочки.

— Я на таможенном контроле, — раздался близко-близко недовольный Аринин деловой голосок, — перезвоню.

— Артём с вами? — выкрикнула Катя, самоё себя не слыша.

— С ума сошла?! Я его не видела!

Связь отключилась.

Поскакала по лестнице, затем в спальню, откуда и начинался обзор владений, срываая с плечиков и вороша груды платьев, брюк, блузок, но спрятаться в них способен был разве джин Абдурахман-ибн-Хаттаб, а не девятилетний непоседа.

Как же это все (все до единого — и первый — сын!) могли её покинуть, бросить на донышко этой самой ненужной, лишней, навалившейся свободы!

Потерянная, она вряд ли могла видеть, как разбредаются оставленные щелчком затвора те семеро на увеличенном снимке, как они этот снимок гуттаперчево расширяют в разные направления, отряхиваясь от прилипших травинок, обесцвеченных зноем, как быстро у будущей матери Арининого мужа округляется живот, при том каждый, кроме зажмуренного (чье ореховые гляделки близоруко раскрылись) и расположившейся на его мощных коленях локтком, таяли, — каждый из отряда, банды раскручивался и отделялся по своим незримым спиралям.

Захотелось вниз, на воздух. Уже стемнело и пахло чистым настоем осени.

Огоньки казались застывшей морзянкой. Крупные и помельче звезды. Рой звезд.

Виктор учил её различать: Арктур, Волопасы, обе Медведицы — ковшом, она сбивалась, не запоминала, сердясь на память, он, учивший, был ей и дороже всех наук и слишком родным, чтобы задумываться о сравнении — дороже кого? Или так нравилось думать в 15 лет? Завтра 16, уже старуха? И так 17, 20, 60 — до конца? Есть конец этому небу? А тогда почему ей надо его, конца (кем придуманного?) бояться?

Не чуяла дуновения гари от пылающих зарниц. От сполохов города, отнюдь не похожих на зарницы. Но и на бомбёжку (разве могут у нас, у самых защищённых, самых правых, самых-самых нас) кого-то бомбить?

XXV

Если трубы, которые давно пора менять, не чищены, хотя бы регламентно, летом, когда горячую, а потом и вообще воду отключают недели на три, а там застой, засоры, всё такое, стронь присохший кран — и хлынет, бесполезно закручивать по часовой, хоть резьбу срываем. Сначала ржавая, с бурлением, затем взрыв — и потоком, легко, шумно. Поток действия. Это в Соустине и происходило.

Якобы не дали договорить. Но сказал всё, что должно.

Притарахтела «стрекоза» и на куратора накинули чёрный мешок с завязками. Курс был взят на один из аэродромов вниз по течению, ближе к Саратову.

А «Ипсилон» уже рассыпался по резиденции любимца горожан.

«Чисто» — многократно повторённое эхом прошлось над площадкой рядом с «гусём». Откатывались кругами, прочесывая улицу за улицей, дом за домом, подъезд за подъездом. Точечная застройка старого центра упрощала задачу: «башни» позволяли экономить время на приказ выйти во двор тотально, за невыполнение — отстрел. С частным сектором возни побольше, и, хотя, как правило, в них не было признаков жизни, каждый второй, а порой и первый подвергались огнемётной струе (дым и гарь были видны или чувствовались за десятки километров). Оружия во вскрытых подполах не было. Куда ж расползлось? Вместе с тысячами только что готовых якобы на всё, куда?!

Выходящие с руками за головой, двери за собой не захлопывая (иначе вновь огонь). Информаторы кивали командирам «айнзацгрупп» на предполагаемые места сокрытия активистов. Лифты не работали: у подстанций (отключённых дежурными по команде мятежников) тот же саботаж. Яростно матерясь, «космонавты» одолевали этаж за этажом, захлопнутые двери прошивали очередями, либо разносили на куски гранатами. На одном из этажей дома 7 Б по Садовой один из информаторов остановил росгвардейца. «Здесь!» — намекая на хакера, кто мог взломать контур подстанции, направлять и гибко менять тактику и диспозицию.

Дверь явно двойная, железная часть выходила непосредственно на площадку.

— На открывание три секунды! — распорядился грузноватый, не стесняющийся пузы под бронежилетом и амуницией «командос».

Ответа не последовало.

«Три!» — скомандовал кабановидный начгруппы — и замок искромсан очередями, но за первой дверью была вторая, уже просто дверь. Один из космонавтов её пнул — и перед пнувшим на долю секунды мелькнул юноша во весь рост с охотничим стволовом. Дробь снесла нападавшему кусок шлема и подбородок.

Тремя очередями юношу изрешетило, по нему прошлись сапогами, в комнате расстреляли оба монитора, усилители, заодно и люстру, в кухне под столом тряслись юная женщина с девочкой лет

пяти — обеих выволокли, оторвав ребёнка, не давая тому ворить, затем потащили с 9-го этажа, чтобы не перестававшие ворить жертвы считали каждую ступеньку.

— Живьём не брать! — сухо распорядились в рацию.

Не хватало автозаков и грузовиков для сбившихся в кучки не смевших нарушить приказ. Подкрепления «смирительной» техники уже выкатывались из брюха транспортных «АН» в Курумоче. Людей, где пинками, где под локти впихивали в «газенвагены», кому доставались просто грузовые, считай, повезло. Из громкоговорителей повторялись приказы всем из личных авто покинуть салоны, опять же с руками за головой. Местом своза был новенький футбольный стадион в промышленном районе. Заложников его поле могло бы вместить до сотни тысяч. Роты две-три подогнали охранять (отпор не ожидался). По громкой связи на улицах повторялось: владельцам оружия, похищенного из арсеналов и митинговавшим на добровольную сдачу время до 18 часов, после чего начнётся ликвидация заложников.

Операция зачистки не давала весомых результатов до самого вечера — арсенал словно бы растворился, гарь от сжигаемых лачуг не давала дышать без респираторов, поле стадиона в Промышленном буквально заросло свезёнными. Ротация охраны и карательных групп на состоянии контингента не сказывалась от слова «совсем» — «новенькие» быстро заражались озверением уставших, их нельзя было даже назвать мародёрами — заходя в бары и кофейни солдатня опрокидывала столы и стреляла по полкам с дорогим виски, «Чинзано», ликерами охотней, чем сгребала добычу, дисциплина, вернее, остатки её, на чём-то держались, но комендантский час, объявленный по факту распоязся на сутки. Город, особенно старая часть, где лютовали «айнзацы», не давал и намёка на отпор, это подзуживало карателей. БМП охотно таранили припаркованную собственность на колёсах.

Этот ужас неизвестным образом обходил, обтекал, не задевая, не тревожа, не сталкивая с колеи ритуальных привычек разрозненное большинство. Зримое большинство. Ситуативные толпы и тусовки. Набережные были по-прежнему празднично полны. И как ни в чём не бывало, из совсем других эпох торчали своими лафтами бочки с квасом, одетые в серенькое без хлопот пересекали перекрёстки, не сталкиваясь с вереницами заложников, ничего не боясь, как в детсаду.

Напротив, наоборот (как правильно?) всё видящие, провожавшие «своих» оккупантов мысленно сжатыми кулаками, стараясь не выделяться, как раз таки себя и выдавали: звереющие хватали всех, а внимательно-молчаливых волокли, наслаждаясь самим процессом, особо упирающихся — впятером, всемером, некоторым вместо дубинок от души врезали пинка в пах и на любой возглас типа «Что же вы творите?! Фашисты!» — стреляли, не целясь.

Один из «фашистов» уложил очередь сначала группу молодняка, слишком уж слаженно молчавшую (будто бы ни при чём), после же, круто развернувшись, стал поливать, как из брандспойта, своих — попадало не меньше дюжины «айнзацев», а он всё жал и жал на гашетку, войдя во вкус как бы компьютерной игры и вдруг, осознав, что вокруг его же подельники, отшвырнул автомат, сдёрнул шлем, вопя что есть мочи «Летц го!!!», шагая как бы в три стороны одновременно, веером.

Он успел пересечь Замайскую по диагонали к углу Боройченко, и тюкнулся лбом об угол здания банка «Развитие». Волосы сошедшего с ума оказались девичьей длины, они развевались ворохом и колечками, при полном безветрии этот суицидник прошёл, как набитый ядом и пулями Распутин по невскому льду, в него палили, но добить никак не удавалось, и всё же он рухнул, сначала на колени, взбрыкнув головой, и сквозь бронежилет хлынула с коричневым налётом кровь.

Координационный штаб в Москве получал напрямую и через разрозненных информаторов (местная связь по-прежнему барахлила, её то включали, то невпопад блокировали) несопоставимые данные. Число жертв среди жителей варьировалось меж двумя десятками и полутора тысячами. Совбез давал отбой (и не раз), но заданный конвейер было не остановить. Шли совсем шизовые шифровки о пропаже «айнзац-команд» и целого дивизиона. Он растворился, исчез, будто в провал ущелья, вместе с техникой (танки догадались не вводить).

Растворился дивизион, как растворилась изрядная часть митингующих и арсенал, разобранный по наводке Соустина (уже перевезённого в один из бункеров на юго-западе Москвы). С кучей гранатомётов и противопехотных мин. О коктейлях Молотова, створить которые способен был чуть ли не любой приёмщик вторсырья не докладывали. Отбой дать легко, а информацию о заразе попробуй пресеки. Гидру Сечинска (обычно столь тихого, ручного

и пофигистского) следовало раздавить во что бы то ни стало, не давая шанса муфтиям и муллам нацменского соседства, заодно и всякой нищебродской герилье. Выдрать с корнем. Запад всё съедает давно. Китай не полезет, это мирный завоеватель, до Ирана далеко, туркам, в крайнем случае, кинуть Чечню с Дагестаном — там и увязнут.

Отовсюду сыпалось и сыпались: брать, санировать, и снова брать. В масках, без масок, за снятие масок, за всё. Казалось, шифровки носятся в этом раскалённом от сжигаемых развалиюх советской и (когда-то) переселенческой бедноты воздухе.

Постриг, выкинутый под горячую руку из подвала на Хлебной, шёл сквозь нестерпимую гарь. Сиротские электросамокаты, припаркованные диагонально в ряд, даже вне пальбы и одиночных выстрелов не оставляли сомнений — страшное нарастает, как цунами.

Неужели теперь и с Катей всё? Неужели они в разных временах? Он возвращался к дому на Специалистов, петляя, стараясь заскочить во все дворы, дворики, подворотни (вход в едва ли не каждую вторую перекрывался железными прутьями). Дом детства выглядел безлюдным, бело-сиреневый перекрас впечатление усиливал.

Я отсюда вышел во всё это! Или не я?

Без воды он в море выдержал больше суток, морская не в счёт, здесь же — никакой. Не обыскивали, под правой пяткой спрессованы пять смятых стодолларовых купюр и сколько-то по 20, не помнил. Но где наменяешь? Магазины (даже хлебных) в этом привилегированном районе сроду не водились (кроме ювелирных и книжных)? И всё же удача ждала — угол Толстого и Фурманова. Рядом со щегольски обновлённой Филармонией сияла вывеска пивного паба «НАШЕ ВАМ». Лишь внутри догадался: мужик, валявшийся в бурой луже слева от входа не алкаш, а застреленный. За барной стойкой (тоже в следах автоматной очереди) двое официантов тряслись от ужаса как отбойные молодки. Постриг со слегка лебезящей улыбкой оттянул правый штиблет, обезоруженно протягивая одному из трясящихся сотню: больше ничего нет, парень! Обрадованный малыш всё поняв по небритым щекам и лихорадочному блеску гляделок «посетителя», сбегал на кухню за тарелкой кальмаров, и нацедил из резервуара свежего Хайнекена, отказываясь от неподцензурной бумажки наотрез. Постриг жадно уплёл и вылизал (хоть и вылизывать было нечего) всю тарелку, а к пиву едва притронулся — хмеля и так было достаточно), бесплатно прихватив бутылку минеральной с газом. Далее вновь бежал, петляя — трам-

ваев нет, где-то сгрудились троллейбусы, город казался перепрощитым весь. Целью была Катина «хрущёвка» на Остапенко, оставленная сутки назад, там не могло быть Кати, но что-то, хоть какой-то след их гнезда?

На Садовой почти сплошь зияли подполы и воронки от халуп, спалённых сутки назад. Он просвистывал, согнувшись, как при сквозных обстрелах, эти задымленные кладбища, заодно и насквозь пустые двадцати- и двадцатипяти-, даже тридцатиэтажки. Пока не упёрся в Остапенко, не узнавая её очертаний.

Вместо затенённой тополями блочной пятиэтажки, где он был главой семьи, где они с Катей были счастливы почти подростками, а затем с грудным и как на дрожжах росшим Артёмом ещё несколько считанных лет, высились башня, родом из Чикаго или Гонконга. По странной прихоти во дворе сохранилась (или кто-то упрямо воспроизвёл советский «винтаж») скамейка, не лавочка (топорная) именно скамейка, с жёсткой поперечиной. На скамейке раскачивался, будто неопохмелённый, мужик, мужчина, скрюченный. По виду его, Пострига, ровесник.

Явь и сны окончательно пришли в себя, перемешавшись. Если Старухин — а не узнать нордически неотразимого добряка даже в состоянии полураспада было невозможно — значит, и Катя здесь. Не разминёлся.

Прошедший через короткую летаргию и выпущенный из Пироговки Старухин понял (не понимая) боковым зрением примерно то же: если не постаревший из параллельного «Б» заступник малышни здесь, значит, отчаиваться рано.

XXVI

Рано. Или окончательно забудь. Забыть — проще простого. Тем более, вдвоём, если смотреть друг на друга, как зеркало в зеркало. Даже вдвоём. Их сейчас было именно двое. В состоянии близкому к нокауту, переносимому на ногах. От ударов без конкретного посыла, ударов не за компанию, а за то, что занимаешь в этой родильной Зоне свой не свой, но угол падения-вставания, динамика угла, дыба угла, дым от горящего угла, означали от этого угла единственное — зависимость. Они — острый удвоенный взгляд не обманывал — теперь зависели от себя и от себя же напротив, даже приятели не очень, зато ныне как вагонные сцепы.

Старухин лыбился безо всякой улыбки, лыбился словно бы выученно, как и на унесённых ветром больших переменах слыша в свой адрес дразнилку «*Игорь-Григорь, бочку двигал!*», Витюха же бросался с кулаками на бубнящих (и показывающих ему язык) вирши «*Постриг ты Постриг, Катькин пастух, скоро испустишь стрёмный свой дух, вихрем враждебным в Господа мать, рот закрываи, если хочется ржать!*» (некоторые ухитрялись переделанную строку завершать ударным «*рожать*»), что распаляло сильнее, спуску не давал никому, бил, правда, лишь по шее (для вида).

— Ты здесь? — тупой вопрос, но молчать ещё тупее.

— Вообще или у Катиного дома? — у Игоря вышло язвительней.

— Нашего, — властным акцентом Постриг выделил принадлежность.

— И моего, — Игорь так и не разогнулся, видя Пострига левым боком.

— Это с какого же...

— Ты же умер, предал родину.

— А ты эту родину подхватил, что ли?

— Не заметил, что её больше нет? Может, и не было. А Катя была. Моя.

— Заметил. Моя, — отчаяние Пострига ординар уже перехлестывало.

— И твоя, и наша. Двое суток назад она и Артём (твой, твой) прыгнули с парашютом, оказываясь где-то здесь, — он обвёл прозрачный до самой Волги двор.

— Здесь, через без двух лет полвека? — съязвил, перехватив интонацию.

— Над Царевщиной. Чтобы не разбиться втрёём, отдал парашют (второго не было).

— А курсом откуда? — Постриг собранной в кулак волей глумился, заглушая догадки одна другой ужасней.

— От свалки за Ширяевой горой.

Вдали ухнуло. Эхом-не эхом. Калибр Постриг определял безошибочно. 152 мм. Ещё один. (Что я с ним сделаю?) Ещё три. По не-бу шарили странные планеры. С одного сверкнула огненная пика.

— Бей! — Игорь сжался, — Бей. Всё и разрешим, бей же, идиот!

— Подробнее расскажешь, тада посмотрим.

— Каждый попал своим путём и каждый ищет её здесь. Достаточно?

— Замри! — Постриг поймал поверх зтишья дрожь дизелей «ОМ»-ика.

— Отбомбились. Скоро возобновят.

Сообразилка Пострига тикала как часы:

— На Проране дача, навигация действует?

— Трупы, взрывы — а тебе дача?!

— И то, и это. Всё вместе, как — не моего собачьего ума дело.

— Нам не выжить.

— Я в Штатах выжил, год целый! А ты... Мы теперь бессмертны! Вот найду Катю...

— Или я найду, — с угрожающим равнодушием изрёк встающий, поехали.

— Куда?

— Увидишь.

Постриг прикинул расстояние до парапета и где-то рядом пристани. И они, согласно, дых в дых, огибая шагающих по-деловому, тусню беззаботных юнцов, семейные пары, не смущаемые ни гарью, ничем, заспешили вниз.

Обстрэлы сникли, а их, и тишину после них никто не замечал.

Пристань в тупике новой (новой ещё *тогда*) набережной, поцарапанная и закрашенная неровно, покачивалась, впуская по сходням струйку очереди — разрозненное скопление дачников, грибников с детьми, одетых с расчётом на капризы ветра, одетых недоверчиво к любым прогнозам.

За Григорем и Витюхой никто не пристроился, и когда матрос уже готов был убрать швартовы, ловкий Постриг в два прыжка, держа рукав Старухина, проскочил на узкую палубу и повернулся к юту: их и вправду *не видели*!

Удобней сесть спиной к салону, присматриваясь к занявшим сидения «с ветерком», а их не видящих (соседей по лямке «своего времени» — эти не замечали тоже).

Игорь, следя за бурунами, а после разворота — за линией набережных, размахнувшихся на полтора километра, мысленно повторял перелёт с «той стороны». Длил проверку пассивно, со свойственным этой пассивности упрямством,

От дятлового стука мыслей-не мыслей подташнивало и при сходе на берег Прорана с каменистой кручей, и на пропылённой

тропе-не тропе (её развозило при первых же кляксах дождя) до самого участка дачи, куда оба перелезли через полуповаленный забор (калитка вросла в землю, не вышибалась и дверь, окна — кроме одного — были заставлены ржавыми плитами), Постриг шваркнул стекло единственного без прикрытий, осколки удалось вынуть и оба перевалились вовнутрь.

Шибануло духом старого дерева и свинца (как при затянувшемся ремонте), скорее мышами, чем крысами, опрятная некогда светлица запаутинилась. В одном из ящиков столика под сушилкой нашлись годные спички, а подпол — о, ещё чудесней! — хранил картофелины, обёрнутые рогожей — кто-то наведывался, может, мать? Она ведь всё предвидела! Только не свой вынос четырьмя санинтариями на чёрной простины к «Скорой» и коридор больницы (платы переполнены), и реанимационную, где и скончается во сне.

Кое-как раздули костёр пачкой истлевших газет и тряпок, часть прорубленных полатей (нашёлся и тупой, но топор) использовали под один из чугунков с ручками, утопили топор по эти самые ручки, чтоб держалось, и перенесли уголья со двора в совке, запекая еле живую картошку стёртых или откуда ни возьмись близких лет, разминая тронутые морозцем околевающие пальцы над жаром.

— Ну, — Постриг пошевырял уголья, — давай. Хватит молчать.

— А поверишь?

— Какая разница?

— Ты заварил историю, тебе и начинать.

— Мои круизы... разве что везуха выше средней. Америка (тут он пожалел красок ради финиша расставания с ней) — отчасти сказка, но всё не к делу. Когда через раз тебя пытают «С каким заданием явился, сука?!» — из обоих времён, заметь! — поверишь всему. Летать — да... Но лётчик я катаapultированный.

— Она чувствовала. Что плывёшь назад. Мы искали убежавшего Артёма, а он увидел CESSNA (вероятно, из этих лет). На свалке, за Ширяево. Залез, а она уже заведена, кем и как, чёрт знает. Мы с Катей не могли его стащить, влезли, её взвихрило. И понесла, дальше... вот я, перед тобой. Но мы разминулись?

— Как?

— А не важно. Моя вина. Хотел их спасти. Хотя бы их. Но спасся и сам...

— ...ты, — перебил Постриг, — откуда взялся?

- В УКГБ кто её заставил прийти с повинной?
- Так ещё и гэбня!
- Родители погибли, женился, как во сне, тесть перетащил с завода...
- Авиационный кончал?
- Эксплуатацию.
- Перенесло, и?
- Парашют единственный, я приказал им прыгать, а сам как-нибудь. После их прыжка не помню, сколько прошло, пока не вцепился в сосновую ветвь.
- И это всё?
- Подобрал мужик на фуре, подвёз к митингу в сквере у Замайской (возле Гипровостокнефти), затем, как сказали в больнице, летаргия, а ты?
- Квартиру нашёл опечатанной, решил заделаться агентом твоей «конторы», чтоб Катю отдала. Или нашла... Ну, как видишь.
- Катя здесь.
- Уверен?
- Мы хотели... (слыша «мы», Витюха падал, как в цирке, без лонжи) либо через Хабаровск в Японию, либо в Турцию, горами...
- То есть, по моим следам? Пряником из ГБ?
- Когда Катя пришла на приём, план увольнения уже был, — соврал Игорь.
- И развода?
- И развода.
- Здесь нестыковочка. Но стреляться не будем. Одну дуэль у меня отобрали, эту отменяю. Но вот с «органами», — он сморщил верхнюю губу, — связываться...
- Испытательный срок. И тесть ни в чем не участвовало, должность маленькая.
- Не боишься, что век будешь мучиться «маленьkim»?
- Убьёшь меня?
- Не сразу.
- Лучшего места не придумать.
- Зря на труде ножницами в тебя промахнулся.
- Не было у нас общих уроков труда!
- А в кого ж я пулял? В Пашку? Запутали меня, «возвращенцы». Кстати, где он?

— Бог его знает.

— Не отвлекайся.

— С Катей...

— Замнём про Катю...

— Она любила обоих. И боялась, что приплывёшь.

— Боялась?..

— ...что схватят «предателя родины». Что ей не разорваться.

— И ты их вытолкал?

— А всем надо было в лепёшку? Уж лучше я один.

— Но уцелел же! А они в лесу, ночью! Может, из-за тебя, летуна, её и взяли?!

— Она раздвоилась? Может, и ты раздвоился? И там (перед опечатанной квартирой), и здесь — одинаково ты и ты?

— Я? Мне здесь комфортней. Жизнь налаживается.

— Здесь хуже. Они даже не звери, — у Игоря свело ногу в неумелом «лотосе».

— Оголодал я. Магазинчик, помнится, где-то рядом...

— А не поздно?

Витюха пропустил это, роясь в ящичке, где взял спички. Нашлись отвёртка (гнездовая) и с заострённым наконечником кривой нож. Прихватив оба предмета, догадываясь, что могла действовать умная сигнализация (при пудовом замке).

— Последи за огнём! — бросил на пороге.

Замок и впрямь оказался пудовым, а магазин чуть в стороне от большака — да и большак-то условный — освещали в ясном осеннем сумраке разве что Плеяды, Сириус, Центавра. Звёзды не отпускали. Не отпускали, даже когда ювелирно тыкал в отверстие навешанного замка ножом и отвёрткой попеременно. В найденный под прилавком пакет уместилась взятые вслепую водка, вискарь, несколько пачек с фильтром (наощупь штатские бренды), буханка ржаного (довольно черствая) и консервы — подряд особой формы шпроты и нечто поувесистей — возможно, сайра, тунец, килька, столбик печенья, колбаса, можно бы и красного сухого поискать, но в темноте легко наткнуться на всякое пойло.

С тяжеленным пакетом думалось почему-то легче и свободней. Вот, скажем, звёзды — это же дыры в небе (не чёрные, и то хлеб). И мы с Григорем тоже дыры, но в человечестве. Ну, не во всём, локально (хотя, кто его знает). Нас вынесло к ним, которые не петрят ни в звёздах, ни в чём, а мы для них не существуем. Только для них,

кому всё равно, режим или свобода, трупы вокруг или солнце, только для них, кому всё равно. А вертухаям в подвале очень даже не всё равно! Им, начальству, всей пирамида. В смысле высшем всё равно, только высший смысл не при делах.

Почему не прибью этого красавца? Даром, что не бабник. Мы всё равно дыры, дыры и есть. Дыры безоглядные. Мама, батя... Где захоронены? В Рубёжке, ясно, а точнее?

С добычей, которой бы хватило на экономный пир неделю, не меньше, он застал Игоря, в той же позе, что и перед кладбищем последнего Катиного адреса. Поза старила. Странно, как всё переменилась. Он завидовал росту, породе, чертам (с печатью вдохновения), даже скромности Григоря, теперь щадил. Оставаясь в душе драчуном, соображалой и кем-то ещё — самого себя ведь не знаешь.

— Что ж ты, — продолжил Игорь брошенный упрёк, — не взял в Турцию?

— А тебе какой интерес?

— Страх — не любовь, а из недоверия каждого каждому.

— Завоюй, потом суди.

— Ты воин, всего лишь.

— Зато душа чистая. А органами, как некоторые, не замарался.

— Мы с тобой сейчас как Юрий Живаго и муж Лары!

— Живаго? Из этого самого?

— Экземпляр давали «Для служебного», заглянул — тоска...

— Не Швейк? Ты его наизусть шпарил классе в пятом. Вместе с «Золотым телёнком». А я вот «Для служебного» ничего не брал в части. Чтоб не выдать секретов...

— А кто поверит?

— Никто.

— Я б выдал. Эта страна — ложь на лжи.

— Не, за родину я... Знаешь.... Хотя и чесалось, — Постриг прикурил от последних тающих угольев и безнадёжно помахал над ними, — есть выход, Мы здесь видимы лишь тем, кто полярен — либо нашим, думающим так же, либо им. Для остального большинства — нас нет. Куда хочешь пропустят. Махнём к твоим в Хабаровск?

— А как же поиски?

— Хворост поищем, а то и о звездах забыл. И разогнись, ведь старик стариком.

...Сейчас это были друзья-бродяги. На острове с видом на полу-
сгоревший город их лучшей поры. Город их несостыкованного
«треугольника».

Тишину взрезал дальний мотоциклетный треск.

Откуда здесь участковый? На «Иж»-е с коляской?

Опять «Иж», опять напоминание...

— Лейтенант Смолов! — откозырял тормознувший. — Документики покажем?

— Лейтенант, — миролюбиво начал Постриг, — я старлей ВВС, хотя и американец, а мой дружбан из органов. Мы тут ищем на двоих — я жену, он любимую (стреляться не хотим), третий — это ж Божий гость? Третьим будешь?

XXVII

Можно и за 60 с копейками кой-чему научиться, например, делить сознание на две части, беря паузу то в одной, то в другой, укладывая в каждую рывками, дискретно.

Про возраст пришлось вспомнить в заточении. Камера-не камера, студия, эпаммент, аскетичная, но с набором удобств. Металлический стол, два перпендикулярных друг дружке окна с видом на серые пустоты не пойми чего; тахта-кровать в углу (матрас приятный, из естественных материалов) скромного дизайна дверь в совмещенный санузел. Почти больничная палата на одного.

Он всё сделал правильно. Блефуя (но кто не блефует, тот..., ну, и так далее). Оружейный склад одной из частей ВВ оказался в шаговой доступности. Полиция часть митингующих привела и ко второму арсеналу. Сама, без его раздваивания. Некогда было инструктировать вооружаемых и помогавших, затаиваться, перебегать — ликбез не по его части, хватило ветеранов «горячих точек».

Он прочертил, будто крошащимся грифелем: вот, после отдания «чести», его задерживают, везут, не мурыжа, до полосы под Саратовом, а там и до подмосковного Быково, где кормят (кстати, сколько ж не обедал? Хватило газировки с квасом, их в Сечинске была как бы грибная поляна, не замечаемая жителями XXI века, сквозь который ходили терпилы XX-го, а также, кто доволен просто жизнью, без рефлексий, места хватало всем. Для теней-призраков — хотя кто кому тень-призрак, когда ткань единого времени едет, рвётся с неслышным потрескиванием?).

Ему позволили единственное: жди. Но и это вывернуло: ждать и мучаться — это как мухи с котлетами — отдельно, и не ко мне. Где устроят допрос, интереснее: Лубянка? Оперативный центр? В подвале? Совбез? Одна из явочных квартир? «Пентагон» Юго-Запада? В лесу? Рядом с рвом, куда (в мешке на голову) и сбросят?

Юго-Запад. Ещё теплее (новый корпус ФСБ и два по краям — слишком классика. Глаз много). Да-да, почти в «яблочко», чуть переоценив иезуитское воображение начальства. От полосы в Быково с тонированными стёклами «Лексус» (но без мигалок) домчал до Садового буднично, на удивление без пробок, можно сказать, «зелёным коридором», не повернув на Третье Кольцо, а очертив дугу вокруг зияющей на месте вздёрнутого Феликса дыры и лишь затем через Новый Арбат и набережные на юго-западный радиус, к родной Академии.

Прогнозы, расчёты сменялись нырянием в резервуары детского или подросткового, зыбкая грань. Когда «Лексус» застревал в пробках, сканировал перекрёстки, билборды, толпу — лазерный компьютер включал режим усиленного «сейчас».

Беглый анализ подтверждал: как и в Сечинске, спешащие или никуда не спешащие, не смешиваясь, делились на аборигенов двух взаимонестыкуемых эпох: настороженно-беспечной совковой и totally-цифровой, с гаджетами под самые ноздри — у близоруких, и с гарнитурой в ушах.

Соустин оба объема совмещал. Однообразие в одежде — и перстрота бесстилья, вместе с контрастами: радущие (не без оглядки), обещающее глухоту, а взять вторую производную (сухой остаток) от увиденного: поменялась упаковка, не структура кожи, а кожа вторая, вроде бы разные вселенные отпочковались от всё той же, неделимо-единой — и недопроявленной.

Тележки газировок и мороженого, будки телефонов-автоматов (стёкла местами разбиты), очереди за квасом (с лафетами для прицепа); нео-аборигены стоят в тех же очередях, не отрываясь от мониторов. Не в твоё ли отсутствие началось? Распад временной ткани докатился до острия столичной кошевой иглы, или отсюда вызрел? Отчуждение (не агрессивное), вода и масло (слабое сравнение, масло как вытяжка из профильтрованной воды), ткань лопалась и ползла, куда попало.

И ещё интересно: трещины по торцам домов, даже новеньких. Будто нарисованные. Их кто-нибудь считает?

Да, начальнички, не козёл отпущения у вас в руках, а очень значимая персона. Кости вброшены. Или мяч? Мяч. «Спорный», как во дворах старого Сечинска кричали те же разгорячённые архаровцы, сталкиваясь лбами.

Вы меня и учили, сержанты-иезуиты: бесконтактный футбол (типа дзюдо).

Боже мой, футбол! В семь лет, юг, дикий пляж, гоняли с местными, я на воротах.

С футбола — да-да! — всё и двинулось.

Лондонский чемпионат отгремел только-только, телевизор хозяйствский из нижних комнат уже не выносили, но вечерами во дворе традиционно-двухэтажного с широкой лестницей и балюстрадой (Камероновой галереей для бедных), особняка привычно сходились гибкий Резо, тучный Тариэл (тайный полуармянин) и коротышка Акакий, историк, проптеревший не одну пару парусиновых штанов при воссоздании хроники объединения крохотных болотистых на-делов; за насыпью с одноколейкой серебрилось дорожкой Чёрное (чёрное взаправду) море, когда сильно штормило, чихавшее на эту насыпь, доплескивая до калитки, запираемой к ночи задвижкой на соплях — два узла ржавой цепи для верности её обматывали, цепи, на которой Акакий, уже будучи доцентом, тащил неуступчивую козу (скорее, ослицу, чем козу); море перетасовывало яйцевидные валуны, будто ворожа и проклиная, и с этой-то ворожбой проклятий, с их градом причудливо соединялись вздохи, катящиеся по квадрату трибун волной, свистки, петарды и ярые с оттяжкой вмазыванья «б-бах!» — чего в избытке было и у Резо с его наскоками, и в редких, как голы, алмазных воркованиях Тариэла, его телеса принимались мошкой за безмерной притягательности лампу — бедняга не колотил себя в грудь, а дул во все стороны, распределяя гнев, дабы не опрокинуть нечаянно Акакия, взобравшегося локтями на бетонный стол, а коленками на скамью столь же бетонную, обязанностью же Акакия было вытягивать спор из очередного тупика равновесия в тупик ещё более высокого порядка и жребий свой Акакий знал туже некуда.

Родословная спорщиков, минуя ответвления, прослеживалась до сторожей Золотого Руна, и вся цепочка предков под небом созревающей изабеллы вспыхивала, озаряя звенья времён, и, если футбол родился для того лишь, чтобы послужить не почвой, фоном, фоном хотя бы непроизводительных южных страстей, он уже необходим, футбол, необходим и оправдан мигом без границ — ныне, присно и во веки веков.

Им с матерью сдали угловую светёлку на первом этаже. Дружить не с кем, младший из хозяйствских детей, 14-летний Бичико лениво шастал в компании чуть старше себя нагловатых искателей приключений с загорающими (желательно, без родителей) сверстницами, чаще же на попутной развалюхе умывались в город, либо в ближайшее кино, возле атомного института. Маме, преподавательнице музыки, женские пересуды по вечерам во дворе были скучны, а куда денешься. Толчеи у моря нет, ночью — тем более, широченная врытая в песок шина МАЗа собирала небольшие компании, там часто сидели соседи по двору, тоже валерьяновские — Пашка, студент Авиационного, его ладно скроенный пониже ростом школьный друг Илья — они часто резались в шахматы-блиц (с этими часами подмышкой Краев-старший днем выискивал расслабленных партнёров, играя до победного, если же зевал ферзя или ладью, мучил счастливчиков бесконечными реваншами, пока сын что-то строчил в блокноте под мимозой, тенью накрывавшей до трети ничем не стеснённой галечно-песчаной полосы — Ваня и не догадывался, что завидует — может, обеспеченности полной семьи (отца не помнил, отец был где-то жив, но для малыша он пропал, оставив их, наверное, не со зла, но какая разница, если место, где надлежало быть отцу, зияет?), может, манерам Павла — вольным, открытым, может его флирту с москвичкой, похожей на одну из польских киноактрис, и тому, с каким сиянием тот возвращался после этих волнующих бесед во двор. 12 лет между ними, о чём бы стали говорить? Завидовал даже замкнутости, обрачиваемой прыгучим взлётом, когда Павел, бросая блокнот на полотенце, размашисто шёл к воде.

Море удивляло, футбол не меньше, но футбол море в нём и пробудил, хотя в пробужденное до конца не верилось, слишком это было впервые, в пандан дикому пляжу и зною, зыбь скапливалась в барашки часам к 11, зной вынуждал не прятаться в тень, а нырять, здесь же впервые Ваня и поплыл — дно ушло из-под ступней — и никогда после не испытывал соразмерного той свободе восторга-ужаса.

Море он раньше представлял по раскинутому атласу — безмерным (не догадываясь, что и безмерность существует, называемая, впрочем, океаном). В нём при виде и запахах этого синего-синего, при первых же искрах синевы что-то нажалось, повернулось — и это что-то совпало с острым лучом озирания всего вокруг и прислушивания, цепляния к шорохам, цикадам, ко всему гортан-

ному в местном диалекте. Братья Акакий с Доменом (в чьем дворе футбол сменился долгими прениями), особенно, третий, Леван часто с русского переходили на родной мегрельский. Из их «потасовок» отложилось: абхазы (дело происходило в Абхазии) сошли с гор не весной, когда реки размывают горные ущелья и серпантини, но и сейчас, в разгар сезона, и опять перестрелки, что автономии (автономии так называемой и автономии по факту) мало этим бунтарям, тбилисские назначены тоже не мёд, но абхазы просто дикари. Власть, включая милицию, состояла из местных, почти все были скреплены родством степени труднопредставимой, но власть всё равно была в ласть — нечто каменно-священное, как бы не своя, и не то, чтобы русская, чужая, навязанная, заигрывать не возбраняется, подчиняться — по мере ловкости, а брататься с ней и любить — нет, нет и нет.

И в самом воздухе, и в словесной пene избыточного красноречия троицы под лампой в фиолетовых гроздьях, и над прищурами пузатых «авторитетов», и над каждым, кто хоть на минуту, но покидал насиженный угол, или помнил о беззащитности перед стуком в дверь, витал призрак этой самой субстанции — в ласть, зудящая проволока (совпадающая с горизонтом или зудящая, как те же цикады ночью).

Ускользнув от посиделок и маминого недосмотра, Ваня отмыкал калитку, отправляясь в засаду возле мимозы, с видом на сухумский рейд, опознаваемый каким-нибудь круизным лайнером, с его в три-пять палуб огнями. Под ракушечной стеной лачуг смеялись, не боясь погранпатруля. Порой Павел или кто ещё из поредевшей компании брал на руки одну из москвичек, входя с ней в лунную полосу штиля — патруль мог бы это пресечь, но зачем? От кого защищал он береговую нить (и всю ощетиненную ракетными шахтами глубинку?). Кто мог напасть — турки? Мы же сильнее, у нас бомба, космос! От кого?

Отец... Некому ответить.

Кем он был, отец? Ссыльным, вольнопоселенцем в Джезказгане? Рассказывать об этом было не принято, да и мать пресекала вопросы. Разведчиком — решил Ваня. Он выучится на разведчика, хотя бы для поисков отца. Для мести отцу — за то, что не искал их сам. Ленинград мать сменила на Валерьянов из-за климата (вредного для лёгких, и чтобы меньше об оставшемся среди казахов муже вспоминать, слишком уж многое их там связывало). Ивана зачали

(как впоследствии всё же выяснил) на свидании в том же Джезказгане, за считанные месяцы перед расставанием окончательным. Украденный отец. Отец-phantom. Сам же себя и украд.

— Вернёмся, Иван Арсентьевич... — перед полковником сидел симпатичный со змеиного перелива глазами клерк: безупречный пиджак, вкрадчив, на табло крупно светится «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО», — вы что-то забыли в детстве?

Ширина стола 60 см. Как раз для хука. «Успею напоследок» — сверкнуло.

— В нём, — Соустину полегчало.

— Приятно. Это — если не секрет — где? Турция? Разве! При ваших-то годах... Сухуми, чуть южнее, километров 25, пляж с мимозами, ракушечные хибари, угадал?

— ...и запах йода, не забыли?

— Йод! Как же я... Было ясно по движению ноздрей, вы их втягивали!

— Спалился, — он повеселел, — но запахи не все, олеандры не учтены...

— Олеандров не обещаю, а йодом — это в наших возможностях. До завтра потерпим? — Да хоть сколько.

— Ведь и так пока неплохо, сознайтесь!

— Неплохо — мягко сказано, — пальцы полковника едва касались стола, будто перед ударами по клавишам пианино, вжатые в ребро стола, вбирали всю энергию.

— Играете? — клерк тянул время.

— Был бы счастлив, но...

— Понимаю. Сам лет в 10 мечтал о дирижёрстве. Видите, мы оба струсили.

— В досье и этот момент отражён?

— Зачем досье, вы и без него прозрачны.

— Ну, тогда пусть будет прозрачным и молчание.

— Имеете право. Хотя... Вы человек хваткий, считаете варианты, в интересах ваших же кое-что и раскрыть. Например, куда исчезли те из смельчаков, кто разжился оружием из двух арсеналов Сечинска? Их разгром санкционировали вы, так?

— Не разгром. У меня был карт-бланш на любое решение.

— Насчёт вас у меня карт-бланш аналогичный, — клерк сморгнул.

(У него тик — или борьба с пушинкой в уголке глаза? С нервами вроде консенсус.)

— Есть версия. Вы ей не поверите.

— Почему же, — в голосе допрашивающего скакнул шарик пинг-понга, — поверю всему. Вы сильнейший игрок. Но честный.

— Они провалились.

— Да ну?

— Ушли в другое измерение. Другие времена.

— Какие же?

— В советские, скажем так.

— И не вернутся?

— Я бы на их месте обосновался там, куда вынесло.

— Видите. Сами подвели к тому, что всё зачищено. Сечинск зачищен. Мятеж купирован. Вы и это учли? Риторический вопрос, правда?

Полковник хранил, что хранил. Шарик на другой стороне.

— Анализ был верным: при атрофированном инстинкте свободы безнадежно всё. Для меня, заметьте, не меньше. Но тогда зачем допускать пусты невольный, но разбой? Захотелось перед концом (нет, не карьеры, — жизни) выплеснуться? Обрыдло лгать и служить (это глаголы синонимы)? Принестись в жертву?

— Это вы сказали, — уже без искорки превосходства усмехнулась «жертва».

У клерка удлинились изнеженные пальцы, средний на правой руке чуть кривоват.

— Вы догадались, что нам нужны... — он положил на стол обе руки, как после отыгранного дивертишента, слегка потёр поверхность.

В расползающейся паузе полковник старался дорисовать биографию своего вербовщика (зачем ещё он потребовался?), но бросил, скучно. Портрет свидетельствовал тень породы или «озирающуюся» породу (вольно стриженые волосы, чрезмерно высокий лоб, непослушные уши), стиснутую сексуальность.

— ...нужны как залог крайнего варианта. Шансов у него, — висектор выдохнул, будто после затяжки (пробовал курить, не прослось), — как говорили во времена вашего драчливого детства с оглядкой (завистливой) на старших, «ноль целых и хрен десятых». Разве нет? Наша масса не сорганизуется без вождя. Стоять за своё в подкорке опция отсутствует. Зачем же вы во всё это сунулись?

— Делал, что должно, — полковник, ничего не видя, смотрел в окно. Там клубилось серо-серенькое якобы небо.

— И что в итоге? — молодой человек словно бы ударил молоточком судьи. — Никогда не победит сброд, а если (он вбил последний гвоздь, как бы заодно с пленником) — если ему пофартит с короткой победой, мы её возглавим!

В Соустине дзынькнуло: убить бодрого, цепкого, загнанного клерка единственный способ — слиться с ним. Стать зеркалом. Драгоценным осколком зеркала.

— Мы, — дьявол поднял палец, — можем сменить власть. Разыграть её смену. Якобы с помощью стихийных очагов. Сечинск — всё, а регионы ждут, как ждали. Мы их опередим. Страна переформатируется. Как бы (подчеркнул) — в как бы подлинный союз суверенных штатов. Чтобы Запад, чтобы «страшное» НАТО, и все полезно-бесполезные идиоты поверили. Вы патриот? Даже не догадываетесь — до какой степени патриот. Это вы (при удачном исходе контролируемой нами операции) обратитесь к народу. К народу, которого нет! (Был бы — давно б сплотился и мы б тут с вами не сидели.) Гэбешник-расстрига, отбитый, вытащенный из сами знаете чьего подвала патриотически настроенной десантной группой. Президент, достойный великой, очищенной страны. Мы же умерли, после Крыма — и остановиться в этой смерти не можем. Пока не можем. В чем же величие нас, кто ни одного соревнования с цивилизацией не выдержал? В Контроле! Не разрушить (ведь не исламисты же!) мы их пришли — контролировать, проникать во все сферы и контролировать! Сохраняя особый путь — да, лжи, да, оборотничества. Зеркало — и дзюдо. Вы собрались это проделать со мной, а надо — с ними! И здесь потребуется смена декораций. Перезагрузка — якобы перезагрузка, но, чтобы — в последний раз — их недоверие усыпить. Много ли самозабвенно активных? Хватит и одного. Будь хотя бы двое — вы разосрётесь. А мы не можем, не имеем права быть невеликими!

Главный нюанс: контролёры будут у вас за спиной, над ухом, везде. Цивилизация одна, транснациональна и ориентирована лишь на комфорт, (усреднённо и тёпленько), встать с ней бровень, храня кощеву иглу самобытности — утопия. Утопий мы наелись. Контроль — и потенциальная возможность, дёрнув за нитки, всё взорвать к матерям — вот наша миссия. Быть не секуляризованным Христом, а ин-кви-зи-то-ром! С большой, с огромной буквы!

— У меня просьба, — полковник вновь безадресно смотрел в окно, где не летали ни ласточки, ни стрижи.

— Последняя? — клерк убрал длинные пальцы со стола.

— Свидание с женой.

— Анна Львовна, — заулыбался сверхконтролёр, — ждёт. В холле. Вашего решения ждёт. Подумайте.

— Уже, — дзынькнувшая было струнка стянулась вновь.

— На плечах у вас целый дивизион «грузов-200». Спецназа, перебитого по вашей вине. Трибунала не будет. Способов без него — мне ли вас просвещать? — выше головы. Так что: служить или служить. Это если вверх в мозговом штурме (он качнул головой в направлении окна, куда Соустин и смотрел) — возьмёт наша (тень радужного смешка пересекла помещение) фракция. В просторечии, «башня».

— Повторюсь тоже, — полковник снова был полковником на площади позади фигуры «с гусём», — отнять у меня свидание будет приговором лично вам. Вам, кто из «либеральной башни» за меня поручился.

— Свидание, — клерк убрал и яд, и улыбку, — состоится, как бы ни решилось. Будет, но в других условиях. Вы и не представляете, в каких.

— Догадываюсь.

— Я тоже. Но вы заслужили.

— Я догадываюсь, что заслужил.

— Хорошие книги не стареют, правда?

— Отнюдь?

— Предпочитаете пинг-понг или покер? Шучу. О деталях я по-забочился, — надлежало протянуть через стол руку, но во избежание замысленного Соустином нокаута, клерк протянул её глазами, — пока вам этот райский покой не надоест.

XXVIII

Надоесть может всё. Особенно вы. И даже отвлечение от вас. Важно, где поставить точку, где жирнючий крест. Или кол.

Кабо Верде. Острова Зеленого Мыса — вот где им обещал покой на любой удобный срок, читавший мысли его alter ego. С Африкой под боком.

В Африку его мальчишечья фантазия отправляла и выдуманного разведчика-отца. Который там и погиб. Убитый аборигенами. Своими аборигенами. Просто своими. Петля замкнулась. Доблесть и упорство так или по-иному, а вырулили карьеру.

Первой её ступенькой стал Мех завод, где избрали комсоргом, сразу после школы. Армия добавила к этому три сержантские лычки плюс рекомендацию к поступлению в Академию КГБ (сын обязан продолжать его, пусть и выдуманного отца, линию). Анкета без задоринки (сведения о поселении в Джезказгане замял), ни одной четверки на вступительных — дорога свободна, он с удвоенной энергией окунулся в Москву, так и не полюбив её за 40 с чем-то лет. Не полюбив даже холмы и просторы отдаленно схожего с Заволжьем Юго-Запада, где на Мичуринском располагалась учебка рядом с такой же серой общагой за искусственным озерцом.

Однокашники, в основном, дети военных, коренных москвичей единицы, близко сошёлся лишь с Андреем Санчуговым, сыном преподавателя Академии Генштаба, переведенного из Ташкента, в их квартире возле Триумфальной арки (правительственная трасса) случалось бывать. Преподаватель, остроносый весельчак, вовсе не выглядел службистом, мать, уйдя из Оперного, воспитывая еще и Андреева брата, физтеховца Дмитрия (он был старше их с Андреем на поколение, успев заниматься заочной режиссурой при Вахтанговском театре (не пересекался ли с Галкой?)), но перспектива работы в самодеятельности заставила с третьего курса — из четырех — уйти), семья полная и деловитая, гости в доме не переводились.

Москва брала перекрёстным общением, все знакомы со всеми через что угодно. Город отслаивал район от района, храня и своё деревенское. «Созвездие деревень» — ярлык, придуманный самим, в народ не пошёл. Единого народа тоже не было, группки, тусовки. В одну из таких они как-то забрели с Андреем, странствуя по арбатским закоулкам. Дом Аксакова), где в одной из комнат рядом с поэтическим семинаром несколько бородачей спорили о России, о русском пути. Какая ещё России? — удивился (но не вслух) Иван, — Союз! Нет, Россия, империя! Московия, а не ваш Псков-Новгород. — Иго, значит? Почему «иго», — возражал один из самых энергичных, — уния с Ордой, а не с «княжеством Литовским»! «Великим».

Возражавший (тогда ещё без бороды) оказался выпускником МИМО (не пожелал ехать на Кубу третьим секретарем посольства, сменив же карьеру на библиотечные дни в каком-то акаде-

мическом отстойнике, напрочь разойдясь во взглядах с убеждённым сталинистом-отцом, под чьим началом роился целый союзный Угрозыск — Влад Севрин, заика, давящий заикание повторами, волнами повтором, этакий благообразно-сосредоточенный вихрь, истово ратуя за изначально русское, без марксизма любых изводов. Его поддерживал не менее убеждённый и обстоятельный, речью сильно плавнее (габаритами же просто богатырь) дед-Шибай (к нему приклеилось), Алексей Шибаев, прирождённый внушительный оратор, с близкой к стихам Библии речью, с ностальгийно-победительным налётом, где селянин Клюев перекликался с глашатаем аэропортов и Кижей Вознесенским (Иван отыскал в Ленинке стихи обоих, мало поняв, но прочитанное вполне с образом оратора вязалось).

Обликом Шибаев был русак из учебника, пахарь, впитавший чисто московскую деликатность, но провинциалу (а Иван обманываться на свой счёт не собирался) дружить приспично не с братьями Санчуговыми, а с Шибаевым, да и взгляды габаритного добряка, не заточенного ни под какую рампу, Ивану казались человечнее, мягче постулатов Севрина, хотя и огненнее внутренним родником.

Как-то в начале осени, после студенческой картошки, Севрин предложил махнуть за Калугу по грибы, откликнулось четверо, Шибаев охотнее других, предвкушая если не пир, то «споров схватки боевые» минимум. Грибы затмевали прочие страсти Севрина, места знал, чуял и, конечно же, лес до страсти, всякий лес, глухомань его преображала, тут он по «дедовому» экстерьеру и Шибаева бы перещеголял.

Назначились в ночь на Киевском, последней электричкой, чтобы с утра углубиться в совсем уж безлюдные. Накануне вечером у Севрина случился какой-то приступ, по телефону зачинщик похода успел перед Шибаевым извиниться, тот предупредил ещё двоих, которые и без того успели поменять планы, Соустина же не смог, потому из вежливости дождался его на перроне и вдвоём решили всё равно съездить.

Шибаев прихватил средней величины плетёную корзину, а Иван только смешной рыночный пакетом с ручками посередине (не фирма), рюкзак раздражал. Едва состав набрал скорость, Шибаев стал горячо развивать любимую мысль о стержне русского мира — монархии, единственно способной склеить язычество Севера и крепостное христианство Центра, именуемого среди почи-

тателей его текстов «Залесьем». Идея не была дистиллированной, но постоял Шибаев и в пикетах со штандартами общества «Память» и портретами Николая II, вскоре свернув на колею политического национализма — по типу европейских, а не этнических, красному же интернационалу вход в эти максимы был заказан крепко-накрепко.

Редкие пассажиры старались к речам не прислушиваться. Либо дремали.

— Владу кажется, что страна пусть будет фашистской, коммунистической — любой, лишь бы страна. Дескать, люди примут всё, ты им только навяжи. Без навязывания ну никак. Да где ж столько рабов найдешь! Страна людям лишь та, что своя, за которую в ответе — тогда народ, а это по любой логике страна компактная, в достижимых границах, чтобы успеть сплотиться и помочь стоянию за свою.

Ему Сталин дорог открыванием церквей в Отечественную и тем, что большевиков извёл в 30-е, а Власов предатель, хотя именно Власов болел за Русь (без красных), Сталину же хуже либералов мешали русские. Владу идеал — Грозный. Ну, да, в кастинге на Грозного Сталин заткнёт любого, ему и чёрт лысый не соперник.

— А такой имеется? — Иван хотел подманить смешок, но разверзлась цепь «Катюш».

— Будет! — полыхнул Шибаев (мальчишка под 185, но всё равно голубятник).

— Понимаешь, старик, — добавил, — это не паранойя, но ма-ния точно: Владу всюду мерещатся «органы», за ним постоянно «следят». Но по его же вере страна без гэбни рассыплется — так раздоваряться надо, что именно тобой заняты блюстители единства, вера-то крепче тогда, согласен?! Тем более, если Грозный — это наш, меняющий личины столп навсегда! — Шибаев сощурился в недо-мытое окно, где медленно проносились дрожащие «лермонтов-ские», но без деревень и печали огоньки.

— А я там учусь, — признание далось Ивану не без внутренней борьбы (каждого из этих кругов мог заподозрить не только встрёпанный Севрин, кто угодно мог, мог бы и Шибаев — почему нет? Но что святее искренности?).

— Это хорошо, хорошо. Молодец, — Шибаев теребил аккуратно росшую бороду, не отводя приятельских глаз, — взгляд его странно сочетал оттенок «себе на уме» с полной доверительностью, собеседник тут же превращался в давнего друга, — хорошо

же! Агентов надо приобщать к нашей почве, ухаживать! Как с обстановкой? Попробовать есть шанс? Там, поди, каждый третий — мечтатель? А то и второй!

— Не уверен, что сгожусь. Мечтателей... — слова, которым удовольствовался бы сам, Иван так и не подобрал, пусть будет это, — с мечтами у них недобор. Карьере помеха.

— А ты, ты с карьерой как? Ну-ну, это я просто. Не бери в голову.

Сошли на пустую платформу где-то за Малоярославцем, уже рассвело.

Сапоги Шибаева чавкали по росной траве, он выглядел не грибником, а вроде землемера, продолжая вить схему переформирования страны-беспредела (слова «ареал» — не терпел). Уходили всё дальше от станции, вовлекаясь в перелески, но и шибаевская плетёнка и его несуразный пакет покачивались, ничем не отяжелённые.

— Иван, — богатыря будто прошибла молния, и он остановился, разминая пояс, — а не приходило тебе, что лет через... ну... сколько... (нужное число, вставая под чью-то дудочку, выскользывало и выскользывало) 30—40 плюс-минус мы и будем размечивать новую Книгу Жизни?! А? Вместо Конституции, едрит её! С новой службой безопасности — почему бы не с тобой во главе? Вспомним этот лес, эти поединки? Нет? Я дурак, я надеюсь. Надеюсь, что расшевелится. Обида не за державу, а за собственное родство! Сдюжим, как считаешь? Чтобы сцепка снизу, широкая сцепка, но в зоне видимости, на древней основе, она же и новейшая, и вневременная, — он поднял какую-то суковину и шевельнул траву — пусто (а ведь показалось — шапка белого).

— Несколько русских республик — до Урала, две-три сибирско-русских (татары сами выяснят, будет ли у них с чувашами, к примеру, поволжская Швейцария), а там и система штатов, а можно и земель — с полномочиями немецких (и нашей врождённой широтой)?

— О, боровик! — Соустин разгреб слёгшиеся под стопой травинки, выдергивая за ножку толстенного великаны.

— Ну, у тебя и нюх! Один-ноль! Мы ведь на «ты»?

— Да вроде... — пожатие Шибаева было крепким, подобное только что находке.

— Ещё-ещё! — Иван зорко цеплял всё, что попадалось в радиусе настигшей их лужайки, ориентируясь по блеску пары мухоморов (где-то вычитал, что указывают как раз на грибные колонии — белых ли, подосиновиков, груздей...).

Уже на перроне, Соустин от своей доли улова («Куда мне в обшагу с ними?») отказался напрочь, и Шибаев затащил домой, на Войковскую (оставив там же и ночевать). Тамара подготовила всё в лучших традициях, новый друг понравился.

Почему-то жену Шибаева он представлял царственнее, что ли, вовсе не «своим парнем» — медсестра или дежурная где-либо, вот дачница в огороде — гораздо ближе, огород, косынка, сноровистая и безвозрастная хозяйка. Дачный домик имелся — крепенький, по северному образцу, при широкой веранде.

Шибаев столярил в каком-то храме у МКАДа, подрабатывал художником на Фрэзере и ещё где Бог пошлет. Им с Тамарой удалось взять над ним нечто вроде опеки. Следующий Новый Год отмечали на той даче, где и познакомился с Анной, Тамариной подругой, но после женитьбы пересекались «домами» редко, случайно, события двинулись косяком: Чернобыль (эвакуация), Чечня (при штабе), пара поездок советником в Сирию (арабский был у него третьим после английского и португальского). При всех разворотах следить за эволюцией шибаевских утопий не забывал — дружба коренилась на глубине, штормам недоступной.

Анна заканчивала Иняз, он — свою Академию, чью специфику не скрыл на первом же свидании — отреагировано было равнодушно, без комплексов.

Специфика если и мешала, то лишь при внезапных командировках.

У «деда», наконец-то возникла малочисленная, но партия — Альянс, целью этого юридически не оформленного сообщества была пересборка страны, чьи непомерные пространства намертво втаптывали в азиатчину, опричнину оккупационной (самооккупационной, по сути) Системы, заточенной, как говорил один из радикальных сторонников, «под нелюдь сверху донизу». А в начале 2010-х они впервые за долгий срок свиделись лицом к лицу в толпе митингующих на Сахарова (Соустин, естественно, в штатском, «дед» же с друзьями перетаптывался — сырость, гадина — слушая призывы с широкого возвышения в торце площади. Экран за спинами выступающих позволял рассмотреть каждого, а не только услышать эхо).

Полковник старался внимания к себе не приковывать, но это и выдавало. Глаза их тогда смагнитили, оттаивая прежней близостью, Шибаев подмигнул, догадываясь, зачем здесь не часто поми-

наемный друг и пригласил по завершению в «Кофе Хауз» или «Шоколадницу». Соустин потом жалел, что сослался на Анию (она действительно грипповала). В мозгу сверкнул некий зигзаг, озаряя будущее движухи, конец её «тоннеля» — рассыпание, подобно поставившему густовскому-91, но прочнее и с безнадёгой «в законе». Тем не менее, идеолог Шибаев лет 7–8 еще держался отшлифованной линии на сетевой союз нацдемократий по-русски, его и формального создателя партии приглашали в Израиль, затем в Киев после Майдана («дед» открыто завидовал обеим странам, имея необычайную популярность в Украине, при почти полном «безветрии» сторонников на просторах «единой-неделимой»).

Теперь же (для большинства его фанатов и сочувствующих это было громоподобно) «дед» выворачивал руль до изначально пропимперской стрелы-указателя (слышен был даже скрежет этого выворота) и Соустин уяснил до этого самого скрежета, что и разойдись они взглядами полярней некуда (если бы сродство, пусть неполное, мог себе позволить), и тогда ни за что не предал бы влюбленности в эту фигуру, возникшую в глубинах Музея Аксакова и «дозревшую» на той грибной вылазке.

Почему сейчас, после Сечинского провала и ареста опять в нём возник Шибаев?

После кровавой зачистки? А ведь был уверен: город жёстко зачищен (хотя группы с оружием успели чудесным образом пропасть), так вот, после первой зачистки (в этом он тоже не сомневался), разойдутся несколько их волн «по периметру», а Шибаев, несмотря на вираж в державничество, оказывался крупной мишенью, хотя бы как потенциальный лидер общественного (пусть и притянувшегося) мнения (ЛОМ), один из ЛОМов (разрабатывались программы на их кастрацию, не буквально, и всё же).

Удар по ярким, пусть и не медийным, фигурам неизбежен (причастен ли ты к планированию? Причастен, пусть и косвенно). Помочь другу опоздал и предупреждать, наверное, было бы поздно (из Сечинска — точно поздно). Перед Шибаевым, его Тамарой и перед своей Аней стыдно.

Что еще обе семьи сближало да не сблизило — бездетность. Виноват ли был в этом Шибаев-теоретик перед «своим парнем» — вопрос праздный. Соустины долго не решались, а потом Аня устала, от внезапных вызовов, от закрытости (он боялся посвящать жену в нарастающий тревожный пересмотр всех устремлений,

всей тягомотины двоемыслия, но и бросать её не собирался), устала, притерпелась, они этой усталой претерпелостью, преданностью друг другу и срослись.

Надо же, тридцать лет брака, такое забыть... У него, аналитика, хронология собственных событий не выстраивалась. А сейчас — у него будто заболели все верхние зубы слева — сколько же упущено! Самая страшная нежность — нежность задним числом. Он, оказывается, любил жену, сам от себя скрывая не то, что размах и глубину чувства — мелочи скрывал, чтобы на мелочах же внезапно таять.

Аня, Анечка, я украл — свою жизнь, твою жизнь, совместные поездки, друзей, продолжение рода, всё украл я, украл без пользы, неужели моя жертвенность росла себе втихаря — и выросла до степеней нелепых — никто не узнает о ней (клерк прав).

Он бормотал про себя, о себе то в первом, то в третьем лице, боясь признаться, что решение «да» уже принято и вдогонку суматошно подбирал горы оправданий.

Знал, что эти его мысли тоже контролируются в режиме реального (время и реальность — это ведь как гений и злодейство, только в обратном порядке). И если он этой изощренной нелюди нужен без издёвок, они довольны. У каждого своя малюсенькая победа. Я же хотел большей, самой-самой. Сказав гордое «нет», Аню ты убьёшь. Убьёшь и прощальное свидание. А раз так — да провались во временные прорехи ткань этой фейк-империи (всё равно ползёт с треском и без). Я не совсем соврал. Или вообще не соврал. Ты его козырь. А мой козырь — вернуть жене хоть часть украденного. Хоть часок вместе. На полную ногу. Да, мрази. Буду, буду служить, мало не покажется. Несите же, пихайте в меня эти ваши чёртовы острова!

Сидел с раздвинутыми ногами, как некий больной диабетом режиссер, отдающий приказы массовке (этой массовкой сейчас был он, Иван Соустин).

XXIX

«Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндия, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер...» — почему-то именно первая фраза «Ста лет одиночества» плескалась в Краеве, усечённая, оторванная от продолжений, ото всей мешанины, всей каши собственной жизни (вдруг, и не одной?), хотя в оригинале роман был единой фразой, нескончаемой верёвочкой фразы,

пока длился, пульсировал миг взгляда на блекловатый ч/б снимок, сделанный экс-философом Рониным (существуют ли бывшие философы?) на полпути подъема от Грушинского муравейника с его сонным гитарным (скорее недо — чем пере) перебором к шпалам одноколейки возле Майстрюков.

Фотка прошибала ветвистой молнией, Павел в это изображение врастал, ожили, задвигались все персонажи, Алка Верясова (кличка «Верасы») потянулась к буйволиной шее Петрова, Майя, вставшая первой, лучезарным кольцом охватывала и упомянутую пару, и Харченко (короля Солнце в не улетевшем псевдосомбреро), и Тихановскую (сожаление читалось на её матовом личике, затемнённом двумя водопадами локонов — поводом являлся он сам, зажмуренный от непонятного счастья Павел), наконец, величественно-скромную Брюхнову.

Оползнем росло: а я, что бы я вспомнил у той стены (отвлекаясь от расстрела — может, он уже свершился)? Как девятилетним пересказал соседу по парте Илье секретное письмо Хрущёва (нарушая отцовский наказ строго-настрого молчать, Илья же затаил ответ на его предложение найти подходящую крышу для пулемётов, направленных на обком, где укрываются враги — разве не враги заставляют молчать о секретах, о тайне, которая правда, разве мыслимо правду скрывать?)

Или, когда разъярённый Витяка Постриг на уроке труда швырнул в него, в дразнилу, ножницами (отклонил голову и ножницы колупнули стену, оттого сейчас вроде бы не инвалид)? Или белой ночью под Псковом, когда обматерил начальника преддипломных сборов, который, прерывая звонком на пост безмятежное дежурство, пьяным голосом велел растолкать старшину, дескать рыбалка отменяется (предупреждали: звонить на пост будут лишь при начале тревоги в случае ядерного нападения!)?

А самого яркого нет как нет.

Определился с главным поприщем — пиши, сосредоточься на прозе хотя бы — опять: планка высоты, задетая неловким носком, подрожит-подрожит и рухнет.

Семья? Какая же семья без любви! Отчаяние (30 стукнуло — и всё один, один, сплошь обломы — либо ты влюблён, либо в тебя, а чтоб взаимно — шаром покати), отбрасываешь хвосты аки ящерица, но всё-то куколка не в дамках. Развестись — и то медлишь, будто в запасе дюжины вариантов (или 49 жизней, как в буддизме).

Тоня вот-вот должна была вернуться с какого-то частного урока живописи, предстоял день рождения у супруги одного из товарищей Краева по непоступлению на Высшие сценарные курсы тишайшего Вележева (психотипом — своего антипода, зато жёны спелись, без напряга, ближе мужей-неудачников, а Вележев нашёл-таки свою нишу, занимаясь с детьми по какой-то новейшей системе, а Краев экскурсоводил по Кремлю, Москве и Абрамцеву, всем тяготясь).

Ехать не гляделось, если только не ради перемены обстановки.

Лёжа на спине, Павел подёргал ногами (упражнение посоветовали ещё в Пироговской больнице Валерьянова после кишечных спазмов). Тяжесть над пахом не рассасывалась. Не помогли ни чай «Три слона», ни кефир.

Стемнело, как всегда в октябре, вкрадчиво. Собираться Тоня начала с порога, не спрашивая, голоден ли, раздражали все жесты, они чертились невпопад, ученически, без вдохновения (либо ему так несправедливо казалось). Спасением было бы уткнуться в пиш машинку, но тащить её в кухню опять же морока. Силёнок заварить новую жизнь, с нуля, традиция отсутствовала. Дыра на её месте.

За столом у Вележевых пил без разбору. Уже в прихожей, когда расставались и никак не могли расстаться, почуял новый клинч сантиметров на двадцать повыше паха. И лишь из дома, после немыслимых гримас вызвали скорую.

Боль перекрывалась ужасом Тониных глаз в «неотложке». Ужасом, а не хлопотами любви. Тоня держала его руку так, что спасать, скорее, надо было бы её, нелюбимую (за что? За отсутствие вины, вины, скрепляющей нелюбовь).

Некая ниточка шнуровала сознание клочком первой фразы (первой лишь в переводе, оригинал и есть необрывная фраза) «Сталет...», но столько собственных историй ползло, как ветхая ткань, столько недоговоренного, едва начатого, казалось, дунь! — и разлетятся трассы знакомств, а ты всё надеялся без риска, так и не оторвал от сухой почвы, теперь ни почвы, ни (даже грязных) подошв.

Смутная вера: всё, всё пошло в рост, всё длится, но без меня.

А каково это «без меня», совсем без меня, без какого-нибудь (есть у сыскарей такой сленг) биоматериала? Но ведь я там, в продолженном без меня есть?! А как это «я есть»? Там — есть, кто?

Санитары ловко ввергли каталку в просторную тюрьму лифта. Седьмая хирургия — вот куда его катят. Седьмое небо! (Хорошо, что

не девятый круг). Но в последовательности событий что-то переклинило. Его должны были катить в эту «Седьмую» спустя две недели подготовки, а везут сразу. Куда подевались 14 дней, кто замариновал и выстудил мясо памяти?

Промывание привела в чувство (его же, во всём спектре и отшибая), назавтра же хлынул ручеёк навешающих, подхвативший и Влада Севрина (из сбирали на Сивцевом Вражке), он заскакивал ежедневно, убегая через минуту-другую. Краев ждал Влада после вызова к главврачу.

— Вам требуется операция, — уставился в какие-то бумаги слегка испуганный главный отдалённо схожий с артистом Леоновым, но без причмокиваний.

— Делайте... — удивился Краев.

— Она сложная, — главврач опять спрятал глаза.

— И что, — насторожился беспечный пациент, — у меня есть выбор?

— Выбор... Через год (без неё) привезут уже не для операции, а для... Подумайте.

Краев понимал обычно безо всякого думанья, как бы в турборежиме — и голова оставалась чистой, но не пустой.

Именно после уклончивых ужимок главного Севрин и ворвался в общую палату, где лежал отрешённый Краев. Услышав пословно переданный диалог и ни секунды не тряся на уточнения, он буквально издал приказ:

— Не двигайся. За тобой приедут.

— Кто? — с унылым смешком бросил Краев опять же в воздух.

— Приедут, — отрезал сын главы Угрозыска.

— Ты же не знаешь, какая операция! — но Севрина уже и след простыл, он умел опережать неповоротливое течение жизни.

Назавтра же Краева, без переодеваний и утомительных дрязг с выпиской эскортировали в расположенный поблизости, за двумя поворотами, госпиталь Центрального военного округа и к нему немедля в отдельную, узкую, как пенал, палату явился Шапкайц, мировое светило, главный чуть ли не всей армии хирург, излучавший Галактику оптимизма. Пока он мял Краеву живот, за спиной божества толпились студенты с лицами посетителей анатомического театра.

Теперь же две недели подготовки, весь её ритуал вылетел в приоткрытую фрамугу общей палаты, где тебя, возможно и не лежало.

На операционном столе какие-то лица — знакомых или ни разу не встреченных, как свистящий рой мошкеры — истеричных мужских и отчаянно-молчаливых женских, отдельные он успевал фиксировать — безучастно и вопреки всему догадался, что умер. Что смерть остаётся наблюдательной частью существования. Догадался, что умер, всё видя, ни на что подействовать не способный. И всё недоделанное, так и не произошедшее громило его, плющило — его, а вовсе не труп, распростёртый под лампами в 1000 ватт. Но догадки нагнали не сразу, когда очнулся даже не в реанимационной, а в отдельной, специально для его изучения созданной комнате, и умерший, сам себя не слыша, что-то медиумически вещал под шорох записывающего устройства. Этот шорох и был связующей нитью с тем, что всё-таки заставило разорвать глазную плёнку и очнуться.

XXX

— Отчество? — крупной лепки хирург в зелёном, торчащем колпаке, не спрашивал, а близко-близко вдавливал, почти прикладываясь ухом:

— Семёнович? Как? Самойлович?! О как! Ну, Самойлович, впред!

Только что прооперированный пребывал в мутном растворе (отчество подсказал один из ассистентов). Показатели вели себя странно — не кома и не клиническая смерть, и даже не среднее между ними (синусоида никак не желала фиксироваться).

Голенького переложили на каталку, запахнув толстой резиной. Лампы погасли, хирург на ходу стянул перчатки, один из студентов, ловко распахнул дверь и каталка, повизгивая всеми колёсиками, заюлила по коридору, в конце которого пустовала спецкомната (показатели своей непредсказуемостью вынудили поставить там оборудование, дублирующее операционную).

После шести часов манипуляций руки едва слушались Шапкайца, заканчивал на автопилоте (зашивали старшая сестра и один из ассирирующих), пока сам он, мажорный, с широко расставленными, густыми глазами, плюхался на диван с багетной окантовкой в своём кабинете.

Шапкайц то и дело переслушивал случившийся накануне консилиум как раз насчёт этого сложнейшего случая. Мегадолихо-

сигма — не весь диагноз. Пациент явно чего-то не добирал, он таял, потом ссыхался, вновь подтаивал, ровное дыхание сменялось перебоями ритма, показания датчиков дёргались, как поплавки.

Один из участников (не знакомый Шапкайцу) предложил внедрить в оперируемого некий энергостимулятор, японскую (по его словам) новинку, продемонстрированную тут же: в коробочке, похожей на футляр для ожерелья. Но вместо ожерелья центр красной подкладки украшал переливчатых оттенков леденец, слегка удлинённый по экватору. Бежевый оттенок преобладал. С мерцанием, как в янтаре.

— Если это эксперимент, я против, — Шапкайц хотел возразить резче, но голос не послушался, — кем утверждено?

— Заключение АМН, — неизвестный достал из папки два скреплённых листка.

Шапкайц пробежал их по диагонали.

— Мой голос — нет. Прилепить к одному из концов толстой кишки? А что через месяц?

Халат, наброшенный на стёртого качества костюм предлагавшего, не скрывал одной из трёх полковничих звёзд на погоне. Равно как и выправки во фронт.

— Есть ещё возражения? — начальник госпиталя спрашивал, как о давно решённом.

Семеро (не считая Шапкайца) не поднимали голов от компактно длинного стола.

— Откуда поступит энергия? — Шапкайц отчаянно пытался хоть за что-то зацепиться.

— Вы отказываетесь от операции, Сергей Львович? Кандидатура на всех уровнях согласована, включая, сами понимаете... — он поднял указательный палец к потолку.

— Я...

— ...Особое мнение. Голосуем, товарищи? Восемь «за». При одном воздержавшемся.

— При одном против, — уточнил Шапкайц, вдавливая, — за пациента отвечаю всё же я. Впрямую. Даже под приказом.

Той же рукой «против» сейчас он откидывал на обе стороны фонтан шевелюры.

Из слабой дрёмы вывели модуляции того самого держателя коробочки с «леденцом», который вплыл в кабинет, где из трёх «столоваток» одна перегорела уже с месяц:

— Поручено представление вас... — «вплывший» замялся, — насчет лампочки я распоряжусь, тускловато здесь... — добавил нев-попад и кашлянув.

— Да какие награды... Всё теперь там, — хирург ткнул указательным, почти без ногтя, куда-то вверх. Подражая (или невольно подражая) главному на консилиуме, — на четвёртые сутки снимем эту штучку. Под местным. Простите, вымотан.

И повернулся в профиль (за незашторенным окном далеко-далеко полыхал отблеск то ли заката, то ли ректификационных башен Капотни).

Оставшись один, долго искал удобную позу.

Итак. Под гипнозом себя выдаются с первых же секунд, а здесь чревовещание при максимальной дозе, но спустя час. Ровный глуховатый диктант. Он что-то пожелал перед подключением шланга. Точно. «Господь вас благослови!». Речь монотонная, как позывной Гидрометцентра для аэродромов Севера. О президенте (что за президент?). О номерах архивных дел, кого не реабилитировали в 60-х. На третьем часу (био не врут) — сердце. Прямой массаж, две попытки. «Леденец» прилепил на верхний фланец разреза. Шансов у парня хорошо если год-половина. Мальчишка (тридцатника нет) поступил через Игоря, а Игорь — органы, их жучок?

И когда по телефону обещал Игорю «взять», тот замаячил на экране мозга в смокинге. С бабочкой.

От «леденца» отбивался как мог. Но чего испугался? Страх — от осознания беспомощности, нет? Ведь и боязнь высоты чем перебаивается? Любой страх — чем? Нырком в ассоциации: Николина гора, каскадом вьется к Москве-реке спуск, свиристят стрижи — низко-низко — зной спадает, и вода застыла, как оловянный расплав, Инга Францевна муштрует («Будущее, майн либер, начинается с прямой спины!») — утром, как заснежит, окатываюсь ушатом ледяного кипятка, летом же двумя ведрами колодезной; первая любовь (она же без помех счастливый брак — знал будущую жену чуть ли не с ясель, на дачном снимке она полголовой выше, чулочки сморщились, а ты — мужик мужиком — к таким прикипают) — всё, всё, до стона — в развороженный кишечник, как бы укачивая засы-

пающего плаксу-грудничка (с одной разницей: это его укачивали, он трясясь на чьем-то плече, карабкаясь к шее, впору бы и занюнить: отдаваемый дедом в руки матери, ребёнок вырывался на волю, а его подталкивали, опекая).

Все подстроено? Слишком извилистый сценарий. С непрходимостью привезли «неотложка», не ко мне. Игорь вдруг звонит со своей Петровки 38: «Возьми, сын просит, его близкий приятель, может, по твоей части?»

Впервые о чём-то попросил! На своего же Влада, когда выпивали, часто досадуя — от дипкарьеры взбрькнул, спутался с диссидой.

О мегадолихосигме Игорю кто шепнул? 50% летальных. Не всем врачам известна статистика. Значит, использован втёмную. Спровоцировать приступ? На расстоянии? (А мало ли у НИХ игрушек?). Опять лабиринты. Версий две: «объект» либо долго «вели» (а ко мне почему? Чтобы скомпрометировать?). Либо над каждым (каждым!) наложенная сеть колпаков.

Думать, как сейчас, он себе не разрешал. Только в работе, на страшной скорости, смысл от неё и нарастал. Руки думают сами. Думать отдельно, это роскошь типа прыжков под куполом. Акробатом быть (кстати) первая мечта. И хорошо, что из всего первого сбылась любовь. Самая-самая первая. Бездетная, что ж... (отвёл скрывающую от него слёзы Ирину — обнял, а её передёрнуло.

Не надо бы об этом, вообще не надо.

Но теперь, теперь бугрилась почва бунта.

Органы паразитарно вшиты в страну своего псевдослужения — швы размылись — придёт ли время оттирания мёртвой кожи? — резать и сшивать! — вот миссия, сшивать и резать, в этом ты ювелир, а смерть явится (поддакивал внуку дед-контр-адмирал, уведший барышню, из дворянок, от какого-то военспеца, инженера, битый сначала при Ежове, после войны же — битый под раздачу «лендлизных» отношений — «за контакты с идеологическим противником») — помрём, как штыки.

Потёршись щетиной о сукно стола (словно бы плывя на боку) — не спать! не спать! — он чувствовал, будто щёки ввалились. Жёстко — госпиталь же, да и вокруг всё армейское) чёрен диван, как ваксою натёртый.

Звонок застал его блаженно текущим, с ярким глазом, где всё успокоилось.

— Ну, оттаял? — Игорь был сама нейтральность, — прислать машину?

— Я, ты же знаешь, люблю пешочком, особенно после тяжёлых.

— Где-нить на Чкалова подхватят. И к нам, на дачу.

— Давай в субботу, Иваныч?

— «Мартель». Двенадцатилетний!

— В субботу, Игорь. Отойти б надо, прогуляться.

— Жаль. И ещё тебя подарок ждёт. Знаю-знаю... Ладно, будь осторожнее.

Последнее слово зависло у двойных рам и улетело в теперь уже чёрную черноту.

На перекидном никаких записей. В сейфе всегда виски. Две стопки — одна за одной. Ноль эффекта, кроме тепла, разумеется.

И не надо никакого. Даже «Мартеля».

Перед палатой на стуле дежурил «новенький», глаза выдают. (Уже и охрану поставили.) Челюсти чуть раздвинуты, то есть, он полагает, что улыбнулся приятно. Всё по инструкции. Пить надо больше, а то виски не берут, «Старка» не берет, и коньяк, спирт — гадость, пищевод как бы залит мастикой.

До снега ходил без шапки (если не требовалось напяливать панаху) спортивно, упруго, подсвистывая галкам на тополях. Мёрзлый грунт пружинил. Сразу за воротами парка — ледок, накатанная полоска — разбег: и скользи, балансируя. Маршрутом этим до Садового пользовался уж и забыл когда. Главное — дышится, дышится. Не отдам бедолагу! Хоть сотню бугаев ставьте — швы я снимаю!

За поворотом простучал трамвай. Медленно шуршала в свете подвесных ламп «Волга» — не за мной? Серая. А для чёрной рангом не гожусь? Недельку бы оттяжки. Ладно, пусть в субботу. Ненужный разговор. Игорь сам не начинает. Да, «приготовил». Что? Ружьё? Или ещё одного «Фауста» (собирал все издания, все когда-либо изданные переводы, особенно нравилось, как по-испански звучит, а ружьё... ружьё имеет свойство стрелять, не дожидаясь третьего акта.

— Мужчи-и-на!

Особа в коротком каракуле двигала у рта раздвоенными пальцами. За её спиной выжидали трое: «колобок» и один другого внушительней.

— Не курю, — бросил, исподволь отмечая фиолетовый лак на узких, прямоугольно тёсаных ноготках и начало груди, склонной к полноте

— Да? — искренно удивилась, подойдя совсем близко. И без стеснения прильнула к руке, обвив своей, пытаясь шагнуть в такт, смешно переступая.

— Эй! — «колобок» двинулся, оставляя двоих в резерве.

Он сгрёб каракуль пятерней в районе позвоночника, и владелица, едва не упав, прильнула к хирургу той самой грудью.

— Хороша? — «колобок» облизнулся.

Шапкайц поднял бровь, высвобождаясь из-под нежных «лиан».

— Командир... Если коза с тобой...

— С ним! Он — мужик! Руки видишь?

Схватив большую ладонь, провела по ним губами. Её помада пахла земляникой.

— У него ТТ, — шепнула.

— Отойди, — Шапкайц мягко толкнул предупредившую, — парень (прости за фамильярность), до Склифа дойдёшь сам, я зашибать не в настроении. «Пушку» скинь.

И вдруг, чиркнув немыслимым сальто, сбил «колобка» с ног (трюк был оттренирован в том же подвале, где и стрелять учился).

ТТ наглеца отлетел к ледовой полоске. Хирург нагнулся и засунул пистолет в левый внутренний кожанки.

Грохнувшийся потёр ягодицы и растворился. Дружки не вмешались.

— Пойдём? — девушка стала тихой и преданной, — Ты гэбэшник?

— Хирург я, — ответил хирург обвившей его руку.

— По национальности?

— Муж своей жены по национальности.

— Бывает же! И давно?

— Э-э... Забыл, если честно.

— Наверное, столько не живут. Не бросай сейчас, ладно?

Довоенной кладки дом не выделялся среди таких же предвоенных («эпохи размытого конструктивизма»). Вечная оборона. Эффект усиливали сороковаттка в «наморднике» на площадке этажа и выносной лифт. Зато утопающая в сухих цветах прихожая благоухала джунглями тепла. Не зажигая света, девушка повисла на шее опустошённого борьбой с отростком, который уже покоился в казённом растворе, готовый к лекционным смотринаам.

— Гитара?

— Господи, ты в темноте видишь? Кот?!

— Есть маненько.

— А с виду медведь медведем... Я сейчас!

— Нужен телефон! — крикнул ей вдогонку, выпраштываясь из тяжеленной, тяжелее обычного, куртки (пистолет весит).

— Заходи, теперь можно!

В комнате было несколько настольных ламп, любовно и небрежно-любовно завешенных шалями — по углам и на низкой, с гнутыми ножками, подставке у тахты.

Она обняла гриф, подбородком касаясь струн, пахнуло дачной ротондой в прилипших листьях, похожей на планетарий — томная Плевицкая взяла низкую грудную ноту. Текст о каких-то пущенных с холма колёсах в огне, Венеции, её горизонтальных зеркалах, над которыми крестообразно планируешь, а это лишь окраинная зима, нерасколдованный, преображеный плач.

— Твоё?

— Не-а. Раньше писала...

— Здорово! Не надо так сразу — воздуха бы...

— У меня портвейн. Хороший.

— Бесполезно.

— Не берёт, знаю. А крепче нет. Сегодня удача — да? Генерал, старенький... — она погладила щетину, сев к нему на колени, как в седло, упала, потёрлась о шею и основание ключицы.

— Старенький, — повторил Шапкайц, ошарашенный, находясь как бы в кометном хвосте сплетого только что.

«Приближается время наших ранних смертей» — строчка впаялась, чужая детям, Венеции, холму с колесами, а тебе — возмутительно чужая, но ведь самое ненужное — чирк! — и запоминается.

— Шёл-шёл, (какие же у тебя роскошные... — она погладила волосы, оттягивая их кверху) — и напоролся! Врёшь часто?

— Ради работы, кто ж не врёт....

— Значит, — она выдохнула, — я никогда не смогу работать.

— Ты поёшь.

— Спас меня сегодня. Зачем?

— Парня спас, — он хмыкнул — и то, на годик максимум...

— Вида крови не боишься — добрый.

— А-а, «добрый», — отмахнулся, — мясник-резектор...

Она закрыла ему свежей ладошкой рот.

— Я к тому... всё равно нельзя. У меня... ну, ты понимаешь... Кофе сделаю?

— Час поздний, — приподнял её за талию, будто готовясь подкинуть.

— Не уходи, — обняла горячим сугробом, — ну, просто. Побудь и всё. Свет погашу.

Метнулась — все три лампы умерли.

Только сейчас почувствовал ногами ковёр, с улицы же будто морзянку. Совсем лёгкий, его, как бы прилипшего к окну сзади обняли крест-накрест и щекотнул шёпот в самое нутро:

— Я подумала, может вправду следят?

Слева, за газоном — вроде ни при чём (интуиция некстати) — «Волга», та самая, серая.

— Кофе не индийский?

— Ты что — в турке!

— Покрепче!

«Волга» стояла и стояла. «Ну, я им, — взвинтилось в Шапкайце, — с меня слезешь, где сядешь! Утром пусть довезут, конспираторы...

— Где у тебя телефон?

— Держи! — лампы мертвели, но слабый от свет с улицы позволял ориентировку, — выпей сначала.

— Нет, твоя вот эта, — она оттолкнула руку хирурга, который потянулся было за чашкой на подносе, покорно взял другую.

Пригубила пену, опрокинула целиком. Шапкайц сделал то же самое, машинально.

Его пищевод вздуло. С высокого берега Николиной он, лет семь, покатился, убыстряясь, колесом; из только что спетого ли, залива вместо гондолы покачивается выпавшая чашка (скорее бочонок), из тёмного ли коридора — не разобрать.

Медведь рухнул, осколки были как стрижи. Раскололась, как одна из ламп, девушка, припав бесчувственной тушё на грудь. Быстро-быстро, не попадая с первого раза ноготками в прорези для цифр, без дрожки, но с икотой, наскребла номер.

— Скорее, — заклинала, — я боюсь!

Выскочила на кухню, сорвав шаль с одного из абажуров. Неловко задетое свалилось на ковёр, и лампочка предсмертно вспыхнула.

XXXI

Голая комната неслась в трёхстворчатое окно без штор. Съёжены, будто нерестясь, натыканные звезды. Он, близорукий, как в бинокль, ясно видел чёрную степь в ранних заморозках. С хрустом подлетела под него степь, и затрясло. Впереди колыхалась сильная спина. Мужик тащил и подбрасывал телегу сильными прыжками, помогая себе фырканьем. Оба — он, птенец, и прыгающий с телегой — немые. Возница (немой всерьёз) устал, ему плохо удавалось мычать и фыркать, а птенец в телеге не чувствовал страха — восторг брал своё.

Прооперированный открыл глаза, но и в открытых продолжался сюжет со степью и телегой. Лежащий, весь в присосках датчиков, пытался вспомнить, как его зовут. Ничего взятного, *пвлкв*. С отчеством типа *смлвч*, *свччпрк* — согласные тёрлись друг о друга, подобно бочковой сельди, а гласные будто выпарены из всего вокруг, кроме посвистывания и шипения приборов — слух обострился невероятно. С полудвижения шеи впал в ещё больший ступор: замычать от приливающей боли мешал столб капельницы, мешали спелёнатые пальцы ног, мешало голое небо. В расширенном столбике, откуда к локтю тянулся прозрачный шнур, что-то булькнуло.

— Лежите, лежите!

Мужчина был в неудобном, перекошенно сидевшем белом халате. Стёртый, как теледиктор. Краев пребывал в мозаичной реальности, смальта этой мозаики слеталась, как ведьмы на шабаш. Военный в чужом халате склонялся к постели Краева, тот видел «белохалатника», но момент его входа странным образом «склонение» обогнал. Так же было и с медсестрой: она тронула столб капельницы, после чего вошла в палату, но их пути с военным даже не пересеклись и друг другу они явно были незаметны. Одновременно (хотя время стало дискретным и мгновения двигались, как хвостатые мальки) откуда-то всплыл широкий вид со спуска (или подъёма?), по стволам текло медузоподобное облако, при наведении на резкость облако сгустилось в знакомые ямочки с веснушками. «Майя! — захрипел, как зовут «мама!». Но звал совсем другой он, а не разрезанный. Тончайшая пленка памяти стягивала оба нутра, и таяла. Зов проваливался в какой-то искрящий кокон, скроенный по фигуре, а «фигура» выжидала миг паса.

— Майя Фёдоровна шлёт привет, — военный сморгнул. — Из Киева. Волчаниновская 12. Она там с мужем и сыном. Только что родили.

На этих словах мозаика разорванных кадров схлопнулась и с него спала вся пелена.

«Зачем врать про Киев, когда Майя никуда из Валерьянова? Чей сын?! — взбурлило чуть выше горловой впадины, — какой муж?! Ты ж сама просилась приехать!»

Мычание не слушалось.

«Теледиктор», отрывая от пола белёную табуретку, отодвинулся метра на полтора.

— Чувствуете себя, — это было между вопросом и утверждением, — в норме?

Никак, никак он себя не чувствовал. Чернота, потеряв звёзды, переместилась за правое плечо и посерела. Приподняться удалось, жалкие, растренированные ноги тронули холодный линолеум.

— Сейчас, — мужчина держал его мысли на поводке, — принесут (он окинул верхние углы палаты, слово бы ища некие устройства) брюки, сорочку (голубую, как вы привыкли — свитерок я выбирал сам. Тоня подтвердила размер).

«Тоня»!.. Господи... Он ведь не успел развестись. Но в пустоту не разводятся. А как же Майя? При чём здесь она? При чём тот групповой снимок на поляне перед одноколейкой? Тоня, Тоня, чуть что и рыдать... Ночью, в «неотложке», держала его за руку, ничего не чувствуя, как сейчас он. Где я, куда вы меня загнали?!

На стуле, рядом с тумбочкой, млела тонкой ткани сорочка, под ней угадывались чёрные брюки на щегольском ремне. Всё это появилось раньше, чем объявил хвастливый источник новостей — время вновь закрутилось мозаичной петлёй.

— Хьюго Босс, — гордо сопроводил изумление больного «тедиктор», — из «Берёзки». Умывальник прямо тут. Как в СВ!

Вошла миловидная практикантка, переложив с тележки алюминиевый судок и полную тарелку мяса в окружении странных для ноября помидорин, неких оттенка ржавчины листьев, напоминающих лаврушку, и колечек жёлтого перца. На нижнем этаже тележки располагались шлётпанцы, там же и новенькие зимние сапоги — левый и правый в отдельных целлофанах. Полноватые ноги практикантки оставляли впечатление изящества, она выпорхнула, вслед за ней многозначительно удалился и гонец в плохо скрытых погонах.

Краев скакнул в ванную. На подзеркальнике поблескивала электробритва, штепсель предусмотрительно в розетке, которую, видимо, кто-то из предшественников пытался то ли выломать из стены, то ли, напротив, сильнее вдолбить.

А я ничего. Бороду пока не тронь. Торчат волосы (попытался их пригладить, намочив пальцы). Одухотворенно похудел. «Хьюго Босс»! Н-да...

Мелко-мелко снежило за окном. Распахнуть не смог, заколоченной была и форточка. Двое санитаров, (видно, тоже практиканты), беспечно толкали каталку, подобную столовской раздачи, но с чёрным длинным свёртком. Размеры свёртка просто кричали — что в нём, и куда его везут весёлые медбратья.

Один из толкающих оглянулся и прихватил бегущую девушку на каблуках — морозец-то ей нипочем! — Краев узнал раздатчицу в мини — опять вспыхнуло: «Майя!» — ноги похожи, ноги, — верхняя часть — отзывалось на кончиках зубов, — а если с ног началось, если на них пал первый взгляд, любви не будет (в случае знакомства). Тело рождают глаза — чьё открытие? А вам кажется, всё из книг?!

В тумбочке нашлись тыквенный сок (для 2-3-х летних) и Тони-ны котлеты. От неё и банка (из-под майонеза) с рябиной. Рябину собирали через проспект напротив дома, ничего не оставляя воробьям и щеглам. Горькость варенья была его главной ценностью. Деревья перекрывали всхолмленный пустырь, но как-то чересчур дразняще, как бы втягивая горизонт, заслонённый дальним стадом домов Олимпийской деревни. Растирьная вечная готовность Тони зарыдать более всего бесила, больше ржаного смеха, каких-то упрямых причуд и стараний всё делать, как ему нужно. Зачем женился? А она зачем согласилась? Звёзды совпали, обояндная ли трусьсть. Винить лучше (и легче) себя. Они с Тоней из племени привыкающих. Но Тоня убедила себя, что любит, а у Краева процесс попятился, оставив рубец вины.

— Совсем другое дело! — считанные секунды спустя окончания Краевской трапезы (всё умолото влёт) «диктор» вернулся с ещё одной табуреткой), взяв ноту радостнее прежней, — вот не хочешь, а повериши: «На четвёртые сутки!» — нате вам четвёртые и вы в порядке. Наука? Талант! Это у Сергей Львовича на лбу написано!

— Сергей, — как вы сказали?

— Шапкайц. Сергей Львович. Главный...

— ...а что с ним? — перебил Краев.

— ...Центрального военного хирург... А «что» с ним должно быть? — веко у «диктора» вытянулось, — Отпуск. Осенний отпуск. Теперь будете наблюдать у него регулярно. Можно вопрос? «Чернобыль» — знакомо название?

— Первый раз слышу.

— А «Белый Дом»? Сколько «Белых Домов» знаете?

Краев едва не съязвил, типа, считать их не пересчитать.

— Вашингтонский, годится? Кажется, еще в Каракасе. Или на Гаити.

— Горбачёв, Ельцин, Путин, — пробрасывал без нажима, — что-нибудь говорят фамилии?

— Актёр есть... Горбачёв. Такой рыхловатый. С прибауточками...

«Диктор» хранил настойчивую без разжимания губ улыбчатую мину.

— Остальных «добрых людей» не имею чести...

— Зря вы так... Я ж не *«прокуратор»*.

— И мы не на допросе? — развеселился Краев, — ещё не вечер?

— Вы в 10 лет с родителями на машине перевернулись. Больше не было аварий?

— Это не я, мой друг Старухин, и не в 10, лучше у него спросите. Я беспамятный...

— Проверка способностей.

— Вы психолог?

— Конечно, психолог. А вот и пиджак, встречайте!

Вошел накачанный детина, открытый по-деревенски. Неся пиджак (будто бы распятие). Сел, как влитой.

— Пал Самолыч, не обижайтесь!

— Я? — подёрнул плечом Краев.

— Едем на очень важную встречу.

— Почему нельзя сначала домой?

— Домой, домой... — неопределённо (в соответствии с лицом) добавил «диктор».

— Не понял?

— Потом, всё потом.

— «Чего не хватишься», всё у вас потом!

— Цитаты любимые переиначивать не устали? Пройдемте к машине.

XXXII

Затенённых стёкол серая «Волга» ждала на заднем дворе госпиталя, довольно грязного (учитывая статус). Детина вежливо завязал Краеву глаза чёрным платком, перекрутив его на затылке двумя узлами, затем ещё вежливей впихнул на заднее сидение, сел слева и положил на кисть тяжеленную длань. Краев оценил, что чувствуют слепые — малозаметные перепады света и тьмы.

«Диктор», не снявший перекошенно сидящего халата, курил через щёлочку. Шумела разбрызгиваемая грязь. Они постоянно влипали в скопления у светофоров. Подобные пробки могли быть в центре только на Кремлёвской набережной — экскурсионные «Икарусы» здесь вязли. У Большого Каменного развилка: между Кремлём и Манежем, либо к Пашкову дому? Если «между» — это Лубянка.

К Пашкову.

Щёлка закрылась, ориентировку он потерял. С Калининского трасса на одну из правительственные дач, либо съезд на Пресню. А зачем Пресня? Ответвлений куча.

Пресня. Снова повороты, повороты, ничего не понять. Запутывают. Чтобы голова кругом. Для того и маскарад. Скорей бы. Всё равно куда! Я здоров, я чист. Делайте что хотите, только быстро. Голова — как же скоро и незаметно — всплыла из сшитого нутра на предназначенную ей шею.

Обычно с точностью до минуты удавалось определять важные интервалы. К чертям время. Правильно же говорят: его не существует. Или времён столько, сколько можешь вместить. Внутренняя тьма позволяла вместить и тьму времён.

И когда детина вывел пленника вновь на воздух, все чувства (и слух, в том числе) перетекли в обоняние. Запахи те же, что и при посадке. Нюх — не обманешь. Всё тот же (грязный, как помнилось), двор госпиталя. Путь замкнулся.

Прими сей хитрый план и постараися его перехитрить!

Обоняние было и в ногах. Тот же грузовой лифт, пахнущий резиной каталог. Тот же долгий коридор с полупротёртым линолеумом и остаточной хлоркой от швабр, содой из пищеблока, затем другой лифт, куда более четырёх не помещалось (а за четверых

вполне сошла бы их троица), затяжной вдох — пятый этаж — вдруг всё накрыл аромат дорогого трубочного табака и тонко выделанной кожи. Повязка сама собой ослабла и Краеву на секунду перед введением в этот курительный рай почудились трое сидящих «очередников» (отдаленно его же и напоминающих), «диктор» и «детина» обзор закрыли, а он, уже стоял как бы голый посреди большущей комнаты.

В центре, с торца стола, исполненного зелёным (почти биллиардным) сукном восседал господин лет, слегка превышающих средние, в затенённых (как стёкла только что «Волги») очках, чья оправа в народе звалась «андроповской», в пиджаке (или фраке, с бабочкой — но и это мог быть обман зрения) он грузно встал при входе Краева, рассматривая его полунасмешливо-полупочтительно. По бокам (но не за столом) сидели двое с «отвлечёнными» лицами, без примет, по виду рангом не выше капитанов. Главный им кивнул и след «отвлечённых» простоял.

Кабинет (или бункер) был отделан аскетично, тускло-коричневым деревом, в «партийном стиле». Свободную стену занимала карта Москвы, по которой бегали сияющие шарики, оживляя стрелки, строя лабиринтные схемы, сети, арабески схем и сетей. На другом, ближнем к входу, конце стола сверкал раскрытый атлас мира, к нему как бы стремились — лодочкой — футляр очков (хозяин их то снимал, то водружал вновь) и что-то вроде портативного магнитофона. Хотя пять этажей он только что проехал, Краев догадался, что лифт вёл под землю. Окна за спиной начальника этого святыни были явно рисованными, как театральный задник.

Всё обман. Особенно, растение в угловой кадке, гибрид баобаба с ивой.

— Бразильский подарок, — пояснил хозяин кабинета, кашлянув, — присядем?

И сам погрузился в кресло с расширяющейся трапециевидной спинкой, прессованный шишечками кожи. Краев отодвинул с левой стороны столь же массивный стул, мгновенно принявший форму его узких бёдер, трицепса и ягодиц.

— Пожелания? Вопросы?

— Я, — Краев повертел головой (шее она казалась громоздкой) даже не знаю...

— ...не знаете, кто я и зачем вы здесь, — подхватил похожий на дирижёра (недаром пиджак на нём казался фраком) Явно Большой

Чин, — Севрин, Игорь Иванович, начальник Всесоюзного Угрозыска, вице-президент Международного союза юристов-демократов (на последних страницах «Архипелаг ГУЛАГ» упомянут автором, как якобы ренегат, сопротивляющийся реформе системы исправительных учреждений, — не верьте, писатели всегда привирают, вы же писатель, не так ли? Влад рассказывал. Тоже пишет, много). Зачем вы здесь, вам же и решать. Точнее, нам двоим, — я же демократ... Надеюсь, разделяете демократические ценности?

Интонации Большого Чина можно было трактовать в любую сторону.

— Сначала два отрывка. Чай, кофе не предлагаю, у меня сердце, а вот коньяк... Есть Мартель, двенадцатилетний, никогда не пробовали?

На этих словах тележка с подносом, уставленным вазой с печеньем и графином (плюс пара инкрустированных стопок), жидкость внутри которого чертовски напоминала окраску стен, вплыла по сложной кривой так быстро, что разглядеть, кто её вкатил, не удалось. И лишь потом отворилась дверь и та же тележка, с той же сервировкой вплыла вновь, толкаемая миловидной секретаршей в белом узорчатом (салфеточного типа) переднике. Глава кабинета, не обращая внимания на обгоняющую друг друга череду событий, включил запись.

Ровный, стёртый голос перечислял общезначимые и не очень (например, некоего Рауля Валленберга) имена, даты, номера дел (архивных, видимо, уголовных), это продолжалось минут пять или неизвестно сколько.

— Узнаёте? — вопрос ответов не предусматривал,

— Я что-то должен узнать? — у Краева затекли пальцы правой ноги, второй и третий наползли друг на друга, надо бы встать иходить, но это было невозможно.

— Сказано вами. Точнее, вашим голосом. Как бы синтезированным. Или — через вас. Пока были под общим наркозом. Запись пятичасовая, мы её включили на исходе первого часа операции. В научных целях, — подчеркнул «дирижёр» — Вообще-то, мы себя никогда не узнаём, правда? Запись (как и зеркало) — штука дьявольская, — считает мой сын, не согласны? А теперь по маленькой. За тех, кто не доживёт! — странный тост кружился по кабинету, как случайно залетевшая муха. Или оса. Странная для ноября, как и зелень в палату.

Тёплая, жгучая жидкость огладила гортань и древесно растеклась по жилам.

— Из второй трехчасовой части, — генерал вновь привёл в движение ленту Шосткинской фабрики, — середина и концовка, здесь попроще.

Краев, размягченный французским спиртом, лишь выхватывал знакомое. Внятно прозвучало, что в 1979 году генерал МВД Севрин сделает попытку спасти Россию (какую Россию? Где Россия, если мы называемся РСФСР, а Россия — псевдоним СССР!?), генерал умрет в 1994-м, жизнь же самому вещуну спасёт Севрин-младший в уже упомянутом 1979-м, а скончается в 2017-м, от сепсиса.

Назывался и год распада неспасённой страны — 1991, имя его единственного президента, затем имя первого президента невесть откуда взявшейся России, а также последнего президента этой летучей прорехи на человечестве.

Почти в конце записи стёртый голос прошелестел о взятии Крыма в 2014, после чего в ленте запершило и сквозь странные помехи прорвалось: «в 2022 году...» — звук разлетелся на мельчайшие осколки, бобина продолжала крутиться по инерции.

— Первая часть, — водянистый голос генерала стал ещё тише, — касалась того, что знать вы не могли, но произнесли, ни разу, ни в одной дате, ни в одном номере дела не ошибившись. Совпадения исключены. А это, между прочим, государственные секреты, доступные сферам, с какими у вас контактов не было. Всё, вплоть до номеров дел, о которых и «литературный власовец» не знал! Шарлатанство подобного масштаба недоступно даже Мессингу и Джуне. Архивы откроются лет через пятьдесят. Или... никогда. То есть, всему, что прозвучало сквозь вас, доверие трёхсотпроцентное. Да-да, вы этого не знали (память оперативная — мы проверяли — у вас выше средней, но не феноменальная). А вот вторая часть... Вас действительно вытащил Влад (понятия не имевший, из чего). Я сейчас (он акцентировано и раздельно прочеканил) сейчас пытаюсь с вашей помощью, сквозь вас эту страну (как бы она в конце моей жизни не называлась) — спасти. Звуки, завершающие запись акустики, опознали в качестве шума от ударной волны термояда. Мы избежали 3-ей мировой в 1962-м и, нарвёмся на неё через 60 лет. Ни я, ни мой сын её не застанут (проверить в прогноз легко, учитывая точность раскрытоого про-

шлого) хотя, в сказки о машине времени, я, атеист, верить не хотел и не хочу. При всех фактах в упор. За одним исключением... Связанным с вами, Павел.

— Догадываюсь, — генерал налил себе и гостю по второй стопке, — о чем ваше молчание. Клин клином (он хлопнул стопку, с Краевым не чокаясь). Знакомый физик (членкор, из молодых) разъяснил, что вы живёте (а как ещё назвать факт пребывания?) в нескольких *своих* временах параллельно, что ваш энергоресурс по этим временам размазан (это и послужило косвенной причиной заворота удлинённого кишечника — мегадоликосигмы (выговорить непросто), беседы нашей с вами, ну и т.д.).

Я не верил, но предположим: если сбратить ресурс в пучок, он «выстрелит» вами в одно из времён, в единственное (остальные, как бы или вовсе исчезнут). Следы пребывания в своих параллельных временах будут проявляться, но жить (реально) продолжите в этом единственном, где требуется любой вами же выбранный поступок отменить, развернуть (найдите глагол поточнее). В одном из романов Жюль Верна клали магнит под судовой компас, чтобы курс отклонить.

— «Пятнадцатилетний капитан», подложил Негоро.

— Негоро, — кивнул собеседник, — вы и будете этим Негоро.

— И это уведёт страну? — усмехнулся пока что «разветвлённый».

— Уведёт. От развала.

— И всё же, — пациент взял вторую налитую всклень стопку, повертев, опрокинул залпом (дерево влаги зашелестело кроной), — почему я?

— Случай нашли уникальным.

— Я был под наблюдением? Как долго?

— Вам вшил собиратель ресурса, — вопрос обогнул генерала, — что-то вроде аккумулятора, он впитает всю энергию ваших «ветвей», остаётся выбрать одну, самую-самую для себя, назовём её «Ветвь обетованная».

— Здорово. Подарите образ?

— Уровень дозы, — генерал замылил и этот вопрос, — опять же, примем на веру — зависит от воли «космонавта». Кapsула готова, но вы отправитесь без неё...

— Какой из меня космонавт, — Краев наглел, — здоровье, то, сё...

— Впервые здоровы, сознайтесь.

— Мне и на этой ветке («*Ветви*» — поправился) неплохо.

— А что держит? Нелюбимая жена?

— Многое, — уклонился спасённый.

— Дети? Внуки? Назвать число? Любовь? Их две. Придётся выбирать.

— А почему решено, — Краев почувствовал себя одним из героев пьесы, которую любил именно за ностальгическую лихость, за безответственность оттепели, за провинциальный апрель в трещинах асфальта (его и не показывали, не должны были показывать в 79-м, лишь пять-шесть вёсен спустя, а реплику персонажа, — с крапинами визга, он парофразировал, сам того не зная, — почему вы решили, что страну спасать надо? Что это надо ей, а не вам лично? Где позывы к спасению?

— Мы с Владом (он радикальнее вас) давным-давно схлестнулись. Несколько лет не перезванивались, но после эпилептического припадка он стал ко мне возвращаться. Знаете, кто мне о том поведал? Вы, вы под наркозом.

— Потом... — генерал повернулся к нарисованному окну — и окно показало дальний горизонт со шпилем МГУ, можно было даже коснуться его кривизны, — он пришёл ко мне в кабинет, и мы обнялись. В 93-м. О чём рассказано через вас опять же. Знаю, мы знаем, как «этую» (он вновь нажал) страну вы, мягко скажем, ненавидите. Империю. И я охотно пожертвую собой, чтобы, при всех жертвах, всех режимах она существовала, не тронутая и непобедимая. Вы пришлый (два века с копейками), но и ушлый — мы шире, мы будем всегда использовать и считать своим всякого, кто внесёт свою лепту. (Отец ваш вносит.) Если верить прозвучавшему сквозь вас голосу (наши аналитики процентов на 90, увы, с этим согласны), крах наступит, нерегулируемая цепь событий, вал событий, себялюбие, мздоимство, прямые и косвенные предательства свяжутся в пучок и, видимо, ядерного решения не избежать. Я этого не хочу, Влад, примкнув к старообрядцам, не просто его *не исключает*, почти жаждет, чтобы жизнь здесь смелó. Для всех смелó, приближая, как он со всей страстью не устает утверждать, Страшный Суд.

— Я верю тоже, — Краеву вдруг стал свободнее (проверх на глости).

— Во что?

— В Суд.

— Православный? Вы? — жалость пробежала по генеральским губам.

— Почти. Но я готов.

— И ненавидите имперство?

— Да.

— Мой совет: не креститесь.

— Поздно, — отрезал Краев, — я русский. Несмотря на отчество. Душа здесь родилась.

— Может, по третьей? — генерал вновь снял очки, аккуратно кладя их в футляр, белки без стёкол являли натруженную беспомощность.

— Да.

Жгучее блаженство растекалось всё глубже и прочнее.

— Павел. Просто Паша. Если откажетесь, аккумулятор направит куда вынесет, и я не завидую... А в случае «да» останетесь с одной из великих своих любовей. И продлите жизнь Владу, не мне, мой жребий отмерен, — мотив «Онегина» чуть было не удался.

— Одно условие...

— ...в разумных пределах...

— ...Я не приму решения, пока не услышу всю запись.

— Государственная тайна...

— ...2-ю часть, она пока не тайна? — теперь нажимал Краев.

«Дирижёр», вновь надел очки, не забыв протереть стёкла ма- ленькой бархоткой, вынутой из верхнего правого ящика стола- мастодонта.

— Мы ведь можем и без вашего согласия...

— Тем более, — в Краеве лёгкость бушевала, — хода назад нет, верно?

— Да, — генерал уже думал про другое.

— Дайте эти — сколько? Три, пять часов. Ради сына.

— Нет.

— Можно ли с кем попрощаться?

— Нет.

— Даже с Владом?

— Ни в коем случае, — генералу на глазах становилось глубоко за 60.

— Тогда пусть идёт как идёт, с точкой взрыва этой вашей (так и не нашёл более вдребезги уничтожающего слова) империи.

— Мы-то в рай, вот некоторые, — линзы «андроповских» стёкол нехорошо сверкнули, — сдохнут.

— Атеистам рай? — ещё раз погарцевал Краев.

— Я, может, последний из атеистов. А идущие на смену рванём так, что всех, цивилизацию всю наизнанку мозгом. А мы в пески, в норы, терпеливее индусов и никогда, никогда не оглянемся на жидовские клещи!

— Пять часов — и я всё выполню, приказ-не приказ, всё!

— Приказ не выполняют, а *исполняют*. Хорошо. Но в присутствии — он кивнул на беззвучно вплывшего «теледиктора».

— Свободны, — Севрин отвернулся к морщинкам и трещинкам нарисованного окна.

Которое вновь оголило горизонт, уже по-вечернему яркий.

— Прощайте, Игорь Иванович. Влада я люблю вопреки нашим раздорам.

— И ещё, — остановил уходящего Большой Чин, — кто эти трое в прихожей? Ваши дублёры. Клоны. Если бы попали не к Шапкайцу, взрыв ресурса пробил бы ударной волной все «параллельные» времена. Но Шапкайц сделал невозможное.

— А что с ним? — как бы продолжая поединок с «диктором», загорелся Краев.

— Шапкайц, — генерал вновь отвёл вопрос, — мог удалить аккумулятор (микрочип!) — на трети сутки. А вот на четвёртые...

— Вы... Так это вы его...? — с ненавистью затих Краев.

— Я, — высоколобый снял очки, обнаруживая полную нирвану лица. — За это и отвечу.

Вашей миссией.

ЧАСТЬ II

I

Гудел, гудел чёрный объём. Последнее, что сквозь него пробилось: толстого стекла трубы, в которую тебя кладут, куда въезжаешь и спиши, спиши с ходу, как при нырке, не понимая, что есть нырок, что есть сами глаза, всё и вся вообще.

Слегка раскачиваясь на табурете охранника возле ступенек, ведущих на первый этаж торгового центра «Авалон», когда-то занимаемого институтом, где работал отец, где с родителями двумя этажами выше провел десять ребёночьи-подростковых лет, Краев сидел охранником, не понимая, откуда взялся, и что вот он охранник.

Женщина с яблоком в левой руке и овсяным печеньем в правой к нему склонялась. Предлагая выбрать. Майя. Это единственное, в чём не без колебаний, удостоверился. Лицо насквозь незабываемо-позабыто лучилось без ореола и прочих эффектов.

Взял из левого.

И возникло другое, ждущее на берегу. Почти у самых волн.

... Да-да, с красноватым боком...

«Яблоко хотите?».

Прошелестело ему или безадресно. С шумом прибоя, рифлёным полотенцем, которое предлагавшая придавила камушком — от ветра. С ветром, слегка жгучим (или зноем порывисто-ветреным). Предлагавшая уткнулась в книгу, лёжа на гальке, попеременно побалтывая ногами, чуть выше (чтоб не достала пена прибойной волны) передвинув пару «вьетнамок».

Он что-то надменное в ответ промямлил — его, слава Богу, не слышали. Что-то попытался сострить, но промямлил, перебитый шипением отползающей волны.

Линия сверкнула и узел, завязанный дважды, сжался, до хруста Майя склонилась ещё ближе.

Не отводя обволакивающе-лучистых и немного расширенных глаз.

Склонилась, чтобы целовать её было удобней.

— Пуловер постираю, — покомкала (форму не носил), — какой же ты у меня неряха!

«У меня» — отзывалось тёплым комом на уровне кадыка. Всё в том же чёрном облаке непонимания. Его, на стульчике (наподобие тех, что привинчены к футбольным трибунам) с чуть наклонной шершавой спиной и без подлокотников) должны были сменить, после чего пора в подсобку (где располагались пульт и управление сигнализацией) на так называемый обед (сухомятку).

Откуда всё, откуда знаешь мельчайшие подробности вахтной службы?

На фоне яблока, перетекающего из тех времён в это, совсем невероятное.

Комната с пультом располагалась на третьем, перед ней висилась некая площадка с лесенками в две стороны и такая же площадка перед кабинетом начальника службы. Электронные часы в углу показывали не 12 без скольких-то минут, а полдевятого, то есть, начало смены. Время двигалось то по часовой, то вспять, не зацепиться.

Четверо в форме (двоё из предыдущих суточных и двое из очередных) уже мялись между как бы капитанским мостиком начальства и мостиком попроще (для дежурных). Наконец, во всем чёрном (ожидающие тоже были в чёрном, они косились на Краева, дескать, подставляешь нас, опаздываешь!) из начальственного кубрика вышел сутуловато-высоченный боец в чёрной до ушей маске, и заложив руки за спину, приветливо рявкнул:

— Как настр-р-ой?!

Общее мычание с опущенными головами сомнений не оставляло.

— Позд-р-р-авляю! Мы (он чётко, по-старшински, хотя возрастом явно был в чинах оперативного запаса) взяли Мариуполь!!! Зачистка идёт, но всё будет нашим! И чтоб никто — никто, ё***ь! — не смел в славе русского о-р-р-ружия сомневаться! Уяснили?! (вопрос звучал всемирным эхом). Кадыровцы молодцы, так вот, ребята. В пыль хохломандию, бл***, возомнили о себе! Но по-тихоньку-потихоньку, без шума. Там и санкции снимут. Что молчишь, четвёртый?

Краев уставил на «разводящего» две пелены зрачков, одну слепее другой. Вряд ли можно этой пеленой кого-то испепелить. Даже изобразить ненависть.

— Давай, — подозвав, добавил рявкающий, когда половина ушла на посты, а другая (с шуточками) уже в подсобке с пультом по домам не спешила, — скажи сыну, чтоб выбрался оттуда поскорей. Здесь переждёт.

«Сын?» — мучительно тряс пустую память Краев, — какой сын? Почему? Где?».

«В Питере, в Киев его для отмазки вставил, объясняя просьбу о выходных, чтобы съездить и вернуться» — заголосило внутри, пунктирно, как автоматная очередь.

— Киев, — не унимался босс, — нах сегодня-завтра возьмём, — чё там делать? Не попадаться же.

— Сдвинется вряд ли, — соврал Краев.

(Легенду о женатом на украинке сыне придётся длить до конца.)

— Переждать лучше, внуши.

— Он упрямый, — Краев понял, что выдал незнакомую себе же правду (сына впрямь не переделать, войди в него любая мысль или установка).

— Помнишь, как обещал мне літр виски, дескать, через два месяца здесь всё рухнет?

— Слово держу.

— Ладно... За деньгами зайди часа через два.

И чуть помял Краеву плечо. Которое будто приложили утюгом (пусть и остывающим). Помятый поплёлся к своему посту №4, забыв поесть и преодолевая короткий тёмный коридор. Пока преодолевал, картина, чёткая, как обмен ударами на ринге, врезалась: пространство тасовало привязанные к нему времена, странным образом не доводя до хаоса всерьёз. Яблоко (с кругляшком овсяного печеня) Майя поднесла где-то в полдень, сейчас же вновь полдевято-го. То есть, за полднем пришло утро (времена менялись лишь внутри суток, но кто его знает? Вдруг на улице не март, а январь после марта, если не летняя сушь — лето Валерьянова всегда выруливало к дикой жаре).

В конце коридора поблескивало высоченное (на полтора этажа) окно с тремя перекрестьями, а вниз — широкая лестница. Сердце затрепыхалось. Будто бы линзы слева и справа совместились, наводя на немыслимую — и несчётно знакомую резкость.

II

Отец Павла родился в Одессе при Деникине, о чём в анкетах не упоминалось (даты, к счастью, никто не сопоставлял), не упоминал Самуил (Шмуль) Давидович и о периоде владения четырежды отцом (отец Краева был как раз четвёртым из детей, любимейший шкода-егоза) рестораном (его продали перед самым концом НЭПа, семья скрылась в Харькове), «из служащих» — значилось во всех бумагах (а до революции — рубщик на мясобойне) Краевского родителя, который заканчивал украинскую школу, с будущей матерью Павла познакомился по возвращению из эвакуации в московском метро, накануне защиты кандидатской, а несколько лет спустя раскинул заявления по городам (поссорясь со своим научруком, вдобавок давила комната, где теснились всемером, считая деревенскую няньку Павла) — и первым стрельнул Валерьянновский Авиационный, предоставляя две комнаты (с прихожей) в корпусе-лайнере, овальным углом здание вписывалось в стык Ильичёвской и Замайской, с общей для ещё трёх семей кухней: Краев-младший объезжал её на велосипеде, а первым воспоминанием о пустом жилище был гул от беседы отца с проректором института, пока малютка, не успевший осознать своей родословной, вжикал по паркету игрушечным броневиком, пытаясь гул беседы перекрыть.

Но память Павла скучожилась, пустота охватывала период где-то с 79-го по весну 2022. Много деталей вернулось из Майиных пересказов, он вначале всё выкладывал, ни о какой трубе, ни о какой черноте внутри трубы речи не было, никаких намёков на предстоящую амнезию — ею накрыло в момент предложения Майей яблока, и теперь, как лёд, взламывались все периоды, в беспорядочной последовательности.

Пейзаж перекрёстка в громадном окне выглядел как после бомбёжки. На дальнем углу Ильичёвской когда-то стояла школа для «недоразвитых», напротив неё — женская баня (или просто баня, в темноте «женских дней» с лучшим другом Ильёй они любили подглядывать в намёрзшие оконца за снованием в пару и обливом из ушата налитых, волнующих тел). Неизвестно когда баню вытеснил склад гробов, а затем не стало и его, забору тоже была пора сгнить, но забор стоял.

Напротив, на месте бывшей школы, был столь же дряхлый забор — почти зеркально. Далее слева — если по медиане — торчал 22-двуэтажный небоскрёб. Сезон «сглазила» мысль о сезоне: сияло апрельски (при февральской смене!) безлюдно и безградусно.

За спиной Краева что-то захлопнулась, он обернулся. Откуда вдруг дверь? Старая! Ведь прошёл без препятствий, не было дверей! Но ведь вот, из 50-х, облезлая, запираемая на ночь длинным бруском. А ключи? Как вернусь? Сколько ж мне лет?

Сел на перила (это были те самые, лакированные), лихо по ним когда-то съезжая, трусил упасть, мог порвать штаны. И вдруг, полетел по ним, виражируя на полуэтажных поворотах — некая сила готова была, как с трамплина взнести направлением к Волге, но вовремя спрыгнул, испугался. Испугался неуверенного в себе задиры. Который останется без Майи с яблоком и шерстинками её тепла.

«Нет, нет!!!» — заорало беспомощное, как шахтный трос лифта. Площадка без дверей открывала перспективу зеркально сверкающих прилавков. Надо вернуться на пост (с которого не уходил — он вновь раскачивался на жёстком, футбольно-трибунном стуле, поправляя чёрную (для щегольства) маску, вывезенную из Одессы, в которой провёл (с видом на полоску залива) чуть меньше года, нынешним же сиживанием убивая час за часом. Часы прыгали друг через друга, как через «козла» на физкультуре — наступивший через растаявший — и обратно.

Улица сияла предвесной. В животе и над ним безнапряжная, безнагрузочная усталость от ледохода пластов узнаваемо-неузнанного. Будто брошен расследовать убийство, а вместо поиска улик вхолостую жжёшь миг за мигом безо всякой привязи.

Плавная Майя, та самая девочка 20-и с чем-то, завершив беспродажный день, ждала на улице за колоннами, щурясь от солнца. Будочка сапожного киоска при входе, совмещённая с вахтой, испарилась. Когда-то в ней одноглазым Циклопом сиживал в кожаном, до пят, фартуке дядя Саша, ловко футболовший пацанов на самодельных самокатах, не выпуская при этом гвоздочек из толстых и добрых губ.

Рука в руке они повернули на Замайскую, чтобы выйти возле Гипровостокнефти к Садовой, где одна из новеньких башен замостила его детсад, а бывший кинотеатр (модерн 1910-х) устоял, сдавленный с другого бока ещё башней.

Невозмутимая и мало изменившаяся, Майя одним своим налиением оберегала от множества удивлений. На Садовой, в прогалах между разномастными высотками попадались горелые остовы изб, деревянных, либо на каменном подполе, ничем не зализанные островки, овражки. Дыр пространства практически никто не замечал. Как и змеящихся по торцам домов разных эпох трещин. Градус жизни при всей весенней готовности отсутствовал. Редкие подростки на скутерах, ещё более редкие трудяги в робах — никто никого не видел, разумеется, и не мешал. Оба времени были нынешними, существуя отдельно. И не как бы отдельно, а напрямую. Павел косился: он один замечает эти фокусы, или Майю они просто не интересуют?

Её пальцы перебирали его, это перемежалось поцелуями. Когда вокруг просто исчезало всё. Обе юности — его и её, обе несомненных и невероятных, пульсировали слитно, сохранно, до какого-то полуобморока. Он мог бы об этом безостановочно Майе внушать, и помалкивал, предчувствуя отпор скепсиса, но и скепсис дарил теплом, самым же тёплым была свобода ждать, молчать и целоваться.

Миновали квартала три-четыре, сбился со счёта, сбился ритм, сбился прицел задания, на которое согласился в госпитале, всё ушло под подошвы — (если не в оба каблука — на тебе востроносые туфли, а преобладают кроссовки с неизвестного происхождения расшитыми по кантам башмаками). Почему они вдвоём? Что-то всплывало, веры во всплывшее было не больше, чем в закрепленные сознанием сны.

Лифт десятиэтажки, затворённой полуоткрытым двором крепости, вознёс на третий (и здесь третий!), связка ключей нашупалась в нужном кармане, Краев провернул самым длинным и тяжелым из неудобной позиции (под ручкой двери в квартиру), пропуская Майю во вспыхнувшую голой 30-ватткой прихожую, где не повернуться — и настигло долгое объятие, ни раздеться, ни включить свет в распятой столом и стиральной машиной кухне, лицо и лицо, губам уже и деваться некуда.

«Выключено время — и есть вечность» — сверкнуло и разлетелось во все стороны.

III

— Царапинка, — Майя тронула надбровную дугу, — ударился?
Не ковыряй!

Они лежали на широченной диван-кровати, занимающей едва ли не треть комнаты с окном во всю стену. После вчерашнего апреля зима казалась вечной.

— Ты на сутках, или выходной? — она блаженно потянулась.

— Не знаю.

— А чего ёщё не знаешь? Сознавайся.

— Полегче нет вопросов?

— Как по скайпу разговаривали? Как узнавать не хотел, сойдя с поезда?

— Я ж полуслепой, почему «не хотел»?!

— ...как ехали потом, — продолжала, словно бы не слыша, — в троллейбусе, и прихожую, где стиснул меня...

— ...ты меня тоже...

— ...ага! Вот она правда — всегда высокочит! Царапины, — вновь тронула надбровье, — вчера не было. И вообще. Ты — это ты? Откуда взялся?

С нажимом повернула тяжёлую (как ей казалось) голову Павла в профиль:

— Нос как нос, немножко наступательный, губы те же (ну, Паша и Паша!), нижняя полнее верхней, реснички прямые, когда опускаешь — ой! — загляденье!

— Не смущай, — Краев безвольно улыбнулся.

— Тебя смутишь!

— Моя очередь.

— Ну тебя!

— Потерпишь, — опасаясь быть уличённым в краснобайстве, козырнул конкретикой, — челочка на лбу не помешает... Профиль благородный (молчать!), шею прямее, трёх известных актрис могу назвать, на кого похожа, но лицо не актёрское, красота заслоняется «направлением» лица, зубки покажи, ну, покажь!

И она обнажила сияющий ряд ровнёхоньких зубов, не лицо — магнит.

— Возраст — где?

— Вруха!

— Отчего я верю всем твоим предъявам, а стоит самому заикнуться — «вруха»?

— Что за «предъявы»? Интеллигентней нельзя?

— Да, — кивнул, — в средствах неразборчив.

Раздалось два требовательных звонка с этажной площадки.

— Лежи!!! — накинула толстый белый халат, на ходу завязывая поясок, — чтоб ни звука.

— Уходите, — услышал Краев, — муж пенсионер, квартира съёмная, хозяин уехал.

— Повестку хотели вручить.

— Повестку? — растерялся Краев, — кому?

— Тебе. В военкомат.

— Я же не гожусь...

— ...им плевать. Мобилизация. Война. Специальная, гибридная, самая мирная, мы же мирные, с бронепоездом в кустах. Или роялем. Я запуталась. У нас — у них — нужен план по валу, будут на улице предлагать — руки спрятать, упекут, не глядя. Такого юненького, — моего, которого «ам!» — и, чмокнув, укрылась в ванной, после сонно-детского: Мне кофе, я всё собрала, мы опаздываем!

Шатаясь, Краев поймал равновесие только в кухне, успев (по инерции) добыть из холодильника у входной двери кофемолку (набитую измельчённым зерном на два завтрака вперёд), масло, батон белого и кастриюлю салата. Поколдовав (светя фонариком) над воронкой из джезвы, одновременно выложил на большие тарелки свекольную с грецким орехом и черносливом горку, шесть раз аккуратно вычерпал для Майи пену, этим пытаясь отучить от сливок и размешивания ложечкой девственной тьмы напитка, сдобренного толчёными корицей и мускатным орехом.

В зимнем искрении пальцами сжимая пальцы (без перчаток) они привычно шагали от Верхней Луговой до Замайской и перекрёстка, рассекаемого прежним корпусом ВАИ, в котором оба сейчас работали совсем не по специальностям.

Пропуская Майю вперёд и уже тронув дверь, встал, как вкопанный.

— Ты чего?

— Царапина. Знаю откуда Возле Франкфурта при аварии. Возвращались из аэропорта. Без травм только я — исчезла почти сразу. В 92-м.

— Ты не рассказывал. Вздулась-то почему?

— Потерпишь до дома?
Интриговать — хлебом не корми.
Нет, не так. Первый звонок, что память всколыхнуло само по себе.
И это могло потянуть всё куда-то ухнувшее.

IV

Вздутие царапины сбросило в, казалось бы, сгинувшее начало 90-х. В ночную поездку с экс-киевлянином Лецки. Первые месяцы Кёльна Краев у него, можно сказать, жил, по крайней мере, бывал чаще, чем у кого из друзей на родине.

За двое суток до Рождества Билл (так именовала его немка-жена Керстин, или когда сердилась — «Билль») позвал встречать питерского друга-саксофониста, летевшего подзаработать на главной пешеходной зоне. Только-только взятый на два года в Институт германо-еврейских отношений (без диплома, но с безупречными дойч-инглиш, по конкурсу, вместо внучки эмигранта, уважаемого всей Германией старца, одного из прототипов романа о «шарашке»), Лецки был загадочен и христоподобен.

Перемигивание подсветок с полосатыми отражателями на съездах и развязках подвигла к формуле «Ночь — время Запада», озвученной с азартом неофита. На что по-мефистофельски жеманный скромняга Билл хмыкнул, добавив: «Да, Запад не место для страданий. А ты на что надеешься? Смыть свой гамлетизм? Знаешь, кто сюда отправил? И с кем она теперь — в твоей московской комнате, между прочим».

О раскладе, обессмысливающим его десант в Германию, Краев догадывался, но знать — со всем отчаянием — не хотел. После встречи друзей пересел на заднее, за спину саксофониста и от яростной душевной давки задремал.

Покрытие автобана было чуть заиндевелым, но трехрядная полоса пустовала, они мчались под 120, ничего не опасаясь. На одном из участков рельеф оказался с изломом, типа трамплинного и бесшабашный Лецки увидел под самым носом в среднем ряду тихохода, чья скорость была в полицейских рамках, около 60-ти. Обогнуть справа не вышло, и Лецки резко вывернул в противоположную сторону. Не совладал с управлением (не умел тормозить двигателем) и «Форд-комби» юзом понесло к разделительному швейлле-

ру. Мягкий удар об этот швеллер не помог — левый угол (водительский) задрало вверх — несущаяся на спуске под те же 120 машина левого ряда их полосы вздела этот угол, и «Форд» крышей дважды шмякнулся о скользкое покрытие. В голове Краева сделалось черным-черно и лишь стоны саксофониста и самого Лецки привели в чувство: это была не смерть.

Длинноволосый Билл (его удалось вытащить последним) стонал от сломанных ребер (пяти, как выяснили рентгеном) и неполадки с мочевым каналом, саксофонисту сдавило грудную клетку, он улетел домой без медяков и купюр, лишь у Краева кровила царапина выше правой брови, но через месяц следов уже не было. И вот всплыла, вздулась. К чему? Что за «мене текел фарес» на стене пещеры?

Откуда знать Краеву, что у его соседа по ВАИ (ныне Сечинского Аэрокосмического Университета) этажом ниже та же по размером царапина за 35 лет до аварии на автобане крованула в том же месте надбровья после двух верчений в кювет родительского «Москвича-401» (и синхронно вздулась — тоже без боли — сейчас?)

Теперь он бы не удивился и вновь появлению на входе будочки одноглазого дяди Саши, зарытого в Рубежном. Там же затерялась и невесть сколько лет нечищенная, неухоженная могила отца, звавшего с ним работать, но совсем иное завертелось. Заворот втянул все варианты жизненной фабулы, именно феномен заворота ибросил его сюда, в это несоединимое с единственным, размноженное копиями святилище детства, ныне — останавливающую Мекку торговли нулевых и десятых.

Верстовым шагом Павел взлетел в управленческую подсобку для переодеваний и не-глазения в жерло телевизора, плюющегося денно и нощно истерией ментовских детективов на паях с захлебом новостного вранья. Главный по смене щеголевато-унылый Денис Даньшин, бывший опер, поворачиваясь к пультам (остальные ждали команды «на выход», подавленные телештортом), Краеву удивился:

— Ты? Неделю, как освобождён, тебе ж звонили!

Весть об увольнении означала пусть временную, но свободу.

— Ходит с телефоном, оттуда украинская речь. Я ж говорил: с телефоном не шастай!

Краеву («нездешней птице») Даньшин симпатизировал открыто. Но сейчас, отпустив смену, поманил за собой на капитанский мостик и лестницу.

— Ну, как там? Сын как? Сообщает что?

— Дозвониться не могу, — опять соврал «блудный отец».

— Чёрные времена ждут, чёрные, поверь, — вблизи Даньшин казался старше своих 35-и, печальнее, — зря со службы не уходят, а я ушёл в 2019-м. Этих, с повестками, нагнали. Полицию. Всё прочешут. Не бери, не касайся.

— Майя наказала о том же, утром.

— Видом на пенса не тянешь, им главное заманить на контракт, разбираться — вышел из призыва, или нет — никто не станет. Подумал?

— Уже, — Краев сиял.

— Ты без лицензии. Перекантуйся месяц-другой... Сын сюда не собирается? — повторил Даньшин вопрос главного.

Краев только развёл руками.

Воздуха, воздуха!

Уже в самом низу предуличного пролёта достал смартфон (Майя настояла купить, чтобы «не позориться кнопочным»), пытаясь фоткать лестницу с окном.

Выгодного ракурса нет. Вышел на мороз, щадящий, один из последних, навёл камеру на окна бывшей родительской коммуналки-не коммуналки (уютней так ничего и не встретил). Снять с угла Замайской мешали схлёт приводов и дорожные знаки.

Пересек Ильичёвскую, ища точку и масштаб, заметив двух амбалов с пачкой повесток. Прошёл меж ними в направлении Войнова демонстративно и нагло.

«Так и надо! — стукнул судейский молоточек в груди, — выше голову!».

Амбалы с отсутствующим видом размахивали повестками, как белым флагом. И кто-то случайный влип. В удачу вцепились. Растерянного паренька было бы жалко, но царапина, Кёльн, Рождество потянули один из проходов через ту пешеходную зону мимо выставленных на люди вместе с распродаваемой одеждой снимки военной поры — симпатичные юнцы парили над будущей войной, разгромом и кастрацией родины, и Краев пожалел не этих ангелочеков, а воображаемую Россию, когда (и если, не дай Бог) случится её разгром, её плата за всё спрессованное зло, плату, которую не сдержать — и белые флаги повесток кричали обо всём этом неминуемом.

Наяву же сигналила тихая странная трель. На стекле смартфона высвечивался зелёный кружок, внутри него полыхала белая телефонная трубка.

«Паша, — прыгала строчка ватсапа, — инсталлируй кошелёк блокчайна. Груз получен. Могу перевести (но только для билетов через Будапешт и обратно (если захочешь вернуться). Тыщи две. Инструкции в файле. Мы дождались, Паша!!!».

V

Ничего себе. Мог поверить даже в свой прилёт в анабиозном состоянии с Марса, из чёрной дыры, но деньги...

Сто тысяч (или с процентами, как договорилась с основателем Фонда, сидевшим с ней за одной школьной партой, киевская Алиса, 150!). За проданную квартиру мамы. С обещанными процентами. После нескольких лет мифической борьбы, борьбы бесконечной, но и проклинать Алису не спешил).

Даже Майя оказалась втянутой, периодически отчаяваясь, теперь и для неё свобода.

Как это совместить с идеей генерала отменить один из поступков, оставаясь из всех вариантов проживания в единственном? А как же с амнезией?

Или, для спасения страны я от этих денег должен отказаться?

А что значит «спасение страны»? От чего хочет она сама спасти? От раз渲а? От равнодушия к себе? Насильно ведь не спасёшь. И не поймёт страна эту жертву.

Но допустим, что Майю и меня ждёт? Охранник, перекидывающий с одного поста ещё на один, вплоть до некролога. Жизнь щепки, день прошёл — и слава Богу. Не слёжанный лист под ноги (цветом в мёд), а листик — беспилотник (откуда слово-то взял? Откуда всё узнаю — и не могу сделать до конца своим, почвой и очагом. Я, мешок энергии, впрыснутой со всех ответвлений.

Патриот концлагеря Игорь Иваныч Севрин, а с ним и твой роднейший враг-спасатель Влад, начальник, орущий про Мариуполь, карнавальные потоки жителей, ползущая во все стороны ткань времени, якобы единого — просят, чтоб их вывели на какой-то неведомый уровень? Кому твои колыхания, твой выбор — «быть & быть», сон-явь (и наоборот) вся вдруг освещённая предыстория, мир залгавшийся, ничего ни в себе ни вокруг не желающий видеть?

Кем бы ты был без Майи? Жалуется на память, но всё с вами двумя связанное в те, нетронутые годы, сохранила, вернула. В голове якобы не укладывается, что ты — тот самый ты, а у тебя не укладывается ничто, и не стараешься уложить.

Почему вообще должно чему-либо добавочно радоваться твоё счастье? Ты впервые счастлив, *ей* хорошо, а сам для себя не важен. В ней — на пике — растворяешься (хоть растворение женская мольба). Любя, не отдавая отчёта, что любишь.

За едва уловимым скрежетом вопросов и не заметил, как всё больше удаляясь от однушки, снятой Майей на стыке Луговой и физиолога Павлова, добрёл до первой школы, с вновь слепленными по бокам второго этажа из гипса бабочками-слонами — альма-матер тасовала свои образы: серая, в тополях и с вырубанием тополей, с шумом на переменах, а ныне музейно-затхлой тишиной, полуразрушенная без декора — и вновь чистенькая каравелла.

Стены супермаркета и банка на углу Боройченко ещё хранили следы пуль (если присмотреться), чуть дальше, на противоположной стороне и в направлении тылов Театра, дворик, заглублением скрывший снесённую двухэтажку, где жила Ника Марчук, адресат первого, навеянного лермонтово-есенинским пафосом стишка (*«На этом свете я не видел счастья, / познал я горечь радужных мечтаний, / погиб, как меч, обломок самовластья, / не выдержав чудовищных исканий»* — скомканную бумажку с подписью «Артур Неизвестный» подобрала одна из практиканток по немецкому и над автором устроили нечто вроде товарищеского суда, 12-летний Краев держался на нём презрительно, за что и был назван «Печориным»).

Обход Театра выводил на крестообразную площадь о четырёх сквериках и спуск меж Клубом Офицеров и бывшим Обкомом, влево — полторы минуты до Майиного с круглым балконом особняка, ничего вместо, голый асфальт.

Отсутствующе стоял он перед незримой пылью от ударов «бабой», перед заледенелым двориком без особняка с колоннами (может, и они привиделись в своё время?). Перед пустотой вместо балкона, куда почему-то в тельняшке выходил, почесываясь, неизвестный композитор (ученик самого Шостаковича). Сейчас в Краеве было сил, как в «Солярисе» у Океана, чтобы родить единственное, в единственном и всепоглощающем варианте вместе со всем якобы лишним.

Поверни в любую из сторон, чертя план города с помощью репейшины (рука обычно дрожала и линии колебались).

Но если сладилось, если никто никого не видит, зачем отклоняться?

Все траектории вели в эту, неотменяемейшую точку. Точку среди таких же единственных точек амнезии, либо антипода, прибывающего, как паводок. Точку узнавания, не уложимую ни в чьих нейронных сетях. Распираемую во все стороны.

Реальней всего сейчас был экран с призывом открыть кошелек для «криптовалюты». Ноги, не обращая внимания на обвал сомнений, замкнули-таки полукольцо малой кругосветки. Он вернулся туда, откуда и не исчезал — в миг без берегов.

VI

Лет с четырех до двенадцати Майя провела на территории в/ч в Пшиштофе (когда-то немецком). Островком Союза был один подъезд, остальные два уже Польша.

Однажды, предоставленный сам себе домашний (хотя и активно любопытствующий) ребенок, выйдя на улицу (дверь на ключ не запиралась) и никого не заметив на КПП (мало ли куда отлучился дежурный, или отвлёкся), пересёк границу части с «народной республикой», отметив довольно скучные домики (не выше двух этажей, а после родного Ленинграда ей ничто не казалось городом) и дотопал до лесочка, тот оказался плотным, отнюдь не сказочным, стояла мягкая зима, возмечталось, что именно там, за лесом иная жизнь, за похрустывающими сосновами, смешанными с березняком, за просветами, которые никак не приближали из этой чащобы выход.

На поиски «сбежавшей» выдвинулась едва ли не полгарнизона. Путала малышка до ранней темноты, перебрав едва ли не все направления, не уставшая, не голодная и не испуганная. Скорее, лица посланных на поиски её и напугали.

Случай сказался на самочувствии матери, медсестры, чья добреяшая душа часто помимо работы была занята помощью соседям и всем, кого знала, но слабое сердце и щитовидка подточили её — два последних года с постели было уже почти не встать

Хоронили всем домом, за гробом шло много поляков, прославивших о её доброте и щедрости, кроме этих качеств Майе переда-

лись интерес к искусству, ко всему талантливому, страсть к ученичеству, а от отца — жизненная сила, выносливость и твёрдость. Прямой и малоразговорчивый отец стал как бы удвоенным родителем вплоть до новой женитьбы (мачехе, непрестанно распевавшей арии с утра до полуночи, был противопоказан питерский климат, она и стала причиной переезда уже на волжские берега), разведясь там и дослужившись до полковника, отец (в отставке) взвалил на себя уже функции дедовско-бабушкинские, нянча и кормя сына Майи, пока та помимо проектирования одежды, ещё и шила на дому, а в 90-е, когда оба рабочих места разделили судьбу почти всего советского, начала продавать свозимое из Турции в Лужниках и в самом, вернувшем исконное имя, Сечинске.

Теперь после зияющего присутствия матери (утраченной в самые нужные для насыщения личности годы), после переезда из ботоворимого Питера в совершенно деревенский Валерьянов, после невозможности контакта с психически нестабильным сыном, после того, как пришлось разрываться на уход за парализованным отцом, съёмное жильё с председателем отделения Союза Художников, ушедшим ради нее от жены и взрослых детей, а также на поддержание в приличной форме дачи на Проране, она не испытывала (особенно, после нелепой смерти «нерасписанного» мужа) никаких желаний, оставаясь при этом трудоголичкой, чуть что — жадной до всего нового (кино, к примеру), к уходу за собой, сетуя на слабую память и отсутствие слуха, помнила массу подробностей, ускользающих от иных, кто был собой во всех отношениях доволен; обладая (по словам отца одной из самых давних и близких подруг) природным умом, считала себя недалёкой, а семь лет музыкальной школы охотно бы «вырезала из биографии», хотя оттенки голосов чутко различала, не веря при этом, Павлу, его экспериментам по доказательствам её внутреннего слуха, считая, что, возникший из прорвы лет, ей льстит по своей артистической природе.

И кроме всего, научилась жить при орущем телевизоре, не споря ни с кем, похоронив чуть ли не всех из их компаний, кроме трёх подруг (в Сечинске осталось две, одна пережила десяток операций, другая исчезала и появлялась кометой), всё так бы себе и текло, когда не вынырнувший из ниоткуда Павел, и оказалось, что где-то на пятом, седьмом, ну, пусть на двадцать втором плане он всегда внутри был.

Звонки, сообщения по мессенджеру из Одессы (или Киева — путалась, путалась и теперь во всём прошлом Павла, который этого

прошлого необъяснимо стыдился. Стыдился, прятал, изворачиваясь, когда пыталась лучше, объёмней его узнать — выдерживала его быстрые бури в пустыне, чтобы эту пустыню отвлечь лаской).

Голова не принимала, что прежний и «этот» одно лицо. Хотела верить, но то и дело попадала на минное поле — и от веры тогда клочков не оставалось. Обещала никогда больше в его «ненужное» не встrevать, но ведь не бывает, чтоб взять и отрезать — по приказу — всё, что привело тебя, блудный (не знаю, кто) ко мне?

Может, она ему просто удобна? Всегда под боком, вьёт гнездо из чего попало, но ведь гнездо же? И теория (почерпнутая у кого тоже нельзя спрашивать), дескать, любовь исключительно взаимна, остальное — надрыв, невроз, как это принять?

Они часто гуляли одним и тем же маршрутом, иногда порядок улиц менялся, но всегда к Волге и обратно, подъём по Луговой Краева сначала утомлял, стали подниматься по Маяковской — там резко вверх, но недолго, затем — до трамвайной линии, где ровно, ему всё здесь должно бы надоест, и её вина, что терпит? Или правда, что наоборот, всё возбуждает? Неслиянием времён — раннего, детского, институтского — и времени теперь? Уникален их случай или у всех так?

Чем счастливей себя чувствовала, тем и недоумение крепло: где ж ты был? Отчего так поздно? Поздно, поздно, природу не обманешь. С этим настроением кто-то из нихправлялся первым, впадая в то, что со стороны могло показаться сюсюканьем, а это вырывалось желание всё наверстать, собрать в ком, тот самый, который в горле.

Ещё страннее, что новый её Павел с какого-то момента стал беспамятным. Где-то с конца 70-х просто дыра. О многом, правда, успел рассказать и теперь она терпеливо, по частям, этот затонувший материк возвращала владельцу. Разветвленная его история была на зависть, («что ж я, такая трусливая дура, застряла в...») — и не договаривала — даже про себя — где застряла, вернее, Павел, сердясь, запретил ей имя их общего Валерьянова, ныне Сечинска, «вываливать в грязь»).

— Сегодня же, нет, лучше с утра, начнём собираться, — пёдая свекольный салат с черносливом и гречким орехом, таинственно выдал «возвращенец».

— Опять в гости к Захарьянам? А они ждут?

— Я, — с нарастающей радостью приманивал Краев, — уволен.

— Господи... Да за что?...

— ...самое же самое, — он выждал победную паузу, — мы дождались!!!

— Чего? Кто мы?

— Мы с тобой. Вырученного за квартиру.

Она едва пробилась сквозь кашель от попадания не в то горло.

— Алиса?!...

— Смс-ку видишь? — он кликнул послание на ватсапе, «груз» — псевдоним денег.

— Поверю, только пощупав!

— Я слетаю и пощупаю.

Майя делала всё более круглые глаза. Ей требовалось услышанное повторить сначала вслух, потом она развернёт повторы про себя, и лишь после вновь наружных повторов есть шанс всему соединиться.

Тогда, в *первый раз* для встречи скорого из Москвы сообразно стуже надела шубу едва ли не до пят, и волновалась, не волнуясь, хотя, как сказать?

Из двухэтажного состава не спеша вываливался народ с баулами (в основном), сошёл (спрыгнул) и некто в потрёпанном пуховике, высматривая кого-то, явно близоруко. Майю вычислил, а не увидел, двигаясь пружинисто, но как бы на полусогнутых.

— Узнал? — Майя наклонила голову требовательно и участливо. Ей было важно — замечает ли морщины? Не слишком ли стара?

Ехали в троллейбусе молча, молчанию она приписывала нежелание Павла о как бы незамечании этих примет враты. Он был узнаваем лишь по улыбке.

Но едва дверь в квартиру, снятую на перекрестье Луговой и Павлова, захлопнулась, как оба задохнулись в нескончаемом поцелуе.

Она чувствовала себя юнеющей день ото дня, пока не спохватывалась перед зеркалом, заставлявшим губы вновь сводиться в ниточку, тогда ловкий Краев (если случалось) влезал меж стеклом и ею со своим «Не смей! Смотри на меня!») — и улыбка была уже общей, той самой, всеохватной и безвременной.

Краев привез из украинского далека три книги, в основном, стихов — одна чуть не убила: настолько плотно и откровенно была распахнута натура сочинителя — ей захотелось замкнуться, свернуться в зародыш, юркнуть в привычное одиночество, из которого её вывели, не переставая обнимать.

Книги намекали на мешанину влюблённостей (особенно вы-пирава одна история, история-Эверест), другой фолиант чередовал (в шахматном порядке, 50 на 50) стихи с яркой прозой, местами романного типа, с эффектом присутствия — недоговорённое ложилось в ту же колею — не бабничества, откровенностью на грани вкуса и надрыва (последнее автор столь же гипертрофированно презирал).

В чьей (бесплатной, якобы от друзей доставшейся) квартире жил в Одессе после Киева? Кто скрывается за посвящениями? Почему бросил Москву, ради которой — была уверена — бросил когда-то её (пусть бы и нечего было бросать). Но ведь сама на склоне Майстрюков предсказала и отъезд в эту Москву (где родился), и возвращение к ней. Не потому ли, что прочие сожглись, оставив главное (он так настаивал).

Вырученное за столичную квартиру она бы (как и любую сумму) никому, тем более, в сомнительный (а сомнительны все) фонд, не вложила бы, не доверила даже самым надёжным лицам (все расчёты перечеркнут государство, дебильные законы, авантюризм банка, фонда, чёрта в ступе, чудес же не бывает). У неё отнято всё. Боженькой, а кем ещё? Кто, кроме него, решает наши судьбы?

Она теребила прожитое, чтоб зацепиться хоть за какую вину, за какую причину отъёма Боженькой всего, чем судьба манила, оставляя без малюсенького чуда.

«Десант» Павла был именно чудом — либо неслыханного рельефа сном. К чуду важна готовность (Краев так внушал). А градус готовности — уже в каком-то роде рабство.

Это Краеву легко (или делает вид, что легко) сменить одно время другим, доказывая, что все времена происходят сейчас (разные радиусы доступности), вечность и есть миг (или наоборот), а линейная (протяжённая) — обман. И это при тревоге на-счет ответного чувства, насчёт прочности, силы, самых его корней и основ?

Привычка ставить всему баллы, анализировать, мало гармонировала с её профессией. Но лишь на первый взгляд. Дотошность помогает и при натуре художнической. Её и сейчас (не заглядывая в паспорт) приглашали костюмершей два театрика в Сечинске, это лестно, только и утомительно по самое не могу.

На равных открытая и упрямая, даже затворённая (скептиком — это мягко сказать) она быстро училась, будучи по-детски доверчивой — и ничего не слышащей одновременно, если начинала рассказывать. Но теперь и Павел учился слушать.

— У тебя украинский паспорт?

Мозг Краева следил сразу за двумя сошедшими с рельс и столкнувшимися лоб в лоб составами. Эти составы были он сам.

— Украинский. Да-да, — и смс-ка из Киева!

— Я не хочу, — Майя требовательно им любовалась (это было за столом всегда), — там война. Вообще плохо привыкаю к чужому (дело не в чуждом, а в не-своём).

Войну приходится, заминая, выносить за скобки. Не забыв про легенду о сыне в Киеве. На самом деле — Питерском. С непомерным числом внуков.

А теперь жить можно хоть на две страны
Вот и выбирай, кого спасаешь. И что.

VII

Они всё распланировали. Сначала в Питер, оттуда Краев доберётся в Киев через Будапешт. Недели бы хватило, чтобы проделать путешествие вдвоём, но Майя заупрямилась. Никакие уговоры, посулы, умаливания не брали эту стену. Иногда она умела быть и стенной. Даже задержаться в Москве, чтобы увидеть её глазами Павла — нет, нет и нет. Но потом, на всякий случай (Павел всё же уговорил) посетили визовый центр, чтобы заказать Шенгенскую визу для Будапешта (благо располагался он чуть дальше Майиной квартиры на той же Павлова). После всех тонкостей снимания отпечатков и фотографирования пришлось ждать неделю). Уж если заграницу, ей хотелось бы в Париж и Венецию, хотя бы в Пшибистоф, увидеть могилу матери, но Польша россиянам закрыта напрочь, из-за войны, а с Будапештом окончательного согласия Майя так и не давала.

Он продолжил агитацию на перроне перед входом в соборообразное здание Казанского, но Майя только мотала головой, всё же везя маленький кофр на колёсах и перевешивая сумочку с правого плеча, вновь на левое, так привычней.

Перрон заполоняли полицейские и рекрутёры с повестками. «Повесточники» на Краева косились, но пропускали.

Ещё перед посадкой по выходу из новой громады Сечинского ж/д узла им откозырял майор со свитой трёх перепуганных солдатиков.

— С какой целью едем в столицу?

— Это моя родина, — у Краева это вышло решительно, даже надменно (чтобы не возникло желание обыскивать — так он себе объяснял), — малая.

— Паспорта предъявите.

Листнув и задержавшись на первой страничке бурого, потрёпанного документа, майор вскинул бесцветные гляделки на «москвича». Циферки в кисive разнились с явным возрастом её обладателя лет на двадцать. Задержать парочку (Майя тоже никак не «тянула» на «старушку») ничего не стоило, но смысл возиться?

— Назад когда?

(«Никогда», — захотелось врезать, но Краев подавил инстинкт).

— Дня через три.

(«Их патруль в Москве пошерстит», — уговорил себя майор, возвращая документы.)

Голосок Майи в океанариуме Щусевского здания, казался птичьим.

Не срослось с кошельком блокчейна, и Павел упросил Алису перевести нужную сумму в Казахстан, оттуда она попадала на его имя в системе «Золотая Корона». Единственный банк Сечинска, работающий по системе, был неудобен, а в Москве, по «красной» же ветке метро всего в двух остановках от Казанского — лучше не бывает.

— Приземлишь меня в кафе каком-нибудь, и съезди, это же быстро?

— В момент. Дай паспорт, для билетов на Питер у нас хватает.

— Нет, сначала вернись.

— Ты же мне поводырь, забыла? Главное...

— Что? — на «главное» она вздрогивала.

— Мы не должны, нельзя расставаться. Ты «подчищаешь» мои провалы.

— И в Москве? В твоей?

— Конечно.

— Я разве не с тобой?

— Во всех случаях. С «обналичкой». И с Будапештом. Соглашайся.

— Но я летать боюсь!

— А для чего делали загран? Брали Шенген? Мой украинский это включает

— Не знаю! За свой счёт неделю дали, всего! — она защищалась изо всех сил.

— Забыла обещание больше не работать?

— Я ещё не привыкла.

— Первый шаг он важный самый!

— А тебя могут не впустить обратно?

— Вот и нужна, чтоб впустили.

— Только для этого?

— Не начинай! — он ткнулся в её шею, в губы, сжал, развёл руки, снова сжал отзывное, родное, их обтекала мешанина толпы, то проламывая разрозненные группы одиночек, то покорно этой толпе они втекли в подземный переход площади Трёх Вокзалов, миновали Ярославский, в первом же здании за ним угловой вход ввёл в уютную, оформленную не без вкуса, кафешку.

— Закажи, — отодвинув меню, Майя оглядывала полупустой зал, — закажи капучино?

— И всё?

— Всё, милый. Скорее вернись.

Краев, уже на ходу, выискал единственную официантку, показывая, куда приносить напиток, занимавший в предпочтениях Майи второе место после колдовски приготавливаемого им потурецки.

Она и вправду не могла привыкнуть, что с «Авалоном» будет по возвращению покончено, с торговлей и подобными работами вообще. А Краев хотел бы устроить бенефис. По-доброму следовало бы рявкающему начальнику в трениках выставить обещанное виски (дескать, я вам больше не «четвёртый», да, проиграл пари, но знайте, с кем связались), а Даньшина обнять (бывший опер — «ботаник» на фоне вбивания сериалами в мозги, в грудь, во все органы воздух разлитой вокруг головщины, мобилизации не опасался, но сохранял меланхолический фатализм).

«Треники» должны были появиться, когда неизвестно, а с Даньшиным повезло.

— Езжай, — грустно подвёл он черту, — не к сыну, сообщениято нет, просто езжай...

Обмыть бы с ним радость увольнения, но предстояло ещё дома перебрать многочисленные папки, отыскивая оригинал и копию свидетельства их с Майей регистрации, решение суда о тождестве обладателя российского и украинского паспортов (в оригинале он значился, как россиянин), чтобы Майе считаться женой иностранца, плюс перевод всего на инглиш в так называемом апостиле — для пассконтроля в аэропорту Будапешта — если Майя всё же сдастся и полетит с ним.

В паузах между покупателями на работе Майя листала Википедию. Поисковик выдал четверых литераторов «Павел Краев», с одинаковыми ФИО, местом и датой рождения. Трое первых почему-то значились ушедшими в мир иной — в 1979, 1992 и, наконец, 2014-м. Неудачная операция, автокатастрофа в Германии, вновь операционный стол. Биографии ушедших частично пересекались, тексты были внесены разными авторами, каждый, возможно, и не подозревал о существовании коллег, оттого и достоверность сведений оставалась под вопросом. Для Майи круче биографических неувязок удивлял сам факт возникновение Павла. Бездна меж прошлым и теперешним её занимала не как повод к ревности, лишь в качестве ниточки, но Краева «праздные любопытства», доводили до бешенства, за что мгновенно каялся — это их сближало (вопреки якобы нарастающим трещинам).

По всем приметам готовились они к бегству. Майя пытаясь загадывать, где будет квартира или домик (рядом с дачей Захарьянов или чуть дальше), уезжать из страны даже на три месяца не желая наотрез, пусть совсем закроют выезд, пусть Сечинск так и не стал дороже оставленной ею (девочкой-предевочкой — это девичье, девчачье Краеву до замирания нравилось) Северной Венеции, пусть бы Павлу пришлось уехать безвозвратно (Краев с жаром такой исход отрицал), этот не совсем фантастический вариант Майя озвучивала нарочно, зная, что самое ненужное изловится победить, заговориванием же можно его изгнать, по-придержать хотя бы.

Отвлекалась на выборе что надеть. Профессиональное (модельер) мешалось в ней с учётом (несуществующего, как внушил Павел) возраста и усталостью от бережно сохраняемой, но поднадевшей коллекции носимого. Свой застарелый гардероб Павел охранял мёртво, но Майя действовала с таким любящим давлением, что как бы сами собой наполнили шкаф и пара джинс, и пуховик с мод-

ной, завязанной уголками ушанкой, и белый вязаный пулlover (не считая толстовок, маек на все сезоны и, зимних словенского производства полусапожек).

После Сретенья морозы взяли паузу и Майя предложила пересечь Волгу, без лыж, где-то под углом к Рождеству. С утра заладилась приятная безветренная полутемь, взяли несколько мини-бутербродов и полный термос чая. Краев, обычно ходящий быстро, пропустил Майю вперёд, любуясь ею фигурой в красной куртке, особенно же — осторожными движениями, как входят в холодную воду.

Едва сошли со ступенек к заснеженному пляжу, глаза кольнуло — именно здесь он (или кто из его нескольких «я»?) уже спускался и брёл за незнакомой парочкой, видимо, студентов — парень размахивал руками, а его полголовой ниже спутница, смотрела на готовый (иллюзия?) взорваться ослепительно утоптанный лёд.

Сейчас это как бы повторяло тех двоих — или кто кого — зеркально.

Они фоткали свои тени при выныривании жидаенького солнца (дома он рассмотрит снимок въедливей, отмечая вычерченное рядом со склонёнными друг к другу силуэтами, удлинённое — остириём в тропинку — сердце, снятое вслепую).

На середине заледенелой реки до города, казалось, подать мизинцем. Натыканые кой-где небоскрёбы, преобразили прежний нудноватый пейзаж, а далеко справа искрил как бы морской горизонт (ведь есть же и замерзающие заливы?).

Обогнув один из островков, дотерпели до склона перед турбазой, решив перекусить на корнях иссохшего осокоря. Из пряной полуьмы тут же соткалась с торчащими ушами дворняга (скорее даже метис), попрошайнически виляя хвостом.

— Если что дадим, — остановила, — набежит свора. Посмотри, всё он понял, разведчик.

На этих словах дремавший рядом снегоход, взревел, отчаливая с резким разворотом. Взвихрённая снежная пыль не испугала «разведчика». Пёс по-мефистофельски (вправду, как из «Фауста»!) целился в них слезящимся безречничным зрачком.

Возвращаясь, так и не попали в протопанное, торя свою тропу с неточным азимутом — Павла успокаивали то носом к носу, то, как бы вулканически — губами в губы.

Ей было неописуемо хорошо. Может, благодаря щадящей темени, сырому предвесеннему теплу, приближающему навигацию никуда не сплыvших лет (в том числе, «бабьих»), где — подобно голодному псу-разведчику (он держался только до середины течения, отстав ещё внезапней, нежели возник), нарисовалось их единожды на юте «ОМ»-ика сиживание, предплечьем в предплечье, звуки бурлящего за кормой слива не заглушали сердечного ритма, переплетаясь, как те же струи, не струи — холмы слива — зелёно-рябиновые (от заката), но может, ничего и не было?

А как давно я здесь сижу, — забеспокоилась наконец-то, — час? Или сколько?

Вместо набирания номера нажала на сохранённое в окне «Пашенька, Пашенька».

«Телефон абонента выключен или находится вне зоны доступа», — проворковал отрешённый голосок птички-робота.

VIII

Уговаривать Смолова «войти в тройку» не пришлось. Впрочем, как время перестав течь линейно, разметалось на самые немыслимые рукава, так и водка с виски не спорили, похмелье от одного тут же гасилось похмельем встречным (от виски, впрочем, никакого), наливали через раз оттуда и отсюда.

Лейтенант сетовал, что никаких указаний от начальства давно не получал, инспекций не было, ограблений тоже, он себя чувствовал вконец потерянным, но пост бросать нельзя. Предложение вернуться в город тоже на троих, встретил с восторгом и как повод чокнуться по новой, так что, поплыvём, братцы. Помогу отыскать эту... как её... Связи есть. А надо будет, подключим... — и не договорил, засыпая. Их с Игорем свалило тотчас же, подобно костяшкам домино.

Синхронно все трое не заметили, как рассвело.

Потягиваясь, Постриг вышел на подгнившее крылечко — и обомлел. Щебёнка, ведущая к пристани, искрилась. Снежок, совсем даже новогодний, покрывал всё, до чего дотягивался глаз вниз и вверх по течению. Августовская (или сентябрьская) пороша в этих краях случалась. Но заледеневшая река?..

Заскочил внутрь, поднимая спящие на столе головы. Первым продрал веки ничего не соображающий Старухин, Смолова едва растолкали. Не теряя времени, Постриг проверил оба скрипучих комода сверху донизу, часть ящиков застряла словно в бетоне. Какие-то фуфайки, чудом не съеденные молью, нашлись, тёплых же штанов — ни шиша. Хотя старые фланелевые брюки — вторые — для себя подобрал.

«Иж» чудом завелся. В коляску был усажен Игорь, Постриг, в ком не утихали ночные ускорения с Катей за спиной, вызвался рулить — Смолов оттеснил.

Дебаркадер гордо стоял во льдах, как «Челюскин». Заколоченная будка для продажи билетов насмешливо наблюдала за ними с кручи.

— Что делать будем? — Постриг, чтобы не замёрзнуть, прыгал, растирая ладони.

— Мотоцикл не оставлю, — жёсткость Смолова была под стать поручням трапа.

«Иж» зачихал, его подтащили к береговой кромке. Щёки покалывало, как при — 10, может чуть меньше. Смолов и Постриг волокли заведённый упрямый драндулет, преодолевая не слишком слежавшийся снег, Игорь подталкивал сзади, упираясь в люльку, меняясь с Витюхой при передышках. Город никак не желал приближаться. На ясный чуть скошенный лоб Смолова налезали два близко поставленных бледной голубизны глаза — несколько дразнящих небоскрёбов этажей этак на двадцать, не вписывались в его картину мира. Но поворачивать поздно, да и не было привычки пятьться. А для искателей Кати стёрлась грань между подзадержанной юностью и многоэтажным новостроем. Внезапный ледостав подтверждал: иллюзия работает в обе стороны, если кроме иллюзии нет ничего, пусть будет «ничего».

Мотоцикл то и дело глох, как бы желая застрять во льдах вечным укором, но Смолов ухитрялся с бешеною страстью заводить его снова и снова, и никакого страха, что лёд тонок, что это вообще лёд, а не декорация киносъёмок, и что если чёрти куда вынесло, где родного начальства больше нет, пусть сон (прежде сны застрявший в лейтенантах сорокалетний служака презирал, как нечто неуправляемое, когда тебя повернёт щепкой — тут и сказке конец).

Где-то на стрежне перехода Игорю почудилось что справа, в скольких-то километрах горизонт и впрямь становится морским,

а на полдороге к нему торчit нечто. Он бросил руль «ИЖ»-а, щурясь от солнца. Во льду торчал самолетик — примерно, треть фюзеляжа. Вздёрнутый хвостовик не оставлял сомнений: машина рухнула. По борту можно было различить сверкающее синим «CESSNA».

Игоря инстинктивно к этим буквам рванул собственный крик: смотрите, смотрите!

Вздрогнувшие (или ему казалось, что вздрогнувшие) подельники, тут же устало, с желчью, отмахнулись. Но Старухин в сторону увиденного упрямо поворачивался — хвост лже-кукурузника торчал всё там же, будто бы дразня или просто служа вехой волшебно заледеневшего стрежня чёрт знает, для кого.

Вероятно, лишь для него.

Кое-как выволокли несчастную машину с коляской на ровный склон берега, и через два ступенчатых пролета — на плохо-чищенную набережную, а Старухин всё глядел и глядел туда, где торчал обломок. Обломок того, по чьей воле потеряна и любимая и её сын-беглец. Куда теперь подаваться, зачем вызвался помочь всеми забытый моторизованный мент — было и не до этих мыслей.

Последний раз жадно взглянул в сторону «глюка» — и ничего не нашёл. Его уже и это не удивило. Для удивления, как и для всякого даже минимального действия нужна воля, а его воля спала. И воля, и слух — это касалось всей импровизированной троицы, но — раздался скрежет — и теперь вздрогнули уже вовсе не от глюка.

Вся середина, вздутая, будто мышца скрутилась с тысячью других мышц, двинулась — куда хватает взора — вниз по течению. Как же им повезло! Как же они успели? Как — от сентября к апрелю (ведь ледоход в апреле только и бывает?) сплющило сезоны!

— Пацаны, — отрезал сорокалетний Смолов обоим 27-леткам (хотя спрашивал только Витюха: зачем вызвался искать с ними неприветную Катю), — я вас не брошу. Мы в незнакомой стране, считай, во вражеской.

— Лёнчик (снижая гордое «Леонид»), давно ль ты в этом разобрался? — съязвил Постриг на правах старожила.

— Вместо разведки (забраковали, гады) попал, сами видите куда. Прикид бы поменять, а там слушать мои команды. Вместе попали, вместе и выпутаемся.

— А если нам не надо? — Игорь был единственным, кто не дрожал от холода, Пострига знобило, а Смолов, что ему зябко — скрывал (точнее, пытался), поскрёживая неровными зубами. — С чего ты взял, что это другая страна?

— Этого, — Смолов ткнул в сторону витрины с вывеской «Зайкин & Партнёры», — мало? Если верите, что ваша беглянка других целей прибытия не знает — а страна и ей чужая! — мы её найдём, зуб даю — с крестом (он вынул из-за пазухи потёртый крестик на веревочке и поцеловал)! Мой деревенский. Вас кто-нибудь здесь ждёт? Или клятву пионерскую не давали?

— Где мы тебе мундир возьмем ... из этой, — поворчал Постриг.

— В милиции.

— Я пытался доказывать. Вышвырнули сразу из двух времён. Из обоих, заметь.

— Двух быть не может, — у тебя по физике двойка. Бабу деть — дело житейское, меня вот бросили, но я ж не оскотинился, чтоб друзьям не помочь. Короче. Добуду форму и положитесь на меня, засранца.

— Загребут всех, — отрезал Старухин, глядя на стайку подростков, чьи электросамокаты не давали усомниться, в каком они блаженствуют времени, рядом же плелась женщина с бидоном для молока в шубейке образца конца 40-х. Именно ей предназначалась (видимо) и телефонная кабинка с перекошенной дверью, которую не замечали «самокатчики», поигрывая наладонными предметами, откуда что-то светилось. Тут же была и другая компания — две солидные пары: женщины в пальто с воротниками чернобуркой, а у мужчин пыжиковые ушанки.

На более пристальный взгляд молодняк и соответствующие им выходившие из элегантных космического типа силуэтов авто, припаркованных по обе стороны Луговой — и скромно (уничижённо даже) одетые не замечали другую поросль, а те не замечали этих, как при переходе через ледяную Волгу CESSNA замечал один лишь Старухин — пласти времени сливаться и не думали. Да и внутри одной популяции большая часть не замечала остатки спалённого провалы, ямы (которых, кстати, из них видел только Постриг).

— Мало? — повторил, кого (по пьяни) бросила жена и он теперь был искателей возлюбленной, главарём, упёртым в яркую вывеску адвокатского товарищества.

— Надо на рынок, — догадался Постриг, — там всё найдем. И мундир. Больше негде. Какой, кстати, нынче день? Какой день сейчас, папаша? Будний? — попытался тронуть за рукав прохожего в ушанке набекрень и с авоськой. Тот чуть не упал, но продолжил свой путь на полусогнутых.

— Люди! — воззвал Витюха к редкой веренице туда-сюда по тротуару — и к стайке молодняка, в том числе, — Кировский работает? Или есть ближе?

Часть юного племени, вынув из ушей какие-то проводочки, на миг останавливалась, но с улыбкой продолжала ход внутренней свободы. Большая же часть (и без того малого потока) не реагировала никак.

IX

Всякий раз текст птички-робота повторялся. Палец уже был намозоленный.

Телефон мог разрядиться. Не мог, если автоответчик действует. Слабый звонок. Или выронил (только не это!). Банк с переводом по «Золотой короне», было сказано, в двух остановках «красной» ветки метро. К центру или от центра? Наверное — от.

Потоком приезжих её внесло в павильон «Комсомольской — кольцевой». Поражали чужие друг другу лица, отсутствующие, отсутствующие даже при видимом оживлении. Особенно, при спуске на эскалаторе. Надо было бежать, но толпу не обгонишь. Она вышла на «Сокольниках». Смартфоном высветило ближайший банк — этот или нет, будь как будет.

Кто-то из спрошенных уточнил ей путь (в гугл-картах всегда путалась). Банк она бы и не заметила, но пришла методом исключения — он.

В уютном зальчике полуподвального помещения работали две открытых — через стол — секций из трёх, Майя сразу выделила девушку в среднем (Павлу она бы точно понравилась — свежее, прямое лицо с отведённой чуть вверх и назад русоволосой копной), выданный терминалом талончик очерёдности совпал именно со средней. Выделила — и — о, чудо! — менеджер запомнила немного эксцентричного посетителя, который пощёлкивал пальцами, пока ему оформляли перевод и конвертацию в рубли внушительной суммы (ей пришлось отлучаться к директору за разрешением).

— Но его увезли!

— Кто?!

— Попросили с ними пройти, знаете, как это у нас...

Раскадрованный клип вихрем в Майе пронёсся: схватили (с отданием «чести»), он и не сопротивлялся, не на вокзале, так здесь, повестку вручить-таки удалось, или сразу в комиссариат, сразу, конечно же!

— С деньгами? — спросила жёстко, в совсем несвойственной манере.

— Они у меня, — тихо-тихо, как на ушко, менеджер, совмещающая кассира, вопросу не удивилась, — вы жена? Он успел сказать, что может искать жена, и бегло вас описал. А деньги вот, — она протянула ведомость с летящим домиком «П» и хлыстом после ко-нечного деревца «в».

— Возьмите себе, пожалуйста! Три, пять тысяч! — голос Майю уже не слушался, — десять!

— Что вы, как можно?!

— Умоляю! — Майя уже вытягивала из пачки пятитысячные купюры, не замечая камер слежения и отторгающего жеста сотрудницы, — иначе всё у нас рухнет, возьмите, да возьмите же!

И подложила обе ассигнации под возвращаемую ведомость.

Дорогу к военкомату подсказал один из заполоняющих даже этот закуток Москвы рекрутёров, сохраняя лицом весь ужас обязательств.

Всё мчалось как бы помимо воли, но теперь она убеждалась, что ни один импульс не происходит без контроля (хотя бы) этой самой воли — Павел ничего не придумал.

Знала, была уверена — она его добудет, спасёт от фронта, от когтей госмашины (про себя никак её не называя), чтобы что? — чтобы вылюбить (не с языка сорвалось по скайпу, а написала — написанное, в отличие от произнесённого, можно удалить, отредактировать), знала она, знали сухожилия, каждое нервное окончание, каждая волосинка. Что с Павлом в эти минуты творится — мимо, всё мимо. Только действие!

Двухэтажный флигель явно довоенной (какой войны?) кладки во дворе многоярусных монстров за гаражами был бы пасынком любых эпох.

Без суеты выложила смартфон в коробку на стол справа от П-образной при входе рамки, прошла в неё, подняв руки, чтобы де-

журный удостоверился своей «штуковиной» в отсутствии металла, но её и не попытались остановить, настолько походка была властной. Развернула в окошке паспорт, опережая вопрос — что за дело к начальнику, «срочное, через три минуты заберу».

Пока записывали (чего не видела) только чутьём (на которое обычно жаловалась, сейчас это было бы кокетством), через два коридорных поворота, уткнулась в дверь и табличку «Военком Намёткин Е.Б.» и, без стука, в том же темпе, двумя шагами одолев расстояние до кущего стола и стула под 90 градусов, стандартного для всех учреждений, не отышавшись, но изящно этот стул заняла, мгновенно хватая авторучку (тут же, в несдвигаемой подставке) и листок для заметок (из прозрачной пластмассовой, как для салфеток, держалки) — сдвинув брови, военком остался с прилипшей к дёснам жвачкой — ему выпалили: «Краев, Павел Самойлович, 75 лет, прошу (одновременно рисуя на листке цифру 3 с пятью нулями) отсрочки. Авдеева Майя Фёдоровна, жена, 73 года (у военкома хотели бы взлететь все морщины лба, но к таким подвигам лицевые мышцы не привыкли).

Убедившись, что цифры на листке увидены, она схватила его и скомкала.

— Всё, что могу, — долгий выдох с ударением на единственном слоге «всё» (как учат в театральных школах, но ей-то откуда об этом навыке знать?) сопроводился тычком по столу незапечатанного конверт (как, параллельно всем движениям втиснула туда купюры из полученных в банке, объяснить бы не смогла).

Военком прервал бы её на любой стадии, заподозрив: а) провокацию, б) клинику, в) сам не зная, что, но проехали. Лишь отсканировал — вроде бы не дикарка — лицо, личико, скорее — просительницы? Право имеющей? (последнего словосочетания мог и не знать, хотя Достоевского в школе проходили, но даже и не раскрывал).

Как передёргивают затвор, он ощупал стопку паспортов ящичка тут же на столе, при этом конверт с купюрами сам, точно катящийся в лузу шар, упал в ящик посерёдке, выдвинутый на три пальца ширины.

— Ждите на улице, — сказал отрывисто-хрипло, — срок до 1 марта, данные уже в базе.

Она исчезла, шементом пронеслась мимо дежурного и рамки, выхватывая выставленный из окошечка паспорт без суперобложки (заранее снятой).

Предвесенняя тяжесть в голове только после двери военкомата дала себя знать.

Её тряслось. Как трясёт икота. Или просто. Или от пониженного сахара, но, когда выпущенный, озирающийся (хотя вокруг метров на сто никого) Павел тронул рукав её куртки, затряслось ещё сильнее. Она обернулась, осыпая мужа градом кулачков.

— Как ты! Как мог меня бросить! Живой же, ну, живой же!!! Настоящий! Я знала, знала! — захлебно кляла себя и его, не разделяя, за всё сразу, как прыгают синицы, как отдача при выстреле, — здесь нельзя оставаться, если назад не впustят, значит, останешься в свободной стране!

На них, идущих уже как двое отключённых, никто не смотрел. Да, в общем, некому было. Или почти. Молодых беспечных лиц на площади, в сквере, в кафе, по дороге назад к метро всех изловили? Могли бы спросить марсиане, а этих не волновало.

Павел то и дело её охватывал, целуя висок, холодную щёку с завитками щекочущих кончиков размётанных волос — губам она сдавалась, опережая их же. Не стоило говорить — он догадался — что к чуду его вызволения причастна изрядная доля денег, и мучительно соображал, пытался сообразить — кто мог бы дать взаймы на всё-таки два билета Москва-Будапешт (самолётом), экспресс Будапешт-Киев, «Bla-Bla-Car» или автобус из Киева до Москвы, а там и поездом в Сечинск. Двух непременно. Думал, как об абсолютно решённом. Как та же Майя, готовая ради него смести все барьеры и рамки (есть прошедшее время у глагола «сметать»?) — и только после того, как смела, как всё было сметено, разрыдалась.

X

Кировский рынок имел теперь (хотя, что значит для попавших в это выдуманное «теперь»?) вид ангара, росшего сразу и вверх и в ширину. Привычные прилавки под навесом смыло, как цунами. Были волны нарастающие параболически вверх и рассыпающиеся на пике, эти — не рассыпались. Индуистриальная и задымленная Безымянка приобрела, наконец, странно человеческий вид, суетливый, местами вылизанный до блеска, опрятный даже там, где издавна мыслился базар, базарный, куцый (с оглядкой) дух, торговля вошла в рамки, рамки укрепили, подчистили, взятые в лёгкие кон-

структурки, с массой воздуха. Всё это соседствовало со старым (и точечно-новым) городом, с дырами, от спалённых избушек и халабуд старого центра.

Бывший Валерьян (а эта часть Сечинска дольше прочих оставалась истинно Валерьяновом, возникшей как эвакуированное стойбище заводов) ничего из указанных ужасов не замечал, как не заметили празднующие на набережной митингов у резиденции губера с распылом кто куда и с оружием.

Смолов смекнул, что при таком раскладе никакого чёрного рынка не найти и действовать надо так, чтобы выглядеть, по крайней мере, своими. На него некоторые дивились. Какой-то парень с висюлькой в ухе и рваных на коленке штанах неизвестного покроя, проходя мимо ткнул в «старорежимный» мундир лейтенанта и по-деловому заметил:

— Раритет? Возьму тыщ за пять. Ну, как ветровку.

(Деньги для него явно смешные. И, значит, цену стоит поднять).

— Что за «раритет»?

— Долго спал, дядя. Полиция ходит в чёрном, ты как сбежавший зэк.

— Десять, — не моргнув глазом, — двинул «сбежавший». — В чём я буду ходить?

— Ну, даёшь. Тут маек выбор, толстовок — оглянись. Или те на все сезоны?

— Именно.

— А работать не пробовал?

— Мне документ ещё выправлять. Новый паспорт сколько стоит?

— Корочки в 90-х были задаром, чистые стоили... забыл. И впрямь надо? Повезло тебе. У меня друг в отделении, за пятьдесят возьмётся.

— Ты же за 50 не купишь этот мой...

— ...«хлам»...

— ...да, хлам.

— Пиши телефон.

— Нечем. Да и телефона — ёк.

— Домашний.

— Нет никакого дома.

— Ладно, подарю кнопочный. Ты вообще откуда?

— С Прорана.

— У крёстного там дача, но чтоб участковые водились... Что-то здесь не так.

— Никак, — Смолов оглянулся на Игоря с Виктором. Они с жадностью и скепсисом впитывали деловую мешанину.

— Герыч, — протянул здоровущую длань парень, — тут близко. Сходим со мной, раз телефон отсутствует.

— Я тут не один.

— А сколько вас?

— Трое, — Смолов кивнул на друзей-соперников.

— У них (судя по одёжкам) тоже «никак». Могу сдать две комнаты из трёх, в долг.

— Вить! — Смолов позвал Пострига, припоминая, что у того вроде бы оставались доллары (похвастался, чуть ли не полтыщей. Курс, помнится был 90 копеек за один. И пять-шесть — у валютчиков).

— Есть доллары, почём?

— 85. Скоро будет 100–120.

— То есть, надо 300. Дашь?

— Дам, — Постриг не стал мяться, — хотя жить здесь ещё...

— Я устроюсь, без паспорта ж не возьмут. А его за 300 сделают.

— Остаётся... Может, на месяц хватит, а за жильё?

— Не боись, — Герычу нравились все трое, — добавим. Работу найдёте, а там, когда сможете.

Он выглядел старше их лет на те же двадцать, почти невозрастным. Занимал полупустую трёшку в одной из некогда промышленных зон, теперь вполне цивильный квартал домов. Герыч сохранил дух, свойственный хиппи, свято хранившему свои фенечки, следы принадлежности к местной то ли богеме, то ли братству во самиздате, пьющей, но с оглядкой. Квартира досталась от родителей, инженеров на «ящике», ушедших рано, когда началась конвертация уже никому не нужных нищенских проектных организаций во что-то прибыльное, чаще путём быстрого хапка, но кое-что перепадало и тем, кто рискнул, отбросив гордыню, заняться презираемой прежде торговлей. Родители не выдержали ни содержания, ни всей этой гонки (в провинции многие были даже порасторопней столичных). Успели приватизировать квартиру и умерли чуть ли не в один день, не переставая влюблённо и стоически смотреть друг на друга сквозь туман влюблённости.

Зарегистрировал Герыч всех троих бесплатно, взамен получив мундир мента из допотопных. На паспорта ушло 400, квартплату пока заморозил. Осталось чуть-чуть на проживание и на два смартфона, без них никакая работа не светила.

Укоренение в новой действительности Пострига напрягало меньше, чем Игоря, беглец по натуре, он решал проблемы по мере поступления: найдётся Катя, а там посмотрим. Игорь тоже старался не загадывать дальше, чем на день. И если Постриг ещё мог надеяться на лётные навыки, Старухин, утративший вкус к инженерии, звонил по любым предложениям — от курьера до разнорабочего на стройке.

Наконец, он подился на курьерскую доставку еды — это приносило до 50 тысяч, если не считаться со временем. Постриг же быстро постиг компьютер и начал играть на биржах онлайн, ему везло. Смолова (не без протекции делавшего паспорт) ждал испытательный срок в полиции, главное было избежать мобилизации, но регион ей как-то сопротивлялся, а власти помнили о попытке вооруженного мятежа.

Больнее всего было бы расставаться с «Иж»-ом и его коляской. Дождавшись майской навигации, в один из выходных перенес гнал его на родительскую дачу Пострига. Но всё-таки не выдержал, давая объявление в одну из местных бесплатных газет. Нашёлся любитель ископаемых средств передвижения. Сошлись на 100 тысячах (за «игрушкой» Смолов следил ревниво и служила она совсем по-собачьи). Вырученного хватило на оплату якобы утерянных паспортов в разных отделениях, чтобы не заподозрили, чего не надо, и возврат «спонсорских» Герычу.

XI

«Чем дурак отличается от умного? — любил вопрошать Старухин-старший, и многозначительно вытягивал указательный в сторону Волги, — Дурак плывёт по воле волн, а умный строит свою жизнь сам!».

Игоря это и напрягало, и коробило. Правда, но какая-то косая. Сейчас, когда развоз продуктов позволял перебирать остатки схлынувшей жизни, он преобразил отцовскую мантру, вернее, итоговую часть: «...умный находит с о ю волну!».

Бывает ведь, что не хочешь, а выруливаешь куда надо. Само выруливается. За первый месяц разносов курьером удалось наскрести на самокат с моторчиком и теперь, почти впадая в детство (самокаты тогда были на подшипниках, толчковая нога как бы крутила землю, подражая ещё не написанной песне Высоцкого, ныне же мода на «нео» захлестнула все города-миллионники, на тротуаре часто паслись по 10–12 этих устройств, прокатных, без пароля не поедешь, а у многих были уязвимей, личные, с ними впускали даже в супермаркеты), Игорь нашёл нечто среднее между «тяжеловозом» и детским, с толчковой ногой.

Своя волна требовала: найди меня! Это не было связано с поисками впрямую, с доставкой, как правило, в обеспеченные семьи, в квартиры, отделанные со вкусом и дорогие, заказывать продукты на дом для такой прослойки было из обязательного набора — зимой, когда на самокатах не разъездишься, помогали велосипеды, он был в плане, а пока пешком Игорь исходил вроде бы знакомый Сечинск, но старого в них осталось горстка не сожжённых при зачистке митинговавших и куда-то уже вдруг исчезнувших, но пустот от сожжённого почему-то не видел.

Волна волной, всё в этом лучшем из миров лишь схлёст волн или упокоение волн, некоторые, правда, уже таяли эхом. Аддажия теперь принадлежала другой стране, Хабаровск — вообще край света — и туда, и туда требовались немыслимые суммы, одолжить не у кого, да и бежать одному? Просто бежать, ради некоей лучшей жизни?

Клял себя, что не внял успокаивающей просьбе — уцепиться за парашют всем троим, женщина чует — где она? Из леса выбралась (Тёмка не подведёт), а дальше?

Да, он романтик, но расчётливый. Подверженный отключкам, но в целом выруливалось без уклонов. Кроме случая, когда надо было слушать ту, кто рисковала с тобой вместе и просила этот риск разделить, а ты, вроде бы опекун, защитник, ведущий — растерялся (под маской повышенного уровня заботы).

Отвлекало (пусть не полностью) от этого самоедства погружение в реалии, куда сначала всех перенесло, затем и разбросало. Сезоны тасовались со скоростью и порядком чередования хаотично (как показал переход от Прорана, лёд вырос буквально за ночь, а ведь навигация была в разгаре), бурное лето шло вслед за пав-

линьей осенью, затем время двинулось вбок, чтобы вновь сделать резкий вольт возврата на свежеуложенный пористый асфальт июня, вот прямо сейчас.

Но куда безнадёжнее выглядела, казалось бы, новая страна. За пределы Сечинска выехать не мог, и всё же анализ (или «сканирование») давал мгновенный вывод — ТАК везде. Отстранённые лица в трамвае. Война, которую нельзя называть вслухвойной. Билборды, зазывающие вступать в армию, подписывая контракт (и билборд, и контракт — всё было заёмным, чужим, и никаким одновременно) по набору в армию («Займись настоящим делом, присоединись к СВОим!»).

Довольно скоро съехал от приютившего их Герыча, но, в отличие от Пострига, снявшего жильё с видом на пространство бывшего Катиного дома, нашёл недорогую однушку по другую, менее престижную сторону от Московского шоссе и Павлова.

Так вот, страна.

Её, судя по замерам, вообще не было. Сплошь видимость — местами ухоженная, выложенная аккуратной плиткой, с пышнейшими тополями, закрывающими пять-шесть этажей, с предупредительными ресепшенами офисов, с тучей автомобилей, взятых в кредит повально, средним классом, да и победней — на фоне роскошных, невиданных «танков» чёрного, как правило, цвета, с затенёнными стеклами.

И если раньше улицы, особенно, в студенческих местах, бурлили, а одежды не баловали многоцветьем, расцветок и фасонов просто карнавал. Но лица, лица выдавали зыбкость, отсутствие почвы (при том, что худо-бедно дачами владело недоказуемое большинство), даже в потоке толп у переходов и на выходе из торговых центров градус жизни не прощупывался. Оживление — но и настороженность, — это, пожалуйста, особенно, в молодёжном варианте «униекс», а под ним всё то же.

Но потоки этих «уни» пересекала, прореживала сеть его, Игоря, «паспортных» современников, сошедшая как бы с афиш фильмов, которые смотрели все и должны были смотреть все, чуть угрюмее, чуть менее выразительные, а выделялся ещё третий, «параллельный» поток — активных, чувствующих, что и где стоит делать, «дайте только знать» — с аккуратными бородками, спортивного сложения, накачанные (но без фанатизма), рассредоточенный, но все же отряд и — главное — ни один из потоков

двух соседних не замечал, не замечали друг дружку и машины разных эпох, смело пересекая перекрёстки, словно бы у них были разные светофоры.

Слои не тёрлись каждый о каждый, а представляли собой как бы несколько желтков разбитого яйца — перетекали сами в себе и не обменивались с другими.

По-честному, Игорю нравилось многое: облицовка фигурными плитами тротуаров, спокойные всех возрастов обыватели, отывающие на скамейках не в форме волны, а четко прямоугольной, отсутствие патрульных машин, и бубубуханье на всю катушку из окон пролетающих иномарок, и разноцветные любовного дизайна вывески ведомств и магазинов, умилительно, будто кокошник при деловом костюме озаглавленный вроде FARGO-LINE или зоомагазин ANUBIS или столовая «Едим, зажмурясь» (редкая кириллица среди засилья, как язвила мама, «иностранныны»).

И самокаты, и до блеска вымытые форды, ленд-крузеры и разная японо-корейская номенклатура, оформленная не по линеекам, а фигурным лекалам и даже продукция концерна, оставленного итальянцами в городе, названном по фамилии вождя их коммунистов Багетти, были доведены до зарубежных приличий и на восхищенный глаз клепалась в одном и том же цеху.

Жаль, что, собиравший газетные вырезки, батя не дожил до рыночного торжества, за границей был всего раз — в Чехословакии, потрясённый отсутствием красавиц и просто симпатичных лиц — так потерялось его доверие к западничеству.

А на Игоря пялились без стеснений. Скандинавские черты подчеркивали его скромность, дружелюбие, нездешняя же улыбка ставила в этих достоинствах восхлипательную точку, но уже несколько месяцев он был один, ни на кого не клал глаз, чувствуя, что своей ровностью и даже (о, Боже!) целомудрием у желающих с ним познакомиться лишь разжигает интригу.

Ни в ком не находил он Катиной детскости, которая, окутывая красоту, была интересней её, вот-вот сама прилепится, под крыло, и Я станет = Ты, не разъять.

Иногда вспыхивало: что за крест волочёшь (стыдясь: это Катя — «крест»)!?

Меловой круг верности той, кого искал нон-стопом и не находил нарушился всего раз — но и это ввергло в ступор. Он рассосался, или показалось, что рассосался?

Развезены были все заказы. Оставался последний — на 4-й эта. Самокат пришлось втаскивать по ступенькам, лифт (согласно приклеенному листку объявления) ремонтировался вторые сутки. Дверь открыла «небесная» блондинка (скорее, русая), смотрелась года на два-три моложе Игоря, но это видимость, она старше тебя, дурака, года три, может, на пять (старше того, из 70-х, а на деле... Но не будем).

Он мялся, не переступая порога, девушка расписалась в накладной, и подняла на него два пущистых зрачка, интересуясь, он спешит?

Кофе оказался с корицей, имбирем и мускатным орехом. Впервые за год (или за много, за все, какие ушли непрожитыми) было хорошо и тревожно, состояния резонировали. Слева за кухонной стеной ощущалась комната с просторным — до потолка — окном, видом в прогале других 24-этажек на обманно-синеватые колеблющейся полоской горы, и островом, чуть дальше — на Ширяев курган — и отсвет воображения тут же занесло кофейным испарением.

— Добавить? — утвердила Наташа (да, так её должны были звать, привлекательно скромную — поверх расходящейся от ОМ-ика пых-пых гудков и вибраций).

Невольная параллель — тогда Катя к нему пришла, сегодня он оказался в роли пришедшего, а будто бы и там, и здесь целую вечность знакомы!

Рама кухонного окна была заставлена сеткой от комаров — вдруг от длительной парильни взвыл вихрь, сетка едва ли не выгнулась, в комнате что-то упало, хорошо, если не стекло — треск похожий.

— Балконную не прикрыла, всё зальет, — девушка вспорхнула, но её остановили руки викинга — она дала себя приблизить, прижать, оставаясь насмешливо-неприступной, как бы проверяя — ты всерьез? Тебе удобно?

Ему было удобно вдвойне. Как тогда, в кухоньке, на полу, так и здесь, в просторной.

И ракурс «я не свысока, но всё-таки выше», сломался, сжался, с грохотом отодвигаемых стола и табуреток, до почти невозможности дышать.

Быстро, жадно, как испарившийся вихрь.

XII

Через день Старухин перевёз вещи

Дети, почему плачут, вытянутые на свет, — думаешь, им страшней?

Сонная Наташина рука пересекала его грудь, горячая, соображающая что-то своё.

— Кому сказал «страшней»? — приподнялась на подушке, — у тебя глаза ищущие.

— В темноте видишь?

— Вижу. А ты думал!

— Ведьма-ведьма, я могуч!

— Слушай, бросай курьерство! Сколько тебе? Молчи, сама скажу: 20... нет, 30, нет?..

— 76.

— Столько живут?

— На какой цифре бы остановились твои догадки?

— 158!

— Моё любимое число. Безотказное.

— Воображала. Короче. Нашему бюро нужен умный представитель в регионах. Представительный! (прости за каламбур). Умный и чуткий.

— Бюро? Шпионскому?

— Архитектурному, викинг мой. Да. «Бюро». Мы же не зря называли его смотреть?

— А вдруг мое досье кого-то насторожит?

— Досье? В твоем-то грудничковом возрасте?

Он обнял её, как в тот первый раз, когда привез пиццу, которую так и не съели.

— Подожди. 76? Без шуток? Откуда у воображалы юмор?

— Не скажу.

— Почему?

— К правде ты не готова.

— Нет, как же я сразу прохлопала — сам ведьмак! Ведьманчик.

— С чего ты взяла? — неудобную руку всё же отвёл.

— Глаза ищущие. В Дании-Швеции вашей русые ведьмаки бывают? Как их там — эльфы? Ты эльф. Короче, господин эльф, я дважды не предлагаю.

— А что я должен представлять?

— Наши проекты. Расписывать их. Профессионально! Пресс-секретарь, типа.

— Несостоявшийся технарь (и, кстати, бывшая гэбня) — это вариант?

— Конечно. Память — фотокопийная. Раз прочёл — и словно под копирку. А кто мне страницами шпарил Швейка? Наизусть! Язык. Реакция! Но главное — главное — все женщины принимающей стороны будут не столько слушать, сколько без зазрения тебя изучать. Стать, улыбка, плечи, ну-ка, повернись! А спина? Ой, мне зябко, — поёжилась, уклоняясь от его ручищ, совсем без ничего, свитер напялила движеньями, как надевают пиджак и без тапок за-семенила к балконной двери, что-то мурлыча.

— «*Бредет, босая, в мой пиджак одета, она поет на кухне поутру...*»

— Твоё? Ты ещё и по стихам?!

— Винокуров, так... Вспомнилось. Стихи — не-а, не ко мне.

— А ведь здорово. Тебе надо купить пиджак. И я буду в нём (без ничего) ходить. «*Бредёт*» — нет, не нравится. Плохой глагол.

— Бредёт — потому что в себя погруженная. Сомнамбула. *Tina*.

— У тебя были сомнамбулы?

— Да, вроде бы счастье, но конец трагичен.

— Что «да»? Были?

— Да — это про счастье.

— Она его бросила. Тебя бросали?

— Бросила, но не сразу.

— Тебя — бросали? — Наташа взяла его за подбородок и повернула в профиль, оценивая.

— Бросьте камень в ту, которая всё вот это бросит, — она прошла по Игоревой груди крест, невольно повторив движение Кати за Волгой (и в другой жизни).

— Повода, вроде, не давал... Я не по этому делу...

— Конечно, все поэты зануды! — она смотрела чуть выше тополей двора, левей того, который чуть не переломился от вихря, сблизившего их.

— У тебя были поэты? — отбросив простыню, он вспрыгнул, обнимая сзади, щекой потёршись о щёку.

— Ты меня сбил. Я ведь шла в кухню, кто-то не-domыл гору тарелок.

Послышалась резко включенная (видимо, горячая) вода и беспорядочный скрежет приборов о дно и борта мойки.

— «*Она гремит посудою, богиня, сметает крошки, подметает пол...*»

— Полы вымой. Позавтракаешь сам. Всё, я пошла.

Подставила пахнущую липой щеку для поцелуя, и он долго её не отпускал, то порывавшуюся уйти, а потом на целую вечность застыл.

Вечность вновь перемалывалась (хорошо, если надвое) — и вновь в режиме шторма.

Ему было чертовски хорошо. И это лишь сильнее мучило.

Не так, что-то всё не так. С женитьбой после гибели родителей, словно бы в коме произошедшей. С Катей, чьи фиалковые всполохи, чья беззащитность сработала как пламя от пролитого бензина. Теперь вот, Наташа. Сильная, щедрая, спрашививать, кто до меня был, нельзя, не хочу, ради чего? Ради постоянства? Где для него база? Ей-то что во мне: (потерявши все ориентиры. Ну, почти все) каприз? Смена декораций? Главное (может, и не самое, но рядом): новая работа (допустим, что не подведу) мне даст шанс карьеры? Уберёт мечтания и страна (в матрице неизменённая) родит меня заново? Примиряя со всем, что было ненавистно и безвыходно?

Знал, что вопросами (даже к себе) отделяется. Они как трава после пожара — фантомно покрывает, всё, что выжглось (или не выжглось — а это куда больнее). Чем легче с Наташой, чем сроднённее — тем острее задевалось никак не утихающее с внезапным перелетом сюда.

Раздвоение... Со страной — это была норма — да, вполне, как у многих, въелось в кровь, а раз въедается, то и пусть. Но здесь, но в самом близком, сокровенном... Пока не вытолкнул за борт своими же руками девочку и её бесстрашного сына, трус, якобы спасая, вообще не подозревал, что можно в себе копаться. Место, которым поманили проблемы (не все, но ведь решит) — это не золотая — и всё-таки, чёрт её дери, клетка. Остаться курьером — при всём

юном виде (а душе впрямь 70 с чем-то летнего) почётней? Но чем глубже укоренюсь, тем явственней пропустит возраст души, пока не сольётся по всем пазам и присоскам.

Пытался представить Катино лицо. Прощения просить — дикий стыд. Или фальшь? Зыбко всё. Лицо не всплывало. У того же Пострига на Проране выскоцила теория: лица самых близких память не воспроизводит, они впитаны кровью и растворённо циркулируют в её приливах туда-сюда, кровь-то непрозрачна, как ни взбалтывай. А с Наташой? Её лицо (предложи фоторобот, угадал бы, дорисовал бы — и в таком виде запомнил: круглое, чуть более широкие скулы, ямочки, но глаза настороженного котёнка, лицо, которое, сегодня утром застило свет со двора, по крайней мере, свет сквозь шторы) не всплывало тоже! Значит, он любит обеих? Или — никого?! Разве бывает, обеих — чтобы ещё и взаимно? В Кате никаких сомнений (когда поманил на площадку, а она — в тьму квартиры), с Наташой уже тревожней. И как теперь? Сколько у тебя ЕЩЁ головы-сердец? Цель — подспудная — даже задним числом, даже задним с птичьего полёта — обязана быть одной-единственной, а с повторами — уже не цель. Выходит, цель его выброса сюда, на полвека вперед, Наташа? С которой всё тревожно-быстро и без швов срастается? И «нет никакого времени» оборачивается временем-водорослью или временем-рукавами (устье одно, а течений неисчислимо)?

Когда-то, в 15, его напрягала (если не взбесила) тема времени. Весит оно, материально ли вообще, куда исчезает. Это всё, что волновало из физики. Даже документы повёз в МФТИ, но перед самой дверью сковал страх травмы от провала. Придумал (для родителей) отмазку, дескать письменную математику сдал на 5, а на устном две дополнительные задачи оказались неподъёмными, отец, впрочем, саму поездку считал авантюрой и не расстроился (или мать его успокоила). Поступил на самолётостроение что называется «на классе». По инерции. Решил жить, не приходя в сознание, как все. Жениться, как все — стоило повести бровью — и очередь бы выстроилась. Но так и не повёл. Вернее, находясь в ступоре, повёл не туда. Сильное чувство могло слишком привязать, «повезло» Светику, скромной, дружеской, папиной дочке — в немногословном Сан Саныче ничто не выдавало работника «органов» — сухопарый, под 190, Игоря принял запросто, приняла и мама, завуч в швейном профучилище — опять же, обаятельная, и, скорее всего, понятия не имевшая, чем «органы» славны и почему их так все боятся (несмотря

ря на анекдоты). Светик догадалась довольно скоро, что послекатастрофный ступор вовсе не причина, почему супруг оставался для неё закрыт, и не страдала, сама же намекнув, что развод не потрясение, а ему, Игорю, свобода.

«Стержня у тебя нет», — с грустью как-то выдал Иван Григорьевич.

У рослого, видного собой умницы, с фантастической памятью и чуть ли не ангельски безгрешного, не было стержня! А ведь им никто не помыкал, не завладевал помимо воли. Стержня — или позвоночника? Отец уже не ответит, а уточнять, походя заденешь ещё каких-нибудь тараканов. Или принимай всё, как неслучайное. Любишь — люби, больно — терпи. Не больно — терпи тоже (вот он, твой стержень: терпёж! Отдельный от хозяина. Устраивающий за хозяином гонки с препятствиями. В общем, люби — пока терпение не дрогнуло).

...Смотрини предполагаемого менеджера-представителя то и дело переносили, от курьерских адресов пока не отказывался, встречал Наташу ежевечерне, узнавая издали, до въезда из-за угла во двор Honda-Jazz по звуку тормозов, по шуму двигателя, по мягкой скорости — она водила уверенно, по-женски надёжно. Ужин уже был на низком старте, он любил сервировать стол всякий раз меняя расположение блюд и подставок под ними. Разговоры продолжались после сумасшедших ласк перед засыпанием. Любопытство Наташой овладевало исподволь, но неутихающее.

— Какой-то, ну, если без обид... В общем, ты не здесь...

— Я же с тобой!

Она поцеловала в ключицу.

— Нет, я про другое.

— Главное, — ирония получилась деланной, — знать бы, про что...

— Мало знаешь себя, — теребила его пальцы, как бы узнавая даже не по самим пальцам, а по межпальцевым ямочкам, — хочешь, расскажу?

— Отчего же...

— Ты ведь не случайную цифру назвал — 76.

— Число.

— Да, число — видишь, какой педант. Не случайно. Я сравнила по разным источникам: у этого поколения (если принять число за неслучайную оговорку), маркировка сознания узнаваема. Наив-

ность, разобщенность, внутренний зажим, скрытность. Редко у кого инстинкт свободы не атрофирован. У тебя как раз нет, но в заморозке, что ли. Ты без особых интересов, странно... Что заканчивал?

— Авиационный.

— Он переименован.

— Правда?

— Авиационным считался до начала 90-х. Ещё я не родилась. Меня, кстати, не спрашиваешь, почему я одна. Ревность? Брось, мужчины её изображают. Или я тебе не интересна? Даже не захотел узнать, отчего вдруг место нашего представителя свободно? И какая зарплата? Деньги — деликатная тема, да? Это ведь из советской психо — как там? — логии, певтии... Значит, оно в тебе сидит.

— *Ведьма-ведьма, я боюсь...*

— *Я оболтус, я бутуз...*

— Так вот! Кто у нас по стихам?

— Частушки детсада. Слушай же. До тебя классный парень у нас занимался пиаром. Лёшка. 25 лет. Айтишник-божество (среди прочего). От службы откосил, со справкой. А тут Донбасс, Крым, долг родине! Контракт! Он бы и по доброволке двинул, идиот. В меня был влюблён. Всё перешло — как объявили мобилизацию, в два дня исчез. Я забыть не могу, как он смотрел на меня перед отправкой, не зная, что для него будет день-то из последних. Без подготовки тогда чесали, он вроде хотел радиостом, но знаешь ведь, как там всё — как везде у нас и во всём!

Она плакала, Игорь понял по тем же пальцам.

— И через месяц, в чёрном мешке, с огромным Z. Не-на-ви-жу!!! Прости, — высвободила пальцы, проведя по векам. — Не! Ha!!!.. — Почему не спросишь — что? Знаешь, сколько таких «одуванчиков» легко мясным фаршем, на Украине? И Украину ненавижу!!! Ничего не знаешь. Внимательный, чуткий, а не знаешь! Не перебивай.

Выждала — миг? Час? Светает или это искра незнания, отсутствия — далее везде...

— У меня, — пришла в себя, — был парень. Жена старше лет на восемь, а мы ровесники, предприимчивый, удачник, компанию хотели отнять — выкрутился (машина, кстати, его подарок. Хоть ему это стоило, — её пальцы щелкнули). Мог бы и две как бы семьи, но я не могу. Потому что мельком, но видела жену. Не могу. Честно? Любила бы — смогла бы. Значит, ошибочка. Страдать — тот ещё эгоизм. Поехали, прокатимся?

— Сейчас?

— А что? Ночью знаешь как здорово! Одевайся, ну чего ты?

Honda шла зигзагами, поворачивая на каждом перекрёстке, пока не показалась круглая, уплотнённая сквером в центре площадь с романтическим Лениным на фигурном постаменте — и с шиком вырулила к Речному вокзалу, где был сделан последний поворот влево, а перед тем, как газануть в самую старую часть города, к Замайке, к месту слияния с Волгой (по ширине в месте слияния они мало различались) был долгий-долгий поцелуй, и почему-то царапнуло, что это был маршрут, по которому кто-то из Наташиных парней носился с ней, охватившей из-за спины (оба в шлемах) на мотоцикле (байке — так их сейчас называли).

— Ненавижу войну — с обеих сторон! Кто начал, кто больше — какая разница?! Наши тоже хороши. Но проиграем-то мы, мы уже знаешь сколько погибших за год с лишним? 200 тысяч! 200 — ты понял? Ничья, даже самого долбанного чиновника и олигарха жизнь не стоит и банановой кожуры! Мы ещё и приплачивать должны, что нас не убивают! Про то, как прошлым летом огнемёты в поисках якобы оружия сожгли сотню с чем-то избёнок, их бы и так снесли раньше-позже, а может, и никогда, у нас же всё бывает! (Поцелуй меня.) С каменным подполом изб (резьба славилась) уже не найти. Видел ямы на Садовой?

— Нет, — у Игоря пересохло в горле от молчания.

— Не видел?!

— Нет.

— Честный, это в кассу. Почему не спрашиваешь, что ж я никуда не уезжаю? — и, опережая вопрос, добавила щепок, — я всю Европу изъездила (кроме Швейцарии) — сдалась мне эта Европа. Была б еврейкой — и в Израиль бы не смогла.

— Почему? — не сдержался Игорь, вспомнив свою материинскую половину.

— Озnob, как представлю, что шасси убирают, сам звук, скрежет — и крен к небесам.

— Ни разу не летала?

— Ни разу.

— А откуда озnob?

— После того, как дед с бабушкой разбились при взлёте, прямо над Внуково. Или Шереметьево. Да, кажется, Шереметьево. Я поздняя внучка. Как раз в 70-х. В *твоих* — подчеркнула.

— А куда был рейс?

— В Софию. Хотели оформить и меня — мама не дала.

У Игоря внутри замигала будто аварийная лампочка. Наподобие той, что раскачивалась под Большой Глушицей, пока он читал «Братьев Карамазовых» в ожидании полуторки с зерном для разгрузки. Скрипел, ударяясь о стену склада, железный круг с этой лампочкой, и всё возвращалось на эти круги.

— Год 72-й?

(Honda безо всякой видимой причины стояла припаркованной напротив Речного Вокзала, как бы повисшая или готовая взлететь.)

— Не помню.

— 72-й. Рейс на Софию — авария единственная была и в том году, и вокруг.

— Откуда знаешь?

— Родители погибли при взлёте.

Она вскрикнула, бросаясь на шею.

XIII

Когда у тебя, инстинктивного трудоголика, вдруг всё как бы проворачивается, буксует, ни о чём неохота вспоминать, а все вроде бы смятое и затоптанное, лезет и лезет, невольно станешь философом. В такие провальные вне протяженности периоды, на что бы ни упал взгляд — падаешь вместе с ним, не чувствуя дна — куда падать Земле? Падение как бы складывается само в себя и даже страх не имеет ни почвы, ни дна. Оглядываться Игорь (наравне с Иван Григорьевичем) панически не любил, в их воображении оглядка,увязание в том, чего нет (а вдруг и не было?) ставили крест на любом не то, что будущем, на всяком шаге, на попытке даже шага — и вот уже скромный, подоткнутый глазетом гроб с тобою, чьи скрещенные буквой Х на груди руки аукаются с Андреевским флагом так и не сдавшегося и тоже буксующего смертью «Варяга», вот уже этот открытый вздохам и слезам ящик выносят из подъезда заляпанной ремонтом панельной «хрущёвки», ставят на табурет с расшатанными ножками, двор чернеет от косынок, прибережённых платьев и мешков под глазами, а ты пытаешься ором возвратить: поднимите, поднимите меня! И хотя веки прикрыты, свет сквозь них пробивается, полутьма с её колыханьем хуже полного мрака, где тебя нет вовсе, а здесь никакого признака сна — и соответственно, петушиной надежды проснуться.

После смотрин в Наташиной фонде, после того как тело вновь обрело упругую радость потягиваний, после как бы первого круга мелочей рая, Игорю всё чаще не хотелось никуда и ничего. Страшно было представить, что происходило эта ежесекундная круговорть повсюду, где русская речь не знала соперниц, и Сечинск спасался (если, конечно, спасение входило в программу) исключительно природой, возлежавшей некогда в каждом дворе, а ныне скучоженной до широченной с извивами Волги, синеватых (явная иллюзия) гор за нею (Жигули с птичьего полета гляделись подковой) и неба, неба, неба — даже когда на него не вскidyвали голов, где сентябрь отыгрывался за все плохое, до золотой середины октября.

В этих не-галлюцинациях отец вдруг закуривал (лицо при этом сморщивалось), над паркетом, заливаемым отчаянным пожарищем безветрия, после чего красное яичко солнца со стуком биллиардного шарика о борта заваливалось за черту, скрытую горами, звук шаров прилетал сверху, через этаж у студентов общаги на 4-м одну из комнатушек занимал зелёного сукна стол и эти вечные воробушки зачётов и пивных баталий резались, бурно реагируя на каждый бульк в дырявую лузу, ему тоже давали натёртый мелом кий, подзуживая на хищные прицелы и тычки. Его, можно сказать, не замечали, не воспитывали, просто привыкли, что сынишка одного из преподавателей любит появляться, послушать, поёрзать, потеряться в незнакомых жизнях. Оттуда им было знать, какие способности скрывает эта красиво поставленная голова и спортивный торс. Наташа невольно прочертила огневую линию самопознания и недовольства собой, хотя поводов такому недовольству Игорь не давал, не искал, его куда больше занимали отношения дружеские, любовные (в чем признавался неохотно), впрочем, старался «про любовь» не читать.

Счастье предательски подставляло: он его не жаждал, не искал, но врезалась Катя — и определила все трассы. И ты её предал? Не ищешь? Зачем тогда всё было?

Наташа навсегда? Он ведь не против. Но либо Катя, либо такое вот дистиллированное довольство? Потому что воспитан (точнее, самовоспитан) крайне правильно, последовательно, безо всякой достоевщины и выяснений смысла до крови, до кровохарканья. Слишком нормален?

Для первого дня Наташа придирчиво подобрала ему прикид: голубая сорочка, нейтрального колера галстук, чтобы и без пиджа-

ка (там все без пиджаков, но войти должен с иголочки), дресс-код — он хорошо запоминал детали. Предстояло несколько рейдов с переговорами — в Казань, в Тверь, наконец, в Сочи — последнее как поощрение и бонус к удаче первых двух.

Глава фонда принял и в этот раз предупредительно широко, хотя Игорь чувствовал какое-то скрытое недоверие новичку, отличного странным достоинством, независимого — это и хорошо (с одной стороны): при всех данных, особенно мягкой и полускрытоей харизме (явно нравится женщинам, а в коллективе их большая половина) подсиживать меня — это не сюда. Впрочем, в тихом омуте...

Его познакомили с номенклатурой проектов (проверяя на коммуникабельность — все было в рамках (только место это Игорь ощущал чужим, случайным, пересадочным — и — на тебе! — его лелеяли как бы навсегда). Отпустив, главный забил в поисковике гугла «Игорь Старухин, Сечинск» — и ничего не нашёл. Пробил по базе ФСБ — пусто. По всем базам другим, долговым, кредитным всех банков — ничего нигде.

Есть натуры — никогда не знают, кто им понравится, кто приготовлен, со всеми заусенцами, какой социальный этаж представляет: он ведь не вламывался, вежливо позвонил, курьер, с пиццей, не мальчик-студент на самокате, солидного роста и ничего здешнего, не суевер, из рук в руки, ни тебе блютуза в ушах. Речь поразила — без малейшего намека на специально английский, с повышениями вне логики — простая, широкая — он даже не понравился, а приник сразу — и видно было, что вниманием не избалован. И что делает этот экземпляр в курьерах? Что за братец-Иванушка?

Наташа продолжала его изучать, как щупают в примерочной ткань. Проверяя на подделку, он что-то (нехотя) раскрывал, явно запутывая именно раскрыванием.

Загадку она пыталась окрутить веером покупок, втягиванием в семейный (предстоящий, почему нет?) круговорот, уходя от распрашиваний в лоб. Для 27-летнего Игорь был солиден, только вновь не по-современному, не по-хипстерски. Может он агент (иностранный — она усмехнулось: это входило в моду), может, он здесь в нашей провинции скрывается от какого-нибудь дела по экстремизму?

Для рейса в Казань долго искали автостанцию (их оказалось две и быстрее было бы добраться от одной к другой трамваем, а не в пробке). Наташа чувствовала, что атмосфера даже таких ло-

кальных проводов Игорю в радость, любая мелочь, укладывание бутербродов, предостережения — он обрывал их всё более сильными объятиями, как будто перед отправкой на базу перед запуском в космос.

Казань выглядела столично, чуть ли не имперски. Тесно застроенная сталинским ампиром и более ранним слоем жилых, административных ли корпусов (они казались палаццо, без подворотен), всё предупредительно, мягко, совсем не ожидаемый Восток. Гостиница выходила в просторный двор, ограниченный двумя брандмауэрами, у дальнего какая-то компания шумно выпивала, одеты все-по-домашнему, будто крыша снижена посреди двора и на ней делай что хочешь, подсаживались всё новые гости, золотое лето, смешанное с осенью, стены в подтёках то ли от недосмытой краски, то ли от щитов на клею, хотя с простором был напряг, его не чувствовалось даже на кремлевском холме, откуда Волга (или Казанка? Спросил бы!) казалась ручейком, да и сам Кремль слишком уютен для империи, чувствовалась в городе подчеркнутая особость, готовая отчалить, отделиться от воображаемого центра, который только и собирает дань со своих улусов, унаследовав саму процедуру от некогда покоренного ханства.

Переговоры с потенциальными покупателями заняли от силы час — всё уже было согласовано и его приезд лишь формально скрепил их печатью рукопожатий.

Времени свободного выдался целый космодром — иди в любую сторону. Только ни в какую не хотелось. Игорь шёл по явно одной из главных пустой улице, машинально разглядывая решётки домов, обновленные по сложным лекалам. Один из таких — каменный, похожий на старый Сечинск, но поосновательней, привлёк ярким плакатом у ворот — их, видимо, не открывали давно, плакат был с ними вровень и непонятно, кто б стал его читать. Остановился без всякой надежды что-либо найти, открыть (по натуре был не слишком любознательен). Афиша извещала, что дом-музей Василия Аксенова (о, так ведь он и впрямь окончил Казанский Мед!) приглашает на поэтические чтения известнейшего местного автора Степана Жиричанского, в гостях у которого Павел Краев (Москва-Сечинск), входивший в знаменитую группу «Метаструктура».

Что-то дрогнуло. До чтений (судя по дате) оставалось часа два, до автобуса в Сечинск — три. Если это Пашка, тот самый, сколько ему сейчас? Узнаю ли? А он меня? Ведь знакомы с детсадом! Пашка —

поэт?! Помнился робкий, дерзкий не так чтобы, но по задаткам упрямый, они часто «зависали» на четвёртом этаже в одной из комнат общаги, закончили — оба — тот же Авиационный, в одном из корпусов которого жили друг над другом, Краев ему завидовал — спокойствию, статности, особенно же, фантастической памяти.

Дверь в музей и крыльцо выходили на скверик, откуда всех входящих было видно, и Старухин облюбовал ближайшую скамейку, следя за потенциальными желающими попасть на мероприятие. Стоит ли переносить отъезд или задержаться для лицезрения апофеоза, возможно и взаимоузнавания, ещё не решил.

Желающие потянулись почти сразу, как Игорь уселся на скамейку в неудобной позе — на краешке и с разворотом в сторону музея. Решил рискнуть и подойти к входу непосредственно, где уже курила то и дело хохочущая группка мужчин за сорок или побольше. Топтался, не забывая поворачиваться, чтобы не упустить «виновника».

Среди куривших выделялся грузный, выразительно размахивавший руками, рубаха-парень широких манер, явно и добряк, и внимательный хозяин («Жирик, позвал его издали еще один гость, — о книжечке не забыл?»). Жиричанский чуть не поперхнулся сигаретой, приветствуя вопросителя и продолжал увлеченный рассказ.

Вскоре подошел и тот, кого методом исключения или наоборот, экстраполяции можно бы отдаленно ассоциировать с Краевым, которого Игорь не видел — сейчас загнём на пальцах, сколько лет? (Пальцев не хватило — 35? 40?).

Пришедший, которого Жиричанский обнял первым, сопровождала женщина неопределённых лет, скорее молодая, даже юная, невзирая на слабые признаки всё-таки возраста: мимика, скромность реакций, общий тон лица напоминал нескольких популярных в 70-е актрис, не вспомнить сразу каких — они плыли по этому лицу, а отплыв, не возвращались, она была и сама по себе и незримой верёвочкой связана с тем, кто, как догадался Игорь, и был Краевым, Краевым, удивительно как, но если верить афише — по-этому, да еще московского фасона ли, разлива — 40 с чем-то оборотов Земли вокруг Солнца сильно изменили внешность бывшего соседа, бывшего согруппника по детсаду и чей класс «Б» располагался в их общей школе на углу Замайской и Боройченко через стенку с его «А».

Изрядно полысевший от лба до макушки, тем не менее Краев сберег шевелюру (теперь насквозь седую), почти кудрявую по бокам всё того же узкого с налётом смуглости лица, чьи черты рельефнее определились, обретя уверенность, будто наведённые на резкость. На вид это был где-то седьмой десяток, хотя по всем расчётом паспортный возраст выдал бы цифру на 7-9 большую. От Краева (теперь Игорь был уверен, что самый старый его знакомый — вот этот господин, лёгкий, с малозаметной сутулостью от шейного позвонка вверх и есть тот самый Пашка с 3-го этажа, детсадовский бук и чуть ли не маменькин сынок, а вот поди ж ты...).

Кого смог, Жиричанский с Краевым перезнакомил, и зрители потянулись в особняк. Игорь, не решаясь обнаружить себя сразу, потянулся вслед за всеми, Краев, ведя спутницу за руку, был слегка возбуждён, с Жиричанским перешучиваясь, Игорь занял свободный стул у выхода, но чуть ли не на Камчатке, выступающий попросил всех сесть компактней, его послушались, а Старухин всё никак не мог решить, стоит ли заводить с внезапно из небытия всплывшим другом (с которым они расходились ныне возрастами, как параллельные линии Лобачевского — тоже, кстати, казанца).

Краев читал волной. Будто бы стесняясь самого наличия стиха, как чего-то слишком уж высокого. Управляя дыханием и ритмом так, чтобы не впадать ни в актёрское, ни в авторское заунывное чтение — Старухин залюбовался, в слышимое не слишком вовлекаясь, стихи были чужим и может навсегда неоткрытым из материков.

Зрителей постепенно прибавлялось, Игорь не считал. Много это или не очень, он испытывал и гордость за постаревшего (только внешне, а энергией далеко превосходившего всё, что знал по школьной памяти), гордость за друга, за мастера — не понимая многое из музыкально выстроенных (а слух у Старухина был тонкий) вещиц в рифму, тем не менее, автор даже на дилетантский вкус и опыт производил впечатление мастера. Иногда вспыхивали аплодисменты, Краев жестом просил с этим не спешить, он смотрел в зал, видя, как ему казалось, каждого, но сильная близорукость этого не подтверждала. Сейчас он смотрел в сторону Игоря, не понимая, на кого смотрит. Игорю стало не по себе от этого расцентрованного взгляда. Громыхнув отодвигаемым стулом, он встал и, пригибаясь, пошёл к выходу, чтобы ещё раз обернуться, скорее по инстинкту, чем с желанием дослушать и досмотреть. Почти на цыпочках миновал фойе и стал опять-таки ждать продолжения интриги, окончательно на свой вечерний поезд опаздывая.

Спустя минут семь (для Старухина семь вечностей) стали выходить сначала чуть прибалдевшие зрители с подаренными, а также купленными авторскими экземплярами последнего из Краевских сборников, затем сам сочинитель с Жиричанским, который куда-то звал бенефициара и его женщины с ещё двумя, видимо, близкими друзьями. Игорь дождался, когда Краев отпустит пальцы подруги — она отвлеклась на галантного Жирика (ей очень шла ярко-зелёная блузка с лёгким вздутием на спине), дождался и мягко, почти вкрадчиво назвал Краева по совсем забытой им кличке-паролю: «Пашка-вспашка, о-балдеть...».

XIV

Краев и впрямь ошалел.

— Григорь? — он растерялся, — что я говорю... Сын?! Две капли! Как узнали? Откуда? Что с отцом?

— Паша, Майя, — Жиричанский собирал группу, чтобы тут же, в сквере, но чуть поодаль, отметить, — мы идём?

— Я сейчас! — Краев искал руку Майи, которая оживленно слушала чьи-то на только что услышанное отклики и обнаружить её можно было только по зелёной блузке (она фосфоресцировала в темноте), — Степан, две минуты!

— Так что с отцом? — вновь обернулся Краев к Старухину.

— Он... они, — хотел было сказать «погибли над Шереметьево», но передумал, — я тут в командировке, гулял, вот вышел на тебя... на вас, — поправился Игорь

— Пошли с нами, — растерянность Краева ещё не угасла, — пойдёмте, как вас зовут?

— Павел, — решил играть до конца Старухин, — дядь Паш, у меня поезд через час, или даже меньше...

— Так что с отцом, где он?

Игорь посмотрел на Краева так, будто решение остаться или унести тайну (которую расскажи — не поверят) проедется по судьбе Вселенной.

— Я не знаю.

— Как?! Он жив?

— Я не знаю, как вам... тебе... сказать. Сказать всё. Не пугайтесь. Я тороплюсь, правда. Вы в Москве?

— В Сечинске! Москвы уже три года нет, скоро три, — поправился.

— И я там.

— Отлично, отлично!

— Мы созвонимся?

— Пишите, — он продиктовал мобильный, — есть чем писать?

— Я запомнил. Здорово читали. Особенно про мой... про дом, где с отцом соседствовали этажами. Я потрясён, если честно, хотя стихи, ну, не совсем, что ли... Не совсем жанр мой. Я больше про юмор, про авантюристов...

— У твоего... у вашего отца память...

— Знаю, я унаследовал, — похвастал Игорь, чтобы казаться правдоподобней.

— Обязательно поговорим, обязательно! — Краев продолжал искать Майю, которая почти растворилась в ранней тьме сентября.

— Прощайте, дядя Паша!

— Нет-нет, мы на той неделе — сейчас ведь суббота? На той неделе пересечёмся. Можно и у нас, на Луговой, или я, мы придем — где вы... ты... живёшь? Живёте? Имя так и не сказали?

— Обязательно, — уклонился Старухин, я дам знать.

Опоздав на микроавтобус, дождался последнего поезда. Трясся в нём, понимая, что созвона и встречи не будет, вряд ли Краев поверит в чудесный перелёт. Глядел по сторонам, то есть, в одну точку, благо сосед напротив что-то выискивал в телефоне, а тот, что на нижней полке густо хрюпал среди пока что бела вечера.

Не укладывался в голове новый образ кого — друга? Не то, чтобы друга, но и не то что бы нет, все меняются. С этим как — то можно смириться, что меняются самые давние, самые близкие свидетели тебя самого, можно сказать, с пелёнок, а ты — каким был, таким и остаёшься, пришелец.

Потянулся к занавеске на тоненькой штанге — штанга рухнула, взялся поднимать и уронил бутылку минеральной на столике — сосед оторвался от телефона, ему было лет сорок, а в сорокалетнего маячил бравый юноша, с руками растущими ясно из какой точки. Вода разлилась по столику и слегка закапало. Сосед засопел, но молча. Краев, перешагивая через ноги засопевшего пошёл за тряпкой или полотенцем к проводнику. Тот спал. Или делал вид. Метким взором Старухин отыскал в проводниковом закутке подобие полотенца и чуть не опрокинул девушки, невинно следовавшую в туа-

лет. Извиняясь, инстинктивно пометил в сознании: Катин абрис, Катина походка, Катино молчание. Да, молчание тоже индивидуально. И теперь мне в каждом таком столкновении будет чудиться та, которую предал.

Дал смс-ку Наташе: «Поезд приходит в 7 утра, наверное, разбуджу, прости».

Телефон вежливым щелчком откликнулся на доставку сообщения.

XV

Сентябрь стоял обалденный. Подминая и солнечный прорыв апреля, и суховей мая, когда с двух сторон летит сухая взвесь, как семена мимозы.

По субботам Виктор совершал долгие променады по выверенному ещё в школе маршруту — от «пирога» бывшей женской гимназии на углу Замайской и Бородиченко до ближнего к Волге и Красногвардейской сквера, затем на Фурманова, и подъём по Ильичёвской к «Аввалону». Каждый раз всплывало что-то нагло-хозяйственное.

Каким-то уголком душа, видимо, надеялась, что и Катю (которая здесь — где ж ей быть ещё?) занесёт на те же улицы и он её узнет. Они ведь не постарели, почему же Катю не узнать? Вот он, Витюха, так и остался пацаном с оттопыренной нижней губой и ёжиком вихров, они все трое (про Катю уже других версий не возникало) непременно должны были втянуться воронкой именно этого времени. При тех же деревьях (местами корчёванных, местами стриженных для обновления) — преобладали тополя, нередко и пирамидальные, липы, даже каштанами не бедна полустепная наша палестина, густая крона волновала похожестью на что-то нью-йоркское, местами на приснившуюся однажды Барселону, где не побывал. Но при всём сходстве с ещё кем-то, Сечинск пленял горделиво-беспечным, домашним, умильным переплетением стилей, уютом брошенного, чей затрапез был бережным образом обставлен то новоделом, то фирмами с претензией на Европу и фантастическую для большинства Америку — и всё это дышало близостью большой реки, здесь не помнили катаклизмов, если дерево гнивало, его спиливали до комля, сохраняя жилистый остов, где было удобно прятаться малышне.

А если вдуматься. Допустить. Хожу, хожу и встречаю. И даже не будь её метаний между Игорем и мной. Тем более, когда война (он быстро вник в мельтешню роликов ютюба и разбирался в перипетиях агрессии не хуже кучи экспертов). Положение виделось ясным — нашим (он убирал кавычки) разгрома не избежать. Сечинский регион в условиях неестественного дрейфа чуть ли не двух третей европейской части к самостоятельному плаванию, не так плох — новый губернатор просчитывает варианты, внешне служака, но амбициозен, команда ему предана без видимого фанатизма, полицию с улиц убрал и ждёт момента — это в тисках последовательных действий, когда мятеж куда-то рассосался (следы выживания не заметил бы лишь слепой на оба глаза, в их сторону просто не смотрели), город в целом не беден, склонен к дерзостям, ты и сам такой, правда, отился от здешних реалий и сейчас не против бы вернуться в то «краснофашистское» время, чтобы вновь прыгнуть с «Ивана Франко», но уже вместе с Катей и Артёмом, чтобы не возвращаться по-глупому, Игорь прав, да и не возникло б вовсе никакого Игоря.

Он ходил и ходил, ходил по тонкой грани сна, по его ямам, оврагам, перелетая через заминированную между линии фронта, которую в глаза не видел, а в голове свистело и светилось, перекрециваясь: Катя, Катя, Катя...

Что же к ней так привязало? Чем жизнь схожа со смертью? Есть ли третье состояние? Почему так влечёт эта родная капсула, корзина, утроба, скорлупа?

Ему казалось странным (но только на секунду, секунда тянулась если не ириской, то жгутом), почему он её любит? Почему верен первому взгляду — и был ли первый? А если был, когда?

Ноги сами несли к месту (давно не пустому) Катиной пятиэтажки, словно там их общий магнит, а не набережные, не та сторона с островками посередине. Он давал волю этой тяге и долго, с бесмысленной скрупулезностью скользил взглядом от перекрашенной двери подъезда до — когда-то — их окон, три, вот они совсем другие, со странным литым стеклом, без форточки, со странным домиком из трёх створок над балконом. Сколько же теперь активно ждать, искать, ни от кого ни завися — или это ещё одна грань смерти? Зачем тогда бояться даже думать о ней? Когда первый раз её испугался? Где? Вот, на даче детсада, после мёртвого часа, все разбежались играть, лишь бы подальше от воспитательницы, дород-

ной (чуть младше его, Пострига, матери), сбился, отвлёкся на одно из жужжаний, похожего на мушиное, жук, жук-олень (или носорог, есть разница?). Жук полз по траве, Витюха двумя пальцами скжала его чуть пониже панцирной головы, жук дёрнулся, но ты ловчее и летучее создание смирилось, как бы чуя хозяина и судьбу (второго слова тогда не знал). Жук смирился и... умер. Пронзило: а если меня так? Если я умру? То есть, как это — я — умру? Как это — не будет меня? Как?!?! А мама с батей? А потом и я?!

Он повернул жука и уставился в кусочек хитина меж двух глазков. Жук встрепенулся, вспышка надежды прошла сквозь Витюхины пальцы, до самых костей пробрал испуг. Этому страху верил и спустя много лет. Значит, после смерти ожидают?! А куда? Во что? Вот как он: вышел, пошатываясь на засухумский песок и ожил (а в море был мёртв?) Ожил, добрался (как пушинка) до Валерьянова, не нашёл Катю, простился с матерью (с отцом не успел), вышел на улицу, чтобы сдаться органам, став двойным агентом, вышел, а там Сечинск. И назад путей нет.

Но если молиться, как тогда в море, если молиться о броске в это море, чем бы это ни грозило, вдруг поможет? Вдруг, дождётся обратного рейса Новосибирск-Ростов с официанткой, уговорит её плыть в Турцию? Но тогда рушится долгая-долгая ставка на Катю, ради которой и был задуман первый побег. Смысл жизни, вся ниточка от детсада до первого поцеля там, откуда родом их Артёмка, всё умирает, всё.

На месте молитвы теперь зияла чёрная полынья без пары и запаха. Деньги сыпятся, жить, оказывается, можно и укрывшись ото всего. Купить можно и домик где-нибудь за сосняками Курумоча. Без Кати, без уже почти ничего не значащей и осуществлённой однажды (пусть не полно, пусть лишь с обещанием) подростковой мечты эта полынья будет вечно есть нутро.

...Так, на автопилоте, он и дошёл до своей — после Герычевой — съёмной квартиры с видом на Катин (уже не Катин, а всё же) дом. Жаловаться не на что. Пассивный доход устойчив — 300 в день, оседает в кошельке блокчейна. Можно и на карту, но блокчейн универсален. Скопилась уже 32 с половиной, если продолжится, к лету набежит под 100. Воспользоваться лучше там, куда хорошо бы попасть с Катей и сыном. Одному... да, он бы смог один. Но это поперёк души.

Первые заморозки сомнений — не зря ли всё?

Гнал, гнал от себя — и достало. Власть подсознания не умерла — стало быть, он, от себя скрывал сомнения так глубоко и настойчиво, что с выплеском их наружу, подвергся чуть ли не панической атаке. Потому что всё, что держало в этой жизни была она (сын — меньше, родители ещё меньше. Он себе это не прощал, временами почти прощал). Катино лицо вспомнить не мог (растворилось как бы внутри циркулирующей крови, а сквозь кровь родное неразличимо), иллюзия ли (трассирующей нитью) соединяла жизнь подлинную и эту, комфортную тюрьму жизни, была Катя, его Катя, не столб развилики, не спасательный круг — образ.

И вдруг — образ дрогнул.

Чтобы удержать его, требовался не круг по комнате, не сосредоточение, типа медитации, а поступок. Подобный тому, когда хотел сдаться органам и был вышвырнут из подвала наутро (после огненных чередований в том же подвале на допросах обоих времен — родного и перенесённого). В перенесённом заедал комфорт, в родном длилось бегство. Надо всё свести воедино. Рискнуть (не деньгами, понятное дело), но может и деньгами. Воздухом. Деньги впрямь функция воздуха. И легковерия. Которое спасало и ещё, как он знал, спасёт не раз.

За разогреванием в электропечке отбивной из «ВкусВилл», уже привыкший не слишком экономить на еде, он перебирал варианты (включая отказ от Кати) со скоростью эскалатора в метро в полном соответствии с возвращением ступенек.

Расклейти 100 (лучше 1000) объявлений, ежедневно по 40–50 у всех окрестных подъездов, на бывшей школе (там теперь Музей воинской славы), и ждать, ждать.

Или: подписать контракт с вербовщиками на СВО (пройти переподготовку на МиГ-21 или какой сейчас новейший?), перелететь линию фронта и сдаться украинцам.

Чтобы новость о переходе на сторону «врага» вошла в топ. И прозвучало в нем имя Кати. Чтоб знала — всё ради неё. Вытащит их с Артёмом (ещё надо найти) на Запад,

Веришь в судьбу? Верю. Особенно, если сам же и творю.

Третий: глядеть на место бывших окон и молиться. О ней, о близких, о врагах, о тех, кому кажешься врагом. Чтобы жить и любить единственную во Имя и Славу Твою.

Жуя, глядел и глядел на утопающий в тополях уже 20-этажный дом на месте старой хрущёвки, видел, не галлюцинируя, как подъезжали с Катей с Артёмом в конверте со Средней Луговой, там где Пироговка — уж она-то вряд ли снесена, Постриг держал конверт, как сапёр мину, пока Катя возилась, ища ключ, переданный ей в такси, видел, как в квартиру, снятую родителями, а потом и выкупленную по разнарядке обкома, входили, без кошки, нарушая все приметы, как драгоценный конверт аккуратно клали на стол в комнате — круглый и без скатерти, а не на диван и тут же он привлёк маму своего потомка почти с той же страстью, с какой они целовались в Ширяевских пещерах, разбив китайский переносной фонарик.

Поймал себя — тут же отпустил — опять поймал, теперь уже прочно: совсем не хочется назад, в пещеры, в разворот «ОМ»-ика, в лазание на балкон роддома к отдыхающей после первых криков младенца, к шатаниям зимой трое на трое, когда обдумывал стратегию знакомства и в мыслях уже добился, победил. Это было почти на той же грани страха, что и сомнение во всей истории, а другой не обещалось, с чистого листа не начать, ноль развилок. Скучно не умирать, скучно возрождаться. А позыв единственный — действие. Ткни вслепую. Ткни, как нырял когда-то в полынью. Ткни, будто приставили тебе ко лбу дуло ТТ или Беретты: Прямее не бывает.

Выбрал. Ткнул и выбрал. Контракт. Опережая первое действие вторым.

XVI

Майя всё-таки сдалась (предварительно и почти воображаемо) на Будапешт. На два самолётных рейса туда-назад и на два поездом (Будапешт — Киев, обратно с пересадкой во Львове).

Рваной вышла первая («усечённая») заграница. И всё же вышла, Павел подстерёг момент — и она сдалась. Другой вариант (попроще) Израиль — это потом, это вообще не для неё — ну, почему ж таки «не для тебя»? — Жара. — Но мы там повенчаемся! — В Израиле? — Да, в Храме Гроба Господня. А на севере бывает снег, даже в Иерусалиме бывает снег! — Я там всё равно жить не сумею! — Да и не спешу, а где бы хотела? — Франция, — подумав, — на юге. — На юге та же, извини, жара. — Всё равно. — А если нельзя? — Тогда хоть в Болгарии. — Но и там и там, только по три ме-

сяца подряд. — А мне и месяц трудно выдержать, без Антона. — Ты ж его, практически, не видишь? — Какая разница? Он близко. Вдруг что. Ладно, пусть Будапешт. — Вот всё получим, Израиль за мной. Ещё и сама захочешь остаться. — Может быть. Но ты уже туда летал — и не один (она вновь свернулась в «личинку», в зародыш, это Краева злило, но сейчас длился праздники распорядителем праздника был он).

Основные деньги ждали в Киеве, знакомство с Будапештом остались на возврат, перед московским рейсом, из аэропорта не выходили, маленький ресторанчик в прилётной зоне, по бокалу «Токайского» (в память о сборищах школьной поры) и опять в салон, опять в морозную синеву за иллюминатором.

Павел будто бы дремал, незаметно любуясь Майиным невозмутимым профилем, родным до неразличения себя с ней, которая помнила и пыталась перебить, истогнуть сознанием впечатанное из последней книги «это мы не чувствуем, что летим, иссина-единственный долгий раз» — и чем больше старалась выдавить, тем сильнее привязывалась цитата. Обвивая правую руку Павла, она пожирала глазами «львиные кудри» над ровной, почти снежно-укатанной поверхностью — и господство синевы зудело, смешиваясь с почти не слышным зудением движков «Боинга», воздух в салоне и за стёклами переливался дрожью незримых пузырьков, как будто всё вокруг было газированным, она бы выдала наблюдённое вслух, но постеснялась, и не спрашивала: «Спишь?», предвидя возмущённую реакцию, если даже спит.

Немного болела шея — тромб ли давал себя знать? До визита к врачам (которых боялась меньше, чем высоты, или не боялась во все) целых десять дней, на здоровье жаловаться грех (папе спасибо), да ещё Краев потихоньку приучал к профилактике с помощью красного сухого, но в этот, иссина-единственный долгий миг, она была без выплесков наполнена счастьем зависания, оно будет наполнять (осадком, эхом, не менее живым, чем при непосредственном переживании), в Киеве, где всё-таки страшно, где дважды в день по громкой связи объявляли тревогу и надо было бежать в ближайшее укрытие, в метро, куда придётся — хотя на лицах окружающих (если это были не беженцы с востока и юга) стресс не отражался (с чем ей было сравнивать? Это в Краеве сжималось всё, что сжиматься может, петля замкнулась, площадь перед вокзалом привычно кипела, несмотря на военное положение (во всех смыс-

лах, начиная с буквального). Зазывающих в такси, как и прежде, немеряно. Вспоминалось всё, ветвисто — но в корень. Оказывается, он провёл на этой земле целых шесть лет, последний раз — почти накануне войны — и всё теперь гораздо динамичней, а прищурься — со следами налётов. Ловил — насколько беженцам (и не только) режет слух русская речь, насколько её «вдруг» запрезирали, до шараганья.

Теперь всё было как бы Майдан, только не январский, на целых четыре дня за месяц до торжества, сломал веру в преображение родины, необъятно беспомощной и, может быть, оттого агрессивной, а Майданом сплошь — тревогой сплочённости. Здешние являли собой народ — немногочисленный, но кровно, телескопически расширяющийся до народа в целом, а люди его, Краева, родины могли быть сколь угодно прекрасны, добры, но солидарности кожей в себе не чувствовали.

Попасть (да ещё вдвоём), в эту «денежную экспедицию», помог, давая в долг «тридцатку» (якобы в долг) Костя Шестков, однажды взявший у Краева же и прощённый. Дал вслепую, ибо не верил, что Краева впустят назад.

Краев решил проехать весь путь с Алисой до банка на такси. Кафе и все магазины — вплоть до ювелирных — открыты. Много молодых в х/б, но и в 14-м, когда тлел Донбасс, меньше не казалось. Алиса уже по телефону была распорядительно деловита, словно бы руководя киногруппой, семь действий сплющивались одним. В тёмных очках и чуть подхрамывающая (то ли последствия диабета, то ли неизвестно чего), уже никакой расслабленности, никакой интриги, доводившей до бешенства, когда миг объявления самого края отводят как горизонт. Как и в Сечинске, Павел и Майя постоянно держались за руки, Алиса в такси к ним то и дело поворачиваясь, пытаясь Майю разговорить, одобрительно, если не льстиво, Павел старался её вопросы опережать (мало ли куда «партнёршу» занесёт?).

Они высадились у филиала, ещё не поменявшего название на украинское. Помещение с ячейками, заранее арендованными за внушительную годовую сумму, располагалось в подвале (где прятались и при тревогах). В продолговатом ящичке ждали 30 пачек объявленной суммы.

Краев верил и не верил глазам, дав одну из них Майе пощупать.

— Пересчитай, — торжественно и куда-то в сторону приказала грузная Алиса, чей возраст ни за очками, ни за походкой, ни от низкого тембра, привыкшего доминировать, угадать невозможно, — 150, как обещано, в чём понесёшь?

Краев три пачки отдал и попытался вручить их Алисе.

— Для ЗСУ.

— Ты что! — возмутилась начальница его волнений, — ты жертва, с тебя никакой дани.

— Или беженцам. Вы же волонтёры? Мне так нужно!

— Ни в коем случае. Вам назад лететь, и две пересадки.

Остановились перекусить в знакомой им «Вареничной».

— Ну, хоть это! — и одну пачку из трёх Краев сумел таки всучить.

— Думаешь, мы с Тарасом не позабочились? Отпразднуем. Но только после победы.

— Она ведь скоро?

— Никто не знает. Инсайдов больше нет.

— А знакомства с помощниками?

— Всякая утечка пресечена. Майя, как вам Киев? — и не дожидаясь ответа, добавила, — Тарас организовал фонд, в Эмиратах. И в Чехии.

— Я больше неучаствую ни в каких.

— Сейчас никуда не вложишь. Всё повезешь в Россию? Её скоро просто не будет.

— Знаю, — отвёл взгляд Краев на кавалькаду байкеров с украинскими флагами.

— Батькивщина вильна! — прокричал ворвавшийся в крытый зал неопределенных лет в чёрнокрасной куртке парень, — руснятикала, мы в Херсоне!!!

— Героям слава! — послышалось из разных углов.

— Знаю, — повторил Краев, — но ведь вы утверждали, что «вылезем» только вместе.

— Всё будет, — она поправила очки, не скрывавшие мудрой улыбки, — Лет через десять.

— Никогда! Этого уже не будет никогда.

— Увидишь!

Где-то уже он это слышал — подробности, казалось, разорванной собственной жизни, слетались, как ночная мошака, — если России не будет, с кем вместе «вылезать»?

— Ты не всё знаешь. После победы здесь будет ещё такое... О-о-о... И где же вы хотели бы жить? — она чуть не добавила «дети мои».

— Семейный совет впереди, — Павел сжал Майину руку под столиком.

— Мои проекты здесь кончены. Ты был прав, со сценарием. Окно возможностей для него — всё. Хорошо, что с деньгами перед тобой не стыдно.

— Ведь я на него и «клюнул».

— А хочешь выйти на оппозицию? Вашу, настоящую?

— Почему «вашу»? Меня лишили гражданства?

— Я ведь знаю, как ты любишь Москву. И как бы хотел воевать.

— Ради кого? Если «оппозиция» и существует, нет почвы. Придется — в лучшем случае — стать оккупантами, боюсь, хлеще нынешних.

— Попробуй.

— Что?

— Попробуй. Им нужно медийное представительство. Если удастся, хоть отчасти реализуешь наш проект. Историю с гэбешником, который посыпает внезапно возникшего сына от неизвестно кого на ликвидаторство Чернобыля, а потом пытается взорвать Лубянку и его убивают на Красной площади — ты придумал эпизод?

— Я.

— Там ещё помню — сцена в библиотеке, где нашли книгу про хасидов и... любовь на столе.

— Да, да, — поздно прерывать Алису, но пусть не продолжает, не хотел вновь Майиных распросов.

— Нет почвы? Я увидела твои тексты в Сети, потому в проект и пригласила. Ты рискнул. Мы почти проиграли. Почти! Хочешь спасти страну, правда?

— С чего ты взяла?!

— Я старая. Ведьмы, — Алиса пригубила капучино, морщась от оставшего молока, — не стареют.

— В спасатели меня завербовали, не поверишь — кто. Но теперь не буду.

— Может, ты и прав. Как я любила эту страну, этот народ, я ведь хотела показать глубинку тебе, поздно. Старая ведьма, — она оглянулась в поисках официанта, — кое-что к этому приложила. Но больше — нет. Уезжаю в Польшу, возглавлять филиал Фонда.

— Он же в Чехии?

— Какая разница? Значит, в Чехию. Не к дочери же на Гоа, которая не желает со мной общаться, для которой здесь Антарктида. Весь мой Чернобыль — она. Чудом рождённая без патологий.

— А плечо срослось?

— Скучно. Давай о тебе.

— У меня проблема — впустят ли назад...

— Я бы не дёргалась. Легион «Свобода России» — твой вариант. Извини, смска Тараса. Если ещё на два дня здесь и вдруг надумаешь — позовни.

— Нет.

— Я всё же думаю, что не исключено.

— За меня думает судьба — отрезал Краев.

— Красиво. Но маленькая щёлочка ведь остаётся?

XVII

Выходя в яркий объемный свет, хочется либо снять, либо надеть несуществующие очки. Чёткость и цветность нереальны.

Да, Киев выстоит и без авантюрной «ведьмы», тем более без него, Краева с пачкой скрытых от мира денег, при почти сказочной развилке «направо, налево, прямо, вверх — и ещё по шестнадцати маршрутам, не дёргайся!». Но это и концентрировало. Он приехал с дважды латанным ноутбуком и за считанные часы связался с друзьями в Риге, Абу-Даби, Тель-Авиве, Катовице. Не говоря об препятствиях к переводам, проценты всюду скромные — максимум пять. Обещали найти семь.

Бесснежие от избытка света заставляло щуриться. Люди, несмотря на сирены средь бела дня либо их привычное ожидание, лучились необъяснимой верой. Портреты Небесной Сотни с Крестатика не убраны, следов ракетных попаданий надо ещё поискать. Живи он здесь неотступно, ощущение бы не поколебалось.

Разослал переводы по 15 тысяч в четыре страны. Задонатил ВСУ в плюс к переданному Алисе. Адрес штаб-квартира Легиона Свободной России помнил, но связываться не стал (отмазка: стрелять ведь не возьмут). Постарался показать Майе Киев, который успел полюбить: Подол, Андреевский), парк возле Князя Владимира и Лавру. Джентльменский набор. Издателям (на складе у одного скопились экземпляры двух последних книг, но с собой через пол-Европы не потащишь), трём другим друзьям так и не позонил (они под обстрелами что ни день, а ты...).

В Будапеште задержались на сутки с небольшим. Выбрали гостиницу с видом на Дунай, потом спорили, куда пойти. Из достопримечательностей первой бросалось в глаза здание парламента, почти напротив отеля, через Дунай. Напоминало Венецию, но сухопутную, а если отстраниться вообще — то и Краевскую школу — именинnyй пирог, воинство именинного пирога, купола и шпили — Европа в чистом и концентрированном виде, вот он, вот она, всё сразу, всё как на плацу. Дальше желания разбредались, Майю тянуло в Музей, Краеву непременно хотелось увидеть что-нибудь связанное с восстанием 1956 года, на музеи была стойкая аллергия, особенно, после девяти лет экскурсоводства. Примирение соткалось вдруг и само собой. — Ты поведешь нас в зоопарк! — продекламировала Майя, уже давно подхватившая от Павла цитатный зуд с непременной заменой какого-нибудь слова, ключевого, как правило. Тем более, что в зоопарках, оказывается, вообще не была ни разу, о московском же на Красной Пресне Павел забыл. На удивление, вход (углом) в Зоо Будапешта был едва ли не калькой с московского, но затейливей, с башенками, напоминающими о Парламенте. Вроде бы маленький, но затеряться легко на все часы, пока он впускал и выпускал. Майю тянуло и к тиграм, и к гиппопотамам, и к страусам, Краев едва поспевал. И когда оба устали, перед ними, подобно строительному крану вырос жираф, прямо на лужайке, не боялся и не пугал, очевидно, воля была привычна и ему, и павлину метрах в пятидесяти, а если присмотреться — и антилопе с короткими рожками. Надежды на слонов — хорошо бы! — но вряд ли. Майя подошла к жирафу на два шага и что-то внушило ей: «погладь, погладь!» Она сделала ещё полшага. Но вдруг лягнёт? Жираф подумал, не поворачивая мордочки, ничем не помогая побороть нерешительность. Наконец, ему надоело, и голова стремительно снизилась к траве, можно сказать, демонстративно. Только тогда осмелевшая Майя по-детски тронула шершавую, как гобелен, щёку. Жираф не возражал, продолжая жевать. Сидя на корточках, Майя повернулась и Краев понял: ему не отвертеться, его приглашали, он погладил ту же щёку чуть выше, чувствуя, как желваки напряглись, двое для едока это уже чересчур. Ноздри у жирафа были совсем верблюжьи (подумалось, что — возможно и обман — терпеливее, но сколько ж можно...). С антилопой уже ничто не мешало если не потеряться губами, то приобнять за шею, погладив рожки, похожие на пирамидки в кольцах. Весь нераспространенный детский запас из Майи просто хлынул, смывая медли-

тельность, усталость, впечатления переполняли, одновременно лишая жадности вместить неохваченное, на океанариум сил уже не нашлось, они что-то съели на открытой веранде неподалёку под аккомпанемент народных скрипок, а по возвращению в цивильный мир пришлось уворачиваться от приставал с теми же чардашами до самой Площади Героев, самого просторного места рядом с парком, а Краеву хотелось найти хоть какие-то следы мятежа 1956 года — по карте, рядом с площадью обнаружился целый Мемориал, довольно зловещий: кроваво-коричневые тесно сближенные прутья в два человеческих роста образовывали будто бы ледокольное острение, цвета кобальта или свинца. Никаких знамён, измощдённых лиц, ничего искаженного — окровавленный лес прутьев, соединённых жертвенным углом, не ужас, а стойкость, сплочённость. Не сдача, но и не победа. Звон камертона.

Оставался ещё мост, самый известный, через Дунай, на вантах. В Питере или на Москворецком стоишь, а здесь простор членён, застаиваться нельзя, и всё как-то игрушечно, без трагедий, они с Майей, тем не менее, взявшись за руки, словно продолжая сидеть на неудобном диване квартиры возле трамвайного депо в Сечинске и отбиваясь от карнавальных огней моста дошли до ступенек отеля с видом на те же мост и Парламент.

Сил хватило только на ванную.

И чудно спалось в ночь перед отлётом. Будто это всё не с ними. Будто сразу, здесь же, и Париж, и Барселона, и где-то на берегу океана.

Накрахмаленные простыни шуршат, как тлеющие поленья в камине. Купидоны в углах потолка — и ангелочки по углам на первом этаже школы за Театром. За тылами Театра. Новое всегда оглядывается. Всё и просто и по высшему. Если даже «по высшему» бывает и роскошней. Всё, всё казалось подарком — всё им и было.

Год с небольшим, как женаты. Знакомы — сколько жизней минуло? — счёт годов переменчив, а вот вернулось, обрушилось — не где-то, а прямо на них. Прямо сейчас.

В наполненной ванне можно было сидеть вдвоём и ложиться на спину вдвоём. Как с парашютом — летя и падая. Затем, перевалившись через борт и сдёрнув с пластмассового крючка полотенце в замотанном виде, как в мешках, смешно топать и прыгать до скромного пространства кровати, ровно и как раз на двоих.

Коршун и нежная антилопа, джейран или как она зовётся? Не смотри на меня. А я только и делаю. Глупыня. Глупыня. Счастье моё. Моё, моё...

Неистово, как в последний раз. Так только в последний. Кончается он или нет. Последний. С кружением друг по другу, по закоулкам, глубинам, сколько хватает лёгких. Не отрываясь, а если отрываясь — то для волны. Для прилива. Ты. Ты и ты. Холмы, оазисы. Нет же, нет. Хотела Европы? Другой, севернее. Другой не будет. Лес во тьме, лес тьмы. Обдирает, ранит. Не выветриваясь. В автобусе до аэропорта (названием — язык сломаешь). В заморозках за иллюминатором.

Теперь Майя сидела ближе к проходу, ей чаще вставать.

Всю дорогу, всю тряску взлёта и нирванное шуршание моторов при погасшем табло набора высоты их нес тот мигающий номер с купидонами, стон теней, будто переплетались витые лестницы, будто нас (их) не двое, а в геометрической прогрессии подобия, кто в ком чей образ, кто «лети оно всё!», прощальный, пред первый раз, гулкий, без горечи, на до- и послесловесном вывороте — никакая не память, по ногтям, по кончикам зубов, исцелованно-вызверенно, как при начале снижения — секундная невесомость — ах! — всё ровно-ровно, пока не задрожат шасси и не брызнет под ними посадочная полоса, упёртая где-то через шланг входного рукава, в чёмоданный эскалатор и кабинку пассконтроля.

XVIII

Майю пропустил вперёд, паспорт штампанули, она обернулась, давая знак, что далеко не отойдёт.

И тут же щёлкнул датчик в районе пупка.

Офицер в белой с отливом синевы галстуком иiformной рубашке, отрешённо изучая документ с двузубом, прежде чем прижать, оттискивая дату въезда с характерным звуком, жестом Краева задержал и его провели в комнатку за углом коридора, выводящего прилетевших к таксистам, иномаркам всех сортов и рейсовым лайнерам до «Тропарёво» или «Юго-Западной».

Не сводящая с кабинки пассконтроля глаз Майя увидела самое начало процедуры и полетела навстречу, её остановил ещё один офицер, а она всё рвалась, ничего не разбирая, крича: это ошибка, мы вместе! Паша, покажи свидетельство, Паша, это ошибка!!! Паша, Пашенька!

На неё не оглядывались. Почти. Успокаивали уже трое в белой форме с галстуками, прикрывая от любопытных, п она всё кричала «пустите, пустите меня к нему!!!».

Краев изловчился и выкинул к Майе указательный и средний — «викторией».

Не увидела.

В комнатке сидел вполне дружелюбный вышибала с лицом, напоминающим клещи. Без звёздочек и других знаков отличия.

— Какими судьбами, Пал Самолыч, к нам?

— Жена-россиянка, мы вдвоём, прошла контроль, вы же видели. Сын в Петербурге.

— И внуки?

— Конечно. Вот свидетельство и копии документов, — он выложил каждый и расправил.

— В Будапеште что делали?

— Пересаживался на поезд до Киева.

— Через Львов?

— С пересадкой.

— А в Киеве?

— За шесть лет накопилось много знакомых и даже друзей, но целью было извлечь деньги от продажи московской квартиры. В базе мои объяснения найти легко.

— Читали. Ну, а всё же, сколько было встреч?

— Одна, — отрезал Краев, решивший отвечать напролом, но могло быть пять-шесть.

— С руководством ЛСР тоже?

— Нет, зачем это мне?

— Хотите, чтобы при обыске нашли адрес их штаб-квартиры?

— Адрес есть в телефоне, мне прислали, хотя и не просил, обыскивайте.

— Правильно. Правильная тактика, — офицер оставался непроницаем.

Простое, даже нарочито простоватое лицо. Выпивает чаще обычного. Службистская привычка изворачиваться. И без особых примет.

— Мы знаем, с кем была встреча. С какой организацией вам предложили связаться. Но не рискнули. Видимо, по личным причинам.

нам. Соткровенничали, это ценно. Так что... Ваш синенький, — он положил паспорт с двузубом на стол. Во въезде вынуждены отказать. Если только...

— Если только?.. — в тон хозяину положения отзеркалил Краев.

— ...если, — грузный офицер в упор не видел скавшегося возвращенца, — не воспользуетесь тем, что предложу я.

— А именно?

— Перспективой.

— Я писатель, — скрыть интонацию оправдания не смог, — меня интересует, интересовало, чем дышат...

— ...друзья-мятежники, — подхватил его добродушный «вышибала», оптимальный вариант, если рейс на Будапешт (которым только что прибыли) заберёт вас назад. Бесплатно. Хотя, наверное, остались деньги? — он подмигнул, — Или статья. За нарушение паспортного... ну и т.д. Как иноагенту и лицу с двумя гражданствами, одно из которых не декларировано, согласно закону.

— Могу поговорить с женой?

— Сожалею, она уже на российской территории.

— Но ведь и мы на российской.

— Пока нет отметки в паспорте, вы «зависший»

— Ну, хотя бы дать знать, что возвращаться ей одной!

— В зоне вылета, куда после беседы сопроводят, есть вай-фай.

— Мне всего лишь успокоить её, уговорить.

— Ничем не могу. Так согласны?

— Пока не объясню, почему задержан, это невозможно.

— До посадки два часа.

— Пожалуйста, несколько слов — и всё!

— Давайте пальчики откатаем.

— На границе с Казахстаном это уже было.

— Ничего. Повторение, как известно, мать...

XVIII

В разгар процедуры заглянул молодцеватый майор, за ним ещё один. Вполне радушные. Над левой бровью майора виднелся след шва.

— Времени мало, — майор предупредительно указал на стул напротив, — можем предложить надёжный шанс послужить отчизне — взамен запрета на въезд потенциального предателя. Давайте

без иллюзий. Рекомендуем познакомиться с так называемым «Легионом Свободной России» — ваш бэкграунд им знаком и вам будут рады. Не важно, что им требуется страна в целом, а вам её осколки — инфоподдержка и умение спичрайтера востребуются. При любом исходе СВО, любом — подчёркиваю, ваша внедрённость туда, зоркость, искренность даже — это плюс. Как было сказано, с перспективой, — он кивнул в сторону полуоткрытой двери, — Высылка вас этим же рейсом подозрений не вызовет, наоборот.

— А если вызовет?

— Деваться некуда, дружище. Разубедите.

— Я хотел бы увидеть жену. Прежде всего.

— Вам сейчас к ней, к нам, нельзя. Да и зачем? Она сможет выехать. Куда позовёте. Хоть в Израиль, — усмехнувшись, — мы ж не звери. Решение суда об отказе переписать свидетельство о браке на, указывая ваше украинское гражданство, то есть, подтверждающее замужество Майи Федоровны за иностранцем у неё на руках.

— Она, если ж вы знаете всё, никуда не может. Из-за сына. Да и не хочет...

— Жизнь вынудит. Если, конечно, любит вас.

— Где-то я всё это уже слышал.

— А всё ведь повторяется? Неизбежательно как фарс. Приедет, приедет. Если будете себя правильно вести. Главная деталь. В Легионе полиграф по всем правилам. Не вздумайте их обманывать. «Да, вызвали на беседу, да, пытались вербовать, поскольку шантажировали женой». Пусть они вас там перевербовывают. Это же какой сюжет романа! Кстати, он, ещё теплится? Двойной агент — но — в нашу пользу. В нашу с вами. С нами вам, кто Штирлиц и Пастернак в одном лице, тоже не советую лукавить. Канал связи откроет наш человек в Киеве. Сам даст знать.

Чтобы вас не раскрыли, не будем оставшихся родственников новобранцев Легиона репрессировать открыто. Но это уже не ваша тема. Жене звоните по вайберау без опасений, старайтесь говорить правду, конечно же, не всю. Денег на покупку жилья и сносное проживание у неё достаточно? Вот и хорошо. Мы даже не спросим, по каким странам рассован остаток. Она даст подпиську о неразглашении. Живите, господин Краев, свободная страна ждёт вас!

И протянул руку с ампутированным средним пальцем. Пожатие вышло не слишком убедительным. До начала регистрации час и ещё четверть.

Судьба нагоняет не по правилам. Ты уже отрезал самую кровоточащую её ветвь — и тут как тут хватают пояс, затягивая на крайнюю дырочку ремня. Решил ничего в изгибах непрерываемой линии не отменять — отменили за тебя. Значит, не спасёшь страну, Зону. Зону вылета и прилёта. Кто выскользнет удачливей: они, длящие своё мёртвое — или ты, кого заставили плыть по течению, ничего не отменяя?

Господи, что же оставляешь во вторично увиденных пенатах? В дважды судьбинном городе? Девочку с неугасимым удивлением, твою домашнюю молнию, твой щит, голову на подушке рядом, с лианами рук и ног. Что-то ещё, да, ещё. Полусонно-фантазийное, кто ж его знает. Не две операции, родившие нацело, а третью, финишную, с тобой она произошла, сочинена в полудрёме: подбородок упёрт в ямку подставки, лоб давит на специальную ложбинку, чуть ниже на тебя наставлен лазерный аппарат для коррекции катаракты, левый глаз мёртв, правый судорожно старается не моргать — и три красных кружочка, выстроенные вертикально, приказ не двигаться и молчать — начинается пляска спиралевидных и прочей конфигурации лучей вокруг всех трёх, похоже на звёздные войны, самый верхний кружок наконец-то «очищает место боя» — но бой для него кончен, выигран, вокруг двух нижних пляски лучей вскипают и множатся, терпение как на цыпочках, надо, надо вынести это паучье и волчье, отпадают обручи синусоид от второго кружка, третий, как Лаокоон чуть ли не рвёт кольцевые ласки, и сквозь отступившую пелену вдруг всё видишь — врача лет 35-40 с детскими простодушным сочувствием, плакаты за его спиной, коллег в привычной рутине и — свет, свет! Как в первый день творения. Как даже в ранние дачные годы так не смотрелось.

Выбора не осталось. Достаточно родства с единственным. А варианты времен, параллельные, пучок вариантов — дымись они без меня. Всё, как предупреждал Севрин-старший. Как завещано в «Мастере»: за мной мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе этот выход. Исход. Совсем Библия. Тронуться можно.

Повторы всегда болезненны. Уже нарисованные на обратной стороне лба: карнавальное брожение Европы с беженцами в обе стороны, их живностью в клетках. Нежданное радушие волонтёров

от Вислы до Рейна, полицаи, которые тебе не враги, разлитая вокруг свободы («воздух свободы», который ударил однажды в голову Шибаева на Подоле и Андреевском спуске — Майя вернула среди других твоих рассказов) — всё сдабривается холодящим свистом двигателей и ненужными ассоциациями полёта на Землю Обетованную с той, которая не стала той, которая...

Будапешт ничем не поразил. Как давно перестал поражать Питер (где Майя родилась, а ты крестился морозным солнечным феврале на квартире тёщи, мечтавшей повенчать дочь и зятя, уж если (она вздыхала) так вышло, ну, влился в семью, оставаясь чужим, хоть не во грехе живите. Милена Васильевна при всей непоказной набожности отличалась цепкой страстью к дочерям, к внукам, хозяйство занимает место после преподавания теплотехники в Корабелке, где они с Михалом Михалычем познакомились на первом же курсе. Пряча (неспособную спрятаться) женственность за тысячами хлопот, любила и покомандовать мужем с его медвежистой добротой, и поучаствовать во всём. Краев догадался рассказать о подробностях женитьбы, и въедливая Майя с нескрываемым троллингом ему эти подробности возвращала, он пытался убегать, хлопая дверью, но вспыльвало, что с Тоней он уже ими хлопал, а повторяться — беспомощная слабость. Слабость, вернее, факты слабости, он копил, даже накачивал себя им, чтобы не прощать. И потому Будапешт будил в нём (слава Богу, ненадолго) кучу ассоциативного хлама, это был город-спутник его провалов и неудач, и лишь кое какие ходовые фразы английского (русским щеголять стеснялся) помогали ощущать себя — пусть на несколько вольных мгновений — беззаботным гастролёром.

А в Киеве всё только нагнеталось. Установки ПВО наконец-то взяли небо под сводный контроль и все дроны, все крылатые ракеты (даже несколько баллистических), сбивались — хотя свалиться на голову (в буквальном смысле) мог солидный осколок, прибитому, в общем, это без разницы — чем.

Сгонял Краев на прочно любимый Андреевский, извилистый и крутохолмный, как одна из таганских улочек — прохватило сердце, как в одной из глав «Круга первого». Так, находясь параллельно в детской Москве и в беспечно-талом Киеве он совершил целых два променада — вниз и обратно, переходя с тротуара на булькую мостовую, дёргая за кольцо входной двери в Дом Турбинах, где

(по словам той же Майи) выступал раз пять при гораздо большем стечении ценителей, чем в Казани, киевские слушатели равноблагодарны всем читающим, но рассчитывать хотелось не на радущие, а на сиюминутный мощный эффект — и он был, этот эффект, был почти всегда, любовь привязывает прежде всего тех, кто любим бескорыстно, лишь за то, что такой просто есть, залётная ли птаха, местный ли турман, ты нам читаешь, читаешь в святом, в святейшем для русских киевлян месте — и этого достаточно.

Кольцо дёрнулось, а дверь гласила: все на войне, либо — не до русских святынь.

Покончив с ностальгией, подготовился к главной цели.

Офис Легиона располагался выше Майдана, по одной из пяти лучевых улиц. Здание непонятно какого века возникновения уходило как бы под землю на три этажа — сверху оставалось пять. Намётанный глаз определил верх как середину 19 века, примерно 70-х годов (поражала плотность застройки этим периодом, значительно превышающую московскую). К входу со двора (колодезного, хотя и более широкого размерами) типа вёл мостик — именно с него и было видно, как этажи уходят вниз.

Позвонил, поняв, что был виден, открыли сразу. За дверью располагались две лестницы — вниз и вверх — через пятачок площадки. Вверху — догадался Краев — это квартиры, потому смело двинулся вниз, лестница упиралась в стену, а влево и вправо уходил коридор примерно на три двери каждый. Недолго думая, повернулся влево и не ошибся. Из трёх дверей одна железная и, видимо, двойная. Ему открыли через чуть большую паузу, чем входную на улицу. Не ощупывая по бокам, не прося выложить в особый ящичек всё, содержащее металл, просто взглянули в глаза, отпечатав, отксерив, и человек в бело-сине-белой повязке на рукаве, тут же возникший из глубин коридора, ни о чём не спрашивая, подвёл к некоей приемной. Всё решалось при взгляде, только после этого любого посетителя (а это были, как правило, желающие воевать) ждал полиграф. И после полиграфа углубленная беседа — если кандидат его проходил.

За столом в полувоенном френче с уже знакомым бело-голубовато-белым шевроном его ждал удлинённолицый, как бы сошедший с дагерротипов столетней давности усталый рыцарь, где-то вокруг сорока, с выпряткой, опять же напоминающей кадетскую или знакомую по фильмам о Гражданской, на его высоком

с резкими морщинами лбу, чуть впалых щеках и особенно, подбородке было начертано «Честь имею!» — но не в виде прощания, а как раз наоборот. Взгляд его был мгновенным, но без демонизма, проникающим, но без давления. Церемоний не предполагалось.

— Должен вас огорчить, мы принимаем людей до пятидесяти, вам чуточку больше.

— Я этого ждал, — Краев умел подстраиваться к собеседнику, внезапному, давшему — без разницы, — могу я быть полезным именно как сугубо гражданский?

— Чем же, — человек во френче то и дело косился на экраны двух мобильников, те чернели, не вспыхивая.

— У вас есть — должна быть — пресс-служба, пиар-служба, — назовите как привычней, у меня опыт, пусть небольшой, я гражданин Украины, родившийся в Москве, идеи мои с вашими отчасти расходятся, но это не причина отказываться от совместной работы, — он спешил высказать сразу всё, — готов на это в режиме волонтера.

— На что ж рассчитываете жить?

— Пенсия из Москвы...

— Так вы «двойник»?

— Паспорт российский сдать не удалось, потому числюсь у них россиянином, но украинец уже 9 лет и плюс часть денег от проданной московской квартиры.

Человек во френче впитывал эту речь лицом, чувствовалось, что бессонным, почти бессонным. Это не мешало ему реагировать на опережение

— В чём опыт?

— Я был спичрайтером на Думской компании, а также на двух выборах в Московскую думу.

— У кого в Думской?

— Прозвучит дико, но в те времена клиент ещё казался человеком. У Шайтуллина.

— Идеолога войны?!

— В те времена он до этого не дозрел. Но чувствуя подводные камни, я в текстах эти его будущие нарративы обошёл, не замаравшись.

— То есть, хамелеонство вам не чуждо?

— Я писатель и должен уметь вживаться в предлагаемые обстоятельства.

— Хорошо. Сначала полиграф. Два, так надежнее. У меня интервью через час. Пробуем?

— Набросать тезисы?

— И набросать, и детектор. Есть умельцы обманывать и полиграф — это будет заметно, советую говорить первое пришедшее, обдумать не успеете всё равно.

Краева обмотали датчиками, он покорно и с радостью, тихой, даже блаженной, ухитрялся замечать ещё и лепнину потолка по его краям.

— Ваше полное имя, отчество, фамилия.

Краев поймал ритм спрашивающего, это было как в шахматы блиц.

— Фамилию либо имя не меняли?

— Нет (это была неправда, но Краев искренне считал правдой назначенное им самим).

— Гражданин Украины?

— Да.

— Женаты?

— Да.

— Сколько раз?

— Три (на самом деле, сосчитать, сколько — включая фиктивные, а долгую любовь можно считать женитьбой? — сложно. Долгих и было три).

— Изменяли своим женам?

— Да.

— Всем?

— Только одной.

— Россия будет свободной?

— Нет.

— Хотите участвовать в работе Легиона, потому что не верите в его победу?

— Нет.

— Считаете россиян рабами?

— Да.

— Считаете россиян зэками?

— Да.

— Считает, что Россия и свобода несовместны?

— Да.

— Имели в Союзе дело с какими-нибудь силовыми органами?

— Да.

(Был привод в милицию за разбитое при входе в метро стекло после закрытия.)

— Вы были завербованы?

— Нет.

— Вы завербованы сейчас?

— Да.

Спрашивающий положил наушники на стол и позвал того, кто направил Краева на полиграф.

— Лента без всплесков. Господин Краев сознался, что работает на спецслужбы РФ.

XI

— Нам нужны люди, — «френч» (так его для себя окрестил Краев, уверенный, что настоящего имени ему не откроют) казалось, пропустил сказанное «полиграфистом» мимо ушей.

— Нужны, — повторил, оценивая Краева уже как потенциального фронтмена всей армии, растущей не слишком, но растущей, — умеющие принимать решения быстро, честные, преданные нашему общему делу, хотя и во многом несовпадающими. Нам нужно представительство. И оно есть. Пройдёт второй полиграф, хотя, — он бегло, по диагонали прошерстил ответы Краева и что-то в лице стронулось, что-то румяное, детское, сквозь муштру военного училища, возможно, даже суворовское, правда, по возрасту мог его и не застать, — поговорим прицельней. Где остановились?

— Нигде, — Краев понял, что стеснение не в его пользу.

— Есть хотите? С дороги, вижу. Кухня — вторая дверь налево, после интервью — пока будет проходить полиграф, минут 20 найду. Ночлег организуем, на трое суток, надо продлить — решим. Но все после полиграфа.

Вопросы второго полиграфа развивали череду первого, они как бы прикидывали, чем данный субъект мог быть полезен (если не врёт). А Краев не врал. Какие-то стыдные моменты детства пришлось выставить на обозрение. Он ведь и на исповедь после крещения в 33 не решался целый год. А потом понял: правда — самое лёгкое и самое защитное. Кривая на ленте вновь была ровной, как дыхание спящего.

Краев не совсем понимал, как в случае попадания в структуру, сможет передавать «дезу» (а ничего, кроме дезы передавать не хотел) вербовщикам. И почему выбор пал на него? Выпустят ли Майю, если поверят, да и почему они должны верить? Согласился он корыстно — а сделают Майю заложницей, и ни его не впустят («разрушаешь легенду о бегстве»), ни её. Тогда зачем всё? Как он влип...

— Нам не просто нужны люди, — продолжил как ни в чем не бывало «френчист» своё выношенное, когда вошёл в кухню, где Краев доедал что-то свиное с макаронами, и когда они остались двое вместе с шумно работающим холодильником, добавил, — нужны продвинутые, способные убеждать, налаживать связи, способные стать своими не среди либералов только (уверен, вы со многими сталкивались), любых течений. Мы не соревнуемся с РДК, плечо всегда подставим (они — тоже), но хотим вовлечь всех, кому система поперёк горла. Почему на вопрос о вербовке, ответили «Да»? Выбора не было. Вы чего-то хотели, вам предложили баш на баш. Верно?

— Это легко угадать. Среди ваших возможен их «крот» и передавать сведения (если примете) придётся через него. Но играть агента буду лишь для них, а перед вами хочу быть чистым: я разделяю взгляд: все, кто против, должны подставлять плечо.

— Жена? — догадался «френчист».

— Больше чем. Мы знакомы ... страшно сказать сколько. А поженились год с копейками наберётся...

— Но я вас огорчу (если всё сложится). Даже когда сложится (он любил повторы, как бы в учительской манере) — они могут кинуть. Доверять там не доверяют никому. Даже себе. Есть ли среди нас крот? Допускаю. Барьеры выстроены основательные. Но душа — потёмки. Шансов, что кинут — около 100%. Это не останавливает?

— Вы и здесь в точку, — отвёл взгляд Краев (и это был единственный момент, когда в нём вдруг бы да засомневались), — возвращались из Будапешта вдвоём — но задержали меня. Подозревать во мне сложную игру ваше право. Но я так же сильно люблю ту, ради которой всё и затеял, как и вы своё дело, и хочу, чтобы оно победило. Вместе с украинским. И не на украинских плечах. Победило, хотя и не верю, что населению страны, которую вы хотели бы освободить, это примет. Оно примет всё. На вопрос, считаю ли сограждан рабами, сказал «да», жертвуя тонкостями. Они

даже рабами себя не считают. Не менее искренно, чем я отвечал детектору. В этом весь корень. Победить матрицу можно лишь военной силой, а победив, нельзя длить победу. Хотя это и выглядит шкурой известного медведя.

— Неизвестного медведя, — шутка на мгновение сделало лицо «френчиста» суворой, стало ясно, что «неизвестный медведь», если, конечно, бывают изящные, подтянутые медведи, он и есть.

— Работать будете в команде, — впрочем, отказать не поздно. «Крот», если он есть, нам нужен тоже — так лучшее противоядие приготовляют с небольшой дозой яда. Нас должны бояться. Знать о нас (преувеличенно знать) им придётся. Но даже допускание существование «крота», плюсовать стоит осторожно. Иначе вас тоже скоренько раскусят и жену сделают жертвой. Что-то ещё?

— Хотел бы поскорее начать.

— А я бы ещё раз предложил подумать. Дерзость, искренность — лучшая защита. Но это и опасно. Вас может не принять наша команда, — он сделал паузу, — интеллектуалов. Думаете, вы первый? Знакомы с Каспаровым?

— Нет.

— А в команде двое знакомых. Возможно, кстати, один способен превратиться в крота. Повторюсь — мы этого не боимся. К тому же информация вся есть лишь у двоих из нас. Имя второго не скажу. Мы нужны вашим вербовщикам, они же нам — ничуть — вся разница. Им нужны агенты — ради Бога, нам — выразители интересов и вместе нам не сойтись. Ещё не раздумали? Гарантии, что вас впустят к жене, что её выпустят к вам, ничтожна. Вы даже не для «оппозиции» нам нужны, а для перетягивания их к нам — шансов на это не больше, чем на ваше воссоединение с женой где-нибудь на Кабо Верде. Вы нужны для Запада. Языки знаете?

— Немецкий.

— Мало. Срочно учите английский. Это повысит вес. Думайте над программой правительства в изгнании — оно вот-вот закончится. И даже — чёрт с ним, с правительством, — изложите кратко с в о ю программу, хотя бы для меня. Там решим, запустим ли её на обсуждение. Так что?

— Я с вами, — Краеву слегка отказывал голос, он был или казался севшим, как бывало только при долгом не-разговоре ни с кем, либо просто к вечеру (слабые бронхи).

— Смотрите, — разговор оставался в рамках как бы официального, нигде не переходящего — даже отдалённо — в панибратство (и это при наличии как раз братских отношений в среде самого Легиона), — им наша численность важна? Она известна. В пределах, конечно. Купить, завербовать нас — не выйдет. Для чего им е щ е о д и н а г е н т? Может, вас разыграли?

— Допускаю, — Краев такие диалоги обожал (это была его стихия: кошки-мышки), — но зачем? У них системы нет. Авось пригодится — вот как они думают, скорее всего. В этом их неуязвимость.

— Она трещит. Мы должны вести себя так, будто победа уже за плечами. И украинская, и наша. Так что, подтягивайте английский. Маша Н. поможет, познакомлю. Может, сегодня вечером. Вообще, — он е щ ё раз оглядел Краева, будто бы пытаясь свести воедино его черты, манеру общаться, ломаный рассказ о себе и национальное происхождение — последнее, чисто инстинктивно, и не без удовольствия: дыма же без огня не бывают, умные этой нации бывают изобретательнее и преданнее прочих. Да? — хотел было спросить, но Краев опередил его «Да?»:

— Я правильно понимаю уготовленное мне место?

— Легко! — «френчист» повеселел, — готовьтесь стать нашим Киссинджером!

— До подобной лисы, да и до его 100 лет мне расти и расти...

— Надо расти, надо!

— Вы ведь из музыкантов?

— С чего это взяли?

— Лицо музыканта.

— И в каком жанре?

— Виолончель! — осенило Краева.

— Ух ты! Далеко летит плоский камешек! Не-е... батя дирижер военного был оркестра, учить пытался меня на валторне (скрипку я отверг на дух), два года музыкалки выдержал, и сбежал. Даже так — сбёг. Но ход мысли верный. И воспитание, хочешь не хочешь, это же дисциплина, не хуже армейской, а он из потомственных, дядя — кадет или юнкер, я запамятовал — уцелел чудесным образом в битве за Кремль. Какой из меня музыкант, истфак провинциальный.

— Новгород?

— А там его нет. Краснодарский. В Новгороде родня осталась. Очень дальняя. Из церковнослужителей. Я службу люблю, кстати. Ну, по этому признаку мы никого не отсеиваем, это пусть «добровольцы», я верю просто в солидарность.

— То есть, в народ. А ведь его нет.

— Нет, — согласился «френчист», — а как возникали народы?

Через войны. Мы с этим запоздали веков на... (он прикинул, как видно, про себя... больно бередить вслух каждый раз)... семь-восемь. Думать об этом лучше всего, воюя. Украинцы нас поняли. У них козаки готовы были скорее умереть, а наши — чуть что — в бега. И теперь мы крайние. Видите, на что готовы подписатьсь. Думайте скорее, нужно ли.

— У меня уже в третий раз нет выбора.

— Хоть в сотый. Пётр. Но лучше Сезар. Честь имею.

— А по отчеству?

— Павел Самойлович (или Самуилович? Как правильно?). Может, просто Павел?

— По имени, я привык.

— Смотрите, я вас младше раза в полтора, даже по званию (запаса) далеко не старший, а зову по имени, вы же меня — с отчеством — справедливо? Субординация справедлива? А я хочу, чтоб как в Украине, как в Израиле — мы с евреями верой разные, а судьбами братья, но без сантиментов.

— «Киссинджер» — из этой оперы?

— Обиделись? Он символ. Украинцы подтянулись в эту же символику. Только нам ёщё предстоит выковаться в народ, мы во-все не старшие-великие. Кстати, зовут меня Сергей, «Пётр» — это для конспирации. Камень.

XX

Не хотелось больше ни спать, ни есть. На всё свете лишь она и этот роскошный дом. Зачем он? Зачем вспоминать? Жить зачем. Даже плакать нечем, даже молиться.

Она умерла. Без кавычек. И с этим надо было хоть что-то делать.

Ткнула, не видя, в правую угловую кнопку агрегата, оставленного Ариной (помимо телефона, похожего на этот неизвестный, но сильно уменьшенный и плоский). Экран большого агрегата вспыхнул и картинкой в центре запросил пароль. Пароль нашёлся на листке, который хотела выбросить, но сил, к счастью, не хватило.

Долго водила указательным по клавиатуре в поисках нужных буквовок с цифрами.

Экран вспыхнул. На нём красовалась счастливая Арина с дочерью, снятые у подножья пирамид. Высыпали также десятка два значков, желтых с надписями. Катя вновь прошлась по листку, в котором предлагалось нажать красный кружочек нижней части экрана. Он отзывался не сразу, но выдал новостную панель ЯНДЕКС и с десяток названий. Тыкая в них поочередно, Катя обнаружила море окошечек, подписанных внизу «YouTube», в одном из них двигался репортаж сначала о стоянии перед белым зданием с разными флагами (площадь располагалась рядом со стелой, на вершине которой человек держал взлетающую птицу).

Ещё один короткий фильм запечатлевал перебежки солдат в странной форме и зелёных масках до самых глаз с трубой свайного типа, откуда взвизгивала струя огня — и на месте изб с покосившимся штакетником образовывались ямы, прогал меж другими халупами, часть халуп тоже подвергалась сожжению.

Быть всего этого не могло, а оторваться страшно. В эпицентре страха её коснулась принадлежащая, видимо, плоской коробочке трель мелодии, напряженно-ликующей, как на марше. Листок, откуда черпались советы, как обращаться со сказочными предметами, пробежала глазами вновь, ведя несколько раз по стеклу коробочки вправо указательным пальцем. В центре пульсирующего кружка лыбился симпатяга по имени Геннадий (лицо соответствовало подписи).

Инстинктивно Катя нажала на зелёную трубку справа от кружка и Геннадий (а это был он) сообщил, что будет через три минуты — Катя вспомнила, что Арина ему и звонила с просьбой сделать оба паспорта — «внутренний» и «загран».

Геннадий выглядел типа старого хиппи, выше среднего роста, уверенный в себе умелец. Видимо на все руки. Сделанные с Кати снимки он тут же проявил в специально привезённой ванне, размером с ёмкостью для холодца, затем искусно вклеил два снимка в два красных формуляра и придавил печатью, предварительно её освещив в другой специальной баночке, напоминающей пудреницу.

— В город не подвезёте? — от восхищения Катя забыла поблагодарить.

— Не советую, — Валерий сполоскивал руки тут же, в кухне, — там бойня.

— Сын туда убежал. Пока спала.

— Туда? Малой?

— Он сообразительный, может всё. Всё нипочём.

— Ориентируется хорошо?

— Лучше меня — точно.

— Вернётся.

— А если нет?

— Не знаю. Билет можно заказать, — без лишних выяснений он что-то пощёкал на своём предмете (размерами чуть больше Арининого), и спустя минуту из устройства, не замеченного ранее, выполз листок.

— Билет «Сечинск-Абу-Даби». До аэропорта могу довезти, мне как раз в ту сторону. Можете прямо сейчас. Но дата открытая. Годен ещё месяц.

— Прямо сейчас?

— Не обязательно. Поторопиться стоит. Оплачено взрослый и детский. Сын вписан в ваш загран. И во внутренний тоже, всё, как Арина просила.

— А если сын так и не найдётся?

— Ищите. С этим уже не ко мне. Я и сам улетаю, сегодня же. Можно сказать, отсюда.

— А вещи?

— Вещи в машине.

— А жильё? А машина?

— Машину перегонит друг, жильё сдал.

— Когда обратно?

— Может, и никогда.

— Никогда?! Это и мне грозит?! Если улечу.

— Вам вряд ли. Я точно в опасности. Но границы могут перекрыть, — он раскрыл бумажник и к оставленному Ариной прибавил пачку своих купюр, — Арина знает.

— Денег если не хватит, — Геннадий раскрыл книгу, по типу телефонной, скромно лежащую на подоконнике, извлек оттуда Аринину «заначку» и прибавил ассигнаций из собственного бумажника, — возьмите. Вот номер Арины, уже тамошний. По прилёту купите местную симку в аэропорту. Она там бесплатная.

— Симка? — запоминать Катя не успевала.

— Маленькая такая, — он что-то нажал в предмете и сбоку стрельнула со скошенным углом табличка-не табличка, с ноготок, на которой было написано SIM-kart.

— Но как же... Он вернётся, а я где?

— Думаю, он вас не бросит и вернётся раньше, чем кончится срок открытой даты. Ключи, чтобы закрыть ворота здесь, — он указал на висящий рядом с одним из кухонных ящиков и неловко пожал Катину ладонь, удачи.

Она чего-то ждала, покорная, как опущенное в колодец ведро. Не переставая есть, пить, мыть полы (нашлось неизвестного названия средство), смотреться в зеркало на ходу — и на увеличенную фотографию компании, поднимающуюся с Грушинского фестиваля — всё машинально.

Несколько раз пыталась заснуть. Возможно, это и удавалось, но уверенности не было. Не было ни в чём. И когда бродила по саду, держа телефон то в правой, то в левой руке — привыкла и к нему, и к ноутбуку (выучив название: Тошиба).

Коробочка с чёрным экраном требовала раз в двое суток подзарядки — об этом на листке был отдельный пункт, а сам зарядка свернутой лежала на кухонном столе.

Если выйти за ворота, вернётся ли? Новые фокусы со временем уже бы не удивили.

Ждала, уставясь в незримую над лесом точку — до неё от металлической ограды с полкилометра.

Идти не к кому, обращаться со своими рассказнями — не к кому. В этой чужой, сверкающей жизни единственным островком, кое-как ещё связывающим с Большой Землей утраченного, была эта дача, скромный и всё равно замок.

Она ждала и ждала, думая: сколько же взять с собой денег?

Сгребла половину — лишь бы уместилось в карман. А где взять карман?

Из шкафа в спальню выбрала что-то вроде куртки с двумя внутренними карманами.

Лишь бы уместилось.

Уместилось.

Лунатическим движением сняв ключи и не оглядываясь, вышла за ворота.

Конечно же, не забыв их закрыть.

Лунатики — а она сейчас была как раз из них, тоже не ведают, что творят их руки.

XXI

— АннСтепанна, выход во двор не заперли? Вчера забыли! Ay! — молодой человек в чёрной рясе, видной из-под куртки до ко-

лен, обводя взглядом притвор, наткнулся на ребёнка лет 10, восхищенно взиравшего на Казанскую Богородицу и Блаженного Сильвестра рядом с ней, — мальчик, ты чей? Поди-к сюда!

Но сияя (ему говорили, что, если бы не борода, совсем как главный пират в одном из американских блокбастеров — жалко ли, если похож, пусть считают), подошёл сам.

Мальчионка, одетый не по сезону — ковбойка навыпуск и кроткие на лямках штаны — с места сходить не собирался, а юного батюшку, может, и не слышал.

— Как зовут? — ещё не привыкший к сану батюшка, пытался говорить суровей, но пока не получалось, — Нравится?

— Я Артём, — не без гордости ответил восхищённый.

— Отец Сергий, — в тон ему представился служитель, — Господь среди нас.

— А почему головы склонены, и здесь, и на всех картинах?

— Ты голоден, — догадался, оценив блеск глаз гордого подростка (сам не помня, сколько же провёл в окружении этих ликов), — пойдем! Я с тобой в трапезной посижу.

Артём не сопротивлялся. Всё, на что шёл, не думая о риске, всё сбывалось.

Путь с трассы на дачу впечатан до мелочей, обратный труда бы не составил.

Его подберут, до вечера изучит изменившийся город (а что город обязан был измениться, сомнений не было — ясно по самой даче, по машинам, сновавшим в обе стороны трассы) — и назад, ведь был обещан полёт к океану, да ещё с Лолой, которая понравилась с полувзгляда, он чувствовал — волшебству надо только не мешать.

Вышло, как по-писаному (откуда взял? где услышал?), его подобрала семья, не очень молодая. До ближайшей бензозаправки. Она понравилась — блеском и чистотой линий, столбиками со шлангом. Аккуратным зданием при ней — магазином — или как его — кафе? Попросил выйти на трассу вновь. Вновь подобрали — видно же: сбежал откуда-то, могут ведь и в полицию сдать, но вторые подбравшие были помоложе, доверчивей.

За развиликой, где под острым углом в небо смотрел уже никому не нужный самолётчик, мало напоминающий тот, какой унёс из-за Волги сюда, начинались многоэтажки, рекламы на щитах, стайки по обе стороны дороги — нравилось всё.

На троллейбусе, бесплатно (я маленький, в салоне тесно, кондуктор внимания не обращает), затем пешком от Верхней Луговой к рынку, среди невиданных ранее домов, ему и попалась церковь — ни золотых крестов, ни куполов не видел ни разу, никто в семье про Бога не заикался, в храм не водили.

О том, что его, полугодовалого крестила в Покровское пра-бабка Клавдия, втайне от матери Пострига, обкомовской служащей, Артём так и не узнал. Запах мог всплыть — сладкий до одури, ещё какое-то пение — могло привлечь, но кто докажет?

Едва завидев голубой и два белых купола метрах в ста от тротуара, безотчёtnо потянулся войти. Внутри была прохлада, не осенняя, а прохлада то ли подвала (подпола, как говорили в деревне), или майская, любимая, пока не ударит зной.

Гулкая тишина и странные картины по стенам, над головой — склонялись женская головка к голове ребенка, строго или отсутствующе смотрели старцы с указующим перстом вверх, много золота, одежды отливали синевой и тем же золотом, он рассматривал их подробно, как в лесу, где нашёл кусок минерала, кварцит (формой — вылитый гриб, только плоский — опять же слово пришло само).

В трапезной было скромнее, на столе появились тарелка гречневой каши-размазни, проваренное мясо, тонко нарезанный хлеб, в основном чёрный, батюшка налил себе чаю, произнеся стоя какие-то быстро слова, отчасти вызвав из небытия памяти гул неясного действия, которым дышали все углы.

Съел всё (голода уже не скрывая). Служитель ободряюще молчал и, наконец, спросил (сдержав желание пригладить мальчишечьи вихры):

— Добавки?

Артём отрицательно помотал головой.

— Мне вернуться бы поскорей. Мама на даче у тети Арины, одна.

— Где дача?

— Не знаю.

— А как же доберёшься?

— По памяти. Завтра мы улетаем. Заграницу. Паспорт маме сделают. Обещали. За один день.

— За день? Паспорт? Паспорт — дело долгое. Заграничного, как понимаю, нет?

— Его и сделают, — раздражение Артём скрыл, догадавшись, что в сказки о перелёте этот странный дядя вряд ли поверит, но рассказывать любил, потому и вырвалось, — мы перелетели через Волгу, на маленьком, ну типа того, что при въезде в город стоит. Из своего времени в это. Ваше.

— Военном? — спокойно, не трогая фантазий беглеца поинтересовался клирик.

— Нет. Я его сам нашёл. Посреди свалки. С надписью не по-русски.

— Ты и не по-русски читаешь?

— Три буквы русские, а две нет.

— Какие же?

— Первые две русские С и Е, затем два как бы крючка — вверху и внизу, они зеркально расположены, только в разные стороны, после как русская И, только повернутая и А в конце. Русская.

— Ну, перелетели...

— ...в лес, рядом с Курумочем, на парашюте — дядя Игорь приказал, потому что парашют один, а нас трое, он бы не выдержал, машина странная, он пытался ею управлять, а она летела сама.

— Как сама?

(Надо ж быть таким взрослый — и ничего не понимает.)

— Сама. С дядей Игорем. Больше мы его не видели.

— А дядя Игорь — это кто?

— Мой папа. Второй.

— У тебя двое пап?

— Да. Папа Витя прыгнул в море (чтобы плыть в Турцию, по заданию — мама так объяснила) с теплохода, мы на нем от Новороссийска прокатились, ночью прыгнул, и мы его тоже больше не видели. А дядя Игорь теперь с мамой, он мой второй папа.

— И как же ты с двумя?

— Они друг о дружке ничего не знают, — в глазах Артема засветилась хитринка.

— А когда узнают?

— Я их подружу.

— Ого!

— Но сначала полетим в Эмираты, это где-то в Африке, да?

— Почти.

— В Африке, я в атласе видел. Время пока есть — рассудитель-но добавил беглец.

- Останешься, может, у меня? Пока. Лады?
- Если привезти на шоссе, место узнаю, где сворачивать.
- Кто привезёт? У меня машины-то нет.
- А как думаете, я здесь оказался? Два раза подвозили.
- Сейчас всё непросто. У нас ведь события... ничего не заметил?
- Нет. Машин много, а событий нет.
- Военные. Много военных. С оружием. После 8 вечера на улицу нельзя только, если без спецпропуска. У меня его нет.
- Я ж маленький, проскочу.
- Маленького скорее задержат. Начни рассказывать, что я услышал, дорога будет одна — и я ей не завидую.
- Какая?
- В детдом, если просто.
- Зачем? Я не захочу.
- А кто тебя спросит? Это как армия. Только без войны.
- Ну, без войны не интересно.
- Вот и я думаю. Поживи здесь. У меня. С моей матушкой Марией. Будешь четвёртым. Хочешь — помогай мне в церкви. Дадим облачение, шитое золотом.
- Как ваше?
- Подносить свечки. Помогать на причастии. Всё узнаешь быстро. Ты ж сообразительный. И память неслабая, — улыбка о. Сергея была совсем детской.
- Артём чем-то напоминал своего сверстника Ермолая. О. Сергей отвёл его в музыкальную школу по классу пианино, а тот сбежал на флейту. Фонарик бегства светился из обоих.
- Мамка ждёт. Я не могу. А если улетит без меня?
- Она тебя любит.
- Не знаю, — честно выдал герой-исследователь — дядю Игоря любит (хотя думает, что я ничего про них не понимаю). И папу Виктора любит. Обоих. А у меня будет все своё. Но как я ее брошу?
- А что помнишь из года, откуда прилетел? Из какого, кстати?
- Из 74-го — Артем гордился памятью на цифры.
- И первый раз в церкви?
- Первый.
- А почему? Ведь всё уже тогда было разрешено. Родители молчали? А бабушка?

— Она партийная. И дед партийный. Оба ходили в обком на работу.

— Где обком, там теперь что-то совсем общественное. Рядом с музучилищем. Где я учился на дирижерски-хоровом. Так ты пионер?

— Даже хотел быть председателем совета отряда. Но Кононов Петька меня опередил, месяца на три, а я от музея Ленина, не снимая галстука бежал домой — по Замайской, затем — по Ново-Садовой до самой Остапенко

— Ещё что-нибудь вспомнишь?

— Как плыли на «Иване Франко», из Новороссийска в Батуми, родители всё время ссорились, думая, что я не вижу. А мама (он понял, что зашёл слишком далеко) взяла слово, что никому в школе не расскажу, с каким заданием папка прыгнул. Он лётчик — Артём закончил рассказ на ещё одной ноте гордости.

— И ты не рассказал?

— Рассказал, конечно. Тихону — он мне вроде брата, старшего (хотя младше на полгода). Взяв с него слово, что знаем лишь мы двое, а далее — могила.

— А что ж ты нарушил мамины просьбы?

— Потому что я старше.

— Старше кого?

— Старше мамы.

— ?!

— Вам сколько лет?

— 32, — с интересом вошел в игру о. Сергей (знаками показывая АннСтепанне, что не надо со стола убирать, он сам).

— И вас я старше, — подытожил Артём, — год какой сейчас?

— 2023-й.

— Значит, мне (он считал быстро, научившись перемножать в уме столбиком даже трёхзначные числа) — 49! А пусть бы и 9, я всё равно старше, и родителей, и вас!

— Отчего же?

— Возраст, — рассудительно изрёк малыш, — совсем не то, что думают, особенно, взрослые. Я родился взрослым. Когда из роддома везли, папке было 17, маме на год меньше, а я родился взрослым.

— И как же это?

— Бог его знает.

— Значит, Бог тобой руководит?

— Есть, только нам до него не дотронуться.

— Знаешь, мне с тобой (как младшему — и его улыбка окончательно Артёма обезоружила) интересно обо всем этом, но не на бегу, сейчас домой пора, чтобы подготовиться к вечере, поехали вместе?

— Нет, дядь Сережа...

— Отец Сергий, — любовно подправил его юный служитель.

— Отец Сергий, вот вернусь из Эмиратов, обязательно вас найду. Как старший — обязан просто. Я теперь за всех, кто младше отвечаю.

— Хорошо подумал?

— А я не думаю. Папка говорил (первый): «Думать надо после, когда всё уже сделано. Для удовольствия. Как соловьи поют». Они же для удовольствия поют?

— А ты и соловьев слушал? Не спиши? Соловьи свободны только по ночам.

— Я подслушивал. Специальном вставал — и на балкон — они наяривали знаете как! — над самым балконом. Там у нас груша растёт. А рядом две берёзки, вот они укроются в берёзках, а станет скучно, осмелеют — и в грушу. Рукой можно достать!

— Прямо-таки рукой!

— А то! Они поют, а мне думать, если уж по-соловьиному, никак. Редко, но сильно. И быстро.

— В общем, предлагаю последний раз. Никуда без тебя твоя мама не улетит. Сейчас и впрямь пускают лишь в Эмираты, а вот назад... Могут и не пустить.

— Почему?

— Война. Кто во время войны страну покидает, если не изменник родины, то кандидат в изменники. Мамка может и не догадываться, а вот Арина (тетя — как ты её называешь) наверняка в курсе. Видимо, дачу свою на маму и оставила.

— С кем война? — сжался Артем, сжался на глазах, куда-то делось всё старшинство его, вся бравада, всё прожитое за последние два дня.

— С Украиной, — только тссс! — о. Сергий приложил указательный палец к губам, — нельзя! У нас нельзя это слово вслух произносить.

— Нельзя? Значит, вправду война! Почему с Украиной? Мы ведь вместе!

— Были. 30 лет как разделились. Точнее, Украина думает, что разделились. И ушла на Запад. Может, и меня призовут — священникам есть что делать на войне.

— И я! И я хочу тоже!

— Дружище, тебе надо к маме.

— А я на войну!

— Для этого, — схитрил, зная, что хитрит, спокойно, даже отстранённо подтвердил не снявший рясы, — для начала останешься у меня, готов?

— Готов!

— Поработать служкой?

— Готов!!!

— Нет, не возьму. Слишком часто меняешь решения. Слово не держишь. С мамой тебе лучше. Точнее, ты старше, потому ей с тобой лучше.

— На войну! На войну!!! — у Артёма словно бы «засело».

— Подрасти, да и маму надо поберечь? Найдут её двое твоих пап, что меж ними начнется! А тебя-то и нет. Кто ещё поможет?

— Дядь Сережа!

— ...отец Сергей!

— ...отец Сергей, я старший! Вдруг эта война — последняя?

И мне уже никогда-никогда там не побывать?

— Ты мужчина. Тем более, старше всех. Сначала найди мать. Отпустит — вперёд.

— Не отпустит, ей страшно здесь, а мне...

— ...а тебе?

— ...а мне это всё подходит, эта ваша Россия подходит!

— Я тебе открою правду. Только ее нельзя никому...

— ...если никому нельзя правду, кому выгодно её скрывать?

Врагам? Вы тоже враг?!

— Война эта неправедная. Мы напали, а не на нас. Как это называется, сказать?

— Как это мы напали?! Мы вроде немцев?

— Мы теперь на их месте, Артём, других «немцев» нет. И нас ожидает страшное возмездие за то, что напали. Не надо тебе во всё это. Да и не возьмут.

— А я проберусь!

— Слово, данное маме, держи. Оно и спасёт. Не только Божье. И всё получится.

Они уже выходили во двор, полуразбитый, ремонт которого всё не начинался, на улицу, мимо ворот, где на углу вечно сиживали двое побирушек — Настёна и Ольга (отчеств у них не было, сидели отнюдь не скорбно, зная, что мало кто подаст, их часто подкармливали, но не больше).

У о. Сергея зазвонил в кармане телефон, доставать его владелец не спешил, крестя и не отпуская Артема одновременно, — ты должен дождаться отца, обоих пап. Сейчас это и есть твоя война, твоя.

— Возьмите. Возьмите меня! — Артем не унимался.

— Ты же старше. Ну, возьму — совесть замучит, убежишь. У тебя и совесть старше нашей. Ну, так начни взрослеть по-настоящему, — и вновь перекрестил сына трёх родителей, один из которых станет лишним. Но разве бывают лишние родители?

XXII

Переживать некогда. Правильно поступил, отправившись на разведку в этот, оказавшийся новым, город, в заманчивую новую страну, которая зачем-то напала на свою же область. Или республику. Республика-страна. Да, он старше обоих пап, любивших маму и самой мамы, старше этого батюшки в чёрном облачении, которое выглядывало из-под какой-то странной одежды навыпуск, он сам себя назначил старшим и надо соответствовать. Ему девять? И что? Не далее, как вчера он влюбился в Лолу. Насчёт её — выяснить унизительно. Старшему, особенно. Ты потому и старший, что никогда не умрёшь. Ведь сейчас не умираешь? Значит, в тебе вечность. Вся. Откуда взял? А откуда я должен брать, когда приходит само?

Он сразу сориентировался в родном странно сдвинутом городе. Номер троллейбуса, въезжего до Луговой, помнил. Главное, добраться до развязки с истребителем.

CESSNA и была чем-то вроде истребителя. Который взлетал сам. Он ещё не знал слова «беспилотник», но видел, как взлетает авиамодель на поляне одной из просек, если ведут на верёвочке, вроде коня или козы, потом бегут, заведя моторчик (если он есть, а бывают и просто планеры). А ведь CESSNA именно их и ждала.

Так он думал в тесноте троллейбуса, вновь не платя (у о. Сергея постеснялся попросить), главное, не прозевать истребитель, а там кто-то подберёт и надо (он слегка напрягся, вспоминая де-

тали при повороте на дачу Арины), надо, чтобы ехали помедленней (он планировал весь путь, всю удачу, как будто она уже состоялась).

Мешал пассажирам сходить, но его не толкали, люди явно стали вежливей. Конечная. Оглядываясь, сошёл, это был круг, пришлось возвращаться.

Наконец, пошёл вдоль трассы, не голосуя. Потому что не умел. Стеснялся, сам не зная, отчего. В конце концов, часа за два-три он бы дошёл и сам. За мать был спокоен, она пассивна, даже не надеялась на его возвращение. А он взял и вернулся. И билеты в эти непривычные Эмираты минимум на завтра. Значит, вновь всё правильно. Главное, успеть до темноты — в темноте он бы навряд узнал поворот.

Никто не тормозил. И хорошо. Даже — ну, пусть так — если прозевал — вернусь или сделаю ещё один бросок по трассе.

Он совсем не одинок. Радость переполнял. Никогда, ни разу не побывав дальше Багетти, он все же имел представление о столице. Валерьян, ставший Сечинском, явно приобрел в его глазах что-то столичное. Лица, особенно молодые — стали раскованнее, но какой-то испуг между ними бродил, или готовность к испугу.

Не заметить людей в зелёном и пятнистом, людей с повязками у перекрёстков, с какими-то чёрными коробками на ремне (из которых торчал металлический пруттик с кнопкой на конце) конечно же, не мог. Он бы не удивился и танкам. На майских и ноябрьских парадах у него в горле стоял ком гордости, когда видел танк.

Всё-таки жалко мать. Она такая маленькая, такая растерянная, мечущаяся. Ходит, небось, по даче — с кухни на второй этаж, по саду, не зная придёт не придёт, что с ним? Который почему-то её — старше. «Никогда не жалей» — возник чей-то голос внутри, — ни на «папу Вити», ни на «дядю Игоря» этот был не похож.

«Никогда не надо», — повторил ясный голос — а дорога сворачивалась и распрямлялась, уже последние высокие застройки пропали, он шёл, не чувствуя холода, как идут, потому что идут, когда не дойти нельзя. Нельзя и всё.

Стали слышны из лесопосадки птицы высвисты, наверное, стрижей. Знал и другие имена — овсянки, сорохоусты — учила прабабушка (которая его и крестила, никому не сказав, ему тоже). А соловьи? Соловьи вступят, когда другие смолкли.

Чтобы не устать, не потерять концентрации, он пытался чем-то вроде молитвы соловьев приманить, с ними он не прозеваешь поворота, потому что поворот — да, он вспомнил, будет единственным, лесопосадка там гуще — и она как раз стала сгущаться. Соловьи же, как нарочно, медлили, оставаясь в засаде.

Хотел бы ты сам стать соловьем? Ожидая умолкания выскочек. Чтобы царить невидимо и недоступно. Хотел? А может, лучше ястребом? Или сапсаном? Беркутом? Кто ещё из хищников отзовётся?

Да, поворот, он самый. Не может быть! Дошёл? Без сил — оказывается, можно и без сил! Все точно. Успел, в сумерках, но рисунок деревьев совпадал, ошибки нет. И он ускорился уже по просёлочной. Одолевая бугорки, не обращая внимания на пыль, пыль даже на зубах (кажется, нечищенных).

Теперь никаких преград, расстояний, ты на единственной тропе. Охраняется кузнечиками, где-то поодаль и лягушками — значит, близко, совсем близко пруд, или тонюсенькая речка, тропинку то и дело сужали кусты, барбарис, что ли. Отступали берёзы, перемежаемые сосняком, осины, клёны. Вдалеке — на глаз определить трудно — в километре, в двух ли — замаячили крыши. Дом Арины не смотрел на проселочную в прямую, ещё поворот направо. Так и есть.

Его заматывала дачная тишина, сквозь которую совсем некстати — нужно сосредоточиться, чтобы не ошибиться калиткой — возникли те самые соловья, как бы висящие в пустоте, глаз выколи, но место их засады было не определить.

Артём вспомнил узор калитки Арининой дачи — приметил при въезде и как же хорошо, что сумерки слабые, что наяривали те самые соловьи, как бы висевшие в пустоте и — а вдруг правда? — направлявшие именно к заветной калитке. Надо прибавлять ходу — нет, другая калитка, и эта другая. Он всякий раз ещё и отходил к противоположной стороне просеки, чтобы разглядеть крышу дачи — похожа ли?

Узор совпадал. Справа на не очень большой высоте располагалась кнопка вызова. Нажал, прислушался. Ещё. И в третий раз, не отпуская пальца секунд пять-шесть.

Никакого движения.

Ошибка не мог. Поворот, калитка, крыша — всё совпадало!

— Мама! Что с тобой?!

Стал соображать — за что зацепиться, если перелезать через забор. Металлический. Кое какие выступы имелись на столбах, за-мыкающих калитку с обеих сторон.

Приладился к ним и, обдирая колени (голые), пополз как яще-рица. Оставил свободной правую руку, левой попытался ухватить верхний край забора. Пришлось ползти сильнее, прижимаясь к столбу. Есть! Обдирая теперь уже левую ладонь, успел перебросить на край забора и другую руку, а там, перевалившись через острый край, как над планкой при прыжке в высоту, полететь на землю все-го-то с двухметровой высоты, растопырив чуть пораненные руки.

Тот самый дом. Непривычного строения, с балкой специально как бы перечёркивающей фасад — та самая, всё не зря, он добрался! Черным-чёрный. И тихий. Даже соловьи, как бы сочувствуя, смолкли.

Артём вытер пораненные ладони о не слишком буйную траву и взбежал по ступенькам, по которым утром уходил крадучись. Дверь не защёлкнута — это привело в ужас.

— Мама!

Ответа не последовало.

— Мама, ты здесь?

Воздух молчал. Соловьи, выдержав паузу, замолотили крепче прежнего.

Не было нигде.

XXIII

Не бывает одиночества полного, замкнутого, не бывает его слепой тьмы. Обязательно сравниваешь, инстинктивно, ищешь (прежде, чем сдаться) с кем разделить, снивелировать, нейтрализовать, куда ткнуть, на какие кнопки, во что уйти, чем накрыться, если оно лезет, одиночество, из всех щелей.

Разлучённая с Павлом на таможне, Майя, склонная к ожиданию худшего, заставляла себя рано ложиться спать, но сон едва приползал с рассветом, отсыпалась (так и не порвав с «Авалоном») на выходных, чем опять же сбивала организму ритм.

Ей практически никто не звонил. Приходя с работы, ложилась на ни разу не собранную диван-кровать, механически включался телевизор, заполняя всё звуковое пространство, слушать Ютуб про ситуацию на фронтах выше сил, уставала и от познавательных. Пробовала возобновить английский, ломаясь на четвёртом-пятом

уроке, затем начав испанский (у Павла нашла учебник какого-то поляка, но примерно в тех же пределах с английским почил и язык Сервантеса), метнулась к польскому, встряхивая детский Пшиштоф — здесь облом настиг на рекордном седьмом уроке. Наконец настал черёд и чемодана с пачками долларов.

Она с головой ушла в анализ вторичного рынка, желая найти что-нибудь поближе к их району, к дому, где продолжал бесчинствовать не желающий с ней общаться сын, талантливый архитектор, прогнавший всех друзей и единственную терпевшую его Василину, чьего ангельского характера хватило аж на два года.

Выбирала, держа в голове собою же установленный денежный лимит (максимум — половину из привезённого), присматривая не слишком дорогую мебель.

Неделя поисков прошла впустую: то метраж, то слишком длинный коридор при малой кухне и такой же прихожей, то вид на двор упирался в какой-нибудь «точечный» небоскрёб, то наотрез отказывающиеся выкинуть обстановку хозяева, то расхождения цены между объявленной и реальной, то район, слишком далёк от Волги, то старый дом на каменном подполе — без горячей воды в месте, практически идеальном, но сколько ещё простоят?

В «Авалоне» беспринципно выросли продажи, она получала вдвое больше, нежели до истории с военкоматом (вероятно, действовал магически позитивный, лучезарный вид), записалась на фитнес — и полилась энергия, как в 90-х, когда заказы схлынули, а возможности предпринимательства расцвели, как майские одуванчики.

Она ещё лелеяла наладить отношения с сыном, который не позволял вида, что ревнует к Павлу (ни разу не увиденному, Краев брался их «примирить», на что Майя вскипала — это была высшая точка их не-ссоры).

Но чудо (всплытие откуда-то Павла) не приходит одно.

Девятнадцатый этаж, вид на Волгу панорамный, угол Войнова и Щорса (рядом с площадью Валерьянова) — владельцы уезжали, продавая с дикой скидкой, Майе повезло дозвониться первой. Жильё передавали как собаку — в хорошие руки.

Жизнь обретала новый смысл. Пригодилась и художественная школа и даже вымученные годы музыкальной. Семь вариантов дизайна пошли в мусорное ведро, восьмой взял её сам. Здесь камин,

здесь кровать (ориентированная по всем правилам фэншуй), для 12-метровой кухни, вызвала мастера, задурив ему голову сочетанием прямых линий и по лекалу, нашла холодильник, чтобы вписался в угол, где свет не исчезал до заката с его чудной акварелью, платяной с зеркальной дверцей определила в коридор, туда же и открытые до потолка полки, в магазине (из самых дорогих) высмотрела настольную (под старину) лампу, с люстрой было посложнее — ни одна форма не устраивала, пока не выпала похожая на горизонтальный вентилятор, опять же, модерн, жалюзи в обеих комнатах (одна выходила в просторный, хотя и затенённый двор с потрясающей акустикой) предпочла традиционный тюль — в большую комнату с голубоватой строчкой, в малую — просто бело-прозрачные, тратиться на стеклопакеты не пришлось, хозяева спешили, не стала спрашивать, чем вызвана скидка (видимо, уезжали по всем приметам за границу, даже поняла, в какую именно — Павел намекал о ней же. Мол, если совсем станет жёстко и стеснённо, давай выстроим запасной аэродром, а иначе зачем его пятый пункт? Пусть работает. Она отчаянно слышать об «аэродроме» не хотела, прикрываясь сыном, идиосинкразией на жару, вообще неспособностью к перемене мест, а уж про Киев и речи быть не могло — война поставила на нём крест, отчасти стыдливый, отчасти связанный с долгой, как Павел объяснял, затяжной порой восстановления, хотя жить — после ожидаемой победы — будет уже не столь опасно, ракетные обстрелы, подобно палестинским из Газы на север вплоть до Тель-Авива, вряд ли прекратятся).

Через возвраты Краеву подробностей его же прошлого, вышибленных амнезией сорока с чем-то лет, её собственная память неожиданно улучшилась без изнурительных тренировок. Теперь и её — в подробностях — эпизоды стали (наравне с Краевскими) перепрыгивать друг через друга, порывая с линейным течением времени.

Природы «прыжков» Майя уже не тщилась понять, хотя инстинктивная любознательность не делала разницы меж насущным и праздным, меж вредным и питательным, и бывало, наткнувшись в муже на какую-то любовную (или псевдолюбовную, как он считал) историю, могла выйти на час-другой из себя, чтобы закурить на балконе (Павел раздражался), обойти вокруг дома, затосковать и вернуться, пообещав более никогда не провоцировать на лишние

рассказни, однако зная — это выше сил, выше разума и попытка владеть собою может обернуться онемением чувств, если не полным атрофированием.

Отдыхать так и не научилась. И когда проектировала одежду, и когда преподавала это же проектирование, и когда моталась с полосатыми баулами в Москву на Лужниковскую ярмарку, а потом открыв собственное дело, но что-то не поехало и ушла в продавщицы, оставаясь изящной при всех (чаще по нервной причине) перепадах веса, и если бы не привычка отражаться в любом попутном или стационарном зеркале, она бы и забыла про возраст. С Павлом они забывали вместе. Сначала он в этом признался, она верила-не верила — иногда сдавалась. Но даже сдавшись, порой уходила в себя, сворачивалась, представляя, как это было у него с другими, сколько их набралось за все годы без неё, тем более, что в двух книгах, поведение было столь детально ярко изложено, что на выдумку не тянуло, хотя Краев и нажимал, что художественное слово неизбежно смещает правду, реконструирует её и смазывает подобие.

Она в десятый раз оглядывала сотворённую расстановку, передвигала стол (подобие письменного, с внутренней полкой для клавиатуры, если ноутбучная откажет) к окну, потом от окна вправо, меняла скатерть на кухонном с белой узорной на клеёнку, вообще на никакую, как бы по-деревенски, изыском, жилье всё время обретало какие-то новые он — так её муж переделывал свои опусы, запутывал их последовательность, не умея выбрать лучший вариант, включал в книгу первый попавшийся, потом страдал от поспешной ошибки. Опять он, Паша, Пашечка, возникал совсем не стихийным психологом, видящим всю картину первым же прицелом — до страшного и лазерного, а долгим юношей, стеснительным, робеющим её, (так выходило по его словам), чем дальше и чем лучше с ним было, тем удивительней казалось тающее начало, где не было ничего-ничегошеньки, если не считать трёх-четырёх прогулок по Строгановскому скверу и через площадь имени наместника Партии с кепкой, прижатой к галифе, также сватовства к ней, и своего невнятного отказа, принятого не важно, по какой причине.

Суеверно боялась расслабиться счастьем — столько раз оно смыпалось, названное вслух, потому в её витальности сквозила настороженность, казавшаяся игрой.

О войне, длившейся уже около полутора лет, задумываться было страшно. И всё же, трава этих раздумий, ужасов, сопреживаний просачивалась сквозь все заслоны. Как часты налёты, как он там ходит по улицам, впустят ли назад?

Самая близкая подруга в Питере, с ней не обсудить, редкие беседы по мессенджеру касались творчества и быта, вторая, присылавшая какие то немыслимые ролики, якобы смешные, стойко выдерживала веер болячек и спасалась благодушием, с третьей вроде бы и можно было исповедничать, но в её авантюризме с переменой мест работы и убеждённым отказом от мужчин (после трёх попыток налаживания семейных уз) возобладала непредсказуемость — она исчезала на месяц, на полгода, не реагируя на звонки, потом оказывалась либо в депрессии бог знает где, либо в гордом раунде борьбы с тем же одиночеством, выпускающим щупальца ревности ко всем, кому жизнь хоть в чем-то улыбнулась.

Да и не попал ли он в одну из своих же временных ниш?

Сама же подсказала, как вырвалось тогда, на подъёме к Майстрюкам: «Думаешь, ты один неотсюда? Вдруг я тоже?».

Страшно, когда сами собою вырвавшиеся слова, тащат в неразрешимый омут.

Жила же она — забыла сколько (с арифметикой вечные нелады), никого не трогая. Когда кончится весь этот бред, развязанный по воле одного якобы человека («нелюди» — настаивал Краев)? Когда кончится хотя бы телефонное молчание, похожее на всю воре-зах её не самую смелую жизнь?

XXIV

Надоевшим (казалось бы) маршрутом — вниз к Волге, затем вдоль — до начала Луговой и к Подпольщикам) шла гулять, как на работу. Подниматься (если не после пляжа, но какой пляж, в ноябрь? Или октябрь? Господи, господи...) становилось тяжелей, а ведь недавно с Павлом, обретающим себя заново, соревновалась — кто выносливей — и выносливей была она.

Жара прям-таки летняя. Парочек на набережной пять-семь, памятник основателю столицы Жигулей князю Сечину, который взнуздывал бьющего копытом коня, стоял будто все 460 — или сколько там лет? Но что-то зыбилось, какой-то рокот — не самолёта, нет. А может и самолёта. Чуть поодаль композиции, отлитой по

эскизу сына Захарьянов (Майя зафрендила его в Фейсбуке и отмечала каждый «выход в свет») вырос танк. Возможно, это был передвинутый с Остапенко танк времен Великой Отечественной. Но, подойдя вплотную, она заметила, как из башни высунулась голова командира, штурмана ли — не в шлеме, а в бейсболке и чёрная маска почти до глаз напомнила об утихающей, но все же пандемии.

Удивительнее было, что страшилица с пластиначатой (согласно устоявшейся военной моде) защитой никто не замечал — молодняк выражал на самокатах, пенсионеры новых лет посиживали, уткнувшись в свои гаджеты, люди же другого замеса, одетые скучно, с руками то за спиной (созерцатели), то прижатых бёдрам (одна прижата, другая помахивала, как на параде), глядя в сторону танка, его не видели, а сквозь или огибая, как недоступного радарам, видели всё, что надо.

Поднимаясь к трамвайным путям, увидела ещё пару танков — по обе стороны Замайской — на них тоже никто не удивлялся. Более того, малышня, любопытствующая при любой погоде, отличалась (относительно привычек возраста) странным равнодушием к этим «игрушкам». Автобусом надо было заехать домой за квитанциями уплаты за квартиру (собственниками которой были они с Антоном напополам), всего два средней протяженности отрезка, и Майя с привычным безразличием скользнула по лицам сидящих. Одно её, впрочем, привлекло. Девушка, точнее, девчушка, была в застывшем испуге, как бывает в плохих, истеричных даже, фильмах о «конфликтной жизни». Хотя испуг не ясно чем, выделялся. Лицо было с намёком на виденное давным-давно. Майя проехала свою остановку, исподволь наблюдая за девушкой, чувствуя, что наблюдаемая сама не знает, куда и зачем едет — бывали секунды, когда интуиция включалась, будто крот-будильник. И что-то подсказывало: не отпускай её.

Конечная была сразу же за памятником Ли-2 на развилке Московского шоссе и Кирова. Сошло трое последних — она сама, предмет её наблюдения, и быстро исчезнувший парень в наушниках, нескладный, ничего не видевший вовсе.

Майя держала девушку в фокусе, а та озиралась, ей надо было явно дальше. Сесть в тормозившие автобусы никак не решалась, о чём-то спрашивала выходящих и входящих, никто ей, видимо, внятного, не отвечал. Наконец, Майя не выдержала.

— Извините!

Девчушка вздрогнула, будто её поймали.

— Я вас видела, давно?

Девушка искромётно «считала» Майину прическу (Павел отучил от расчёсывания), а также изящество, не совсем природно-сечинское.

— Вы мне знакомы тоже, — объявила только что суетившаяся, — вы... нет, не вы, похожая на вас, только младше, моих лет, вы, то есть она, ехали компанией на Грушинский, на двух лавках по обе стороны от прохода, Вы... самая весёлая. И ещё парень, чернявенький, вы ему нравились, но как-то робко...

— Это же... 71-й! Полвека тому! Но вас там не могло быть, вам и 30 не дашь!

— Это была я.

— ???

— Просто вы немного... но в целом почти не изменились.

— Спасибо, но как же вы...

— ...Ваши, — Катя не дала ей договорить, — ямочки, глаза — один в один, только жесты были чуть быстрее — я хорошо запомнила.

— ...как же вы, — иногда Майю было ничем не сбить, — попали в начало 70-х?!

— Наоборот. Как я сюда попала, — Катя расхрабрилась, её и так почти раскрыли, — сын и... одноклассник мужа, мы были за Волгой, сын убежал, мы нашли его в «двукрылке». Она и перенесла из сентября 1974, сюда, вам это покажется бредом, но мне всё равно, я не знаю точно, какой сейчас год.

— 2023. Или 2022, — я запуталась, уже всё могу допустить.

— Нас, — продолжила Катя, — подобрала на шоссе женщина, сына и меня, Игорь улетел дальше, думаю, что и он где-то в этом же времени, только...

— ...он вас ищет? — Майе, чтобы не сойти с ума, требовалось принять всё, как должное (с момента «всплытия» Павла из «небытия», в голове ничто не укладывалось, и Краев предлагал «выносить это за скобки»).

— Что ему ещё остаётся?

— А танки? — Майя решила идти до конца, — вы не заметили танков? Их никто не замечает, или вижу одна я?

— Танки? Зачем танки? Сын сбежал с дачи, хозяйка с дочерью улетели в эти... Эмираты, звала и нас, но куда я без сына? Ему 9, вот ищу его, глупо, решила вернуться, может он уже там.

— У него есть телефон?

— Откуда, — вздохнула Катя, — хотя... ему либо подарят, либо заработает: здесь же дети (я заметила) подрабатывают на перекрёстках, а он активный. Ой, мне пора.

— Я с вами, — Майя забыла, что каждый вечер, начиная с шести преданно ждала звонка,

— Проверим, на месте ли ваш, если нет, записку ему оставим и ко мне, идёт?

Катя не ответила. Майя вызвала такси по телефону, с трудом, но поворот с шоссе в сторону Арининой дачи нашёлся.

Пустой, как и ожидалось.

В записке на кухонном столе (Майя настояла, чтобы засунуть её в ручку двери на веранду тоже) Катя указала Майин телефон, за-клиная либо дождаться её, либо позвонить с любого номера, Майя дополнила своим адресом, и они (обе голодные) с ветерком добрались (на том же такси) до сверкающего белизной жилища.

Панорамный вид на островки в обе стороны течения, лес и синеватые Жигули бросили Катю в предполётное на той стороне, где ничего не хотелось менять, выбирать, отбрасывать, особенно, рук Игоря, обнимающих со спины, и убегание сына (с чего всё и началось), круг замкнулся.

Он замкнулся фотографией в рамке, той самой, что была и в Арининой спальне.

— Это же Грушинский?!

— Да, — Майя успевала повынимать тарелки, сполоснуть их, делая всё одновременно — в ней проснулась Катиных же лет девчушка, потому что проникали те годы в эти, обратным ходом проникали тоже, во все навалившиеся, а сейчас и просто заслоняющие те, — мой Павел в центре, внизу.

— А нынешнего покажете?

— Сниматься не любит. Во мне это плохо уживаются.

— И во мне, — Катя словно бы исповедовалась, — я тоже со всем рядом, одна (у Виктора дежурство), Артёму... 7? Или 6. Хотел ехать со мной, не взяла.

— Сколько вам было? Когда ехали в той электричке?

— 23.

— Мне 22. Я теперь мучаю Павла: на полвека меня бросил, простить не могу...

— Что вы, отпустите! Моих-то двое, я, когда явилась в КГБ на приём, чтобы рассказать, как Виктор бросился в море, «выполнять их задание», там сидел Игорь и мы оба потеряли голову — я уже не верила, что Виктор вернётся. И через год отпустила бы, но Артем за Волгой убежал в лес, мы его искали, нашли в самолёте (на свалке) самолёт нас и «доставил» сюда, в эти «ваши»... и опять сентябрь, ведь сентябрь же?

— Не уверена, — созналась Майя, — не уверена теперь ни в чём. Вы хоть дату своего знакомства не потеряли, а когда мы в клубе молодежном встретились, вообще день стёрся — у него и у меня.

— Да, быстро началось — в тот же вечер пришел предупредить, что меня взяли «в разработку». Всё тут же и произошло...

— Жизнь без него теперь прощать жалко. И чем лучше нам, тем трудней простить...

— Он у вас один и вам известно, где...

— Известно, что может, назад и не впустят...

— ...а я не знаю, с кем я, кого искать? Вдруг найду — обоих.

— Зато у вас они — оба, возможно, здесь — и приплывший, и тот, что из-за спины обнимал... Павел тоже вне возраста. Его даже попытались забрить в Москве.

— Забрить?

— У нас война. На Украине. «В» Украине, — усмехнулась, мобилизация (вторая или третья волна — забыла, всё забываю). Метут на улице, на работе, повестку в зубы — попробуй уклонись!

— Война? Какая война?!

— С Украиной, напали, как в 41м — в 4 утра, обстреляли ракетами главные города...

— Постойте, а бойня, о которой Арина намекала (я ничего так и не поняла)...

— Видели в центре меж высотных домов ямы? От сожжённых домишек? Людей выволакивали из высотных и увозили, потом никто не искал. Уже выветрилось. Все привыкли, да и я не лучше? Яичницу из двух или трёх? (Павел делает из пяти), кофе заваривать, как он, терпения не хватает молоть зерна в пыль, может, зелёного чая?

— Нет-нет, ничего!

— Бросьте, ночь долгая. Его не впустили, когда мы возвращались из Будапешта, улетел назад с украинским паспортом, а война заканчиваться не собирается, гражданин вражеского государства! Вот, квартиру только-только выкупила...

— А поехать к нему?

— Бросив сына? Больного (пусть и не клинически)? Как?

— Вы словно бы себя уговариваете!

— Кто выпустит? Я у них на крючке.

— Я тоже была на крючке. А вдруг оба найдутся, что мне делать?

— Не гадайте. Я такая же была до Павла, и пока его нет, здесь нет — она обвела кухню и — случайно — линию горизонта с горами, — я, наверное, и есть он, точнее, как он любил, любит выражаться *«я — это мы вчерне»*.

— «Вчерне», — повторила Катя, — красиво.

— Помешалась на его цитатах *«Понимать не обязательно, умирать, наверно, тоже»*.

— Не обязательно, — уже не удивленно вышло у Кати эхом.

— Катя, вы такое сейчас открываете... Я ведь почти смирилась, что не впустят...

— Почему?

— Война. Павел объяснил: мы теперь все зэки, я боюсь признаться себе же, что готова жить без него, если вынудят, я ему заранее дала свободу (от которой только и делал, что отбрыкивался), но боюсь, он со мной разделит нашу вот эту... — она искала подходящее слово, но кроме «ад» ничего не шло, — наш «ад». Давайте что-нибудь съедим, а сколько времени?

— Три, — нашла Катя на телефоне Арины.

— Поживите пока у меня, вам ведь негде?

— Я не искала...

— Остаётесь, — Майя уже не спрашивала, — я на диване, вы в большой комнате, не возражайте, не отпушу никуда. И разговором обещаю не мучить.

— Я забыла сказать — Катю остановить уже тоже было нельзя, — там, на снимке, девушка с распущенными волосами...

— Смотрит как бы на Павла? Моя подруга...

— ...оказалась матерью мужа моей Арины, которая звала в Эмираты...

— ...но вы не позвались... — Майя доставала постель для Кати, когда почудился странный звук, а, может, и не почудился.

Звук требовал, впивался занозой, раздаваясь из кухни, где за-была телефон.

Это был зуммер ватсана. В настройках поставила на минимум, да и кому звонить, кто (кроме реклам с каких-нибудь островов) её домогался бы в три ночи?

Номер незнакомый, с префиксом 38. Полосочка «ответ» долго не отжималась.

На экране появились цифры отсчета разговора, на том конце молчали (а там, где должна быть физиономия звонящего, пусто).

— Спрашиваю последний раз, — Майя придать тембру суро-вость, — или вешаю трубку.

— Майя, — раздался знакомый, такой родной, порою не вла-деющий собой, но всё равно самый-самый из голосов, — скоро. По-звоню с другого номера. Держись!

Это был Краев. Она захлебнулась, будто страшное «скоро» на-ступило и прошло.

XXV

И был вечер, и было утро, а потом снова утро едва ли не близ-нец первому и близнец на всю безграничную перспективу без-действия, в измерении, конечно же, смерти, потому ли что — разве не смерть бездействие, когда всё чувствуешь, видишь, а повлиять ни на что не можешь? Теряя счёт времени, будто на необитаемом острове.

Острова Зеленого Мыса для Соустина с детства были ничуть не дальше и не заманчивее других, например, Мальдивских или Соломоновых.

Он разгладился лицом, старался не полнеть, Анне это удава-лось лучше, надзор «топтунов» (а их было сколько нужно, казалось, что и ресепшен бдит), и ни шагу даже на наиневозможнейше ласко-вых песках не сделать, и заплывать дальше, чем на метров пятьде-сят не дадут, хотя никаких тебе буйков, еду чернокожие подростки в униформе и лайковых (вряд ли настоящей лайке, ну, а вдруг?) пер-чатках доставляли по расписанию, если же супруги задерживались на пляже, доставляли в момент прихода. Кухня привычная, всякие лангусты и местная рыба — по желанию, Всякие экскурсии чету Со-

устинных не интересовали, оставшийся от португальцев форт можно было посещать бесплатно и без толмачей — Иван Арсентьевич усмехался, сколько теперь стоит? Стоит, стоит, но купить некому, кто позарится на эту клетку, обитаемую лишь для вида?

Телефон был, только не спутниковый и не свой (отобранный ещё до начала допроса, в предоставленном были все те же функции плюс (вероятно) функции слежки, даже при выключении гаджета. Ютуб не фильтровался, но сделать вывод из мониторинга разномастных интервью, якобы срочнейших и «поставивших на уши» весь Интернет роликов, а то и просто кликушествующих, было не то, что напряжно, догадывался вольный узник, его намеренно забрасывают, заливают этим цунами, чтобы надоело, чтобы атрофировать инстинкт выбора, хотя без него кто б его сюда выслал, кто бы стал готовить посаженного к роли спикера, фронтмена якобы свободной России? Круг, точнее овал, гибкий, меняющий очертания от приливов Атлантики, замкнулся на этом благословенном и усыпляющем Кабо Верде.

Интернет был мерцающий, с перерывами на несколько дней, газет Соустин забыл, как читать (по-русски попадалась одна из пропагандистских, подобная летучей рыбе в собственном же соку, изжаренной на белом песке, а в англоязычных — Нью-Йорк Таймс и др.) разноголосицы мнений о России было исчезающее мало.

И вдруг (он запомнил дату: 24 февраля, сразу после Дня защитника Отечества, который, как Штирлиц, отмечал при любой погоде и в любом акулье-медвежьем углу), всё развернулось в сторону родных палестин, для представления которых его, собственно, и готовили. Всё, о чём кликушески (так ему казалось) предупреждала штатовская разведка, произошло. Полетели ракеты по Киеву, Одессе, Львову, Мариуполю, Харькову и Запорожью. По всем крупным городам. С четырёх утра, как 22 июня в уже замусоленном до протирания всех дыр пропагандой сакральном, суицидно-сакральном жесте: вот наше всё! Как Пушкин — только по-настоящему смертельно. Смерть и величие — близнецы-братья, вот наш смысл, наша национальная идея, долой маски, долой этикет, ложь о всеотзвукчивости, о терпении, братстве и прочих родоплеменных штучках. Мы несущие смерть ради смерти, ради доминирования ордой, какую не жалко ни внутри, ни на параде мясных штурмов.

Соустин помрачнел, скованный своей сладкой робинзонадой, — они действительно, шахиды, не знающие, что их достанут на

любой глубине, в любом бункере, хоть в скальной породе? Они думают, что загнанные в угол крысы уцелеют (хотя загоняют в этот угол именно полурасслабленный Запад, где нет боеспособных армий — зачем, когда несколько тысяч Томагавков нацелены на каждую из шахт с ядерным зарядом (слухи доносились, кое кто пробалтывался, кто-то намеренно сливал из Пентагона эту информацию, не понимая, что идиотов пугать бесполезно).

Зная, сколько непростых голов умеют строить всяческие лабиринты (что идиоты другого плана зовут «конспирологией»), Соустин, который геройски попытался принести себя в жертву там, в Сечинске, решил: пусть всё течёт, как течёт, как стоит, как испаряется или как там ещё? — он всерьёз (о чём, казалось, давно забыл) обеспокоился шансом собственной ликвидации. Как раз на пике этого блицкрига (что Украина падёт, сомнений не было, её сжимали с трёх направлений, у неё не было ракет — отдали ещё в 94-м в обмен за Меморандум о сохранении целостности. Который кто стал исполнять при оттяпывании Крыма?). Теперь и вовсе кранты, а там кранты Польше и оказавшись перед угрозой расчленения НАТО, перед потерей всей Европы, Штаты, конечно же, задействуют (помогая или с закрытыми глазами) свою антибункерную программу.

А его, как свидетеля разных взаимоисключающих планов по «санации Сечинского мятежа», просто и бесшумно шпокнут. Или отправят.

По инерции смотрел с Анной какой-то американский фильм-катастрофу (который непременно, до зевоты, кончится победой добра, и герой в дыму взрывов не забудет спросить свою легкораненную и отстреливающуюся подругу: «Ты в порядке?»).

От этого «в порядке» тошнит. Праздника бы, воли, мига — неостановимого и неприступного законам (физики, в том числе), тому, кто не сломался, поддаваясь, соскальзывая в «не то», в тупиковую рефлексию, которую — Боже, кто это мог быть, не Шибаев ли? — окрестил кто-то «ямой безвременя».

Анне же нравилось всё — исключая гостиницу. «Ты, прям, пушкинская старуха, — подначивал Соустин, — скоро и до владычицы морской дозреешь, ну, где нам ещё жить, в каком бунгало? О даче грустишь? Не отберут, ну, потерпи малость...».

— Сколько? — твёрдым контральто не переспрашивала, нет, сама же и утверждала.

— Ты что, не знаешь?

— О чём? — Анна дожимала обиду, не поднимая головы.

— Взгляни, — он придвинул гаджет с роликом от одного из украинских спикеров, — ничего не напоминает?

— Какая война? Кто напал?

— *Наша матушка Россия, всему свету голова!*

— С каких это пор ты стал заглядывать в русскую классику?

— Анечка, всё хуже, чем кажется. Нас расколошматят, сотрут.

— И ты в это веришь?

— Я, — отзеркалил Соустин, — да я молюсь об этом, в ином случае нам не жить с тобой.

— Мне, Вань, здесь тепло, круглый год тепло ...

— ...а кто нас кормит, знаешь?

— А кто нас кормил в богоспасаемой нашей большой деревне?

— Если Украина падёт, думаешь, продолжат кормить? Ну, и тебя, как свидетельнице. Как декабристку «врага народа» Ивана Соустина.

— Не Сусанина, уже неплохо. Мы идём купаться?

— Иди, нагоню.

— Хочу с тобой, как в самые-самые моменты, — протянула, вытягивая губки.

— Я нагоню, кое-что дочитать надо.

— Нет, — она уселась ему на колени, чего раньше стеснялась, близоруко взглядывая в самую что ли душу.

— Нравишься, нравишься, Анечка, подожди.

— Ты же меня, Вань, любить никогда не собирался? Я не права?

— Меня бы стаканчик виски устроил, а ты, кажется, забежала вперёд!

— Если хочешь читать, ну, то есть, думать, обдумай-ка способ, как отсюда сбежать.

— Куда?

— В Португалию, у меня же второй португальский тоже, забыл? Здесь хорошо, но, знаешь, «Африка мне не нужна». И не обманывайся — тебе тоже.

— Решила выяснить до самого не могу? А разве ты не была влюблена?

— В кого?

— Да хоть в Шибаева. Подруга останавливалася.

— Допустим. А ты в кого? Мне кажется, — она провела мизинцем над его губой, как бы нащупывая усы, — ты вообще никого никогда не любил.

— Согласие на эту ссылку я дал с условием, что дадут свидание с тобой, нет?

— Свиданье затянулось, Ванечка. Я исчерпана.

— Готовься к роли первой леди.

— Первой леди чего? Тебя в лучшем случае сделают ширмой.

— А в худшем?

— В худшем... — она задумалась, лбом проведя по его лбу, как будто надо прикрыться от его жара, — нас оставят без кормления, и это будет самое гуманное.

— Серьёзно, я догоню.

— Хорошо. Но тогда обедай без меня.

— Дорогая, есть куда худеть?

— Я похудела давно и бесповоротно!

— Сумку не забудь застегнуть!

— Ну, потеряю ID-карту. Здесь народ честный, мусульмане, скорей всего, или кто?

— Огнепоклонники, — буркнул Соустин.

— Я вредная, да? Я одна доберусь. До Танжера. Там и Лиссабон близко. Ты оставайся.

— Скоро приду, — Соустин сам бы хлопнул дверью, но правота жены вышла из берегов.

Интересно, здесь море выходит из берегов?

Оставшись один, совсем расслабился что-либо читать, смысл событий понимал, глядя на заголовки, даже обманные информацию давали. А будет вот что — вдруг (всегда вдруг!) осенило. Россию её же власти подставляют специально. Клин клином. Иначе эту питерскую морышку не сковырнуть. Наверняка ведутся тайные переговоры с Белым Домом, наверняка и там и там есть взаимные (может, и двойные) «кроты». Если Киев не сдастся, начнётся водопад оружия. Сначала по чайной ложке, затем вся номенклатура. Но чтобы не разгромить (не дай Бог) армию наших долбо***в. Причем, Америка не захочет разгрома, мы ей в этом подыграем. Управлять поставками оружия против своих (в кавычках) мы же и будем. На каком-то этапе от разгрома всё равно будет не уйти, но заказчики успеют кое-что и отхватить. Хохлы к войне готовиться не мастера. Но нагонят. Крым их научил. Стихийная демократия у них сильнее

здравого смысла — и они, возненавидя нас, устанут. И тогда... что тогда (мысли секлись, как волосы после слишком долгой сушки)? А мне уже на это...

Походил по просторной гостиной тигром — однажды видел такого в зоопарке, тигр ходил по диагонали, щерясь и рыча. Вспыхивала и вновь рушилась его стратегия. Не генерал, не спасатель страны — кто? Кто есть Соустин? Странная, уклончивая фамилия. Смахивает на «совесть с ним», но соус при чём? И виден теперь насквозь. Да, не любил. Даже Галку — иначе зачем сбежал? Карьеру делать? Отмазка.

Телефон молчит. Не инструмент общения, а шпион за тобой. (А то я не знаю!)

Он стоял перед входной дверью, как перед зеркалом. Дверь стандартная, сейчас на всех континентах стандартные. Тигр не мог выскочить из клетки — прутья мешали. Я могу. Но не выскочу. Поскольку знаю, что меня за ней, ждёт. Или кто.

Мысль скрипнула и погасла. Но двери не было. Был проём (со сводом, как в храмах).

И в проёме стоял, смущенно лыбясь, его безымянный куратор-клерк, с которым шёл допрос-поединок на Юго-Западе. Который всего и добился, к этой клетке склонив.

— Недурно, — вошедший оценил простор эпатмента и вид на океан, — хорошие новости. Что ж не пошли с женой? Она, кстати, со мной не поздоровалась? Вы научили?

— Не пошёл, потому что не пошёл. Вас дожидаешься — Соустин зверел на глазах.

— Поговорим на улице.

— А вы без вещей?

— Лёгок, всегда лёгок. Легок, если по-русски. Только без телефона.

Тянуло бризом. Соустин уже чувствовал — сдвинутся тучи, но без дождя обойдётся.

— Обойдётся, Иван Арсентьевич, — его как бы подслушали, — обойдётся всё. Наш план в разгаре. Вы уже догадались, война — это наш направленный взрыв?

— И?

— Знаю, уже всё просчитали. Как говорится, «в одни ворота». Теперь молитесь.

— А если я атеист?

— Атеистов не бывает. Я, например, выгляжу атеистом?

— Кстати, имя отчество ваше...

— ...Евгений Серафимович Мызгин. Вам зачем?

— Еврей?

— Вы ж еврей тоже. Иван (Иоанн) — самое что ни на есть еврейское имя. Мы все теперь евреи! — умеренно-издевательская улыбка отдавала Смоктуновским в роли Деточкина.

— Согласен, — Соустин так улыбаться не умел, но связываться...

— На допросе хотели меня уделать. В челюсть. Думаю, теперь всё устроится мирно.

— Кем?

— Вами, вами, мон ами. Ещё подружимся — или как оно по португальски?).

И вдруг Мызгин исчез. Буквально испаряясь.

Соустин повертел головой — европейцы в шортах, в шортах же несколько чернокожих служащих отеля. Мистика. Но в мистику не верил. Точнее, замечать считал постыдной роскошью. Пока шёл к пляжу, всё висло, как при жаре двор под изабеллой в Засухумье. Жена в тёмных очках, лежала, подтянув к животу колени.

— Аня, — Соустин почти беззвучно вытянулся рядом, — скоро всё изменится.

— С чего взял?

— Ты бы осталась здесь навсегда?

— Язык знаю, климат устраивает, оглядываться, как на родине — на кого? Мне давным-давно Россия, ты уж прости, обрыдла.

— Мне тоже. Кроме будущей.

— Будущей? Это ж фантом! Неужели вы все настолько жестоковийные слепцы?

— Это что за словечко «жестоковийные»?

— «Евангелие» надо читать, милый. Хотя бы изредка. Для отвлечения от занудного безделья. Мне безделье по душе. Столько намоталась — до конца дней хватит.

— Скоро гражданская война. В которой победит, как всегда, народ.

— Пусть побеждает. Я не народ, мне всё равно. Были бы дети... Ну, зачем говорить...

— Всё же не забывай: тебе играть первую леди.

— В изгнании? Я согласна быть ею здесь, — приподнялась и пошла к воде, лениво набегающей на белый-белый песок.

Соустин машинально глядел ей вслед. Может, и не совсем ей — просто в кадр попадала она, уютная, как в первые дни знакомства, несмотря на лёгкую намечающуюся полноту. На ту, которая долго терпела и не надеялась из-под терпения выйти. А сейчас готовая терпеть эту жару (вместо родного, растворённого в воздухе насилия), его, Ивана Соустина, и его же отсутствие, терпеть роль жены лидера несуществующей страны — видимо, закон сохранности терпения — и есть русский народ, не имеющий границ формы, при медузообразном содержании.

Аня шла уже по колено в мягкой волне, дойти до мест, где можно широко поплыть, не боясь воды в ноздри, терпения бы не хватило, но и опасность — мало ли какая заплывёт акула (от местных поверье тоже было как бы растворено в воздухе — всё безопасно, разве меч-рыба мелькнёт или отбившийся от косяка дельфин).

Затаращтел где-то к северо-востоку и на серёзной высоте вертолёт. Возможно, забрав и невидимку Мызгина. У них много таких штучек. Ну и как будешь без команды? Без единомышленников? Мелькнула мысль о Шибаеве, о его партии столь же призрачной, как призрачным оказался, возможно, в этом вертолёте улетавший ФСБ-шный Гермес. Гермес без харизмы. Он бы навряд рискнул обратиться к митингующим, за ним бы ни пошли, за тобой — ну, несколько тысяч, может и пойдут. Не своротишь даже Ширяевой горы. И что? Вновь уступить?

Он лежал, чувствуя себя едва ли не Андреем Болконским на поле Аusterлица. Небо играло — пусть и в бледном преломлении — одним из дворов на Садовой, родным и уже нигде, нигдешеньки не существовавшем дворе. Кроме этой бледной небесной копии. Зачем ты сдался на эту ссылку? Чтобы что? Шпокнуть могут и марионетку. Пойти на прямой вызов? Анию это не спасёт (она была уже пошёю в воде, сейчас руки вскинет — и оттолкнётся). Кого ещё, кому ещё во спасение? Неужели всё вокруг — до горизонта и на все четыре стороны — тюрьма?

Соблазнительно было бы изменить внешность и скрыться в таких же или чуть поцивилизованней местах. Допустим, Гитлер — слухи не иссякают — дожил до преклонных лет в Парагвае, каково было просто доживать? Ты б смог?

…Вечером, они после бара, привычно сидя перед местным телевизором и лениво подливая виски (Анна ограничилась двумя стаканами, он пошел на четвёртый заход) согласно молчали каждый о своём, и каждый — об общем. Возвращаться к утренней игре не хотелось, но всё-таки, зачем являлся Мызгин? Чтобы предупредить? Оценить нашу готовность к побегу? Настолько всё серьёзно?

И как бы встрыхнувшись от потаённых вопросов, на экране возник диктор-метис и что-то прочитал явно по бумажке, а не по телесуфлеру.

— Что за экстренное, Ань? — виски больше не хотелось, недопитый четвёртый стакан занял место на столике с ромбовыми перламутровыми вставками.

— Говорят, что мятежные русские заняли Брянск и движутся к Москве.

От Ани пахло чем-то цитрусовым, не духами — песком, тенями пальм, почему-то сейчас это бесило. Бесила равнодушная правота. Но рука Соустина сама собой потянулась к её затылку, а сам, оглушенный, пялился в экран, пока жена покорно, как привыкла, ни во что не вникая, устраивала головку на полковничье плечо, которому никогда уже не стать генеральским.

XXVI

Недели шли (может, и одна, стёрлось), на него никто не выходил. Командировки вот-вот (готовься), концепцию уточнял. Ему всё казалось бездельем.

А события нарастили. Умер в одном из лагерей строго режима главный враг властей, выводивший на улицы до 150 тысяч (в лучшие времена). Его убивали медленно — и вот — «отрыв тромба». Как дважды два ясно — это всё равно убийство. Но мир пошумел, повозмущался — и пронесло. Меж тем помочь Украине зависла, и те, от кого помочь ожидалась, якобы предупредили Кремль о якобы теракте. Иностранцы, якобы предупреждённые своими посольствами якобы поспешили кто куда. Теракта ждали к якобы выборам — и вновь мимо. Хотя спустя считанные дни рвануло в одном из крупнейших торгово-выставочном центре, ответственность якобы взяли на себе исламисты, одно из ответвлений ИГИЛ. Москва заявила об украинском следе, благожелатели Москвы настаивали, что это всего лишь провал её спецслужб, но слишком высыпало

много нестыковок, на которых открытая пресса внимание не заостряла: ИГИЛ везде ИГИЛ. Завис и фронт. Речь уже не шла ни о скорой победе, ни о победе вообще, при месячном запасе снарядов удержать бы линию протяженностью более тысячи км. Не забывая о дронах, регулярно «мочивших» НПЗ уже почти на всей европейской территории, часть долетала и до Зауралья.

Краев готовил выступление, концепцию переходного периода, стратегию и список просьб к способным и желающим помочь. Чтобы доступно и лаконично. Хотелось втиснуть побольше, но эмоции не годились. Никаких открытий, но это надо было убедительно донести. Лично. Донести до тех, кто устал, кто это или близкое слышал, но прикидывал, стоит ли. Или оставался глух из опасений потерять привычное. Фактор личного присутствия мог и не сработать, ну, а для чего ж тогда нужен он? Просто в качестве пресс-секретаря?

Инглиш на уровне чуть выше нулевого, а также руины дойч давали мало шансов на контакты не то, что с западными лидерами, пресса тоже, практически, отпадала. Но прошел инсайд, что на очередной Форум «Свободной России» уже не в онлайн режиме, а лицом к лицу съедутся несколько официальных лиц Госдепа, французы, немцы и британцы, входящие в Европарламент и Совет НАТО. И Краеву дали добро на Вильнюс.

Панельные дискуссии убаюкивали привычной болтовней. После них планировался большой Круглый стол, куда попасть было мало шансов, но Павлу повезло наткнуться на одном из кофебрейков на когда-то секретаря одного из видных братьев-диссидентов), неудавшегося жениха их с Тоней соседки, Платона Яковину, с начала 90-х он комментировал на «Свободе» (потащил Краева в одну из мюнхенских кнайпе, угостить артишоками — название было знакомо по «Трём мушкетёрам»), затем, бросив жену-итальянку, перебрался в Госдеп, ныне же подрабатывающего советником какого-то Фонда. Яковину маркировала неуёмная сковорокка, свойственная «украинскому горлу» (как сам обозначал свою манеру).

— Что слово дадут, не гарантирую, — Яковину то и дело приветствовали, хлопали по плечу и он отвлекался, — но, думаю, получишь минут пять, в конце. Регламент жёсткий, но являются не все, и я попрошу исключения. Пять, не больше.

В голосе экс-госдеповца лишь Краев мог бы уловить обертона растерянности за только им обоим известный случай: однажды,

желая зайти к ним на Вернадского, живущим через два подъезда от своей невесты, Яковина застал Тоню без мужа (Краев гостили у родителей в ещё Валерьянове), между ними блеснула не то, чтобы искра (Тоня ему нравилась, как почти всем Краевским знакомым), она могла бы разгореться в нечто большее, сразу, без вступлений, но... у мужчин бывает «скорострельный кикс», бесхитростная Тоня Краеву всё рассказала (он был бы рад, как это ни постыдно, её уступить и увидеть, наконец, счастливой), но, плохо зная Тоню с её детски наивной откровенностью, Яковина полагал, что и порыв, и неудача останутся Краеву не известны — это как бы *предательство* придавало хрипотце Яковине излишнюю многозначительность.

— Если выступишь, буду переводить синхронно, главное, выложись.

Павел и на экскурсиях импровизировал, и отвечая в школе у доски чувствовал себя у края рампы — не для пятёрки в дневник, а для зрителей за партой.

— Пять минут, — повторил Яковина перед началом слушаний, — зацепиши, пригласят и на брифинг, все обещанные натовцы и мои коллеги присутствуют.

— Брифинг закрытый?

— Закрытый — это самообман, — отрезал Яковина, лысый, с большими красными глазами, забывшими о сне, — для врагов он закрыт априори, но их «ушей» хватает.

Его представили, как украинца, оставившего Россию после Майдана.

— Друзья, особенно, из стран Запада, — давший слово не успел перевести дух, а Павел уже летел в собственном потоке, — я только что из Киева, не аккредитован, и понимаю, что у вас нет особых причин мне верить: вдруг я агент, а может и двойной. Легион Свободной России (я уполномочен им) совместно с РДК и батальоном «Сибирь» ставит целью свержение режима, угрожающего испепелить цивилизацию, если та наконец-то захочет агрессора и шантажиста, с мировой арены убрать. Единственный аргумент, способный обесточить агрессора — сила. Сила оружия, помноженная на силу духа. Второго у нас хватает, с первым огромные проблемы. Всё, что вы слышите — это крик, это вопль, ничьи уши бы их не выдержали. Поэтому я сдержан и краток. Мы будем биться с этой матрицей, даже не получая подпитки оружием. Ваши страны допускают

компромиссы, надеясь, что «мягкая сила» вынудит Кремль (условно, ибо под ним вся т.н. Россия) «изменить политику» — бросьте иллюзии, Зло расчехлилось, отступать ему тоже некуда.

Не буду касаться страха перед «ядерной кнопкой», он почти преодолён. Есть не менее важный: страх перед нашей общей победой. Перед разгромом этого Зла: не будем ли мы, кому тоже нечего терять хуже, когда возьмём власть. Так вот, между собой повстанцы едины: нам не нужна власть хунты, даже прогрессивной. Мы хотим стать гарантом переходного периода, после чего источником власти действительно защищённое самоуправление в регионах, иногда этнически однородных, иногда просто компактных (крупных или не очень, это вопрос переговоров). И опережая страх перед бесконтрольным расползанием ядерного ресурса мы заверяем, что все склады и все ракетные шахты способны охранять — численность контингента позволяет это уже сегодня, дело за победой.

Заканчиваю, — Павел повернулся в сторону Яковины, тот утвердил кивком «да-да», ты в регламенте», — задач две: расчистка правового поля и охрана всех складов ЯО и средств его доставки (вторая совместно со «голубыми касками»). Но за скобками всего — победа. Разгром крупнейшей в истории раковой опухоли. Более укоренённой, чем нацизм и фундаментализм исламистов. С вашей растущей помощью, а если не решитесь, мы, благодарные за уже полученное, не остановимся, даже оставшись одни. Спасибо.

Яковина, имея опыт синхрониста, речь Краева ужал едва ли не вдвойне.

Вернувшись за спины участников, Краев не мог прийти в себя, как при контузии, знакомой по фильму «Никто не хотел умирать». Будто война. Будто ты её и принёс Забыв предупредить, чтобы не снимали, не записывали (без крайней необходимости).

Вопросов не было. На него смотрели скорее с любопытством, чем заинтересованно.

Яковина уже накладывал бутерброды на тарелочку в зале для кофе-брейка.

Неподалёку их ждал подвал ресторанчика.

— Думаешь, заказчики, твои (сам раскрылся) не узнают об этом «крике»? — Яковина и здесь заказал артишоки, словно бы и не прошло 30 лет с их последней встречи.

— Действовал, как несёт. Это и есть моя защита.

— Чтобы что? Чтобы впустили к жене? — Яковина вновь подозвал официанта, заказывая ещё и финскую водку, — Веришь, что впустят?

— А что взамен?

— Веришь в чудеса, — интонация перешла в утвердительную.

— Верю, что сейчас мы чокнемся ледяной водярой, хотя не пили вместе ни разу.

— Слепой риск, все мои остережения прахом. Счастлив?

— Был — только что. Раньше боялся.

— Знаешь, — Яковина не спешил закусывать первую стопку, — постараюсь минуту побыть в твоей шкуре. Мучает один эпизод...

— Не стоит, — накрыл Краев своей ладонью ладонь Яковины, — чего нет, нет нигде.

«Накрытый» внимательнее взглянул на того, чей статус так и не мог определить: друг? Старый друг? Знакомый? Муж (бывший) той, что приятельствовала с его так и не состоявшейся женой (она под присмотром Краева и Тони сознательно затягивала выбор плаща для ЗАГСа, который успел закрыться (к всеобщему облегчению). Кто этот пожилой (хотя и динамичный) юноша? В курсе ли?

(«В курсе»).

— Ладно, минута истекла. Ты не ответил: впустят (хотя сомневаюсь), а дальше?

— Сомневаешься, что не кинут?

— Сомневаюсь, что Легион (или что другое в этом направлении) обрастёт достаточной поддержкой. Зачем тогда в него вкладываться? Прости за пессимизм — не вижу выхода. Кто придумал, что выход непременно должен быть?

— Никто, инстинкт.

— Инстинкт свободы, как ты правильно подвёл черту — атрофирован (скажи это западникам — не поймут).

— Не поймут, — эхом отозвался Краев.

— Честность тебя погубит. Давай за неё.

И было тепло, и было прекрасно. Как в каждом остановленном (задержанном) из мгновений. По сути, какой же русский не Фауст? Встретились, обсудили мировую помощь: как благоустроить их яму, забор и небеса — давай за всё. Сказано — и с плеч долой. А разве существует мгновенье, которое не вечно есть, которое не впадает из времени? Из Миссисипи времени, а также из Ориноко, Рейна (великой русской реки), ну, или даже Клязьмы?

Прогулялись по центру — разве не весь Вильнюс из своего крепостного центра состоит? Здесь (уже не из Майных возвратов, а сам вспомнил), он бывал ещё в дремучую пору, командированный от экскурсбюро — поощрительно или проформы ради, но бывал. И некая (не без спеси) соседка по купе (тоже с пятым пунктом, но из местных) водила его по злачным подвалам, жалуясь на свою мать, подозревавшую, что у московского гостя жена и трое — трое детей! — в то время, как был один лишь Ольгерт (Настин зародыш после такой экзотики в животе у Тони ещё только-только развивался). Решился и на визит к известной переводчице Диккенса, дочке одного из именитейших кинорежиссеров Большого стиля, религиозной не хухры-муры, а мыслителья, всего-то раз виденной, зацепкой стало знакомство с её сыном Фомой, входившим в круг «сверхметафористов» (Краев обитал на его периферии — дружба с одним из основателей движения эту «окраинность» искупала).

— Фома (Томас, простите), он заявил прямо с порога, — здесь живёт? Я из Москвы, мы виделись на семинаре, — и назвал семинар, известностью не уступавший репутации великой переводчицы.

— Томас? — меланхолично повторила вопрос волоокая полу-кровка, без возраста и спеси, — Томас (она вновь погрузилась в себя)... Об этом знают только ангелы!

Говорить после столь царского ответа было не о чём — Краев не заискивал перед именитыми, будь они достойны и демократичны. Гордыня, что взять.

То и дело под ложечкой терзало что-то про Майю. Ей можно было позвонить — мессенджеры не проблема. Он представлял сонную, роднейшую интонацию. Майя для него теперь означала конец временам, конец зигзагам судьбы, невнятностям её, мосткам через неё — это было счастье обретенного счастья, многоступенчатого, вбиравшего все сгоревшие, иллюзорные отростки.

Но почему, почему — есть чудо, нет ли — установка на страх перед ним, почему тлеет?

Уровень начальной подозрительности наглядно снизился, но это могло быть и самообманом. Наверняка, есть целая сеть подобных тебе, функции дублировались — наверняка среди них был и «крот», «двойной крот». По-настоящему двойной, в чью задачу входило и присматривание за «новеньким». Ни с кем среди «своих» Краев не контактировал. Прежние друзья-киевляне держались

особняком, или компаниями, в которых ты сразу, с первых взглядов по шкале «свой-чужой» не очень-то и котировался, именно по причине малой заинтересованности в котировке.

Руководство же не особо посвящало в планы.

Но после Вильнюса ему намекнули: вот-вот. Он понял, и позвонил Майе (давая тем самым и московским «кураторам» подтверждение: Готовьтесь).

А с Майей?

Её, может, и не тронут, а ты?

Придёшь и попросишь: освободите? Рад бы, да не вышло?

Как пойдёт.

Ведь ты бессмертен и ещё ничего не отменял.

XXVII

Вечер, ночь, вновь вечер с гарью и отдалённым грохотом на юго-востоке и севере, трассирующим следом РСЗО, зонами затишья, когда, наконец, перестаёшь ждать прилётов и группа за группой шириной (с разрывами) 150 км плюс минус выдвигаются, растоптав незримо начертанные границы — и впереди ничем не скованный марш до, скажем, Белгорода.

Маршрут опробован, три четверти жителей успели эвакуировать московские ставленники, частично запугав, частично подталкивая дулами калашей, но из оставшихся добрая треть по собственному позыву ширила ряды. Впереди Брянск, а там и Калуга, Серпухов, Юго-Запад Большой Москвы. Тем же курсом за два месяца до легионеров проследовали гориллы якобы частной армии мятежника Верховной Ставки, затем отойдя во владения другого диктатора — их не тронули, хотя победи тогда головорезы, население бы сглотнуло и эту победу.

В каком-то смысле на плечах неудачников Легион влетел в слабоохраняемую вотчину самооккупантов, без потерь, без поддержки с воздуха, в сопровождении модернизированных советских танков и нескольких британских БПМ.

Краева известили о выдвижении за час до его начала. Разрешив быть в колонне.

Руководство согласилось с эти четырьмя голосами против трёх.

На беглый взгляд, и поля, и деревеньки, да и сам Белгород отличались от перепаханной снарядами приграничной Украины благодушием, если не пофигизмом, стёртостью ничего хорошего не ждавших лиц. Людям некуда было бежать. (Легион их дома щадил — пытался щадить, армия же не разбирала, кого спасать — и не спасала никого.)

Легко было представить позднее жаркое лето и в 41-м, и как, настороженно, встречали немцев, убеждаясь всё больше (открытие храмов становилось едва ли не решающей каплей), что враг совсем не враг, а просто не понимающий по-русски, ну, что-то своё лопочущий, немец, но щедрый, усталый и улыбчивый. И если б не вопрос еврейский... хотя русский вопрос еврейский до 37-го перекрывал, а о законах после Хрустальной ночи откуда было знать?

Теперь не встречали вовсе. Практически пустой Белгород — только бесстрашные голуби, уворачивающиеся от БМП с подскоком, редкие бабы, молодых — по пальцам, некоторые просили автоматы, но добывать лишние предстояло в боях. До Брянска тоже добрались быстро — в каждом из крупных сёл оставляли по взводу-два — в расчёте, на добровольцев, но из-за закрытых стеклопакетов сочилось недоверие, казалось, это всё декорации, кино про фашистов, о ком никто не помнил. Но постепенно люди теплели, выносили поесть — уж когда такое было?

В Калуге уже пахло Москвой, гаишников след простыл, зайди любой десант — не заметят. Легион притормаживал. До Краева сейчас не было дела. Без подкрепления входить ли в Москву спорили. Танков бы роту-другую. И как брать Москву даже дивизией (а тут едва ли половина)? Выстроить пару линий обороны — есть ли для этого время?

Сезар звонил в Украину по спутниковому, итогов не выдавая, но итоги были налицо: примерно, пятьсот бойцов занимали по дороге наблюдательные посты, а в Калуге временно расположились остальные пять тысяч. Из местного населения примкнуло едва 700-800. Чем ближе к Москве, тем вдоль трассы уже не было столь пустынно, как в приграничье, но всё равно — кто такие — «свои»? Освобождать пришли от кого? Надолго ли?

Видимо, приглашались украинские побратимы — те были бы не прочь — и не из мести, азарта, скорее. Останавливало, что на сей раз оккупантами станут они. То же самое и с союзниками: где хлеб-соль встречающих?

Ночью Сезар вызвал Краева в одну из просторных квартир. Хозяин, лет 40 или больше, концертмейстер, два года без работы, готовый уйти в Украину, если поход сорвётся (детей отправил в деревню, жена решила быть с мужем там, где горячо).

Сезар, не спросившись хозяина (впрочем, тому было в радость), приоткрыл крышку рояля и полилось нечто среднее меж главной темой з «Пиратов Карибского моря» и «Прощанием славянки».

Спрашивать не стали, но Краев догадался: это своё.

Их оставили наедине и только что импровизировавший выждал паузу.

— Знаю, — расправленная грудь, подчёркнутый демократизм, — знаю (повторил ещё тише), скорей бы домой, да? Но звонить опасаешься. Или был грех?

Краев кивнул.

— Я не держу... Полезнее сейчас был бы, скажем, в Штатах (владей английским), не один, с переводчиком, а здесь...

— Сергей, — приватно Краев опускал субординацию, — чувствую себя предателем...

— На тебе написано, что ты уже в Сечинске. Решай сам.

— Свидимся в Москве? Или после?

— После может и не быть. Не бери на себя много. Чему быть...

— Посольства не эвакуированы, могу пригодиться. В Москве многие присоединятся.

— Я не жду, — отрезал (хотя и мягко), — разговор пусть между нами.

— Да. Конечно, да.

— И я не знаю, как бы на твоём месте... А ты на моём?

— Вошёл бы.

— А дальше?

— Дальше зависит от ресурса. Потому что сопротивления нет.

— Ты хоть и технарь первым образованием... — и перехватил сам себя, — нет сопротивления, нет и мотивации. Мы русские, не знаем, что делать, когда впереди голая степь, пустыня, море... Залезть бы на печь. Печи не видишь?

— В Москве их — только свистни.

— Но лучше смотаться к любимой. Хотя прямого пути нет.

— Знаю.

— Тем более, для пишущего впечатления — рай, откуда иначе правду черпать?

- Думаешь, мне правда нужна?
- Отож, — ввернул украинское словечко, — но.... Твою версию учту: Москва опустела. Хотя разведка и не поняла, почему.
- Плохо читала «Войну и мир», — попытался сострить Краев.
- Я тоже, — охотно признался Сезар. Чем там кончилось, не напомнишь?
- Пожаром.
- Кто поджёг?
- По одной версии, князь Ростопчин приказал, по другой неосторожность французов.
- А по твоей?
- Сами. Всё сами. «Так не доставайся ж ты никому»!
- У них проблемы с «Бесприданницей», а не заманить?
- Хорошо думаешь об этих....
- Интонация у тебя, как у Га-Ноцри в беседе с игемоном...
- Да, Сезар, скрывать не буду, нужен риск. В полынью — так с головой.
- Любовь — полынья?
- Ещё не разобрался.
- Ты разобрался. Разобрался... Даже проигрывая. У меня другое. Сберечь всех, кто рискнул Москву взять. На этом буду настаивать.
- Ну, то есть, отступление...
- Можно и так посмотреть. Я обязан считать на семь шагов. Как в шахматах.
- Ты ещё и шахматист? Не сыграть ли нам?
- После победы, дружище. С удовольствием тебе поставлю мат. И не один!
- Это как сказать! У меня был 1-й разряд!
- А у меня кандидатский в мастера. Сведём наши годы.
- Сверим.
- Знаешь, почему сразу себе сказал «наш»? С первого взгляда? Открыт. И боишься, наверное, лишь физической боли. А я уже — ничего. Кроме крутых перспектив и отсутствия сопротивления. Это ещё со 2-й Чеченской.
- Сколько ж тебе тогда было?
- 18. 18 навсегда. Так что... Давай спать.
- Я не засну. Потому что ничего не решил.

— Во сне и решишь. Приказываю. Хотя... лучше бы лоббировал нас заграницей.

— Есть кому.

— Но ты бы не помешал, — и обнял Краева так, будто не в сон отправлял, а куда-то насовсем, задерживая объятье жёстко, по-мужски.

...Для Павла такие моменты — капкан. Однажды позвонила жена друга, взятого домой из онкоцентра. В её глухом голосе не было ни единой ниточки надежды.

— Кирка — всё, — выдала не Краеву, а в пустоту.

Он примчался. Кирка, Кирилл — тоньше промокашки. Разговор их был осторожен обоюдно, Краев боялся намекнуть, что замечает состояние «не-жильца». А в ответ делался вид (скорее всего), что к нему приехали случайно. Всё это было как-то уж очень осенне, когда в конце лета никакого лета и в помине. Взгляд исчезающего друга уносился в кухонное окно, за которым (хрущёвка стояла на гребне долгого холма юго-востока Москвы) и всплывало всё: знакомство с умирающим, редкие пересечения на поэтических вечерах, путь, когда втроём — третьим был общий приятель из Красноуфимска, яркий репортёр и могучий поэт, поэтище — всю дорогу вниз от Маяковки до Кремля, ныне смертельно больной бубнил о возвращении на советские круги с печатанием, а Краев не находил предлога, чтобы уйти — настолько нестерпима была его жалость к испаряющемуся прямо на глазах. В прихожей они обнялись. С той же силой, как сейчас он и Сезар. Кричащим объятием Краев тогда просил у Кирилла прощения за, может, и невнятность дружбы, и за невозможность помочь. Тяготясь моментом отпускания, кто первым, и кто кого.

Наблюдая Сезара на совещаниях, за телефонной перекличкой, на паузе ужина, Павел всё больше сближался с ним на секунду не терявшим подтянутости, перенятой разве у генералов 1-й мировой или у Корнилова с него неудавшимся походом на Петроград. Кто родители, почему так неистово, неистово-сдержанно верит в смысл его, Легиона, сражений — при явном недоборе кадров, дефиците поддержки, что-то было рапхметовски-школьное в этом воителе. И сейчас, когда каждый отпускал другого, Краева едва ли не больше предстоящего вояжа по дуге (прямых путей не было) в Сечинск, занимало, что творилось в голове Сезара.

XXVIII

Ждали как будто последней капли. Капля, наконец-то, набряк-ла. Щёлкнули наручники на самом ярком и бесстрашном обличите-ле властного фашизма, который открыто призывал к военной рас-праве над режимом, утверждая, что иначе Западу отольётся его тру-сость. Ничего более прямого не звучало даже со свободных трибун и Краев на вильнюсском Форуме чувствовал именно затылок этого питерского самурая, наотрез отказывавшего покидать палубу за-нее проигранного боя.

Звериное чутьё Сезара кричало: войти необходимо при любых раскладах. Пусть нет прочной связки с политической «скамейкой» и, даже оказавшись в победителях, неизвестно, как выстраивать пе-реходный период — военная диктатура исключается — она способ-на нас же и переродить (российская матрица сорвать не даст). Но это станет сильнейшей встряской для части эмиграции, которая никому не доверяет. Как и для «золотого миллиарда». И надо уло-вить момент, когда, заручившись симпатиями силовиков (есть агенты в средних звеньях), лучше отступить.

С возражений начал один из командиров, Стас Рябко, происход-жением тоже не москвич, сын переведённого из Средней Азии в Академию Генштаба отставника, преподавателя истории. Рябко акцентировал технологию «прессинга» и действия вражеской раз-ведки. 100%, — заключил оппонент, — даже непроизнесённые пла-ны фсб-шникам известны. Они рассчитывают, что близкая цель за-туманит головы и взять нас можно тёпленькими.

Какие объекты занимать? Узловые, или те, что дадут пиар-эффект? Хватит ли контингента хотя бы для минимального при-сутствия в захваченном? Нас будут даже «охранять» до тех пор, пока не расслабимся, привыкнув, что помех нет. Будем, как в Гроз-ном, вращать калашами во все стороны или направляя их на кры-ши зданий — нет ли снайперов? Чем насыщать логистику? Под-держки москвичей — как было в 91-м — насколько хватит? Где адреса военных складов? — Рябко бросал как бы всю колоду ве-ром и лицевой стороной.

— Что перевесит? — он собрал сказанное в кулак, — Будь ре-альной даже половина из мою приведенных сомнений, не стал бы рисковать.

Сезар понял, дело не в том, станет ли Рябко станет следую-щим лицом движения — схватка за власть всё и убьёт.

— Я подписался бы почти под всеми доводами. Событие либо происходит, либо нет. Пятьдесят на пятьдесят. После свершения, прежние расклады — тлен. Да, нас ждут (скорее всего). Тем более, надо играть на опережение. Высокий прессинг — лучшая из оборон. Мы достаточно доказали на Донбассе выдержку и ловкость. Здесь нам якобы противостоит засада. Но у засады нет боевого опыта. Засада колеблется. Все расклады к чертям, когда перед тобой уверенная сила, причем, явно дружественная. К ней хочется примкнуть. Мотивация их — в чём? Примыкают не абстрактно — к правильным и хорошим — к победителям. Голову давать на отсечение не буду (она ещё пригодится) но первое: они уже готовы приказы игнорировать. Второе. Помните, чем кончился марш Гладилина? Перед ним расступались и два часа перехода было до Кремля. Два часа! Этими часами он пожертвовал — и потерял всё. Мы предлагали ему объединиться. Несмотря на перпендикулярные цели. Но Гладилин заигрался, полагая, что сделал достаточно для второго шанса. Второго — не будет. В России — второго не бывает. Взялся за гуж — гни своё. Случайно ли мы пересекли границу именно когда пересекли, как бы блефуя? Пересекли, когда вроде бы вне логики. Свернём — и нас найдут способ стереть. Третье: какие объекты занимать. Кремль — символ, это по обстановке, главное здание Лубянки (там кое-кто нас ждёт), Останкино (если его в провокационных целях не подорвут сами). На всё другое хватит и добровольцев — показав, что три названных заняты, мы откроем ворота. Вы спросите, какой ценой, ценой скольких жертв? Максимум — вообще без них. Росгвардия (а это на порядок многочисленнее, чем ФСБ) только и ждёт, чью сторону занять — над Золотницким ленивый только не ржёт, гвардия есть гвардия, многие хотят, чтобы их не причисляли к гориллам. Они в нас не будут стрелять. Армия выжидаст. Максимум — повторюсь — без жертв. Ну, а минимум, это как Бог рассудит. Из трёх объектов слабее охраняется Останкино — если б в 93-м его захватили, никакой обстрел БД бы не помог. В данный миг за нас всё — война (проигранная) у всех в печёнках. Веры никому. Нам — в том числе, но мы не головорезы Гладилина, хотя, если помните, в Ростове даже их встречали с восторгом. Уровень ожидания достиг дна. Итак, Останкино, первая бригада — туда. Путь через весь город, — сплошное с нашей стороны радушие, вторая — на переговоры с Росгвардией, я буду там, третья и четвёртая расположатся со стороны Красной площади вниз до реки, а также обогнуть до Боро-

вицкой. Не штурмовать. Мы хозяева в своей стране, не власть, а хозяева, готовые передать власть гражданским. Это самое важное. Я по лицам, по глазам вижу готовых разделить со мной ответственность. Ещё раз: все доводы Стаса имеют место. Но политиканствуют пусть пришедшие после нас. Я мальчишкой был в толпе, когда двумя кранами выдернули Дзержинского из постамента. И мы сразу же — рассыпались. Хотя тогда благоприятствование мирному шансу было неизмеримой.

Стрельба по Легиону, поверьте, вариант, слишком опасный для их же выживания. Да, препирательства и топтание на месте — национальная забава. Особенно, когда слово «народ» произносят по инерции. В Августе народ мог начаться с той кипучей площади. У нас не шанс — десятая часть т о г о. Но мы у истории его вырвем.

Рябко выходил из комнаты совещания, спрятав глаза.

Выступать предстояло немедля, ночью же.

Которая и обволокла.

XXIX

Ничего из сказанного Краев знать не мог. Вверх, по логике, взяла бы осторожность. И Сезар эту осторожность олицетворял. Пораженчески-провидческая память вopiaяла: традицию не ломают через колено. Да и есть ли у нас колена?

Тем не менее, каким-то уголком сердца надеялся — да, выступил. Еле сдерживал жажду всё увидеть, как видел тридцать с лишним тому серую Москву путча и вспышку (кратчайшую) победы, проблеск неба, (сразу же и упущеный).

Он включил радио в номере, советский раритет частной давным-давно гостиницы (возможно, прихоть владельцев). Разъяснятельная и успокаивающая пропаганда не знала удержану. Слушают ли её брянчане и белгородцы, которые в Легион вливались бы из стойкой неприязни к Москве, хотя бы из неприязни, вряд ли нуждавшейся в замене чем-то светлым?

Варианты: возврат к Сезару и выдвижение совместное. Скорошее достижение Москвы самостоятельно (ходят ли поезда?). Не тормознут ли на КПП (и сколько их?). Или двигаться, огибая мегаполис по дугу, что надёжней?

Хорошо бы включить все — зря ли попал в госпиталь к Шапкайцу, а потом с впрыснутым энергоресурсом заслан в эти времена

для перевода стрелок истории. Спасибо Майе — всё рассказала его же о нём, теперь помнится даже забытое до операции), так, может, опять размножиться — сколько ещё параллельных жизней?

Он вышел из номера, сумка на плече. Прохожих — по пальцам. Калуга (фактически пригород Москвы) освещена ярко. До ставки Легиона пешком 15-20 минут. Осенний август с пронзительной слышимостью — гулы, свисты, лязги — на километры вокруг.

Значит, август. Как тогда.

Дежурный его знал в лицо, но держался отрешённо.

— Никого нет.

— А Вы?

— Пост нельзя покидать.

— Выступили? — вопросом выдал радостное опустошение Краев.

Дежурный молчал.

Так вот откуда лязг! Танки. У Легиона было их с десяток.

Вариант самостоятельного въезда и въезда вместе с одной из бригад отпадал.

А так хотелось! Особенno, в эту пору, когда впервые с замиранием сердца входил в здание, занятое на втором этаже «Юноштю» — ведь совпало! Почти напечатали, автор зонгов к «Трём мушкетерам», с каким-то юношеским восторгом прочёл его спутанные листки, спеша в комнату отдела поэзии, а по диагонали по ту же сторону Маяковки главнейший для тебя дом, где праздновали свадьбу родители, куда в конверте вносили после родов, а ты на круглом столе комнатки бабушкиной родной сестры (бездетной и тебя любившей как несостоявшегося сына) трое суток орал, пока рядом на весенней скамейке Тверского Пастернак и будущая Лара из «Доктора» бурно выясняли разрыв-не разрыв.

Да, судьба всё предложенное перемешает.

... Поезда на Рязань и дальше не отменены. Взял в плацкарты, чтобы наблюдать полный спектр, как открыл совсем недавно, «в сознание не приходящих». Всё свидетельствовало: получиться у «инициаторов» ничего не должно — импульса нет, воли стоять, а если надо — и умирать за своё, нет. Исход примут любой. Даже не зная, что именно приняли. Декорации поменяются, либо их мазнёт ремонтом, родятся дети, ничего не знающие о прадедах (у которых, в свой черёд, желание знать о более глубокой родне отбито ещё сто или триста лет с лишним как). И «страна» распадётся территори-

ально, внутреннего взрыва не вызвав — Сечинск же обходится без горилл в чёрном на площадях. Слои разных времен располагаются без понуканий, где им удобно, другим слоям не мешая. Всё уже состоялось, братие.

А тогда почему, почему страстное желание, чтобы у Сезара получилось? Чтобы всем любящим было хорошо, взаимно? Сейчас взаимно и у тебя, но куда и как изъять детское, недораскачанное по гроб? Куда?

— Не подскажите, — худой мужичонка на нижней лавке у окна держал бесплатную газету со сканвордами, рецептами от всех болезней (включая старость) и прогнозами на позавчера, — слово из пяти букв «общественное явление, на которое забирают»?

— Война, — Краев рассмотрел мужичонку, интерес тут же пропал. Он мог бы сочинить про «читателя газетных тонн»: едет на похороны, к внукам, к невестке, за пенсией, которую дал взаймы Кольке этажом выше, и ещё 49 фабул.

— А-а-а, — протянул незнамоц, у которого сверху и справа внизу недоставало не менее 5 зубов, — Только вставлять не буду. Знаете почему?

«Он даже не понимает, насколько русский», — подумалось Краеву, — всеми забытый, брошенный. Едет, куда глаза глядят. Чем я могу помочь, ну чем, Господи?

В уголке у двери сжалась пацанка с подведёнными глазами. Вполне вероятно, что у неё забрали парня. Парень мог и сбежать — кто выдержит этот испуг хоть неделю?

«Почему? — ответил сам себе, — И не таких выдерживали. Что-то я совсем стал гомофобом. Ох, и повезло ж тебе, Майя!».

«Скоро!» — позвонил? Вот и соответствуй. Чем больше думаешь, тем и глупее. Дурак — это постоянно думающая машина. Как трактор. Невыключаемый (поскольку потом не заведёшь). Но и циклиться на дураках — тоже слабость, или...

Слово не находилось. Это раздражало. Потому что едешь тревожный. И всё тревожное к тебе магнитится. Некого слушать, не во что верить.

Он почти пропел это на мотив «родина слышит, родина знает».

Допустим, ну, вот допустим. Режим сметён. Узнают ли об этом вообще милые соседи? Этот мужичонка даже не поймёт, узнал или нет. Парня с войны — если был — не вернёшь. Вон та женщина в трениках, лет не скомканных, а как раз-таки махряющихся, тётка,

родившаяся тёtkой уже лет в 15, огород, служба, дача, дежурства нянечкой, уборщицей, господи, я ж никого и ничего не презираю, зачем это ко мне всё приходит — и уплывает в те же скользящие огоныки? — у неё и муж, и зять, и внуки (в которых запутаешься — либо один-два) — им угоджай да угоджай — её-то кто завоюет? Просветит? Ей всё нипочем и от чего тогда освобождать? Не то же ли чувствовал и комиссар из прибалтийских баронов (фамилию за-был — Штрезе? Нет, другой, — Штрезе это колчаковец, которого застрелил безбашенный матрос за пафосную болтовню на бочке — он-то призывал огнём и мечом это выжигать, а зачем, если всё и так примут, не заметив, что приняли).

Неуязвимейшее племя. Даже не племя, нет названия. А куда едешь ты? А что будете вы с Майей делать, когда Москва сожмётся в Московию (как, например, Штаты в округ Колумбия)? А Сечинск, Оренбург и Саратов с Ульяново-Симбирском станут страной компактной, своей, для тебя ли? Для всех ли?

На одной из станций, то ли Ряжске, то ли в Инзе, состав мучительно долго переформатировался и Краев спрыгнул на щербатый асфальт перрона, поросший травой. Небо взывало сразу ко всем сезонам, кроме весны, весна же любимая делала воздух океаном. Какое господи счастье, что судьба выбросила отцу Валерьянов! Какой удачей (даже после младенческой послевоенной Москвы) стала бывшая женская гимназия с бабочками-слонами на стенах! А овально-ноугольный линкор института, из чьих окон было видно почти во все концы света, как в «Мёртвых душах»? А женская (в очередь с мужской) на другой стороне Замайской бани, в чьи заросшие льдом окна любили заглядывать с Ильёй, жившим по дороге к школе метрах в 200-х, другом-опекуном («Илья ходит по земле, — ввернула забыто-незабываемая Инга с яблоком на полотенце чуть прибойной пены, — а ты вон по тем облакам!»).

Майя и подхватило то — из мифов — яблоко. Съеденное, наконец-то.

В быстрые тучки сгущались облака, потом, зевая, рассеивались, это походило на стягиваемый через голову свитер. Инга (чьей ренкирнацией и стала Майя) занимала с отцом (когда-то возглавлявшим уголок Дурова) домишко за стеной известняка среди других первой береговой линии домов и однажды она спустилась к врытой в песок шине МАЗа, чтобы Краев понес её к лунной дорожке, ощущая невесомую гладкую тяжесть на шее, поперёк груди, вообще вокруг на годы вперёд, которые разве обещали хоть что-то?

Ты и тогда был ни к чему, не готов, но поздно заморачиваться.

Оказывается, он уже пересел на прямой до Сечинска, будто хватанул полный стакан коньяка — или вернулся к амнезии, когда версия, посланная из 79-го, «прилунилась» к версии, благополучно, беспаузно дожившей до поста №4 охраны в ТЦ «Авалон». И после Майиного залечивания к нему вернулось куда больше утерянного и продолжало возвращаться. Продлевая эту линию, было бы реально залезть в до-рожденческую дыру, в отцовскую или пррапрадедову историю — глубже, глубже...

Но, возвращаясь к сыну остзейского барона (карикатурного в сериальной версии, но имеющего свою, хотя и не слишком внятную правду в романе, подумалось: что с ней делать, с этой разрозненной массой-не массой, не поддающейся никаким импульсам извне, а своих не имеющей — жечь (как предлагал неистовый немец, ставший сверхрусаком)? Смахнуть с доски, (по-ноздревски)? Спрятать литературу за семью замками (либо в библиотеке конгресса США — там хватит места)?

Лица, лица, нет, не те, монголоидные, не степняков, как привиделось публицисту и философу из того же «Доктора», здесь были все поколения, все слои, все даже маленькие группки, все возрасты, их не назовёшь и толпой, но почему так хочется классифицировать? Неужто нельзя жить просто, да, «не приходя в сознание», — катись оно по Малой и Большой Спасской — почему надо непременно выворачивать историю в ещё больший отрыв и вакуум? В чем проклятие родного места? — снимись с его якоря, в любой более-менее благоустроенной местности приживёшься (если не один), пустишь корни, дети забудут об этих твоих терзаниях. Муттершпрахэ не сдavit им горла, никто их не потащит — или что хуже — не поведёт (в согласии с индивидуальной доброй неволей) на бойню, не вобьёт в пустую, как спортзал, башку *«прежде думай о родине, а потом о себе»* — вопрос думанья скашивается как по яйцам одним из орудий герба, приказавшего долго жить, но в матрице всё это стелется, тлеет — достаточно для обогрева лесостепной (и городской) пустыни-пустоши, для отмашки стартовой рукой — «да пошли они все и оно всё!» — и как же, и кто же позарится завоевать эту яму всех времён, а значит, по-любому — безвременья?

Завоевать, чтобы стать ровно такими же?

Видимо, на его лице волны всего безответного наплывали одним гребнем на другой, на него искоса, но посматривали, видимо, исходившая тревога выходила за рамки тревоги притерпелой, ставшей, если не родной, то ручной точно.

Не тихой ли сапой он смимикировал с окружающим пофизмом — фрагменты событий уже не перепрыгивали друг через друга, из клонированного таким образом состояния, возвращаясь к линейной текучке, между тем, ожидание задуманного Легионом, подкатывало как сердечный спазм. И этот спазм (не боль, предболь) работал в обе стороны, он, возможно, и был верой, двигающей горами.

От успеха или провала завоевания Москвы хоть на часок, хотя бы для презентации намерений, сейчас зависела вся жизнь, всё от первого крика на Таганке до заострения всех версий (отрезанных тоже), до самой кончины — хотя кончина воображению не поддавалась.

Умирание — вот поле страха. Можно с первого же вскрика начинать отсчёт умирания, с итоговым же умиранием вспыхивает жизнь освобождённой души, которая сама себе Страшный суд — но и этот суд ещё не всё.

...Не всё, не всё — отдалось эхом.

ЧАСТЬ III

I

Танки, въезжая по виадуку через слияние Вернадского с Ленинским, не встречали у редких пешеходов интереса — мало ли, какой парад репетируют. Ни пробок, ни патрульных с мигалками.

Обледившие башни сидели с автоматами, выставленными во все стороны.

За лязгом гусениц иногда слышался рокот вертолёта. Украинские БПЛА стали рутиной, но и паузы меж их стрекотанием — та же рутинка.

«Москвичи» каких-то древних модификаций наряду с первыми «Жигулями» бодро сновали в месиве японских, южнокорейских и остаточно французских моделей. Ковбойки 60-х среди маек с надписями по-английски юнцов на электросамокатах тоже горды собою. И те и другие «слои» друг друга словно бы не замечали, порой слой шёл сквозь слой, поверить невозможно, даже глазам.

Связь групп осуществлялась через спутник. Вход с трёх направлений позволил растечься по Садовому, при этом из переулков (а может и свыше) вливались неизвестного происхождения без амуниции, но вооруженные по старо-советски, проверять кто и зачем было некогда. «Новенькие» отличались задором, будто бы только-только с митинга, их численность росла и росла, но для уточнения требовались разведывательные дроны, а их не было.

Группа под началом Сезара, чтобы сжать Останкино, разделилась на две.

Лёгкость захода могла в любой миг прерваться обстрелами со всех сторон. Однако по мере приближения к телекентру даже зевак не становилось больше.

Сезар держал в голове оптимальную точку для удара помимо телецентра, где два здания через дорогу плюс знаменитая башня. Возможно, следовало бы начать с её подрыва. Но это делается с воздуха. Логичен был бы захват и двух дублирующих студий — на Шаболовке и около Белорусского, с учётом нежданной подмоги это реально, и всё же растекание опасно.

Навигатор вёл через центр, тоже какой-то самоочищенный. Хотелось пусть слегка, но коснуться Кремля, хотя бы издали, площади у Детского мира, где вздёргивали Феликса, и Сезар отважился на персональный отрыв от группы.

Давно хотелось проехать по дуге у трёх зданий «конторы», где подростком стоял в ликующей толпе августовской ночью 91-го.

— Кость, — он положил руку на колено водителю, понимавшему с полуслова, молчуны и заводиле, после боёв, особенно сильных, особенному же и заводиле, — дадим крюк?

Мрачное главное здание казалось не мрачным, слегка насмешливым — из-за вертикальной подсветки. Двери задраены, караульных нет. Местность открытая, во дворе и на крыше ПВО, без дронов-камикадзе не обойтись, лобовая — абсурд.

В нём бились, тесня друг дружку, две реальности в одной — полупустынная и равнодушная, даже сытая этим равнодушием столица, с новехонькой плиткой и разметкой тротуаров на просто тротуар и велосипедную дорожку, и людское чёрно-мерцающее море вокруг постамента с Чахоточным, чья шинель сама как меч. Сезар чувствовал (у него мозг был чувствующий — и чувствственный: если реальностей две, не побеждает ни одна. В математике это называлось предельно-полярным синдромом. Или не так, чёрт знает. Пусть две. Пусть даже ни одной). Именно сейчас в перекрёстных лучах прожекторов по расчищенной от напирающих дорожке подъезжали два крана-жирафа и пацаны, оседлавшие плечи статуи, ловили петли, чтобы её захомутать. Ни на миг не затихала площадь, пронизывая слегка туманные небеса беспорядочными огоньками возбуждения. Вдруг — хотя почему вдруг, это всё виделось заранее, до всего — петли затянулись, краны вздрогнули. Не вздрогнул единственно сам памятник. Он был надежно вбит в постамент. Сварщики нащупали четыре болта, каждый толщиной с футбольную штангу — и взвизгнули четыре кучки режущих искр. Но даже звуки пилежа не заглушали нарастающей ударной зыби, это была не совсем толпа и даже не совсем карнавальная толпа, эпизод мог извергнуться не эхом, не пикником победы, а почвой, почвой вызревания народа (внутренне Сезар поморщился от пафоса, слишком обязывающим, чтобы выкрикивать его вслух).

И как бы в предголовом рёве туша Пламенного Карателя вздёрнулась, зависая в неловком наклоне. Рёв достиг, казалось, ионосферы, как первый спутник и должен был — опять же казалось —

рухнуть на головы орущим же. Но чей-то безо всякого усилителя баритон смял весь этот рёв и четко, с паузами выдал, вжёг в тёплую сырость, перекрывая всё и вся:

«Феликс! — толпа не слышала, — посмотри! последний раз!! на Кремль!!!»

И тушу на тросах слегка повело в направлении Никольской башни.

Сезар никогда не терял эту картинку — её почему-то в мемуарах не упоминали, а сам писать не расположен, и всё же это было, было, что бы не произошло дальше.

Нельзя задерживаться на восторгах.

Он вынул смартфон и набрал одного из офицеров:

— Без сапёров не входить. Дождаться меня.

— У нас их трое всего!

— Вот без троих и не надо.

Машина, казалось, просвистела путь от Лубянки до телебашни. Ожидания оправдались, главное здание мертвело. Ни одной включенной лампы. Если б ещё калитка входа на территорию была б открыта, совсем бы издёвка — но, нет, на замке.

Замок сбит очередью. Сезара пропустили, он повернулся к обступившим.

— Я первый!

— Нет! — кивнул на сплошённую троицу, которую в обычный бой не пускали тот, кому Сезар звонил из машины, — они!

Сезар вновь увидел обнимающиеся толпы (были б автоматы, пальнули б в небеса) — статуя ударила о платформу, по ней застыгали только что ловившие петли от кранов, и кричащие, свистящие стали упоённо расходиться.

«Вот где кощеев момент, — подумалось, — чего проще! Нельзя было уходить, никто б не разогнал, инициатива силы была наша, тогда — и больше ни разу».

— Я вхожу с ними! — это ведь были кровью сплоченные, не фанаты, обычные, притёртые друг к другу воины — и те, что с двух других направлений взяли центр в полукольцо, ожидая распоряжений по развитию плана — план корректировался (и даже просто писался «на коленке») по ходу, и готовые взять хоть бы и пустующее, но змеиное гнездо пропаганды.

— Никак нельзя, — повторил сказавший первое «нет».

— Хорошо. Тогда (он указал на десять добровольцев) сразу вслед за минёрами («сапёрами» надо было сказать, но вырвалось это).

— Нет, — нажал остерегающий, — 15 минут выждем, хорошо?

Сезар, который всегда казался хмурым, отступил. Что-то в нём дрогнуло.

Дрогнул и телефон, поставленный на вибрацию. Саперы уже были внутри (входную дверь здания тоже пришлось решетить). Один из входящих в группу безопасности включил громкую связь на своем смартфоне.

— Чисто! — раздалось оттуда. И снова: «Чисто... чисто. Мы уже на третьем...».

(Из восьми.)

— Ищите студию, или там, где табличка «Запись»! Найдёте — и тем же путём назад!

— Есть!

— Ничего не трогая!

— Отменить операцию, — внезапно Сезар оторвался от смартфона, — здание напротив — под охраной. Слышите?!? А здесь — никого — ясно? Отменить всё!!!

— Пульт найден.

— Не трогать!!!

— Ладно, ладно. Разберёмся. Четвёртая дверь от лифта. Сколько у нас тепловизоров?

— Приказ поняли?! Назад!!! Всем отойти от территории, двадцать метров минимум!

Повторять не пришлось. Бойцы (и примкнувшие с калашами, неизвестно откуда взявшись, задорные, без броников, будто выскочившие на пикник), отступили.

— Залечь, как перед ядеркой!!!

— Третий этаж, — пробасил один из сапёров, четвёртая от угла студия. Главная (там есть табличка).

— Выходить тем же маршрутом, ничего не касаясь!!! — Сезар уже почти сорвал голос, — как пылинки!!!

— Да, поняли, командир, поняли. Конец связи.

Сапёры показались почти мгновенно, все трое. Минуты не прошло.

— Ну, вот, — сказал тот, что пробасил, — теперь можно.

— Стойте! — один из троицы поднял руку, — я там носовой платок забыл.

— Да нах его!

— Не могу. Мамин. Он мне амулетом.

— А голову там не забыл?

— Мигом я, ребята.

— Отставить!!!

— Невесте обещал: выйду в эфир, махну тебе. Маршрут запомнил — минуту же.

И скрылся.

Сезар отчаянно закусил губу. И будто бы зажимая уши.

Минута уже кончалась.

Она будто бы тикала по громкой связи.

Сияющий сапёр показался, помахивая белым платком, то ли сдаваясь, то ли впрямь уже из эфира давая знать любимой, что всё позади.

Взрыв ядовитейшей силы сотряс восьмиэтажку

II

Разворочены лифтные шахты, лестницы завалило. Убитых трое. Семеро в тяжёлом состоянии, дюжина с травмами. Морг и две больницы нашли быстро. Ещё быстрее требовалась перебазировка на угол улицы Правды возле Белорусского. Там оставалась охрана (возможно, для вида, её оттеснили, мужики отнеслись с пониманием). Здесь тоже могла быть ловушка, хотя бы элемент её, но выбора не осталось. Четыре этажа — никаких мин. Играют с ними если не в кошки-мышки, то в покер с затяжкой выброса карт. Администрация больниц вела себя также отстранённо. И по дороге ноль следов страха, вообще интереса — огни кафе, баров, откуда доносилась привычная музыкальная каша, чуть сниженного регистра, чем в 90-е, но равнодушная к тому, слушают её или нет. Москва, казалась, готова была растворить освободителей, даже не интересуясь, кто такие, зачем и надолго ли.

В группе нашёлся работавший когда-то на радио, знакомый и с телеаппаратурой выхода в эфир, специалисты резервной студии восприняли ворвавшихся также нейтрально, будто бы не слышали ни о какой войне, ни о ЧВК (аббревиатура легко менялась на столь знакомую по советским годам) «Шуберт» во главе с взорванным че-

рез два месяца экс-поваром президента Гладилиным (либо его неисчислимых двойников), ничто их не колыхало, автоматами бряцать не пришлось.

Сезар, не откашливаясь, заговорил в обычной манере, чуть глуховато.

«Сограждане! Власть, узурпированная убийцей, а также силовым ведомством со страшной историей, больше не власть. Легион свободной России вместе с РДК и батальоном «Сибирь» берёт на себя временные полномочия. Легион и кто к нам примыкает, примкнул и ещё примкнет, становятся гарантами перехода страны к цивилизованному строю. Мы всего лишь мост и подспорье власти, которую выберете вы, народ. Это непростой и не мгновенный процесс. Но без поддержки, без вашего живого желания сменить, не просто фамилии, а сам принцип: власть — делегируется снизу наверх, исключительно солидарным путём, стать народом — ничего не получится. От вас, мои родные сограждане, зависит, начнёт ли получаться вот с этого самого момента, когда я, не выходец из органов или партийных институтов, не номенклатурный персонаж, а просто боевой офицер, которому дорога общая с вами страна, такой же как вы, кому невыносима ложь, проникшая к нам в кровь и во многом ставшая кровью, от всех нас зависит — прервётся ли процесс обновления до лучших времён (которые могут и не наступить) или пойдут пусть не быстро, но уверенно и надёжно. Этой садистской власти есть что терять. Но и нам терять есть что: ощущение себя людьми, влияющими на свою личную и всех судьбу. Придётся — это больно и очень больно — признать, что за разрушения и геноцид в Украине, где мы воюем бок о бок с гражданами этой страны против агрессора, то есть страны, в которой все мы родились, за геноцид, сотворённый армией, ответственны все мы, включая и бойцов Легиона и РДК — платить по этим долгам придётся всем. Буду честен: если сейчас придётся отойти перед превосходящей силой врага, мы отойдем, продолжая воевать, как воевали. Украина твёрдо заявила, что не пойдет на компромиссы. Мы заявляем ровно то же. Последнее. Желающие помочь нашему общему будущему, приходите к студии (он зачитал адрес), чтобы вооружиться, мы также рассчитываем, что гарнизоны, расквартированные в Москве и окрестностях, воинские склады не будут препятствовать вооружению ополченцев. Слава России!».

Спустя два часа, два томительнейших часа, пока мог начаться безжалостный обстрел ракетами не только их, а выжигание всего вокруг, к зданию на углу Правды и Ленинградского проспекта пришло меньше двух десятков москвичей.

Сезар не исключал и такого исхода. В глубине души на большее и не рассчитывал. Следовало сворачивать логистику и отходить. Без людской подпитки их ждала участь наполеоновской армии, если не хуже. Но слово прозвучало.

В горьковатом воздухе чувствовалось что-то неизъяснимо торжественное. Подслащенное фитонцидами ранней осени. Заодно и цветением лип — совсем не по сезону. С остатками тополиного жара. Но деревьев практически не было. Сезар помнил по старым чёрно-белым снимкам ряды тополей на Садовом и клёнов на Горького, откуда-то взялся их с явным присутствием всех оттенков аромат. Дыханию что-то мешало, но и ненадышанное ворожило чем-то прощальным.

Понимал: разочарование бойцы не выкажут, но и не считаться с ним нельзя.

Им дали побаловаться. Революцию решают рядовые массы. Энтузиазм рядовых. Заразительность. Взрыв Останкинских главных студий был рассчитан до миллисекунды. Не исключено, что, когда выйдут из резервной, грохнут и её.

Мы или должны диктатом утвердить своё или нас не будет во все.

Но я не могу диктата. Я его приму, но сам не могу.

И ещё более страшное пронеслось пылевым вихрем: всё затянуло лишь для того, чтобы показать полный тупик и безнадёгу даже для вооружённых. Всё обволакивается ватой. Сдайтесь, или вас не будет.

Потрогал пояс, где по идее должно быть кобуре. Место пустое. Тронул — и впервые пожалел, что перемещается без оружия.

А сколько вообще слышали его в прямом эфире? Несколько тысяч пенсионеров?

Да, ролик выйдет и на Ютубе, это реальней. Но Ютуб запрещён.

«Запрещённое смотрят в десять раз охотнее» — шепнул ему голос, что ещё недавно толкал: «Входи! Грех упускать момент».

И тот же ухмыляющийся голос пророчил: «Это есть твой последний...»

Прикрыл рот ладонью, будто бы из него, из самых глубин должны были вырваться птицы, ящеры и прочая зараза.

В рай не ведут за яйца — вспомнилось у кого-то из острословов. И в аду неплохо.

Отдав ещё несколько указаний, не знал, куда приткнуться, как не выдать сомнений.

— Что, командир, за поребрик? — правая рука Сезара (взявший себе имя «Коллина» в честь генерала Пауэлла), хорошо читал его лицо, — отвоюем земли у болотных родичей? А дальше?

— Дальше — платить.

— И молиться, — подхватил Коллина, — вопрос: кому заплатим?

— Пусть каждый определится.

— Ты-то как настроен?

— Зависит от степени разгрома тех, кто напал.

— Всё не расстаёшься с мечтой помирить всех плохих со всеми наилучшими?

— У тебя и без этого! — сорвался Сезар, о чьейдержанности ходили легенды.

— Вижу, что по мне видишь, а я по тебе: Москвы нам в таком составе не видать. На автомате.

— Мало ли что на автомате, — Сезар почти охрип от напряжения, чтобы не дать этому пораженчеству собою завладеть, — нельзя этим жить. Мы должны были, Петя, уйти часа два как, иначе...

— А не заметил, к нам прибились несколько тысяч из ниоткуда?

— Заметил. Всегда знал, что живём, не раз в десять лет, а просто, когда живём. Если на русский перевести: «Когда времени лишь на выдох».

— Я к тому, что эти пришельцы... или как их... ангелы, типа. Нет?

— Если ангелы, всё правильно.

— Понима... Дай курнуть.

— И не начинал, а ощущение, будто бросил, — мне заскочить бы в один дом, Петя.

— Если что?

— К учителю истории. Если жив.

— Учитель... сентиментально. К женщине — я б ещё понял...

— Вру, к женщине, — Сезар попытался изобразить улыбку, но вышло ещё серьёзнее.

— С Богом, Серёга! Сам? Или?
— Никаких или...
— А переодеться есть во что? Вдруг узнают?
— Боишься, что мы с тобой популярны?
— У роликов 1,5 миллиона просмотров.
— Навального вон 115 млн смотрели, есть результат?
— Короче, машина и охрана — побоку, переодеваться не будешь? Ждём в Брянске.
— Буду раньше вас.
— Как?
— Одолжив метлу!
— Ведьм вроде запретили? Али я что пропустил?
— Давай!
И обнял Коллину, как обнимают безнадежно больного.
Чуть дольше обычного — и сам ужаснулся, как много это зна-
чило.

III

Коллина справится. Пусть на час, на два часа, прощения мне от себя же и не будет. Бог знает, придёт ли безопасная возможность. Да, всё на мне, всё.

Как и был во френче, на Ленинградском стал голосовать — бесполезно.

Видя его мучения, какой-то по виду студент, вызвал Яндекс-такси, сконфуженно подойдя к голосующему, назвав известный всей Сети псевдоним.

Сезар (уже находясь мысленно в точке прибытия) поблагодарил, впечатывая лицо:

— Мы знакомы?
— Слышал в Ютубе. Можно сэлфи?

Сезар всё проделал инстинктивно, чувствуя себя глупо (студент радостно, а он покорно) смотрели как будто на салют.

«Плохая примета» — вслух так и не сказал, но пока длилась неловкость, подкатил Рено «Логан», и ты пристёгиваешься рядом с бомбилой, похожим на профессора из «прежних». Продиктовал адрес, уйдя в себя, но и всматриваясь в редких прохожих.

«Профессор» помалкивал, куря в форточку, потом бросил, как на экзамене:

— Много пришло?

Лет 60, явный свидетель Августа, может, и участник, со следами разочарования под веками. Жена, двое мальчиков, никого на стороне. Упёртый, никому не верячий.

— А что ж вы не пришли?

— Зачем? Что желаете изменить? Вас даже не посчитают.

— Я в курсе, — Сезар тяготился разговором, но аристократическая привычка уважать обстоятельства брала своё, — мы хоть пытаемся.

— Сматываться надо, — водитель выстрелил окурком в щёлочку окна.

— Сколько за голову обещали? Может, сдать меня, кому следует?

— А я почём знаю, сколько, — «профессор» был непрошибаем. Что вы, что они. Здесь беличье болото.

— Повторите, — Сезар, любивший цепкое словцо, потеплел, — беличье болото?

— Ну, как-то, типа того... Вырвалось.

«Вырвалось... беличье болото...» — точность удел дилетантов, а ведь мы страна дилетантов, дилетантов на ветру, на рыбалке, в армейских рядах, это наш принцип».

... Стоило выпасть из дисциплинарной колеи — всё вразнос. Не так ли в феврале 17-го? Учитель прививал этот взгляд: свобода вызывает хаос, а в нашем климате это смерть. Отсроченная дисциплиной. За что ж тогда мы? За размораживание смерти?

И не заметил, как подкатили к освещенному подъезду 12-этажки (той же хрущёвке, поставленной на попа). Кода не помнил, лишь номер квартиры.

Недовольный глуховатый голос запершил из динамика:

— Лазарь Ефимыч помер.

— Когда?

— Переехали мы два года как. Перед этим, стал быть.

— Но квартиру вам кто-то же продал? Родственники?

— Дочь занималась. Её нету.

— А как найти?

— Она в Штатах. Вы, собственно, кто?

— Ученик. Старый ученик. Извините.

Лазарь Ефимович, сын бежавшего из Польши портного. Во врачи народа не угодил, хотя отец и был интернирован в Ташкент (не на Таймыр — и то хлеб).

Эх, Лазарь, Лазарь дорогой Ефимыч... Вечная оглядка, прислушивание к шагам в коридоре... А что бы я вам принёс? И какое утешение услышал? Резались в «блиц», а я поддавался, расспрашивая о Польше, но вы уклонялись... Уже много лет вдовец, на кафедру в областном педе приходил по привычке, никто не мешал, не трогал, даже заискивали перед ним — «легенда». Отмечали 85 лет, знак «заслуженный работник» вручали от районной Думы, ушёл тихо, незаметно, пить нельзя, ну, почти... Что-то всегда остаётся недоисповеданное...

Но потом, потом, всё потом...

Ещё один адрес — туда лучше не надо... Хотя... Даже не знаю, замужем ли. А вдруг? Нет, всё выбрал сам, я должен эту линию довести до предела. Откуда знаешь, где предел? Тебе нельзя людьми командовать, это через силу, ты переступаешь себя, и френч помогает переступить. Ты сейчас, как отпущеный Краев — любовь первое и защитней всего. Даже надрыв (так считал отпущеный). А это надрыв? Скорей всего. С таким якорем в душе нельзя вообще воевать. Хотел бы с ним поменяться судьбами? Кому вопрос? К Богу вопросов нет. Ответь мне, Лиля, на своё я сейчас месте? А чего ж не добивался? Мужчины должны добиваться. В другом захотел добиться. Там, где первое из условий — сила собственная. А там, где откажут (ещё и свободно), зачем? Вот и не могу. Даже не помню, сколько лет прошло. Или нисколько. Так проще — на знать, не помнить, не считать. Победа всё спишет. Не война — победа. Победить без войны можно? Без отечественной, как сейчас. Так ты и до монашества дорефлексируешь. О, да, вот победим, всё брошу и уеду в Оптину. Или на Валаам. На Валаам роднее. Было б что бросать. Лиля, Лилечка. (Лиличка — у Маяковского) Ты также сбрасываешь возраст, как что-то сбрасывает роща.

Теперь голосовал не глядя, как давно не делают, просто подняв руку.

— Куда едем, отец?

«Отец» — это мне?

Почему нет? На вид водителю простенькой «Тойоты» сороковник (если не меньше), а тебе, герой-любовник во френче — под 50.

«Отец!». Нда...

— Винокурова, где трамвай поворачивает.

— А, к Сахарову!

Долго молчал. Молчал и доброхот-»сынок». Пока не взбрело ему шутить.

— Откуда?
— Из Легиона.
— Что за Легион?
— Свободы России.

Возница расхохотался. У него был смех, будто бьется посуда, падающая из подвесной полки над мойкой.

— Где такую берут?
— Сначала в Украине. Подтянем и сюда.
— На Украине?
— Приезжайте, — не стал поправлять Сезар.
— Где шили пиджачок? — предложение ушло в пар. — В ателье при Музее 1-й Мировой?
— Догадались? А следующий шаг?
— Шаг, хренак... Да я б все эти войны, все эти путчи, Майданы...
— ...отчего ж не запретили? — опередил Сезар, — силёнок маловато? А если в мирных целях?

На Кржижановского ничто не менялось десятилетиями, каменные столбики забора института Физпроблем чуть вразброд креном и это походило на последнюю сцену в «Ревизоре», двухэтажные флигели, выстроенные пленными немцами, то терялись в глубине участков, то нескрываемо и робко светились сказочным затемнением, не совсем по-русски.

Остановились у среднего из трёх.

У Сезара сдавило горло, когда тронул калитку, незапертую. Следовало бы позвонить над табличкой, но лучше огорошить, не дав прийти в себя.

Он вообразил сход по деревянной лестнице, шарканье и щелчок в замке.

Вообразил без макияжа и прочих ухищрений Лилю, с удивлением отнюдь не радости.

Но её лицо врать не умело.

Ужас? Да. Испуг? Всегда готов? Но только не ложь.

IV

Летом... Только ли его, лета (как настаивал Тарковский-поэт) мало? Подарок есть подарок, самое верное, инстинктивное — принять и забыть. Вечность и без того вся сейчас, сиосекундна, летом

же вечность на пике замирания. Никого, ничего (мешающего, внешнего) нет, кроме сгущённого в себя же (не зря грамматика прошлась линейкой по затылку), в себя же самоё.

Сталин? Это кто? Россия? С какой стати ею управлять среди развёрнутых во все стороны мордоворотов? Доказывать парение свободы меж родных друг другу? Все свободны, все, а не только (по недоразумению либо по прихоти опричной) отпущенные с лязгом ворот. Гуляй не хочу. Какое счастье — свобода среди свободных, кто и не догадается, что бывает, что может быть иначе!

Ворота — не стена железа, прутья состыкованных створок со ржавым висячим замком. Прутья, рёбра, под навесом тяжелеющих ветвей — с ними осторожнее бы.

Развести створки, пропустить хэтчбэк в густую, вольную траву, успев навесить замок, пока любимая придилично медлит, косясь на твоё обожание.

Из багажника вынута корзина с купленной где-то на повороте от Рязанки в сторону Ильинского или Отдыха пятилитровой ёмкостью «без газа», сухим или Чинзано, кастрюлей домашних котлет, нарезками (выбор не богат, а возиться лишний раз неохота, осталось здесь же в холодильнике).

И огибается флигель в полутьме свиристений, совсем близко (или за километр — проницаемость воздуха близка субсветовой), мимо соседской делянки до угла к своему неогороженному участку со стареньким бунгало (родительским), рядом новое (через кривую тропинку метрах в семи, с верандой) кажется чужим, опасным воспоминаниями, в которые тебя не позовут.

Распаковывай, у судьбы сил всё меньше — часть её прелести, её первого на тебя взгляда в толпе, осаждающих ЦДЛ, той летнею весной, весна та, излёт её, больше лета, больше навсегда, но и этого клочочка с чуть расшатанными, как диезы и бемоли ненастроенного пианино, сосновами хватит на всю оставшуюся жизнь.

А зачем она, как фантомная боль, оставшаяся? Всё готово на клеёнке, водочные — для мартини, стаканов тоже два, пепельница и пакет нектара красных сицилийских апельсинов сдвинуты ближе к подоконнику, тают холодные котлеты, чокаться слишком пафосно, из приоткрытых узких окон веет жасмином — справа от крыльца его двурогие почки, напоминающие тиару, стрельнут утром, но

торопить утро — садизм, даже тьму постели можно попридержать, яркий свет молчания приятен карнавалу мошкary, молчание же не от полноты ли друг другом?

...Тьма белоиюньского рассвета, отзывчиво поцелованное плечо-плечико, просьба «Сделай кофе, пожалуйста!» умоляет отстать — не тебя, а часовое с лишним сквозь пробки мотание в кардиоцентр — но до кардиоцентра ещё столетия два-три, об этом занудажаворонок, или сойка (названия кишат, с различием беда), может, сверчок добавлен, сверчок, из Чехова? Навряд. В его текстах запахов не сыщешь, здесь же — всё бунинское, до помутившейся головы...

С верандовой двери откинут гнутий крючок (похожий на «закидушку») — пластик стола меж сосен горит под уже внушительно высоким солнцем, что-то в этом, белеющим, как парус, искателе бурь-покоев тревожное, но устойчивость картины придаёт на парапете крылечка рядом с по-детски брошенной лейкой каменная ваза, где высажено что? — левкой? ноготки? не цветок, а барышня в юбке (розовые и других оттенков оборки до подсохшей земли).

Жасмин у крыльца, почки распушены глобусами — тронь, вдохни — по два рога на каждой (вроде тиары), отдаёт влагой, пульс его, цветок его пульса внятен (одновременно исчезающ), он (куст) — чтобы остановиться, но тебя несёт за угол, почти до колодца, мимо блёклых настурций (опять догадка, может, и не они) к анютиным глазкам (не ошибёшься), к их цыганской стайке, (приручённой) своре, лижущей, дикой — сами взросли?

А это жёлтое, рассыпчатое? С бело-зелёным отливом — клевер? Но где клинки?

Невообразимые джунгли кустов-не кустов, наверное, смородина, росинка притаилась на ниспадающем листе, один зубчатый листик парит над таким же, но крупнее и тень парящего зеркально выжжена в том, который внизу.

Альстрамерия, желтофиоль, лютики (среди былинок) или совсем колокольчики, сдобренная зноем сырость от завтрака (на него пока не кличут — поэтому бегом или в замедленном настое повтора назад), от завтрака — до забора (из какого, интересно, детсада?) и выше, выше.

И льются, льются, льются отслужившие своё иглы (тоже раздвоённые, как рожки жасмина), вестники ранних морозцев, ночью, одна из игл (самая любопытная) проникнет на простыню — подстежку ваш вспых, подстежку и втесаться.

…С полчаса прошло? Или десять-одиннадцать (целая стая) июней? На веранде свист от конфорки, вспыхают пузырьки омлета, к бортику фарфоровой пепельницы аккуратненько прижата мерцающим жерлом дамская сигаретина. Пластиковые салфетки, вилка слева, нож справа (или наоборот — наоборот удобней) для растворимого насыпала по две ложки, мне без сахара, все прелюдии съедены.

Где хлебница? На холодильнике. Масло? Внутри (не затвердело). В разгар намазывания, удивляясь (первый блик — всегда удивлена, с разной скоростью привыкания) выходит (навскид пальцы, как хирурги держат перед операцией), тёплая простынёй, ещё теплее тёсом (какой там тёс, просто доски, не изба же, изба не про нас, изба — интересный вариант, изба-избушка, из другого слоя, с морем и корытом, избушечка, мы там проснёмся тоже, рыбку бы не пропустить (хотя, почему «там»? Здесь, всё здесь! — только протяни руку).

И он протянул две, не давая увильнуть вошедшей.

Время поплыло, утыкаясь в шею с завитками, перебитое запахом от корней волос.

— Остынет же… Садись!

Рай — не рай, если не дежавю.

— Сегодня воскресенье?

— Разве? Суббота.

Хотя и спутать немудрено.

— Думаешь?

(Волосы бы чуть приподнять и назад… Нет, и волосы оставим.)

— Точно суббота?

— А если нет? Сиди, посуда — за мной.

— Покурю? Не обижайся, это после кофе ритуал.

— Я мартини. — он отвинтил пробку с красного «Чинзано».

— Алкоголик! Почему, почему хочется скандалить именно утром!

— А есть шанс?

— Наглый!

— Наглый только с утра.

— А который час?

— Полдень, плюс-минус…

— Там, на диване, пульт. Включи. Ну, пожалуйста!

— Программу «Время»?

— Любую, где часы.

— Их отменили. Вместе с программой.

— Давай уедем не позднее пяти? До пробок.

— Суббота же! Зачем торопиться? Ты всё спутала.

— А когда начала путать?

— Корзину вынимая из багажника...

— Корзину? От кого?!

— С провизией. Подумав о сумочке.

— Мобильный забыла на сиденье, сколько на твоём?

— Он в Москве. Но там нет часов.

— Нет на телефоне?!

— Вместо них опция: «Ты = я».

— Ася, как с ножом к горлу: «Он тебя не искал все эти годы, отчего?»

— Боялся найти...

— Ты ведь не оторвёшь меня от девочек?

— Оторву.

— С Асей просто не знаю...Специально берет лишние дежурства. Или уходит к своему Мите. Но я ведь продвинутая, не запрещаю, зачем она так со мной?

— Они обе тебя обожают.

— Леся вообще командует! Наверняка семь раз уже звонила и смс каждые две минуты... Сходи за телефоном. Нет, лучше я сама.

— Отпусти их, Асю первой.

— Они меня считают клушей!

— Скажи: «Не надо завидовать!». И отпусти.

— Мне с тобой хорошо...

«...а без тебя, — всплыл конец её же фразы из тех, междугородних перезваний, — плохо», — но ведь лето, ностальгия летом это, как бикфордов шнур на бензозаправке.

— Не могу избавиться от чувства, что завтра в центр.

Он взял её пальцы через стол, и довёл до крыльца, до каменных ваз на крошащемся бордюре.

— Смотри — но не на меня. Левкой?

— Ты полил?

— Жасмин, лютики, желтофиоль, анютины глазки, сосны — могут выглядеть так перед концом выходных? У них же разгар! Они будут скучать!

— Почему «скучать»?

— Потому что без нас. Если воскресенье отложим... Но мы его — как решишь: отменим или отложим.

(Нет, на шею так и не бросилась. А кто бы, кто?)

... — Господи, как же много слов! Ты куда?!

— Кому был нужен телефон?

— Не уходи!

Сидели на крыльце, жмурясь от зноя, застрявшего в иглах.

— Ты узнал меня, ближе, чем я себя. Это страшно, понимаешь?

Щекой потёрлась о его плечо, не расцепляя колен, подтянутых к подбородку.

— Знание, — тронул и поцеловал колечко на безымянном, — ве́щь не постоянная. Узнал, забыл, что узнал, узнал вновь, у знания прошлого нет.

— Прошлое? — перевела на конкретику, — я им не живу!

— Ну, а чем?

— Вон там прыгают вокруг кресла-качалки с мамой. И с Нонной в таком же. Армену мешая снимать (он отписывает мне заднюю половину дома, всё, всё сейчас). А там, — кивнула в сторону забора, где виднелся серый курган золы, — шашлыки...

— Ключи на столе?

— От машины? Рядом с пепельницей.

— Рынок ещё работает, мяса возьму, вымачивать не обязательно.

— У тебя сколько лет стажа? — прищурилась.

— Пешком, я быстро...

— На Новый Год они сюда съезжаются! Аська одна (если нет дежурства), Леся с Эдиком (у неё в Ройтерс длинные рождественские). Когда Вадим прилетает, девочки на нём виснут!

— Познакомь?

— С ума сошёл!

— Он меня убьёт?

— Кстати, я говорила. О нас.

— В Чикаго?

— Да. Бровью не повёл. Удобно: работа (и свобода) там, семья здесь.

— Семья... Разве это семья?

— Мы не вместе 10 лет, больше, но развод... процедура... только представлю... Давай, уедем сегодня же? Хочешь, никогда больше сюда не вернусь, хочешь?

— Набери сухих веток, — встал, отряхивая иглы с колен, — газет, бумаг (мангал вижу), а я одна нога здесь, другая... засекай время.

— На чём?

— Тень видишь? Вот на ней.

Спортивный шаг взбадривал. Заборы по обе стороны поселковой просеки средний рост превышали сантиметров на пятнадцать. Кое где заметны чердачные этажи, свидетельствуя о временах ветхих, о том, как это всё раздавалось, за какие выслуги, командировки, закрытые рты собраний и семинаров.

По небу успело понабежать нестиранных чернильных простинь. Капля, вновь капля, полторы, а в промежутке — хлоп! — извlekлась притча-не притча из дневниковой записи грузинского философа Квливидзе: «Ты приехал в город к любимой девушке, вот вокзальный перрон, ты покупаешь ей розы, представляя, как медленно, лелея каждую секунду пути, будешь подниматься к её увитому хмелем углу домика, переводя дух прежде, чем нажмёшь кнопку неработающего звонка и снова переведёшь дух, прежде чем постучать в дверь сеней, а к тебе выйдет, выбегут, не спрашивая «кто там?». И это настолько прекрасно и переполнено, и никогда не будет полней и прекрасней, что брось свои глупые розы, немедленно бери билет в любое направление, плати любые деньги, а это место закрой, забудь».

Капли зачастили, сливаясь чуть ли не в стену. Он влетел в подземный переход под платформой, не тормозя в тёмном и тесном от пережидающих дождь, выскакивая с той же скоростью и определяя супермаркет, как сеттер место падения застреленной утки, на тех же оборотах (и едва ли не по запаху) вычислив холодильную полку с ёмкостью замаринованного свиного шашлыка, взял две на всякий случай (они были последние) — и в том же лихорадочном темпе бросился на улицу, в толчею платформы — от него с визгом отпрянула явно голодная псина, сверкнув женским укором и страхом. Тут его и достал дождина, ливень, хлыст молнии разверзся, защищаясь двумя плотно закрытыми ёмкостями — якобы защищаясь — пригнулся в беге, совершенно выпав из времени. Потому что у самых железных ворот и за ними трава странным образом осталась не вымокшой, непримятой.

У крыльца, сидя на kortochkax, Liля прижимала к себе и гладила неизвестную, беспородную собаку, с только что виденными на выходе супермаркета глазами страха-голода.

— Сама, представляешь? А где ты вымок?

— У вас не было дождя?

— У нас... был... кто был у нас? Моя хорошая, Нися, моя девочка!.. Кто был у нас? Откликается! Ну ты чего, чего?

...Мобильный лежал на полу меж сиденьями, возле рычага коробки-автомат.

Ноль неотвеченных, ноль сообщений. Ёрзала, усаживаясь за руль, будто на экзамене.

Миновали полоску домишек — напротив поля перед въездом на трассу с бесхозными «глушилками» к горизонту, никак не могла найти удобного положения, укрепляя зеркальца — внутреннее и за бортом, но почувствовав на колене ладонь, выдохнула.

Посыпался едва ли не град — тут и резанул рингтон, типа ножа по фарфору.

— Лесь! — отозвалась повышенным регистром, — я за рулём, с дачи, льёт, перезвоню! Нонна? По скорой? Сильное кровотечение?! Да... да... конечно... да...

— Останови!

Она послушно тормознула у края обочины.

— Я... Я...

Не плач, а клёкот.

— Вижу, что в порядке. Дальше я поведу.

— «Брось всё, займись Нонной!». Разве я всеми не занимаюсь?! У Нонны кровь. Могло случиться каждую секунду! Она крёстная моих — и я ею не занимаюсь, я??!

— Оыта...

— ...какого опыта?

— ...вождения опыта у меня год с лишним. Без автомата, но ведь не важно.

— А почему сразу не сказал?

— Решил прогуляться.

(От силы месяц. Два, если прибавить первые уроки.)

— Сильно пожилых стараются не брать, она ещё и отказывалась! Бездетные, круглосуточная сиделка, диагности, больница — всё на мне — всё на моих связях, во вторник обещала материал для симпозиума, 20 страниц, он сырой, как, ну, как это?!

— Присылай. Скомпонованное получишь в понедельник.
— По биохимии? Я тебя умоляю!
— Любой текст имеет структуру. Логика — ничего больше.

Я поведу, не спорь.

И привлёк, отводя волосы. Чуть погасив умоляющие глаза.
Не было середины — умоляющие или расширенно-радостные.
...От угольев мангала долгий треск и незаметно свечерело. Собаке в прыжке досталось четыре сырых куска (маринад не смутил — уплела мгновенно).

Трапезу перенесли на веранду второго домика, в старый Нюся войти побаивалась, а перед этим виляла куцым хвостом.

Он любовался, как Лия без лишней ловкости сдирает зубами сочный кусок с шампура, отвод тот в сторону, как намёк на лезгинку.

Вслепую бы, повторно нашарил этот «свой» росток, этот выон среди кувшинок, лопухов, донника, жимолости — хваткой близоруких губ, заменяющих миноискатель.

Мошкара замельтешила, привлечённая лампочкой сеней, видной через верхнее стекло двери, жабы свадьбы (совсем не близко) покрывая эхо товарных цистерн, отнесло к аэродрому, шоркнуло около жасмина ёжик, упирающуюся Нюю втащили по ступенькам веранды, вдвоём, за уши, она заслужила недоеденный шашлычный шмат, миску (вылакала не без оглядок) и подстилкою откуда-то детский свитер.

— Подумала-подумала, и, подав лапу, объявила: «Я Нюся!». Колись, чем приманиваешь?

— Пойду стелить.

— Аннушка! — еще не «Сезар», а просто Сергей, потрепал загривок приблудной, — нас оставляют! Каково?

Лампы сеней хватало и на освещение полукруглого душа. Его дверцы заклинивало, пришлось поддевать. Приторноватый гель смывал долго, рукой массируя, мочалку забыл. И совсем без ничего ступил в комнату (слово вспомнилось — «опочивальня»). Вытянулся рядом, выдерживая не дольше трёх секунд. Как в первый раз. Как до первого раза. Как никогда.

— Подожди! Я хочу привыкнуть.
(«Приникнуть» — отозвалось.)

Двое. Или одно. Её профиль мерцал. Глаза, глаза, глаза. До бесчувствия. Восторг бесчувствия. От слегка вмятой кнопки соска губы, завиражив по холмам, спустились к ущелью. Слух сдавило, как

при нырке. Просила, умоляла, отталкивая, умоляла дрожью, аритмией стонов, отталкивала, вновь сжимала, билась, не мешая его рукам лепить себя согласно той дрожи. Наконец, грубо, почти грубо, взлетев с растревоженного, терзаемого бутона, утонул в ней, теперь всей тяжестью. Всей заострённой местью. Сладкой, зверьей местью. Умирая хрипом от клейкого залпа.

...Вёл осторожно, сбавил до 60, когда понаделал машин, соблюдая дистанцию, со средней полосы рассчитал перестроение, чтобы свернуть на МКАД, не прозевал там стрелку на Можайское-Кутузовский. Протёр запотевающее стекло замшой из бардачка, сдерживая Лилю на её колене ладонью (как всегда первая делала она, которая сейчас уточняла у Армена состояние Нонны, передавая разговор Лесе в Киев беззащитно-высокой нотой, от бокового же чутья вряд ли ускользнуло его водительское щегольство).

V

Картины пронеслись одна за одной, обгоняя себя же в каком-то вакууме.

Если в упор и по-честному, всё мираж, а любой шаг в призрачное — смерть.

— Я знала, — не изменился Лилин без разбега высоких нот голос, — следила за тобой. Слежу. Зайдёшь?

Смотрел безотчётно. Только сейчас понимая: не хочу. И не должно хотеться.

Провела по его френчу два раза. Будто что-то стирая с доски. Ещё мгновение — всё бросил бы. Всё. Всё-всё.

— Я не вернулась к мужу (в твоём понимании), но... семья... Молодец, что зашёл.

(Не приближайся, — мысленно скомандовал, — даже на сантиметр...).

— Иногда смотрю в твоё письмо, помогает! — почти улыбнулась. Как бы выпрашивая индульгенцию. Как бы всё заворачивая в скатерть индульгенции.

И снова провела по левой столоне груди, ближе к плечу. Тонкое, двойного витка колечко, подаренное на день рождения (с большим разрывом лет, арбатское, из «КазахАлмаза») Сезар заметил, не зная, как реагировать.

— Дача теперь моя, ну то есть, с Асей и Лесей, три года как, — она потупилась.

«Значит, Армен умер. Перевалив за 90».

Боялся заговорить, чтобы не разрушить её иллюзию в его к ней порыве, верить в который тяжело, а отказаться от этой тяжести никак.

Двух последних разов не получилось. Но это — сполна. Конечно, поддалась на порыв, но ведь ничего не построишь с опорой на давним-давно порыв. Два года пыталась, а теперь и мне, мне тоже ничего.

Теперь его совсем не волновало, как доберётся до Брянска, ходит ли туда что. Сила несла, сила беспечности. Выключился, как лежат на спине при морском штиле.

Разбередилось — знал, что разбередится. Точку ставить надо жирнее. Любовь не для тебя. Взаимная любовь не для тебя, другой не надо и не бывает. Стоит сберецься, иначе все твои побратимы, все они, составляющие пусть небольшую, но армию, будут преданы. А ты никого не предавал. Одно предательство, тень предательства, даже без тени аромат предательства — и оборона смята. Война — место, где ради цели все рамки повалены, все правила в прах. Кроме чести. Честь — вне войны. И правильно воюет лишь не искушающий эту честь, за кем она пристально бдит.

Излишни заботы — как бы не попасться. Френч — значит френч, никаких переодеваний. Да, вызов. А можно и не знать, что вызов. Защищённее тот, кто виден и открыт.

Погиб ли в нем философ? Знание — плоть, приходящее само. Как собака (*«Никогда не просите... сами всё предложат»* — кольнуло. Само нальется и стукнет по темечку).

Где-то на Профсоюзной неподалёку от виадука перед МКАД, Сезар свернул в ресторан восточной кухни, дресс-код не требовался, экзотический вид смятения не вызовет. Одного из официантов попросил о подзарядке спутникового.

Вышколенный юноша нежно взял массивную штуку и вместе с подзаряженным принёс наваристый лагман, затем что-то мясное на большом блюде, размером, как принято у американцев.

Даже по сверхзащищённой линии у них с Коллиной применялся особый язык.

— 115-му какой соответствует (на каком км Киевского направления его ждут?).

— 35 минус (35, не доезжая Брянска).

Всего два КПП. Но в связи с рейдом число могло возрасти втрое-впятеро.

— Честно тире? — продолжил Сезар конспирацию (доехали без перестрелок?)

— Не бывает (здесь перевод не требовался. Но это на момент непосредственно прохода. Могли потом отрезать участок трассы).

Карта объездных путей показывала: от Калуги развилок три, каждая давала по три других варианта возвращения на трассу.

«Зелёных» — чуть больше тысячи. С молодым официантом дело иметь проще, опытный опытен и в смысле страха потерять место.

Он подозревал парня щелчком пальцев. Не нацмен — нацмены осторожнее, ибо сами на птичьих правах, а здесь явная (если не сезонная) подработка и деньги — это всё.

— Мне бы, — начал Сезар намёком, что исполнитель в накладе не останется, — обменять кое-что...

Парень понимающе склонился.

— 300, ещё 150 себе. Курс — по усмотрению.

— Постараюсь. Хотя сложно.

— 200, — прибавил Сезар.

— Ок, — юный Меркурий исчез в полутьме зала.

Выпить было бы небрежным, но важнее не замутить размышлений о Лиле.

«Слежу». Значит, не соврала («Ты остаёшься близким, очень»). Ещё больнее прямота, смешанная с деликатностью сокрытия причины — почему не захотела. Почему никогда не звонила первая, только сам.

А если бы... ох как он эти сослагательные варианты ненавидел! — если бы она вдруг спутала все ожидания, весь привычный круг ожиданий и первая, открыто, щедро, беззащитно (то есть, по его же представлениям, защищённее всего) призналась бы, что нужен, путь открыт, согласна, готова, — ты же этого хотел? Хотел?

Не знаю — ответил кто-то за него, кто-то, как семечко из яблока (твоего сакрального плода. Или тотемного? Брось. «Тотемное» — это про животных).

И всё же. Чем бы стал заниматься в этом случае? Уж как-нибудь без военного дела бы обошлось. Значит, судьба случайна? Зависит от капризов одной консервативной (с проблесками великодушия и щед-

ности) девочки, поддавшейся твоему вихрю, но перестраивать под него свою устойчивую жизнь с непоколебимым бытом, подругами промелькнувших лет и зим (зеркально глядящих одно в другого)?

Как же всё *трещит и качается* (откуда цитата?) Может, «шатается»? Да, точно — шатается. Из синенького тома «Библиотеки поэта», запамятали автора, из 70-х, когда вас и свело. У входа на поэтический вечер — чего туда понесло? Имя — Вознесенский! Всегда влюблялся в первый звук, например, в «Спартак». Так и с Лилей. Угодил в толпу алчущих лишнего билетика. Её, кстати, принесло практически то же — ажиотаж имени. Но ты способен длить первый взгляд, первое впечатление до бесконечности, до смерти (дадут, что её нет, утверждают половина философов и другая половина поэтов), но любовь — это что-то иное. Значит, эта вещь и эта девочка не твои. При этом, каждый — врать не способен. Ты — накалом, она — уклончивостью. Не судьба. Что страшного в не-судьбе? Всё же ты за неё цепляешься. Мечтая доказать верность и правоту, или хотя бы собственную цену в её глазах.

Не успел это в себе утрясти, как вырос юноша, кладя под счёт сумму и сдачу.

— Мне б сотку водочки! Самой дорогой, — Сезар отделил от принесенного тысячную купюру, подумал и отдал ещё две.

VI

Цепи сброшены.

Сейчас он был в перекрёстном прицеле тысячи врагов, и недосыпаем ни одному. Симку долой (не уследите). Спасёт случайный попутчик, такой же авантюрист.

Помахал одной, другой машине, не разбирая, Лексус или Датсун, даже КАМАЗ. Средненькая предпочтительней, дорогая поостережётся ехать чуть не в пекло.

Остановился Исузу, явный секонд-хэнд (шар угодил в лузу, как от борта). Владельцу ещё долго будет слегка за 30.

— Куда? — ответом будто не интересуясь.

— Главное, за сколько! — подмигнул пассажир.

— Видно будет, — интонацию поддержали.

— Легион свободной России устроит?

— Такая существует? — салон покачивало уже двумя улыбками.

— Я им командую.

— Россией?

- Россия — женского рода, ею покомандуй... Легионом.
- Ангелов? Вы архангел?
- Вам хотелось бы убивать? — Сезара взбесило, — чтобы ребят возвращали в чёрных мешках? Сколько ваших знакомых бежали от повесток?
- Дамир пропал, наш айтишник прежний, было двое, сейчас один.
- А он как?
- По нему не поймёшь.
- Ютуб смотрите?
- Больше жена. Рецепты, ну и там...
- Фейсбук?
- Да ладно... Интернет — помойка.
- В общем, плачӯ 500 (это за туда и обратно, если порожняком и не в рублях), высаживаете за 35 км от Брянска.
- Брянска?!
- Шестьсот. В рублях, но по курсу.
- Издеваетесь?
- Телефон с вами? Дайте покажу.
- В лежащем на приборной панели Самсунге Сезар нашёл интервью Гордону. В том же френче, который сейчас был на нём.
- Пока владелец всматривался в лицо, как две капли схожее с голосавшим, Сезар включил спутниковый, вызывая Коллину:
- В пределах 1,5-2-х. Трёх максимум.
- Ну, вы даёте... — водителя словно бы долго трясли за плечо.
- Смотрите, — Сезар без лишних слов передал обещанное, — надо бы миновать КПП и просто посты ГАИ. Начиная с Калуги. Навигатор их показывает?
- Не интересовался.
- Карта есть?
- По карте, вынутой из бардачка, Сезар прикинул каким кругалём обойдется Калуга. Тянуло километров на 80, прибавить Брянский (с недоездом), будет 40-50. Скажем, 150 в сумме. Часа на 2,5.
- Коллина, — повторно вызывал коллегу, — тишина?
- Обижаешь.
- С минусом?
- Да вроде нейтрал.
- А эти, «ниоткуда»?
- Как не было. И попугай смылся.

— Я отпустил.
— Верно, сэр. Толку с него здесь...
— Я не в фокусе.
— Оптимист!
— Ещё какой! Обнял.
— Слыши! Всё хрустит.
— А что, — повеселел вдруг Сезар, — что держит? Работа?

Дети?

— Я развёлся, — водитель не поворачивал головы, голой, как вылущенный орех, — детей сами по себе.
— Ну, тогда служба?
— Все под Богом.
— Военная специальность?
— РВСН. Старлей запаса.
— Отлично. Едем со мной! Лишних специалистов не бывает.
— Вы же против наших?
— Против. Против Зоны. Всей, а не одной плешивой головешки.
— И много таких?
— Вижу ещё одного. Слева от себя
— Надо подумать.
— Думать осталось часа 2, если не ошибаюсь.
— А я быстрый. Подумаю с полминуты — и опять на боковую.
— Время пошло?
— Отчего такая уверенность?
— А если я не шучу?
— Так и я не шучу.
— Сезар!
— Валерьян!
— Прям, Чкалов!
— Ну, кто Чкалов, а кто Дон Сезар де Базан!
— Ещё и театрал?
— Отож!
Поржали — значит, бак не пустой.
И на первой же развилке — съезд направо, под мост.

VII

Едешь, едешь, провал свободы в безответственные слои, будто спутник, прокалывая атмосферные уплотнения, взмывает вновь, —

дороги за несколько сроков несменяемого режима всё-таки расширили, как в европах появился разделительный швейцар и можно гнать, не глядя на спидометр.

Да и зачем неврозы, копание в тупиках... Другое дело, как, насколько это всё связано с верой в наше одоление всего сонного, (с открытыми глазами, как в наказе Чаадаева, у кого любовь к родине и обрывается бессонным неврозом).

Быстрое согласие Валерьяна очень даже «наше», наше вполне парадоксальное: не кровь струится под верным делом, а смех. На «подосланного» не похож, пофигизм насчет «политики» распространённый до зевоты. И хорошо, и ладно.

Объезд оказался с рытвинами, на следующем (влево) тряски не меньше.

До Брянска оставалось км 50, ноль напряга. Хотя почти два го-да приучили не верить никаким облегчениям, хорошим приметам, ничему вообще.

И когда километре на седьмом от последней подсказки навигатора вырос импровизированный, скорее всего, пост (Форд и Харлей), ни одна мышца на вытянутом лице Сезара не дрогнула. Пусть узнают в лицо. Я у своих.

— Капитан Омельниченко, — наклонился к приоткрытыму окошку некто в капюшоне, — спешим?

Френч Сезара, казалось, выпадал из сферы его интересов.

— Мы превысили? Обстановка вроде спокойная. Продолжайте наблюдение, кэп.

— Диверсионных групп не боязно?

— Ну, русские же? Вы русский, мы с Валерьяном русские.

— Русские свои? — форпост Отечества задумался, — диверсанты тоже русские. Или наёмники, x** знает.

— Я командую «диверсантами». Вы в безопасности.

— Почему я? Документ есть?

— Документ о безопасности? Поверьте устному приказу. Вам зачтётся.

— Что зачтётся? Московские номера?

— Московские номера безопаснее всего. Я проверял трассу. Она подконтрольна.

— Кому?

— Вашему содействию. Вы нас видели, мы вас — тоже. Под моё слово.

— Дальше нельзя! Вы меня поняли?!

— Лучше присоединяйтесь. Ещё не поздно. Правда, Валерьян? Прямой эфир со мной. Ловится? Выступление Сезара, командира Легиона Свободной России. Непохож? Вас и таких как вы бросят «на мясо». Не сегодня-завтра.

(«Лучшая защита — напролом».)

— Давайте так, — Сезар всё больше расходился. — Довезём до наших, не понравится, свободны. Последний вариант: стреляемся (дуэль, всё по классике, Валерьян судит).

— А-а-а... — махнул капитан, — ехайте. Я тут один, от стрельбы не уйдёшь. Лишь бы не ракеты

— Значит, на мясо? Или все вокруг нас гниды, мы одни, так? Садись.

Сезар приоткрыл заднюю дверцу.

(Даже меня, — подумал, — не хватит объезжать все посты, вербуя за правое дело.)

— Русские там, куда мы едем с Валерьяном, а в немцах ты и твоё начальство.

Зажигание включилось.

— Погодите! — капитан отошёл на два метра, — Жене позвоню.

— Из машины, — Сезар занервничал, — только по спутнико-вому.

«Как же мне всё это...»

Цифры номера жены капитан стёр — пальцы не слушались.

И что-то мешало ещё — он поднял голову.

Заряд с дрона взорвался в метре за кюветом.

В клочья разодрав и номер, и набиравшего, и двоих в Исудзу.

Собирали фрагменты.

Сезара опознали по френчу.

VIII

Если пустыми глазами смотреть на океан, он кажется плоским, от размеров ни жары, ни прохлады. Ничего нового не обещая, как «Оранжад», или общее блюдце, в которое всё это было налито. Или нолито. Язык стал забываться. Или что? Язык. Нетушки, по-русски говорить можно всяко. Буду говорить на моём русском.

Это заявил внутренний голос полковника. Или внешний? Разница не имеет значения. Буду говорить, как говорится. Или мол-

чать, когда необходимо. Слушать, когда необходимо. Бежать, когда необходимо. Играть вашего манекена, когда необходимо. Сечинск вам победить не удалось. Он рассыпался, чтобы возникнуть, сорваться, когда это будет оптимально. В звёздную секунду.

— Имеет-имеет, Иван Арсентьевич.

Полковник обернулся. Голос, раздавшийся за спиной, продолжал за спиной же и оставаться. Соустин сделал движение «кругом» вновь — голос не уступал.

— Ладно, давайте к делу, — перед ним, «не запылившись», стоял Мызгин, только что из жмурок.

Соустин матюгнулся в самый корень души.

— Я обещал, и вот он, ваш час.

— Мой, пошёл он к чёрту, — вырвалось на спаде, — и оставьте мне мой час.

— Он был, есть и будет ваш, я ведь ещё ни разу не соврал?

— Когда летим?

— Не ваша профессия, — на клерке были жёлтые джинсовые шорты, — ждать и догонять, но моя! Буду в холле.

— Один справлюсь, но жена, боюсь...

— Анна Львовна остаётся. Ей ведь всё нравится?

— Особенно, вы, — Соустин готов был двинуть по этой, всегда готовой улизнуть роже, без неё с места не двинусь.

— Роль первой леди можно и здесь играть. А у вас миссия! — тропическое, немного давящее небо подретушировало жёсткие нотки Мызгина.

Допрос или поединок равных не прекращался. Полковник разыгрывал его в одиночку, а ринг вновь открыт и без канатов. Информацию он ловил и анализировал противоречивую. Какой-то Легион Свободной России плюс Русский Добровольческий корпус вошли в Москву. По другой — оба формирования (даже три, плюс какая-то «Сибирь») сдали назад, не доехав до столицы Мирового Зла 150 км. Уже в Москве отдельным диверсионным группам удалось проникнуть в резервную телестудию после взрыва Останкинской. По другой версии, там погиб один из командиров Легиона и не менее 50 ранены. Несколько минут прямого эфира из резервной студии якобы поставили на уши часть западных СМИ, возвестивших о начале горячей фазы знаменитой русской смуты. После чего студию атаковал дрон-самоубийца, еще семь БПЛА удалось уничтожить. Одновременно прекратились инсайды из Кремля. По другим

данным, партия «почетной ничьей» смела действующего президента, оттеснив партию «почетной капитуляции» за Урал. Дезориентация коснулась двух направлений фронта — Крымско-Запорожского и Луганско-Донецкого. Новый состав Совбеза объявил о предстоящем обращении к народу врио главы государства, чья фамилия пока скрывалась якобы в интересах его безопасности. Разные источники старались сообщить как можно больше подробностей о взрыве джета с главой Кабмина по пути в Петербург над Тверской резиденцией сброшенного президента, в джет, при этом, прессы усаживала то кого-то из «ближайшего круга», то боевиков уже взорванного Гладилина, то манекены, привязанные к сиденьям кресел бизнес-класса.

Соустину «покойный» премьер с его продолговатым («бильярдным») черепом и подбородком боксёра при отсутствующих глазах всегда казался официантом (в противовес «повару», которой бабушка надвое сказала, взорван ли, но Гладилин хотя бы умел взвинтить зёков, а набравший воды в рот премьер олицетворял перманентную гражданскую панихиду).

«Этот, — сверкнуло в ссылном, — будет стоять в почётном карауле и перед моим гробом, как бы глотая чижика. Но мы ещё поглядим, кто вами всеми закусит».

Виски в холодильнике не нашлось. Только мохито. Соустин осушил целую четвертину. Омерзительный. Но джин с ромом — ещё хуже.

— Хуже, хуже джина с ромом не знаю ничего, — Мызгин следовал за полковником на расстоянии, превышающим воображаемый хук, продолжая ковыряться в мыслях и подсознании почётного узника, — усвойте главное: за вами не просто прилетит самолёт. Это будут спецназ добровольцев Легиона или РДК. Нам удалось с частью из них договориться, они согласились «вызволить из заточения», а далее служить нам в качестве (как сами же и объявили устами одного из наших агентов, который внедрился в Легион, чтобы стать его спикером) охраны ядерных складов и ракетных шахт. Для вас без разницы — переодетые ли это в форму добровольцев наши люди, либо и впрямь отколовшаяся часть — правда вообще никому не нужна, вы будете доставлены в Москву с почётом, новая власть отмежуяется от одиозных фигур, но уговор, выработанный ещё на первом допросе, действует: истинная власть, мы, только мы обеспечим вам и жене полнейшую безопасность, если поведёте себя верно,

за нарисованные линии не выходя. Мы слово держим, советую держать его и вам. Запись допроса, если попытаетесь сделать неверный шаг, тут же становится достоянием леволиберальных идиотов СМИ, а также всех мировых разведок. Наш джет готов. Сколько времени, чтобы собраться?

— Да нисколько. В шортах можно? Вот, как вам.

— Переоденетесь в салоне. Речь заготовлена. Там же и отрепетируете. В шортах правдоподобнее. Будете, как Горбачев из Фороса, сходить по трапу, пошатываясь от вкушения родных воздушей. Ну, так сколько?

— Я же ответил, — Соустина передёрнуло, — берите какой есть. Но только с Аней.

— Ради неё с часок потерпите? Дресс-код, всё такое. Купнуться не хотите напоследок? А? — он позволил себе, приобняв Соустина, помять ему плечо раза два, по-дружески, не ожидая взбрыкивания.

Соустин всю свою волю собрал, как в рот воду для спрыскивания гляжки.

Но вода там же и осталась.

IX

Третье возвращение уже ничем не удивило. Угрюмых лиц не больше, чем когда уезжал на тренажёры. Сам Постриг явно выглядел не лучше. Контракт сорвался.

Даже отсутствие военного билета не помешало. «Сгорел в деревне, Шенталинский район, бандитские разборки, только паспорт всегда при мне. Всегда беру с собой, вот и поплатился».

Лётчик 2-го класса?

Военком не поверил, но куда-то позвонил. Лётчиков дефицит. Явился другой майор, уже авиации. Проверим, а там видно будет. До выяснения обстоятельств, а выяснить можно долго. Ближайший тренажёр в Саратовском училище. В том, из какого Постриг и вышел. Ёкнуло сердце — пяти лет не прошло (хотя и полвека).

Классные нужны. 100 часов тренажёра, затем 100 часов налёта. Если пройдёте и проверка подоспеет, в общем, если, если, если, тогда контракт.

...Единственное поменялось: на билбордах исчезли призывы: «Присоединяйтесь к СВОим».

Тренажёр предназначался для МиГ-29, а навыки Пострига относились к МиГ-21. Но разницы почти не ощутил. Руки помнили, с реакцией всегда была «десятка».

Период смыкания с новой панелью всколыхнул никуда не дававшийся из подсознания прыжок с «Франко» и два проплыва, до Финдыклы и оттуда.

Ощущения путались.

Журчали волны, схлёстываясь, первые сутки солнце длило зенит бабьего лета. Раза два-три выскакивали дельфины, вращая головой, похожей на щипцы с обтекаемой рукояткой. Руки устали от вёсел, шторм дремал, звёзд — немеряно.

В ушах множились команды: «Плыви, доплывешь! Брось лодку! Плыви!». Он опять в эти голоса, в эти наваждения не верил. Голова не верит, но руки сами по себе.

Он плыл в несчтный раз, в несчтный раз на губах шевелилось имя той, ради которой.... В несчтный раз сверлили, перемещаясь дугой от борта к борту осуждающий взгляд отца и жалостливый матери, всё ожидаемо, но всё вновь впервые. Всё кричало: «Н и к о - г да б о л ѿ ш е!» — будто речь о войне. О его личной войне — с морем, со штормом, с допросами (которые так и не случились — или всё же случились?). С выпрашиванием одежды и денег у козопаса по ходу плана возвращения уже не одному, а всей семьёй.

«Всей семьёй» — повторял, нажимая на условный «пуск ракеты». И к родительским глазам присоединялся испуганный взгляд Кати, только взгляд, без лица, лицо не восстанавливалось, лишь смутные линии, лицо слишком родное, чтобы его помнить отдельно, внешне. Инстинкты, зверье чувство опасности, не интеллектуал, но есть качества и поценнее — изворотливость, выпад, отскок и нападение, откуда не ждут — в нём и посейчас всё было побег, даже при достигнутой точке бегства.

Начались полеты всерьёз. Сначала с инструктором. Но после первых же 20 часов инструктор убедился: этот, практически готов к пересадке на «сушку».

В кабине Су-35 было комфортно, как в F-16 (тренажёр у штатников эргономичней, больше изыска). Панель, похоже, содрали, хотя и с опозданием.

100 часов пролетели как песня «Однажды вечером, вечером, вечером...!» — после занятий свобода в тягость, некому звонить, простишький кнопочный телефон (у остальных — широкие с ладонь (танк, а не телефон).

Занятия на тренажёре новейшей «сушки» ужали в месяц.
Но вдруг их остановили.

Поползли слухи о каком-то «перевороте». Отобрали гаджеты.
Какое-то обращение нового главы государства. По фамилии то ли
Совестин, то ли Соусонников.

Смысль обращения, примерно, таков: «Специальная военная
операция завершена. Войска возвращаются в места дислокации».

Слухи обсуждать не запрещали. О контрактах пока забыть.

Из Москвы приехала комиссия, занятая личными делами вос-
питанников.

Дело Пострига перешло под особый контроль ввиду отсут-
ствия военного билета и сведений, в какой части служил. Вылет
в район боевых действий накрылся.

Особенно злился сосед Пострига за обеденным столом и в па-
латах Тулкин, с петушиными повадками, глаз нахохлен, аккуратист.

— Мало нам предателей...

— Кто предатель? — не удержался Постриг, давший себе слово
ни во что не встrevать.

— Да этот, — ругнулся, назвав имя экс-президента.

— Его сняли?

— Ванёк, держись за свой пенёк — сняли... Пинком! Теперь но-
вый глава, временный. Всё временное здесь навек. Свалят на преж-
него, а reparации — (даже слово боятся назвать) — заплатит кто?
Мы с тобой. Мужик заплатит.

— Из нас мужики... — ухмыльнулся Постриг.

Чуть не добавив, что в полку дразнили «поручиком».

— Сколько с каждого?

— Тыщ по 15 тысяч.

— Рублей?

— Каких «рублей»? Что ли не русский?

У Пострига чесалось «съездить» по... Как бы назвать эту фи-
зиономию?

— Поглядим.

— Не-а, я сам уйду. Надо китайский учить. Китаю нужны про-
фи. Там и платят не в пример. Будем его провинцией. От Биробид-
жана до Перми.

— А западнее?

— Тебе туда, — махнул Колтун в западном направлении (ори-
ентировался с закрытыми), — темнота.

- С контрактом.
- Контрактов не будет. Обмоем?
- Я... — Постриг замялся.
- Мне самогон провезли. Бугурусланский. Я ж тамошний.

Увольнительная завтра?

- Завтра.
- Сегодня и айда.
- А не досматривают?
- Вынесу, ещё и спасибо скажут.

Около семи — уже почти стемнело — миновали КПП (Тулкин дежурному «отлил») и углубились в город, первое же заведение приятель отверг. Не ночной клуб, стриптиза нет (и хрен с ним), но после третьей пробы, уже всё равно, где, о чём.

Им попался бар в поздней «хрущёвке». Постриг, острота зрения которого с момента переплыva из Турции возрасталя неизвестным наукe способом, заметил довольно глубокую трещину на торце здания, казалось, невидимую никем. Сразу припомнилось, что и в Сечинске, и в Саратове без трещин фасада или торца не встречал строений, новейших, в том числе.

— По 200, — Тулкин занял один из высоких табуретов, оглядывая посетителей, одиноких лиц женского пола не очень, — может, виски? Тот же самогон, только сивухи меньше.

- Виски, — согласился Постриг, — сотку.
- А мне 200. Для затравки. У нас ещё и своё.

— За тебя, — чокнулся, — люблю молчаливых. Сам был такой, пока не потерял друга на этой... — он оглянулся — спец, етиt её. Мы ж мясо. Не боись, станут всякую помойку прослушивать. Я вот за границей так и не успел побывать. Сначала отсюда нам здесь, а сейчас и с той стороны. Изгоям нечё шастать. Правильно? — он прищурился.

- А я был, — Пострига разобрало.
- Где?
- В Штатах. В Германии. Западной. Сначала в Анкаре.
- Когда?
- Всё тебе, — скотч оказался ядренее ожидаемого, не пьяня, а лишь поддразнивая крепостью, — расскажи, Олег...
- Тебе скоко лет?
- Скажу правду, сдашь ведь.

- В психушку? На раз.
- Во-во.
- Ладно, — Олегу виски шло в плюс доброты, — живи.
- 76.
- Я думал, 158! — он заржал.
- И ты?! — Постриг вспомнил «сухариков», — Откуда знаешь любимое число?
- Откуда мне знать. Верблюдов полно везде.
- Я из 1974 года.
- А я из 1774! Не похож? На Пугачёва? — он вновь заржал.
- Копия!
- Дядь, точнее, дед, — Олег придвинулся и зашептал Постригу почти в ухо, — какая разница, ну выдумал ты этот 74-й, мало ли, что за год, кстати?
- Высылки Солженицына. Я его видел, в аэропорту. Во Франкфурте.
- Чего?
- Я ж говорю, Германия, Штаты, Нью-Йорк...
- ...гонишь!
- Христосовался на Пасху знаешь с кем?
- С Иисусом, что ль?
- С дочкой Толстого, Александрой.
- Чего?!
- Перед этим фильтровали в турецкой тюрьме, городок Финдыкли, потом в Анкаре, на даче ЦРУ. Выдумал? Ради Бога!
- Не знаю, — Тулкин подустал, — ну, допустим. Чем доказешь?
- Ничем.
- Христосовался он... И как там? В Нью-Йорке? Чё ж не остался?
- Жене обещал приплыть назад. Если сложится.
- Сложилось?
- Могло. Но ведь обещал, что вернусь.
- А здесь чё забыл? Ты ваще откуда?
- Из Валерьянова...
- Сечинска...
- Валерьянова, это же 74-й...
- ...Так ты сечинский... Наши ездили с флагом Башкирии. Когда разгоняли бунт.

— Со стрельбой и огнемётами...

— А с нами без этого никак! Ну, а жена?

— Исчезла. Вместе со школьным... как назвать... из параллельного класса. Он сидел на приеме в КГБ, она туда пришла, чтобы «заявить» на меня (сам научил), дескать, «Ваше задание выполняется»... дальше не интересно... Причем, этого я нашёл. Всё, молчу.

— Почему же, — глаза Тулкина заблестели, — я такие истории обожаю. — он, выходит, из 74-го тоже? Два фокуса в одном? Подрались? Нет? И что?

— Убить был готов.

— Но ведь не убил.

— Потому что мы с ним... — он запнулся.

— За свое надо биться в упор и до конца, — Тулкин опрокинул стакан «принесённого».

— Мне хватит, — Постриг был неумолим.

— Эх, — Тулкин раскраснелся, — почему?

— Да потому что попали в чужое время: они — на биплане, я сам по себе.

— Чужое? — хотел набычиться, но слегка поплыл.

— В сейчас, из 74-го.

— А назад возьмёшь? Давай слетаем? На биплане!

— Тебя ж там не было.

— Зато родители молодые. Там наверняка всё, — он икнул, — чище. Возьмёшь?

— Не хочу.

— Не хочешь, заставим, — мужик, нам ещё вискаря!

— Мне всё — Постриг не хотел говорить лишнего, но... спишем на хмель.

— Главное, найти би-би-ку!

— Он сам ищет — кого.

— А мы хуже? Ты — годишься. Я примажусь. Денег не хватит, подкину. Мямля, давай!

— Даю, — вздохнул Постриг, перевешивая Тулкинову руку через плечо, — продержишься до КПП?

— У меня там, — Олег вновь икнул, — схвачено. Так решили?

— Решили-решили, — было тяжеловато, что-то возле 65 кг, против тулкинских 80.

Не дожидаясь вызова комиссией, Постриг и уехал в Сечинск.

X

Предместья волновали неизменно: сараи, подсобки, летящие вкось платформы, чьи названия на скорости прочесть невозмож но, круглая площадь по выходу — почему-то их привокзальная всегда представлялась именно круглой, как в стансах Мандельштама («На Красной площади всего круглой земля»), хотя была она чуть наклонной, малозаметно, будто вращение мельничного колеса, или паркового обозрения. Представлял Краев как Майя откроет дверь и с привычным лепетом окажется головой на его лево-правом плече, тёплая, родная, вся его, ближе некуда, будто бы за этими вот плечами две войны. Слаще всего было бы дойти пешком, но события потекли, как стальная лапша во все извилистые стороны, и он с чёрным баулом нырнул в тут же подошедший троллейбус. Внимание на него было бы легко обратить — слишком оживлённый тон лица, но люди, словно, в парандже (или ни-кабе), видя лишь прямо перед собой, на метр, не больше, не интересуясь лицами соседей по всё более депрессивному простору, граничившему со степью.

Трижды жал на копку домофона, пока не вспомнил, что устройство не действует. Надо было дождаться кого-то из малознакомых соседей, либо звонить, нарушая ситуацию сюрприза. Номер под прослушкой, симку выбрось и бегом за другой.

Хотя, и Майя тоже под прослушкой, как же не сообразил!

Всё равно прогуляться.

Насколько же прилип к этому пейзажу, в любой сезон и любую погоду вызывающий именно бабьелетний образ — прозрачны то-поля, клёны, свет и проблеск мягкой жары, ухоженность, полностью вытеснившая советский затрапез. Магазины, банки, ателье, пекарни, аптеки. Повернул на Красногвардейскую, заглядываясь на вы-сотки, вчерашне-позавчерашней отстройки, с чьих верхних этажей открывалась роскошнейшая панорама, вся Жигулевская излука, пересеченная островами.

Решил передохнуть на одной из скамеек возле фонтанов, напротив Цирка, напоминающему кокарду полковничьей фуражки. За спиной в длиннющей 12-этажке располагался супермаркет с кокетливым яблочком на вывеске и остро захотелось воды. Любой. Даже приторно-газированной. Взвалил чёрный баул на плечо и с раздражением, глядя под ноги, преодолел несколько ступенек. До раз-

движных дверей оставалось шага три, как его чуть не сбила с ног озабоченная женщина, и Краев потерял равновесие, чувствуя сильный ушиб коленной чашечки.

Чашечка, чашка, разлетелась веером на несколько больших и малых кусочков, малых до пыли. Её как бы шваркнули об стену, с высоты дикого бессилья — сжать, убить что-то в себе и ещё больше вовне. Убить гнев — гневом, а любовь — любовью. И не на холостом ходу, с закрытыми глазами, а с прорезанными во все стороны.

Чайная-то чем виновата? Уютная, как раз по ладони. Как граната.

«Я всё готов разнести в щепу и всех поставить на колени», — не вспомнилось, а пронеслось и не в мозгу — рядом, издевательски задев зависть к творению, к чуду.

Это была ссора. С любимой. С той, которая любимую сама того не желая, вытеснила. Упал — и отступило всё, даже небо. Всё, что мелькает, все варианты, все версии оборванной, якобы нескладной жизни, спрессованной в одну или в половинку одной, приложенное серой фигурной плиткой.

Он лежал, недвижно летя. Как иногда пишется — на холостом ходу. Как разгоняются на самокате, и нога повисает. Можно руки расставить, как гимнасту на кольцах.

И лишь когда склонившееся к нему, как из воды, как после разошедшихся волн, лицо приобрело знакомые черты (они меняли очертания, как мокрый след на песке — неправильной синусоидой, кардиограммой) — выдохнул (хотел было, не вышло):

— Ма-а...

XI

— Хорошо я тебя сбила? — Майя что-то выделяла пальцами на его слабо шерстяной груди, не вырывая лица из воздушной плотности одеяла.

Сквозь полупрозрачные шторы окна во всю ширь комнаты угадывалось небо цвета блёклого свинца.

— Паша, Пашенька, — Майя еще что-то лепетала, окончательно смешав сон с пробуждением, наконец, оттянув одеяло до подбородка резко, остро и блаженно — всё сразу, глянула куда-то за все пределы. Павел приподнялся на локте.

— Соскучилась! — она потёрлась щекой о щёку. — Как там?

— Ты же всё знаешь.

— Я забыла.

Жаворонок Павел был преисполнен энергии, потому ловко выпрыгнул из-под всех одеяльных масс, шементом натянул майку, джинсы и принялся исследовать холодильник, первым делом вытащив оттуда кофейную мельницу с трещиной почти до дна корпуса.

— Что нас ждёт? — её вопрос не вязался с уютным завтраком, он долетел из каких-то давно прожитых лет. Ничто не проживаемо дотла, особенно, в блаженном сейчас.

— Поговорим после.

— Тебе что-то мешает?

— Ты.

— Всегда мешаю, ну и пожалуйста! Можешь идти...

— Нет, я просто не хочу нас — тебя — в это втягивать. Когда так хорошо.

— Правда? Что бы ты без меня делал!

Павел потянул её руку над столом (это был не привычный стол прессованной коричневой древесины, а белая пластмасса, дизайнерски подобранный) и почти минуту два длинных поцелованных пальца удерживал.

— Кофе как всегда?

— Лучше, ты каждый раз делаешь лучше!

— Нам придётся бежать.

— Не могу, ты ж знаешь, надо всегда знать, что с Антоном.

— Ты с ним и здесь видишься раз в месяц.

— В квартиру не войти, общаться отказался — ну и что? Это мой сын. Должна была быть дочь, но что мне, повеситься? И без того тряусь. А из другой страны?

— Я попал сюда вместе с Легионом, вернее, Легион меня отпустил. К тебе.

— Да, какие-то беспорядки, я слышала...

— ...теперь они в Белгороде. Командира убило на обратном пути, вблизи Брянска. Я от них отстал ещё до Москвы, — с командиром сдружился, он же и настоял, езжай, дескать. А у меня в паспорте нет отметки о пересечении границы...

— И что?

— При пересечении выяснится, что я здесь незаконно. И с украинским паспортом.

— А нельзя о нём забыть?

Вопрос пропустил, чтобы не раздражаться объяснениями.

— Границу я по факту не пересекал и обязался работать с другим агентом в паре на них, сколько потребуется. В Киеве и куда пошлёт Легион.

— Но ты же...

...это был единственный способ тебя увидеть вообще. Ты же почувствовала: по телефону сказать не мог.

— Я и понимала, и нет...

— ...если теперь сам не заявлю — мне конец. Здесь ни под каким видом не нужен.

— И как же убежишь?

— Только с тобой — знал заранее, а там ещё и убедился.

— Я же сказала.

— Границы закроют. Не Северная Корея (пока), но для нас достаточно.

— Нет.

— Значит, судьба закопаться и быть с тобой, просто с тобой — где, всё равно.

— У нас — не слышал? — новый президент. И.о. Показать? Он из Сечинска.

— Какая разница?

— Смотри! — сбросила одеяло, руки Павла отвела, он привычно залюбовался ладной, нешироких бёдер фигурой, вообще движениями, пока Майя, стоя на цыпочках, стаскивала с навесной полки сероватый листок, приглашающий на выборы.

С листка смотрел зоркий, внушающий доверие, военный и в то же время джентльмен, сквозь которого просвечивал подросток, — твёрдый. Кого-то напоминавший сдвинутыми бровями, вообще чем-то неуловимым.

— Я его помню.

— ?!

— Южней Сухуми. Дикий пляж, домики на сваях, мимоза. То же лицо.

— С кем ты там был?

— Родители. Ну, ещё Илья — мы до 3-го класса за одной партой сидели — а с той, о ком подумала, которая...

— Да, которая!

— ...ничего не было. Ты при переезде альбом сохранила, в пластиковой обложке?

— За кого меня считаешь? Конечно.

— Фотки могу показать.

— Ой, не надо.

— А зачем спрашивать — «с кем»?

— Не перебивай сам себя: и ты его узнал? Он с вами пляжничал?

— Ходил волчонком, один. Жили с матерью в нашем дворике, сразу за железной дорогой. Надо же...

— Ужасов твоих не обещает же!

— Всё будет навыворот.

— Букв Z больше не видно.

— Но санкции ужесточат.

— Голод не начнется...

— Не начнётся. Но привыкание — великая медленная вещь.

— Тогда все умрём.

— Значит, умрём.

— Не хочу, не хочу, чтобы ты меня винил в этом.

— Кого ж я, умерший, обвиню?

— Найдёшь. Ты ж находчивый!

— Лучше настроиться, что нас двое. Это и есть выход.

— Нет, милый. Беги. Ты должен.

— Хочешь, — Краев слегка понизил тон, — поговорю с Антоном? Чтоб вас примирить.

— Он болезнь свою не признаёт. Да, и к тебе ревность. Вменяется, но выборочно.

— Я найду эти лакуны.

— Нет! Хочешь моего инфаркта?

— Тебя! Тебя хочу.

Вскочил и голый, в чём был, зацеловал затылок той, которая стиснула его сомкнутые под грудью руки, не шевелясь.

— В любом случае, — очнулся, застилая постель, — через полтора года мне менять загранпаспорт. Это лишь в Киеве возможно. Если останусь — хотя, какие могут быть если? — паспорт можно в ведро. Какое-то время протянем...

— Я снова пойду работать!

— Нет, не дам. Деньги частями в Эмиратах, в Германии, Латвии, Польше — через Казахстан, а там (надеюсь) всё как-то выкрутится. Съездим, наконец, в Питер.

— Чтобы тебя вновь забрили?

— Мобилизации ведь нет? Войну этот, новый, прикрыл?

— Ты ж не веришь? Думаешь, я дура — верить всему?

— Я редко думаю, ещё не привыкла?

— Знаешь, — перед тем, как отстраниться, Майя несколько раз порывисто ткнулась губами ему в ухо, в шею, — у меня тут позавчера остановливалась — ты не мог её знать — жена твоего... забыла, как зовут... одноклассника...

— Ильи? Они ж давно под Тель-Авивом!

— Пострига! Я от неё фамилию первый раз услышала.

— Витюхи?

— Ей на вид 25! Если не меньше. Я бы ни за что не поверила, если бы...

— ...если бы что?

— ...если бы узнала меня она! Когда мы всем клубом ехали на Грушинский. В одной электричке. Она сидела через проход.

— И ты веришь? Что это была она?

— Не знаю.

— А где сейчас? Где этот призрак?

— Зря смеёшься.

— Едем! Едем, одевайся!

— Зачем? Куда?

— В Майстрошки. На то самое место.

— Зачем? Где всё перепахано?

— Холм длинный.

— Там огороженная канатами тропинка. Видела в Сети.

— Я узнаю по ракурсу.

— Зачем? Хочешь повторить?

— Не знаю. Это место силы. Или не знаю, всё равно!

— Я же не накручена!

— Тебе и так хорошо. И по-всякому. Не спорь. Не спорь с Павлом!

— Апостол, тоже мне!

— Ты забыла?

— Ищи себе с хорошей памятью!

— Забыла свои же слова!

— Зато у нас всё помнит наш авгур, наш летописец? «Думаешь, ты один не отсюда»? — и его палец приложила к своим губам, и наоборот.

Ай-яй-яй...

XII

Бабье лето незаметно перетекло в Покров, за ним пришло Второе бабье лето, как бы в залог и взаймы у следующего, Катя постепенно привыкла к другим ритмам и словечкам, к витринам и вывескам, тьме, белого и чуть меньше чёрного цвета лимузинам, хэтчбекам и «танкам» Лексус. Она устроилась на курсы водителей трамваев, получив, как обещала в том же трамвае реклама, место в общежитии, от депо на Павлова и дома на Остапенко не так уж и далеко, но видеть занятое небоскребом своё бывшее место, больно, купила смартфон, смотря сериалы, рецепты готовок, стараясь не мучаться мыслями об Артеме и коря себя за это.

Всё однажды устаканивается, по крайней мере, не давит, воздух имеет предел сжатия, сознание — тем паче.

Рискнула же она когда-то прыгнуть с парашютом, а здесь лишь трамвай, ну, рутинा, рутинा оставляет голову чистой, даже полюбился маршрут от Хлебной до кладбища на полпути к Безымянке. Малоразговорчивая в комнате на пятерых, она от нехватки общения не страдала, кому расскажешь обо всех перипетиях, чтобы не жалели? Не считали сумасшедшей.

Да, одиноко, да, беднее, чем в юности — застяла в ней, куда ещё откатываться?

Остановки объявлял голос робота, нравилось его имитировать в одиночестве. Телевизор в комнате не умолкал, сначала подтешивало, затем научилась не слышать — жить в окружении отравы можно лишь слегка отравившись.

Однажды где-то между Челюскинцев и Глазной клиникой на переезде застял белый роскошный джип (KIA — распознавать марки научилась быстро).

Машина торчала на рельсах. Как раз на пути её трамвая, экстренную буксировку из пассажиров кто-то догадался вызвать, Катя вышла из вагона, постучала по стеклу, оно приспустилось.

На нее глядел весёлый малый, уверенный в себе, но без спеси.

Ей не понравился его белоснежное зубное обаяние, она забыла, что суровость делает её привлекательней (хотя и в нейтральном состоянии жаловаться не на что). Забыла, что глаза у нее сиреневы, а очерк губ (когда сердилась) дышал сдержанной страстью — и может быть, умом, женским, разумеется — мужской ум слишком крепок и несгибаем — она где-то случайно прочла, это и впечаталось.

— Родион! — расплылся широколицый обаяшка, с чьих сомкнутых губ не сходила самовлюбленная улыбка, — вас подвезти?

— Вы мешаете! — хмуряя Катя всегда выглядела чуть юнее.

— Вам? А мне казалось, движению к прогрессу! — он хохотнул беззащитно, по-детски. Катя нахмурилась ещё больше и резко повернула к брошенным вагонам.

Эвакуатор появился через полчаса с лишним, половина пассажиров безучастно добиралась до цели пешком, ворчали две пенсионерки (зная, что пешие напряги полезны для самочувствия — но добровольно, а не под прицелом обстоятельств).

На другой день, примерно в тот же час, немного не доехав до Загородного парка, она услышала, как дверь в её кабину резко подалась и знакомый, слегка повелительный баритон её окликнул, но уже по имени.

Беглый взгляд удостоверил — это был всё тот же хозяин жизни (без кавычек).

— Я вам хочу и сегодня помешать, Катя!

Он опережал реакцией, вот что возмущало.

— Закройте дверь!

— О'кэй. Ничего-ничего!

Прозвучало как: «У меня все ходы записаны, спешить некуда».

До конечной было всего четыре остановки. Родион оказался крупного сложения, ростом как раз посередине меж Постригом во все стороны и аршинным Игорем.

Запас терпения Родиона был поистине царский, вероятно, размером с его душу (душа читалась на этом с улыбкою нон-стоп лице, он утверждал, а не спрашивал — черта людей с харизмой, не привыкших к отказу, но, учитывая обстановку, словом это был прирожденный лидер, с которой удобнее всего было бы хаживать в разведку).

(«Даже по-пластунски, — подумалось Кате).

— А где же машина — она возвращалась к составу с новой путевкой, но 100 метров (или чуть меньше), Родиону, казалось, хватит для любого поворота судьбы.

— Пока в сервисе, — он говорил, как глядят в небо — легко и улетающие. — Погуляем сегодня, у вас когда смена кончается?

— Вечером, — неопределенно попыталась Катя отступить.

— Здесь или на Хлебной?

— У депо.

— Можно к набережной, там есть стоянка, потом подвезу. В семь? Позже?

— С чего вы взяли, будто всё на мази? — словечко чужое, но барьер-то нужен!

— Мазь в засаде! — над этой якобы шуткой он чуть подсмеялся сам, — обойдемся без неё. Буду в 8 на выходе из депо. Номер диктуйте, я запомню.

Она явно запаздывала с правильным поведением, даже Виктор перед такими скоростями казался бы ездоком на самокате.

Она выходила из ворот депо, где Луговая впадает в Павлова, едва не налетев на компанию молодых людей (у двух были самокаты, ведомые за руль). Родион был в бежевой ветровке, с букетом чёрных тюльпанов и улыбкой, предназначеннной всему свету (электрический уже зажгли), мужественному открытому лицу он придавал оттенок интрижный. КИА ждала на противоположной стороне, лицом к Волге, припарковались напротив Дворца бракосочетания, и Катя не смогла не ввернуть:

— Вы здесь расписывались? Где жена, простите, не спросила сразу.

Родион молчал всю паузу перехода на Катину сторону и подавление руки, будто бы обдумывая ответ или делая вид, что не слышал вопроса.

— Может, разведены? — это была уже явная насмешка.

— Развод через неделю. Всё, как у людей, я же обещал.

— Вы? Обещали?

— Конечно, и прогулку, и цветы, и руку с сердцем — не помните?

Захотелось тут же развернуться и броситься неизвестно куда (хотя общежитие было в двух всего кварталах).

— Да, быстрый. Когда идешь (и живёшь) медленно, сильнее устаешь. Каждый живет в своём ритме, правда?

Они уже выходили на широкую и полупустую — как раз по сезону — набережную. Где часто ходили с Постригом, а потом резвились на мотоцикле старшего его брата. Откуда подать мизинцем до их с Виктором квартиры на Остапенко. И где в итоге она повисла на шее Игоря.

Да-да, каждый в своём.

— А все вместе, — словно бы угадав её внутренний монолог, подхватил Родион, — как говорит один мой фейсбучный друг, — мы в яме. Но — в ней (проверьте сразу) лучше, чем на рельсах прогресса.

— Это как? — оглянулась Катя, будто бы Игорь с Постригом ангелами за ней наблюдали.

За ровно стриженными кустами и у парапета было пусто.

— Говорят, здесь ничто не меняется. Только название страны. В ней потрясно! СВО санкции — да хоть соляные столбы — мне так хорошо и удачно, как сейчас, не было. Давайте вон там присядем, — он кивнул в сторону кафешки, под чьим навесом не успели убрать несколько белых столиков.

— Знаете что... — Катя сама перешла в режим загадок, а давайте. И первой направилась к ближайшему.

— Пить не будем? — Родион огляделся тоже, удостоверясь, что заказ принять некому.

— Это почему?

— Бережёного, как говорится... мы ж за рулем.

— Мы?

— Вы ж тоже водите!

— Трамвай? — она прыснула.

— Самокат! — он подыграл.

— Родион, — торжественно-интригующе начала Катя, — у меня есть сын...

— О, я этого ждал! И муж?

— Даже два. Только сейчас мы их отставим, ладно?

— Всегда!

— Он пропал.

— Муж? Оба?

— Артём, ему скоро 10.

— Быть не может. Вы его в 7 лет родили?

— В 16. Но я не об этом.

— Хорошо сохранились!

— Если б знали, сколько мне на самом деле...

— 40?

Она отрицательно и досадно покачала головой.

— 72? 75?

— Не скажу. Вы меня сбиваете. Он пропал. Поможете найти?

— Убежал?

— Я же говорю — пропал!

— Уверены? — Родион ел её глазами, — Могу ли я его найти?

Как два пальца.

— Это как?

— Теперь вы не спрашивайте. Искать в Сечинске?

— Думаю, да.

— В Сечинске, не в Сечинске, границу же не пересечёт?

— У него никаких документов.

— Это упрощает. Завтра идем в полицию.

— Я в чем-то подозреваюсь!?

— Конечно. Ты подозреваешься в утрате сына.

— Мы уже на ты?

— Меня больше всего трогает это «уже», значит, всё правильно.

— Правильно? Для кого?

— Ты же потеряла сына? Без документов. Мы его ищем или нет?

— А как ты будешь его искать?

— Наконец-то. Сделаем фоторобот.

— Фото что?

— Ну, если впервые слышишь это слово, пусть сюрприз. А сейчас на выбор: кофе просто? Капучино? Тыквенный латте?

— Совсем не хочется. Ничего.

— Для тех, кому ничего, есть одно средство.

Родион мягко притянул её лицо за широкие скулы (Виктор сравнивал с Мариной Влади) и окутал, окружил губы своими.

Это было как глубокий взлёт без страховки.

И время поплыло.

XIII

Поплыло, покатилось с горки. Как вся рвущаяся фабула. Пора вести её к концу, золотому венцу. Сталкивать разбежавшихся персонажей, героев, персонажей, так и не ставших героями, уминать их в один временной котёл и взбивать, взбивать прощальный омлет. Наступает час чистого письма, чистой выдумки, без рельс, платформ и тупиков. Не по «Улиссу». Не эксперимент ради перформанса с разоблачением а ля «Мастер» — нет, чистые струи прозы, гуляющей сама по себе.

Куда, например, подевались Акакий с козой на пляже, официантка (без имени), приговаривающая «Сухарики, кому сухарики?»? Родители Кати? Не погибли же и они в той самой катастрофе над Шереметьево вместе с Иван Григорьевичем и женой

(кстати, не названной). А тестя из органов? А Бурбон? Не говоря уже о лейтенанте Смолове, Арине с Лолой и творцом поддельного паспорта по вызову.

Или юный о. Сергий со своей Аннушкой (АннСтепанной), разлившей масло в одной (с ухмылкою) цитате? И уж совсем стыдно забыть про Харченко-Харчелло, бедную дылду Брюхнову, Ронина и его последние волосинки над Тихановской, наотрез отказавшейся уходить вместе с Краевым и Майей, тем более, Петровым и его — рот до ушей — Алкой. А машинистка дрезины, указавшая путь в бездну — где все они, случайные в толпе и без толпы? А Лиля — последний адресат Сезара («ты и нежная, и ненужная, неизбежная, но не суженая»)? Где растянутый, как меха баяна, город — спутник морской реки, равноудаленный от столиц степной упрямец, вышедший не к морю, но к его разливному в туман подобию?

За мной, мой читатель — и я заведу тебя в дыру чёрного квадрата. В улицы и спуски по-ноябрьски пустые. Чем только не занимался Краев, дошедший до этих спусков и дежурств. О чём только не думал в своем турборежиме, на что не надеется, сметая листочки с пятака перед конурой КПП кооператива «Просека»? Хоть бы, наконец, попадали все до единого — нет же, нет. Большая часть не вынесла причуд климата и нарисовала-таки сложные спирали в на-брякшем воздухе. Но часть продолжала скучоживаться на ветвях, и ничто их оттуда не сорвёт, никакая сила. Смерть на месте — где родились, там и могила. Бред, что смерть всех уравнивает. Уравнивает ничего не видящая и не желающая знать, кроме себя самой жизнь. А смерть — воздаёт и запечатлевает. Когда раздаешь себя по неравным долям всем, кто вокруг, кто придуман и оживлён, всему, что проносится и задевает, всему, что суждено тобою стать, стать вымыслом, перекрывшим прототип, оболганные, сшитые из кусочков так, что швы размылись и это вовсе не вшивое экспериментаторство, мир не фальшивка (утверждение одной из надменных поэтесс, получившей-таки признание именно «фальшивой» частью мира, цивилизованного, учтивое признание твоих депрессий, деточка, твоих инвектив, твоей гордыни — всего, что ты себе отвоевала щитом депрессии. Тебе любви недодали? Любви, наличие которой ты с глубочайшей обидой отрицаешь? Он и это позволил тебе, мир. Он тебя любит взамен Бога, напрочь тобою отрицаемого. Ты ведь смерть поёшь, полагая, что мир ей равен. Смерть твой воздух и твоя — разрешённая миром — стихия.

Примерно так рисовал себя Краев, шествуя на очередное, чёрт знает какое по счёту дежурство, благодарный этому ничтожному занятию из своего безвыхода.

Ноябрь, лучшее, желанное время для изживания смерти. Для полёта над ней. Для стоячего крыла над ней. Хоть бы и голубиного. Страна — хотя название условно, либо лагерь? Зона? Тоже условный ярлык, нигде и ничто, сразу и наяву — длила свою летаргию, ни за что не отвечая, Сечинск был идеальным коконом этой летаргии. Вне московской суэты и, расстояние до которой было ровнехонько, будто по рейсшине выверенное — и до неё, и до упёртого Урала.

Мятеж, так и не возглавленный Соустиным, рассосан и забыт. Подполы сожжённых развалюх превращались в заросшие чистотелом овражки. Стада новейших самокатов и пробки (в основном, корейского и китайского автопрома) ничуть не трогали беззаботно-сосредоточенных сородичей навсегда советского розлива — лежащие вокруг улицы могли без опаски лечь всему названному под колёса, их переходи где угодно, сбивайся в ряды, эти же ряды и ломая, возвращаясь с разрешённых демонстраций.

Каждый слой крутился по своей орбите, иногда они без ущерба и взрывов шли друг сквозь друга, неся свою пульсирующую вечность, Краев уже не удивлялся, что случившееся, скажем, час назад, шло впереди того, что появится мгновением спустя, не наставая на своем приоритете, время текло внахлест, и хорошо, что хотя бы линейно, а ведь могло множиться вбок, вверх, и по самым замысловатым кривым.

Что значит, «страна развалится»? Как всё это, существующее в несмыкаемом отшибе времён, могло развалиться? И зачем?

До него дошло самое очевидное — нет поступка, взывающего к отмене.

Состоявшемуся предстоит состаиваться всякий раз вновь. Спасать страну нечем — и слава Богу. Не надо её спасать. Любить врага можно и убивая врага, концентрация на враге — и есть любовь к нему. Не уходя в ненависть, то есть, в тень, ибо ненависть действенна, как тень любви, как её изнанка.

Да, будь его воля, он бы с огнемётом от живота прочесал весь официоз сверху донизу, не оглядываясь на дело струй своих. Ничего не доказывая. Не переубеждая. Срезал — и всё. Остальные пусть как хотят. Пусть живут. Ведь они же и не заметят. Зачем на-

силие над инфузориями, актиниями, зачем их презирать, учить-вать, наконец, каждому — свой рай. Гуманнее свой. Никого не пе-ределывая. Даже без творчества. Даже когда с придыханием са-карльное «творчество» ухнет в пыль, в прах. Не стоит оно жертв. Ничего не стоит. Ненависть к жизни, стыдливая, боящаяся собст-венной тени (хотя она то и есть сама тень теней). Даже в этом про-стейшем, ленивом и всепропальном.

А вот это думал уже полковник, бывший полковник, навсегда не пенсионер, а первое лицо не пойми чего (в просторечии «госу-дарства») препровождённый молодчиками в форме РДК в один из кремлевских кабинетов, успевая мазнуть взглядом позолоту вы-соченных сводов, а также липкую, замаскированную под тишину, вздох удвоения, лишённый всех человеческих признаков, а всё равно вздох.

Его впустили в одну из угловых комнат затейливого коридо-ра, оборудованную под именно что космическую студию. Там уже был Мызгин, с понимающей полускрытой улыбкой врача-онколога, не сообщающего пациенту примерный срок дожития.

Большой экран в полуметре от стены — на уровне глаз сидя-щего — двое крепышей в чёрных костюмах ФСО, полуспущенные шторы с закруглениями, зима за ними, начало ли туманного апре-ля — трудно понять.

— Текст будет плыть, — начал Мызгин (захотелось его тут же заткнуть, но игра до конца должна быть с обеих сторон, счёт её зыбился), — читайте без нажима, размеренно. Можете сымпрови-зировать — в паузе, одной-двух.

— Это запись, — добавил куратор, — что пойдет вкось, оста-новим, подправим. Готовы?

Готов ли был он там, на площади, перед губернаторским офи-сом? Когда выхватывал из толпы глаза сумасшедшего и надёжно-го активиста? Миг решения — выход из времени. Из всех времён. Он, Ваня Соустин, возглавляет (пусть, как бы понарошку) эту ме-дузообразную страну, страну-актинию, напитанную суицидным ядом до неразличения лжи с правдой, до бесчувствия космических масштабов, подтверждённых этой комнатой-кабиной с потолками 18 века (Большой Дворец). И кто услышит? Я должен произнести подсунутое так, чтобы самому себе сказать: я всё сделал. Всё как надо, дальше только Бог.

Экран вспыхнул. И как шуга после вскрытия реки, медленно поплыли чётко вырезанные буквы (застал единственный раз, ещё 12-летним, ледоход), но здесь было величественнее.

— Дорогие сограждане. Во имя и ради сохранения нашей великой родины, надо сказать то, что я собираюсь, — Соустин кашлянул.

— Продолжайте, кашель уберём, — клерк был удовлетворен, — оставайтесь собой.

— Скажу то, что многие чувствую и чувствовали давно, — мы должны собраться воедино и прекратить самообман. Перестать убеждаться себя, будто бы не было иного выхода, кроме как начать СВО, то есть войну. Прекратить войну, и вернуть всех домой. Да, начал её теперь уже покойный президент. Но сейчас не время прокурорских дознаний, кто виноват больше — все мы в разной степени должны признать свою долю — большую, или ничтожную, должны вспомнить, что мы народ Власть не сваливается с Марса, она с народом связана и это придётся вспомнить всем — сверху донизу. На переходный период, — Соустин сделал глубокую паузу и скосился на Мызгина, который вновь удовлетворённо кивнул, — на переходный период все выборы и связанные с ними мероприятия, отменяются — Совет Безопасности выдвинул меня в качестве исполняющего обязанности президента, премьером остается действующий премьер, период пока что не ограничен, он может занять до двух лет, но может и сократиться — это будет зависеть от... — здесь полковник позволил себе текст изменить, — от нашего состояния, от градуса нашей общественной жизни, от оздоровления экономики, наконец, от международной обстановки (последняя часть фразы была им вставлена), судебная и другие ветви власти остаются неприкословенными. Да, вина за то, к чему страна пришла, лежит на всех нас, но сейчас не время раскальвать общество хаосом дискуссий. Одно могу обещать: никакие олигархические группы больше не будут терзать бюджет, навязывая свои шкурные интересы. Да, это болезненно — признавать ошибки. Но мы не просто великий народ в своем сознании, нам придётся вновь и вновь это доказывать. Единственное, что сделает нас великими снова, не число погибших, не потери, а воля к миру — в себе — и вокруг. Я верю, что мы это совершим. Я подписал несколько указов, чтобы наша жизнь сразу же начала улучшаться: минимальная пенсия удваивается, пенсионеры работающие больше не будут рисковать урезанием пенсии, бизнес — малый и сред-

ний — освобождается от всех налогов на переходный период — с этого момента. И другие, которые будут озвучены по федеральным каналам завтра же.

— Прекрасно, — куратор дал знак, что ещё не всё, — А теперь, Иван Арсентьевич, запишем текст для глав стран Запада. Он тоже пойдет по телесуфлеру, но импровизации возможны более свободные. Не стесняйтесь. Я знаю, что бы вы хотели, обещаю, что за пределы кабинета это не выйдет. Начнём?

— Текст короткий?

— Как пойдёт.

По экрану поплыли такие же буквы, но красного цвета.

— Уважаемые главы государств, принадлежащих к «поясу цивилизации». Прежде, чем попросить вас о беспрецедентных мерах, я, исполняющий обязанности Президента России, хотел бы сказать: Мы начинаем совершенно иную главу своей истории. Мы отказываемся от имперских притязаний на любые бывшие территории как СССР, так и до 1917 года. Мы берём всю полноту ответственности за войну, развязанную против Украины и готовы к выплате всех reparаций за её разрушение, за жертвы Грузии (с 2008 года) и Сирии. Ввиду непомерной тяжести этих справедливых reparаций, хотели бы просить о длительной рассрочке на переговорах, которые не станут достоянием широкой общественности, чтобы население принародилось к новым шоковым реалиям и не дадут пищу для реваншистских настроений, для смуты, подобной 1917 году и последовавшей затем Гражданской войны. Со своей стороны мы гарантируем снижение вплоть до полного искоренения антизападной пропаганды. Мы готовы к условиям украинской стороны — с учетом реальных возможностей. И.о. Президента РФ Иван Соустин.

— Теперь последнее, — куратор как-то посвежел.

Он протянул Полковнику лист с грифом «Совершенно секретно».

«...Обязуюсь... — вводную часть полковник проглотил, не поморщившись, — не участвовать в политической и ни в какой другой деятельности, затрагивающей интересы системы власти Российской Федерации по истечению переходного периода и сложения с себя полномочий и.о. президента. Государство, в свою очередь, гарантирует И. А. Соустину защиту от любых преследований, вплоть до перемены облика и паспортных данных, при условии нахождения вне пределов страны. Действия, противоречащие вышеназванному статусу, будут приравнены к государственной измене и срока давности не имеют».

- Где расписаться? Лицо полковника ничего не выражало.
- Расписываться ни к чему. Это для ознакомления. Договор с дьяволом!
- Тогда кровью?
- Побойтесь Бога, Иван Арсентьевич! Анна Львовна может и не простить... кровь.
- Где она?
- Вы же прилетели вместе.
- Где она?
- Должность требует... — на губы Мызгина вернулась дымчатая ухмылка, — сосредоточенности. Женщины любят советовать. Поверьте, у неё роскошная дача. Вы же не садист?
- У нас не было дачи.
- Она вам положена по статусу. Смиритесь.

XIV

Катя расставляла тарелки для завтрака после утренней пробежки, Родион втянул в свои процедуры на второй же день после Катиного переезда в обширный особняк товарищества «Просека» неподалёку от Загородного парка (с двумя выходами к Волге — личным и для всех).

- Она едва вытерпела паузу, прежде чем спросить, опустив голову:
- Когда мы сходим в полицию?
- Я там был, — Родион обтирался полотенцем после бритья и мимоходом обнял Катю со спины, утопая в её завитках на затылке, — в Сечинске не обнаружен.
- И? — широкая белая тарелка зависла вместе с Катей, и вдруг выпала, разлетаясь на два крупных фрагмента и россыпь помельче.
- Федеральный розыск. Есть его фотка?
- Нет.
- Странно. Всё равно. Сделаем фоторобот. Хоть сегодня. Но я бы проверил и фронты.
- Зачем фронты?! Кто его туда пустит?!
- Ты ж сама заявляла — он способен, если не на всё, то...
- ...договаривай!..
- Если папа натурой беглец, почему бы и сыну подвиг не повторить?
- Изdevаешься?!

— У нас, — Родион ещё нежнее прошёлся губами по ключице и части затылка, под пуловером, который пришлось оттянуть, — исключать нельзя.

— Господи!..

— Ну, к укропам не перебежит... Надеюсь. А так... Почему нет. Парень проворный, — твои слова? Помуряжат и отправят назад. Главное успеть, чтобы не в детдом.

— А если не поймают?

— Если, если... Собирайся.

— Может, сначала яичница?

— Яичницу делаю я, ты собирайся. 15 минут и позову.

Он любил эти утренние минуты, когда на широченную сковородку сначала сыплется мелкопорезанный лук до появление прятого запаха от прожаривания, за время которого успевал нарезать пару крупных помидорин, дюжину колец сладкого перца и до половины столбика телячьей колбасы, плюс немного сала, само собою, тут же белели накромсанный чеснок (до 5–6 крепких долек) и 6 яиц, ожидая финальной фазы. Главное: не прозевать момент, когда высыпаемое нарезанное попадало в такт прожаренному и не уставшему от ожидания луку — тогда вся карнавальная масса встрихивалась, Родион любил само это жонглирующее движение, надо затаиться до распределения шестёрки яиц по периметру и в центре, затем ворожение над кофе, только-только молотым — четыре с верхом ложки пылевого помола с двумя чашками холодной воды — всё это размешивалось в джезве дважды: сразу после вбрасывания и в начале подбиивания пены к бортам, одновременно, яйца уже вливались в хищное шипение овоще-колбасного «сладкозёма», занимая нужные ниши, как бы взятые желтками за руки — один глаз Родиона проверял — не собирается ли восставать пена, другой — планировал над полем пиццеобразной массы, куда надлежало подсыпать оптимальное количество соли, а главное — доперчить до уровня абстрактной картины, либо в духу Сезанна-Матисса-Миро.

К финалу звук вскипающего напитка уже мог перебить шипение основного блюда и тут надо было с ловкостью подлинного вольтижировщика снять джезву с огня, начерпывая для Кати не менее шести ложечек пены, не уставая прислушиваться — не пережарен ли массив, сцепленный островками белка и желтковыми озёрами.

В такие минуты, особенно, когда колдовство достигало крещендо, он мог беспрепятственно наслаждаться мимикой Кати, её вскинутыми сплохами, на этой городской даче (посёлок охранялся агентством «Че») за шлагбаум отвечал пожилой лицом, но моложавый движениями независимого постояльца парень — или дед, не разберёшь, Катя впервые была полновесно счастлива — вкус кофе лишь бонус к облаку защиты, исходившему от Родиона — ни Виктор, ни скандинавской породы Игорь ей такого чувства не давали, не в одном хозяйственном взгляде на мир бизнесмена было дело, хотя и в этом, и даже в этом, видимо, прежде всего. Её разбудили, от неё теперь не требовалось куда-то бежать, суетиться ранним вставанием (Родион мягко подвёл к уходу из депо, дорабатывать законные две недели тоже не пришлось), про Пострига (завоевателя и беглеца, наговорившего ей на палубе «Ивана Франко» фантастических планов и линий поведения с будущей прослушкой, ожиданием и мучениями разного рода) она постаралась забыть. Если копнуть чуть глубже и обстоятельней, ей было так хорошо (впервые) что и мучения получили свою долю счастья. Она старалась раздавить совесть — совесть в ответ поступала по-кошачьи, гуляя сама по себе. Ведь Постригу она уступила, Игорь возник едва ли не от отчаяния, всё что-нибудь мешало, мешало и здесь — но уже не так: сын, сын-егоза, сын, который старше мамы-девочки, но теперь ещё более старший прочно стоящий на ногах мужчина (она боялась даже про себя произнести «любимый» — это ведь уже третий любимый, а по сути, первый, объединитель сразу трёх чувств — дочернего, материнского, наконец, чисто женского жены-сестры). Страшно было, что два предыдущих не исчезли тоже, их можно было втоптать крепким каблуком (или сломать), как грибы осенью, они, прячась, заполняли подножное пространство.

— Мы должны сегодня же, сейчас же составить это как твой, ну, помоги! Хото...

— Фоторобот, — Родион поперхнулся яичницей, — дожевать хотя бы дашь?

...В полиции чувствовалось, что Родион для начальства мало сказать — свой. Катю в кабинете начальника отделения усадили за стол, с которого в мгновение ока смахнули все бумаги, принесли растворимый (она его терпеть не могла), спроектировали на стену большой экран, подсовывая картинки, как в незапамятные времена просмотра диафильмов. Начали с бровей. Катя ос-

тановилась на ломких, не доходящих до висков. Лицевой овал — дело пошло быстрее, подбородок чуть крупнее среднего, расстояние меж верхней губой и ноздрями поколебалось, остановившись на скромном. Слегка оттопыренные уши (как у Пострига), потом их прижали, разрез глаз долго не могла уловить. Вихры — это да, обязательно.

С экрана смотрел хитроватый, чуть лопоухий подросток, явно старше заявленных девяти лет. Мелькнуло нечто цыганское. Рот полуоткрыт (сотрудник послушался), губы никак не хотели раздигаться. Наконец, будто раздался какой-то слабоуловимый треск и всё ожило.

— Да! — выдохнула Катя, — он, только лицо круглее, совсем-совсем немножечко!

— Размножить, — сколько экземпляров? 500?

— Петрович, у вас бумаги нет? 1000 слабо?

— Для федерального и 10 тысяч маловато, попробуем 1000, куда рассылать? Юг? Москва? Питер?

— До Питера вряд ли...

— А Донбасс?

— Ну, ты хватил!

— Короче — половину в Ростов, 100 наше, 200 — Москва (вокзалы, детские приюты, ну, всё, как положено).

— А ещё 200 куда?

— Какие 200? Какие 500?! Вы рехнулись? Электронкой! Сами размножат. У кого-нить с Минобороны контакты есть?

— Я сам, — Родион чиркнул свой мэйл.

— Не забудьте о троллейбусах!

— А Макдоналдс?

— Какой ещё «дональдс»? «Вкусно — и точка»! Слышал?

— Да, и в точку?

— Я оплачу, — Родион приобнял Катино плечо, — транспорт надёжней всего. По ускоренной.

— Текст кто составлять будет?

— Пишите, — полное впечатление, что управлял Родион не только своей грандиозной стройкомпанией, но и силовиками Сечинска, — «Артём Постриг, мама, очень тебя любит и ждёт, если кто заметил мальчика, позвоните по номеру горячей линии (он продиктовал и свой мобильный). Артём, не исчезай! Маме без тебя плохо!».

XV

Рассчитывать на полицию наивно, хотя обстановка военного (по факту) положения толкала хватать любых подозреваемых в чём угодно. Куда мог деться ушлый и сметливый подросток, поставивший целью добраться до южных границ? С Казанского вокзала внимание переключилось на Курский. Составы шли через Ростов. Чем ближе к фронту, тем и проверки жёстче. Но это лишь по идее.

Однако русло поисков определили — не через аэропорты же.

Тем временем, Артём, не выкинутый проводником из скорого «Сечинск-Москва», сообразил, что прокормиться можно где-нибудь на рынке или возле, безошибочно выбрал один из окраинных. Передвигался автобусами, без билета, сам отыскал Курский вокзал и, достаточно разбираясь в географии, определился с поездом, идущим через Ростов. На кухне вагона-ресторана ему дали поесть (объяснил, что ищет отца, мобилизованного, даже переночевать устроили, вообще сочувствовали).

Уже на месте, наблюдая за товарными, за настроениями людей, всё больше убеждался: о. Сергей недаром называл эту войну «плохой», — озабоченные, часто искаженные досадой лица, говорили сами за себя. Несколько раз попадались новобранцы, похожие на отсутствующих, на взятых с поличным, либо на ничего не желающих знать и оттого весёлых, но как-то нездоро.

Он должен был попасть на фронт любым путем. Пусть автомат не дадут, он всё равно воюющий. Ну, а вдруг? Тогда вообще!

На столбах порой попадались размытые копии с чьим-то плохо различимым лицом. В одной из витрин супермаркета увидел свое отражение. Размытые фото, развешенные там и сям, оказывается, изображали его! Мог бы и сам догадаться, что искать будут, что ищут везде! Значит, скорей, скорей!

Наконец, зоркий волчонок на одном из самых дальних по отношению к вокзальному зданию путей нашел цепочку платформ явно с военной техникой и залез под чехол, укрывавший пушку с коротким стволом. Ждал несколько часов, ночью заскрежетало — двинулись. Держись — приказал себе — цель близка!

Само пришло: если война совсем нехорошая, на чьей тогда стороне участвовать? Кто враг? Враг — человек, но человек ли? — его жалеть нельзя. Ведь и ты ему враг и он должен тебя убить. Кто кого. И не важно, маленький, большой, враг — это враг.

Откинул чехол, чувствуя, что согрелся.

А что потом, когда пушки доставят? Кому они — врагам? Если мы напали, значит, мы и есть враги. Значит, я еду рядом с вражескими пушками, чтобы перейти к нашим, на сторону тех, кого враги считают врагами.

Я смогу, мне повезёт, везло всегда, повезёт и сейчас. Если переходить границу, лучше бы тоже ночью, тайно. А как узнаешь, где граница? Значит, спрыгивать придётся раньше и вновь где-то прятаться (если днём). Главное, лишь бы везло! Но ведь ему везло всю дорогу, начиная с перелёта, когда ещё и не думал ни о чём. Вот: думая, можно спугнуть везение. Как-нибудь сам.

Вспомнил о матери, о маленькой маме, которая (как выдал отцу Сергию) годится ему в дочки, если б не забота с её стороны, по-рой занудная — и за эту занудность он маму сейчас жалел, за то, что пап двое, а подружить их не успел, и оба они, вероятно, среди врагов, и мама тоже, и о. Сергей тоже, но ему нельзя, он будет со своими, в одиночку с такими врагами не сладишь. А как, через что перелезать — пластунски он бы сумел, на занятиях в школе соревновались — кто больше проползёт незамеченным, он всегда выходил победителем, воображая себя змей.

Высыпало много звёзд. Что-то слышал про Большую Медведицу, похожую на ковш, искал, искал — и всё зря. Как мало он знает! Как мало про каждого из пап, они — пусть двое — всё равно были одним, хоть папа Виктор пропал со своим заданием уже на сколько? — на год? — а папа-дядя пропал после приказа им с матерью прыгать под Царевщиной. С ним было интересней, с папой Виктором (он, хоть и старше мамы тоже казался подростком), было всегда неспокойно, и странно хорошо как раз по неспокойствию, маме с ним тоже было почти как на войне: что ни день переезды, ожидания, а с Игорем — если бы не самолёт на той стороне, Артём чувствовал себя равным, но маленьким — и это радовало. С другой стороны, внутренне мать опекая, не пытался от неё отрываться, так, любопытства ради, но сейчас как её найти? Как сказать, что война — его дело, а её — ждать и не мешать? Что хочется опекать не только её одну, что война — это ради неё, добрая война против своих, которые оказываются злыми — не поверить отцу Сергию легко, но ему казалось правильным верить. Да это и легче.

Опять же, почему? Лучше всего верить себе, тогда и в других не будешь сомневаться. Себе не врать. Самому с собой не быть злым. С друзьями. С другом, если самый-самый. А кто у него о самый-

самый? Когда задумываешься без ответа, почему-то страшно все-гда. Кто у него в друзьях — Колька Селезнёв? Колька верный, но скучный. Сутягин? (По прозвищу «Дон-Дон» — с лицом одутловатым, как у Синьора Помидора, но почему «Дон-дон»? Может из-за того, что, как бухают колокола, тараторит. Записан Дормидоном, но имени стеснялся, и учительница звала Данилом, но скрыть запись не удалось, и «дон-дон» приклеилось.) Данила.

Тоже ничего, только с ним ничего не обсудишь — начнёт гудеть, не выслушав до конца. Может, Марик Цильский? С Мариком чувствовал себя на равных, никто не задавался, Марик был и внимательнее других — не хвастался, не выпячивал ум, был, не сказать замкнут, но и не совсем своим. Возможно, их и сближало.

Марик понял бы всю историю с перелётом на раз, он знал толк в фантастике. Но где он сейчас? Где Селезень и Дон-Дон? Им теперь за 50. И на чьей они стороне? Девчонки? В классе никакие. Из пары ллельных Настя Левинсон и Олеся Шатырёва — две дылды, обе красивы, Левинсон чуть воображалистей, щебет Олеся её уравновешивал, ходили парой, а как подойдёшь к двум сразу? К дылдам. Он их перерос — но... Вот именно. А дочь Арины? Имя, имя... Лола. Лариса? Нет, Лола мягче — вот она понравилась впервые из всех. Вьющиеся локоны, какая-то своя, ну, своя до ознона и совсем-совсем другая, чем в его времена, в доперелётные. С Ариной она теперь в каких-то Эмиратах — он догадывался, что Эмирата — где-то между Индией и Африкой. Ему были бы интересней Австралия с Антарктидой, обе — континенты, почти без людей, там просто как в родном Валерьянове — теперь Сечинске.

Прощай, Лола, первая моя любовь (а, может, нулевая?).

У него мама в девочках. За неё отвечать. Подло её оставлять во вражеском тылу, но война дело мужчин и это надо пережить.

Спать не хотелось. Может, потому что состав двигался на юг, и ночью теплее, чем днём в Ростове, звёзд больше, с космосом один на один. Колёсный перестук не заглушал других звуков. Похожих на стрёкот кузнечиков. Или на самолётный, режущий, как по стеклу.

Небо, гигантское нескончаемое, теплилось близко и высоко сразу. Состав уже пересёк границу, давно переставшую быть границей. Но мальчик об этом не знал.

Стало гуще, теплее, а звёзды без названий лишь поддразнивали. Куда всё неслось, куда стояли вокруг, проносясь, чёрные, с по-сверканием листвы, кудрявые деревца? В кого будут, содрогаясь, палить эти пушки?

Где-то летает его первый папка, заводной, как вулкан, быстрый, как водопад. Где-то по сторонам озирается его второй папа, дядя Игорь, высоченный северный красавец и маленькая мама, мама, потерявшая его, Артёмкину опеку, мама-сирота, сирота дважды — родителей уже нет, а теперь нет и его, беглеца.

Как хорошо вокруг и как несправедливо! Только бы есть глазами звёзды-звёздочки, впитывая всей грудью ночь тепла и знать, что везёшь пушки своим, своим, ждущим подарков и твоих клятв. Своим, которые будто бы враги.

То ли это свист в голове, то ли цикады (о которых читал, ничего не зная), но какой-то блуждающий звук настораживал. Самолётные рокоты любил, но это другое. Как зудение мух на даче. Или одиночной мухи посреди бабьелетнего всплеска.

Зуд. Ещё зуд. И мерцание. Спутник? Или что?

Зуд перекрывал колёсные перестуки.

И вдруг — вспышка, столб вспышки, чёрный грохот и провал — набок, всё завертелось, оглушая.

Он лежал в кювете, не зная, что лежит. Что это он.

XVI

Да-да, новые планы. С нуля, или с минуса. С новых торгов онлайн. Единственное, что недвижимо: вид на место их с Катей дома. Вид застыл, немного помутнев из-за немытых окон. Он теперь так останется торчать, когда не будет и тебя.

Первой же ночью приснилась ферма под Нью-Йорком, в стиле хай-тек и Александра Львовна, машущая им троим, но Кате и Артёму приблизиться не удалось — ферма отъехала — это была жд-платформа с пушками, гаубицами, БМП и прочим.

Затем они все трое летели в открытой Мазде по серпантину калифорнийского побережья — но вместо Кати рядом сидела Габи — как её туда занесло с Брайтона?

Сон, похоже, услышал мысли, вильнув не в туман, а в полынью под спуском у Станколитейного, в неё не вбегалось, ноги были, как перебираемые четки, пар изdevательски кружил над квадратной дырой во льду, откуда выпрыгивали меч-рыба и всяческая плотвичка, он пытался дать заднюю, забыв, что не в мёрзлый же песок отступать, отчаянно дрыгая ногой, что была на засухумской гальке отлёжана, под тяжестью гранатомета, чуть ли не стингера, и тут уж

было не до смакования снов, не до построения их периодической системы, он рвал крик прямо из солнечного сплетения, крик скручивался в змею, обмотанную простынёй.

Два часа дня. За тариф забыл внести ежемесячную, нашёл банкомат в магазине через сквер и трамвайные рельсы — те же люди, точнее, пришельцы из 70-х с тусклыми, но счастливого неведения лицами, не замечали скоплений КИА, Фордов и прочего автопрома, светофоры тоже были не для них, а для самокатчиков, не замечавших никаких советских зомби с авоськами.

На улицах ни ментов с отвислыми животами, ни подтянутых почти карабинеров интеллигентского замеса, ни патрульной полиции в Фордах — никаких вторичных признаков самооккупационной власти.

Ехал в 22-м, который, из-за строительства новой станции метро в центре, совершал немыслимый объезд и не хотел думать, но приходилось думать, автопилотом, что вот он видит почти все, как в детстве, плюс на месте снесенного детства некие уродливые утюги, а также ямы от, скорее всего, сожжённых изб на каменном цоколе, и не понимает, нравится ли ему это или пошло-таки оно всё, видел радостные стайки вечно юных самокатчиков и девчушек из колледжей, когда-то наводивших ужас аббревиатурой ПТУ, он словно бы здесь не жил, а его за шкирку теперь волокут по изъезженному, вид города вылизанно-умиротворённый, а отца с матерью не похоронил, жену, ради которой вся одиссея, где и как искать?

О сыне так и не вспомнил.

Бывает разве по-другому? Когда никакая ниточка связи с этим очагом, с этими расчерченными в шахматном порядке курмышами, с простором вместо города, простором и близко не виденным ни в Большом Яблоке, ни во Франкфурте, ни, господи Боже ты мой, в морской качке — там перешibalось тревогой, здесь он царил, царил, ничегошеньки не делая, вот, к чему гнало и гонит поныне, ты уже внутри, а гонит и гонит на месте, как в том сне, похожем на пакет взорванных петард.

По громкой связи больше не зазывали «присоединяться к СВОим», только давили на мозг пугалкой насчет мошенников, которые по телефону выманивают реквизиты банковских карт, мимо ушей это пройти не могло, но что-то уже наросло на этих чуть оттопыренных «вареничках» (так называла их Катя) — рекламой,

на которую внимание никто не скашивает, а зомби-ветераны просто не слышат, у них и карточек шаром покати, не знают с чем их жуют.

Он старался слушать не слыша, реклама глушила круги в голове о пружине жизне-смерти, которую сколько ни разжимай, всё норовит сжаться в зародыш.

Тексты повторялись, как галлюцинации, с интервалом в три-четыре трамвайных отрезка, он их пытался на дальних подступах гасить, но вдруг...

Да, имя... Артём. Или показалось. Он дождался повтора только на Панской.

Мальчика по имени Артём, 9 лет, просили найти по телефону горячей линии (длинному) и ещё сотовому.

Он растерянно переспросил стоящего над душой юношу в наушниках.

— Что? — участливо, не без вздоха отозвался углубленный в свои саундтреки эльф.

— Телефон, по которому надо звонить о том, кого ищут?

— Простите! — эльф смущённо ушёл в себя вновь.

Постриг ворвался в кабинку вожатой, громыхнув дверцей.

— Мужчина! — грозно воззвала миловидная водительша, — мне полицию вызвать?

— Мне телефон рекламы нужен! Только что звучавший!

— Не мешайте работать. В депо узнаете, — и резко задвинула дверь.

В депо был обед. Точнее, в окошечке, где отмечались, на Хлебной.

На той самой, где он пытался стать двойным агентом.

Ничто не отпускает.

Он задал в поисковике Google: как подать рекламу на транспорте в Сечинске.

Выскочило пять сайтов. Два не работали. По телефону третьего включился робот:

«Все операторы заняты, ваша очередь 13-я».

Депо располагалась неподалёку от снятой квартиры, но пока доедешь, обед на Хлебной кончится, а начнётся как раз в депо.

Четвёртый сайт прорвало.

Какую рекламу хотел бы разместить клиент? Ему нужны были только данные поставщиков этой, единственной!

— А не хотите дать свою?

— Сколько стоит?

Цена зашкаивала. Нет, лучше напролом.

Ждать конца обеда в нужном отделе пришлось ещё минут сорок. Изучил все плакаты в длиннощем прасоветских времён коридоре — ни одного контакта.

— Какую рекламу хотите?

— Я ищу сына, о нём предлагают позвонить. Номер нужен. Только номер.

— Вам в управление по городской рекламе.

До управления Постриг добирался, уже не глядя на часы. Оно располагалось во дворе небоскрёба, на втором этаже трёхэтажной развалюхи с новенькой лестницей.

— Извините, справок не даём.

В этой стране и Везувий с цунами не изменят ни черта!

Наученный опытом сдачи в агенты, Постриг включил обаяние.

— Мальчик, упомянутый в рекламе, Артём, рекламу дала, видимо, его мать.

— Видимо? — чиновница (где-то 30-35) оглядела 27-летнего Пострига не без интереса, —

Вы разведены?

— Нет. Я лётчик, специально приехал, из Саратова. Из учебного центра СВО.

— СВО? Вы в курсе, что операция прекращена?

— В курсе. Иначе сидел бы за штурвалом МиГ-29, а не разговаривал с вами.

— Паспорт, пожалуйста.

— Можете сами позвонить заказчику. Можете номер не давать, позвоните сами.

— У меня срочная работа. Мы не звоним заказчикам, это в коммерческом отделе.

— Я не знаю, как найти жену.

— Так вы всё же разведены?

— Не важно. Нет. Но я тоже не видел ее месяца два. Рекламу дала она — или кто-то за неё.

— Вы мне мешаете.

— Ну, попробуйте!

— Что же вы так разбрасываетесь — женой, ребенком? — девушка колебалась, — почему не позвонить по номеру в рекламе, это же как раз её номер?

— Так его и прошу! Знаете же, как рекламу, да ещё в трамвае, слушают! Быстрая, а номер не повторяется.

— Ничем не могу...

— ...отпуск всего двое суток, через сутки назад, в центр. Контракт ещё на год, не важно, прекращена ли операция, — вновь соврал беглец.

— Подождите в коридоре, — она посурвела.

Он маялся у окна меж этажами, когда сотрудница, оказавшаяся ростом почти с него, ладная, похожая на одну из актрис (фамилию забыл, может, спутал), в свободной серой блузе, подчеркивающей фигуру и что-то тараторя по-чёрному с блёстками фиолетового телефона, дала знак: «сейчас».

— Вот, — поднесла гаджет к Постригу, который впечатал 10 цифр после восьмерки.

— И уходите, уходите! Я ничего не показывала. Его зовут Родион. Уходите! — она резко повернулась и в секунду исчезла.

Родион. Едва ли у самой Кати нашлись бы деньги.

Вышел во двор. Покурить бы. Чуть ли не с 7-го класса пытался начать, не зашло. Запах — а на запахи у него животный нюх и животное же отторжение.

Значит, не дождалась. Года не прошло. Какого, на хрен, «года»? Забыл, в каком пребываешь? Значит (почему, «значит?») — внутри год, а в реалиях почти полвека!

Его подташнивало. Сутки с лишним ничего в рот не брал.

Представляю, зачем я ей нужен. Им. Родион.

А Старухина прости?

Шайссе (немецкое, услышанное во Франкфурте, не выветривалось)!!!

Выслеживал, бросался в полынью, облетел половину Земли в два прыжка за пазуху к «дяде Сэму», а затем оттуда плыл (едва не захлестнуло) назад, в пасть дьяволу с попыткой «двойного» шпионажа, бросить одинокую мать (что им с отцом пришлось вынести после «предательства»), задумал перелёт на сторону врага (хотя какой тебе он враг? Враг — здесь) и на тебе — «Родион».

Шагал куда глаза не глядели. На том же автопилоте.

Сейчас бы вновь туда, с видом на Сухумский рейд, и ночью в море, без лодки, без ничего. Море. Говорила же тебе Шауфас: «Вы теперь чужой и у нас, и на родине».

Меж сожжёнными остовами каких-то сараев сел на брошенные кучи бумаг возле замшёлых детских стульчиков. Сел, сгорбясь, доспал телефон.

И взлетел в очередной раз, набрав 11 цифр, которые, как спутники, падали в плотных слоях атмосферы его чудовищно пустого мозга.

XVII

Никаких лишних слов. Как при конспирации. Опомниться не давать.

— Алло, — радущие баритона ударило чем-то неприятным.

— Родион?

— Да. С кем имею... ?

— ...насчёт Артёма. Встретимся, где Луговая впадает в проспект у набережной, ближе к воде. Я с чёрным баулом. В течение часа.

Через полчаса, точнее — спустя сезона три-четыре (снег с дождём и короткий плач ноябрьского солнца словно бы друг за дружкой гонялись) на углу за несколько метров до «зебры» вычислил KIA, из которого вышел поджарый, но с уютным брюшком, излучающий уверенность где-то чуть за 30 в пуховике нараспашку человек типа тренера, не привыкший терять ни минуты, насколько позволял вязкий ритм окружения.

Выверенные черты свидетельствовали об умении вести переговоры на любых условиях, поскольку обладатель черт всего добился сам, не считаясь с затратами.

Пуховик внушал: носителю присущи экономия и стильность, рукопожатие было изучающее прочным.

Постриг отзеркалил это в схожей пропорции.

Почти пустая «Минутка» обходилась без музыки, ничто не мешало. Кроме вида на свинцовую Волгу, под цвет глаз отсутствующей сейчас Кати, о ней же и напоминая.

— Я за рулем, но стакан пива — хотите? — Родион знакомство не форсировал.

— Можно.

Официант увидел их, но тоже не спешил.

— Сколько у нас? — Постриг уже составил о «перебившем ему жизнь» нечто вроде медицинской карты.

— Полчаса хватит?

— Вполне. Я Виктор. Катин муж.

— Бывший?

— Не бывший, а тот самый. Она не предупредила?

— Предупредила из-за чего?

— Давайте сразу: бывший, теперешний, без разницы, Артём наш сын, по заданию органов я был в Турции, Германии, в Штатах, а когда вернулся — наша квартира опечатана, затем понял, что время — тоже другое...

— ...тоже опечатанное?

— Вы спрашивали сколько ей лет?

— Зачем?

— И сколько мне лет?

— Вам, — цепко прочертил Родион, — 25–27.

— Ей соответственно. А на самом деле?

— Послушайте, у вас есть информация о мальчике?

— Есть. Он мой сын. Это я буду его искать. Как отец.

— Не возражаю. Каким ресурсом располагаете: знакомством в Генштабе? МВД? В «органах», наконец, которые вас якобы посылали на задание?

— Что вы об этом знаете?

— Не интересуюсь.

— А может, стоило?

— Живёт она у меня. Со мной. Как жена. Распишемся, когда захочет. Я — хоть сию минуту. И кто вы, на каком киселе родня, в каком ещё времени...

— Ваше — время призраков. Мобилизуют, привозят в мешках — вам всё равно.

— Оскорблять не в моих правилах, помочь могу. Как почти родственнику — есть хорошее место. В моей компании. Требуется исполнительность, честность, корпоративная этика, если всё, что вы наплели, правда, Катя не узнает.

— А вам для чего?

— Люблю гасить конфликты. Начинал кризис-менеджером. Вы — на взгляд — энергичный, даже позитивный (он специально завысил оценку).

— Спасибо, не люблю над собой начальства.

— Зря. Это подняло бы самооценку. Из каких, говорите, времён вышли в это?

— Вы не из тех, кто верит...

...Отчего же? Да, Катя другая. Сейчас таких нет. Я сужу по итогам. Главный: мне 35, ей 25-27 (сколько хочет, столько ей и будет), Артёма найдем, вас можно устроить на приличную должность, жизнь только начинается. Мне в этой стране хорошо. Я всё могу. И хочу, чтоб другим хорошо было, как мне. Или лучше. Не знаю, что было там у вас, но вы, чувствуется, не имеете почвы. Только проблемы.

— А вы из тех, у кого их нет, как говорила мама, указывая с набережной — да вот с этой, — Постриг показал направление (Родион обернулся), — слово только не повторю.

— Не знаю, — примирительное поставил точку с запятой, — страна у нас правильная, мы победим, Артём найдется, у вас будет работа, семья, какие будут ещё желания?

(«Оказаться на палубе «Франко» — и не прыгнуть» — мелькнуло, как зажигаются и тухнут фонари — не с первой попытки), — он вперил в Родиона лазерный взгляд.

— Полчаса истекли чуть раньше назначенного, мне пора, — на столик легли две тысячные купюры, — могу подвезти, вам куда?

(«К вам, — вновь замерцало в Постриге, — но без тебя»)

— Прощайте, — он встал из-за стола и, не оборачиваясь, испарился.

Родиону оставалось пожать плечами, либо улыбнулся неизвестно куда и кому.

С Катей лучше как-нибудь ненавязчиво поговорить.

Заблокировав номер этого неудачника. Да нет, пусть проявляется. Всё же отец.

Что-то в нём есть. Но если безумную сказку о перенесении суда из 70-х, где они с Катей расписаны, каким образом она здесь отдельно? И где документы, подтверждающие брак? Они со свидетельством перенеслись?

Бред, конечно. А с бредом уж как-нибудь мы справимся.

Он спокойно вылетел на жёлтый у перекрёстка с Остапенко.

Сводки с фронта, кстати, начинали радовать

Амбиции держал при себе. Новый губер взял в команду, с перспективой.

Зря этот болван отказался от места. Загнанный зверёк.

Никакая тревога не должна мешать. Тем более, без причин. Откуда причины? Ну, была Катя с ним, вопрос — когда. Что за вопрос? О перетекании времён? Серьёзно?!

Странностей в достатке. Иначе разве б запал? Прям, «Романс о влюбленных». Ждала, ждала и уступила хоккеисту. Чудные времена. Ты бы уступил?

Заезжать на объект не обязательно. Соврал, что заедет. Но заеду (чтоб не врать).

Положительно требуется релакс. В Питер самолётом. Дня на три? Либо на Бали.

Или пошвырять в крикет?

Всегда знал: сегодня хочу сюда. И точка. «Вкусно — и точка» Будь писатель слоганов оставил бы «И точка». Интрижней. Был и в Дубаи, был на Бали, всюду. А где не был? На Соломоновых? Нет, лучше Зелёного Мыса. Кабо Верде — так они звучат?

Рейсы только через Москву. Хорошо, что в Москву не рвусь. Место под губернатором — надёжней. И влияния больше. В думцы? Когда-нибудь.

Нажал на газ. Сбавил, пробуя тормоза после сервиса. Летает. На автопилоте открыл поисковик. Послезавтра 11.00 — на Москву, пересадка, а затем из Домодедова.

Надо бы и в Москве держать машину, зачем такси, мы ж не Европа какая-нибудь.

— Катя, — на мониторе высветилось сияющее лицо почти Марины Влади (так определил типаж, хотя энергетически, вряд ли родня), — соберись и меня тоже собери. В среду летим. На острова. Какие? Зелёного Мыса. Никогда-никогда? Ну, тем более. Купальник есть? Зелёный? Купим. Да, Через Москву. Дня на три. Буду в пять.

Всегда прибавлял скорость, если возникала хотя бы тень тревоги. Особенно, безотчётной. Как в хоккее — шайбу вперёд и лети вслед за ней. Так и плавать учился — нырок — и уже плывёшь. Когда с родителями остановились в Алуште, однажды заплыл, минуя канат ограждения и на обратном решил отдохнуть, держась за бакен. Тот завертелся. Тяжёлый, не остановить. На секунду — страшную секунду — ты не просто под водой, — бульканье, тоннель в

ушах, время выключено, вот смерть — только сейчас пришли слова, тогда же лишь инстинктивно рванул вверх — и долго ещё, выплеснувшись из воды не закрывал рта — эхо стояло торчком. Сейчас — какой сейчас риск? Ну, пролечу на жёлтый. Реакция и чувство опасности — вот два твоих кита. Спиной у костра всегда чувствуешь опасность, оно и мешает, отказ от этого чувства, от одного из чувств — любого — нарушает баланс.

Два билета на послезавтрашние «Жигули» в СВ и два на рейс Москва — Рабил (островной аэропорт) заказал, не отрываясь по дороге на объект за Кошелевым, но передумал доехать. Притормозив у магазина Цветы-24, выбрал с фиолетовым отливом целую корзину роз (вместо усиленных уговоров — Катя любила, чтобы ей не доказали, а внушили правоту, любила сдаться в поединке, это его тоже, заводило).

Промчался вниз по 3-ей просеке, чтобы с шиком, завернуть на Кленовую и уже находясь на ней, опережающим инстинктом понял — всё!

На него в лоб неслась Audi соседа через два дома — с тёмным прошлым вокруг массивной головы (оно же и ореол уважения — шлагбаум поднимали загодя, зная, что Вартан Оганесович приказывает водителю скорость не сбавлять).

Педаль, вдавленная в пол, взвизгнула — это было похоже на вольт с бакеном в Алуште, KIA, прижатая к железному забору, вы секла из него искру. С полминуты оностоял перед поднятым шлагбаумом, словно бы контуженный залпом ГРАД.

Риск достиг дна.

Смывая остатки страха, ласточкой, не раздеваясь, рухнул в бассейн — клином клином.

С Катей поговорила корзина роз.

Только после СВ и такси в Зону отлёта Домодедово, куда их домчали за удвоенную плату, а также «зелёного коридора» для бизнес-класса, где, растянувшись в широком кресле, он взглянул на Катю знакомыми радужных оттенков глазами (ей нравилось смещение от бледно-голубых к медовым), выдал причину столь долгого аута: я чуть не в лепёшку прямо перед шлагбаумом (она даже вскрикнуть не успела), — тихо, тихо, расскажу на месте, а пока закажем у стюардессы, что будешь?

Охлажденное до требуемых 16 градусов Санджовезе семилетней выдержки (старее не нашлось) окончательно вернуло на обетованную ниточку веры: если бывает лучше, то не надо.

А если нет — сделаем.

Проспал — перед отъездом — едва ли не сутки.

За бортом дремало студёное солнце, дремалось как бы с ним за компанию.

Включался лишь в ответ на предложение выпить ещё.

XVIII

Исчез, чтобы попробовать ещё раз. Или проститься. Окончательно, глаза в глаза. После находки, после пика безнадёги, что, мол, никаких больше находок. Ещё раз, ещё разок. Перед тем, как... Низачем. Будто бы долг отдавая. Разбитый долг.

Телефон лежал на панели под плазменным экраном. Номер неизвестный, но Катя нажала на ответ, инстинктивно — и тут же пожалела: выключить Родион забыл, а будить его не хотелось.

— Алло!

Молчание испугало.

— Говорите, кто это? — Родион услышать не мог (вместо звонка вибрация), но всё равно старалась тише.

— Это я, — у него запершило, голос не слушался, — это я, Катя.

Первая реакция — тут же выключить, но Постриг опередил (он всегда опережал):

— Если можешь, буду ждать на Остапенко, ниже нашего дома, где остановка в центр, через час, или раньше, я уже...

Но вместо холодного «Зачем?» высокользнуло «Да».

В чём была — жёлтая с капюшоном и завязками вокруг шеи майка, белые «капри» — на цыпочках, осторожно притворив дверь (затем и калитку, не забыв ключи (вторые) и кошелёк с телефоном (на ходу вбивая номер, который запомнился сам собой), вышла на Кленовую и убыстрённо миновав шлагбаум, вызвала такси, которое подхватило её уже на просеке.

В темпе вихря.

Правильней было бы пешком до трамвая, успевала и так, но думать, ждать (это добавляло муты в душе) — нет и нет.

Он опережал её, теперь она опередит.

Всё-таки приплыл! Нашёл! Но через Родиона?!

Ах, да. Телефон в рекламе...

Угол Остапенко и Ленина пустовал. Может, ошиблась? Может, ошиблись оба? Отпустив такси, ещё раз обвела все углы перекрёстка, и лишь тогда, на противоположном тротуаре, у бруствера, ближе к фонтанам заметила долговязую фигуру.

В ней что-то ёкнуло. Но и оборвалось.

«Зелёный», шагнула первая. Постриг заметил её и остался, где был.

— Пойдём? — она потупилась, ища, где бы присесть.

Неровный, волновой шум фонтанов заглушал всё то, чего боялась — упрёков (он, вероятно всё уже знал, а не знал, догадливый, что ещё больнее, вообразит), или не-упрёков.

Жёсткая скамья, типа лавки, опереться не на что, напряжённо спине — вот и хорошо. Чем хуже...

Постриг все мысли её читал боковым зрением. Впервые. Прежде было просто не до того. А когда всё потеряно...

— Я навещала маму.

— Знаю. Спасибо.

— Ты... сюда... попал сразу?

— Долго рассказывать. Я и сам не верю: попал, нет ли... А ты?

— И мне долго. Как там в Турции?

— Ничего. Нью-Йорк живее.

— И туда тоже?

— Сейчас ни во что не верится: Нью-Йорк, Франкфурт... Одному везде тоска, свобода, без разницы...

— Я не одна, — Катя выпрямилась.

Постриг усмехнулся, пригладил вихры.

— Старухин?

— Нет.

— Мы встречались.

— С Игорем?!

— Около нашего дома. Который снесли.

— Не надо.

— Артём пропал. Игорь не ищет? И ты не ищешь?

— На объявление пока никто не отозвался. Кроме тебя. Мы все ищем.

— Кто это «мы»?

— Давай, опустим.

— Ты другая. Другая.

— Хуже?

— Вид счастливый. Хотя и стараешься это скрыть.

— Ты чуткий. И тоже другой.

Отвернулась, будто бы сейчас чихнёт. Или заплачет.

Фонтаны ревели ревмия.

Не было смелости встретиться глазами прямо, чисто. Никогда, наверное, а уж сейчас...

— Что-нибудь снимаешь, где?

— Рядом. Зайдём?

Ей совсем не хотелось делать ему больно. Больнее, чем оно само...

— Рядом, — повторил Постриг, — напротив нашего бывшего.

Каждый день в него упираюсь. И перед сном.

— Зачем, ну, зачем, зачем ты меня мучаешь!!! Отстань! Больше ничего, ничего больше!!! Зачем появился, не провожай, не смей провожать!!!

И пошла, и побежала, не видя «красного», на «красный», назад, без такси, без трамвая, всё равно, куда.

XIX

За иллюминатором ровные-ровные барабанчики, а Родион дремал. Когда вернулась, прилетела сама не в себе от пугающей встречи с теперь уже непонятно кем, спал, широко раскинувшись, а сейчас просто дремал после почти суток сна и необъяснимого молчания до самой посадки в «Боинг».

И опять отключка. Она завидовала его способности быть лёгким. Дети так не спят, а он и был сейчас ребёнком, уверенным, что всё будет. Посапывая. Профиль — само доверие. Захотелось нарисовать (листок и авторучка нашлись у стюардессы).

Лоб, несколько ранних волнистых морщин — балла на 2-3, овал (поближе квадратному как это сочетается?), мягчеющий к скулам.

Нет, совсем не то. Лицо источало дерзость, но черты расплывались. Плечи соразмерны большой голове (её когда-то пытался учить рисованию одноклассник, безнадежно влюблённый Шурик Салов, выходило что-то смазанное, теперь линии ложились смелее). На кого-то из актеров Родион походил, только не «наших» (она и внутри себя не могла сказать «российских», а «советских» как-то неудобно). Лино Вентура из «Искателей приключений»? Только во-

лос побольше, ну, как у Делона. Хватка Вентуры, дерзость Делона — в целом не красавчик, но интересный. А профиль наступательно-скрытный, мальчишка с бычьей шеей, несколько зауженные глазные впадины, что-то монголоидное. Барс, но само добродушие.

Упоенно выводила, ужиряла некоторые линии. Увлекшись, не заметила, как Родион потянулся, а поняв, хотела бы скомкать стра-ницу, но её успели перехватить.

— И это я? — Родион расправил нарисованное — Прям Ди Ка-рио.

Отобрал ручку и на обороте двумя-тремя штрихами обрисовал Катю, без особой лести. На него смотрела испуганная Марина Влади, но более скрытная.

— Отдай, — закусила губу.

— Нет уж, — ловко повернулся при неотстёгнутом ремне, це-лую оригинал изображения в сразу же подтаявшие губы.

Отель в пяти минутах пешком от пляжа. Переодевались, то и дело застывая в объятиях друг у друга, в шортах и майках, вещи разбросав, отправились к океану, вспахивая не слишком рыхлый, как бы отцеженный особым фильтром, песок, но ухнуть в прибой не удалось, мелководье растянулось метров на сто.

На море так и не побывала, ни разу. Круиз «Ивана Франко» пляжничанье не предполагал, а до него (тем более, после) и не по средствам.

Ведь она счастлива? И да, и нет. Равновесно. Конечно, конечно, счастливо (себя как бы одёргивая), и не думай

Артём? Это чувство было самым сосущим. Похожим на сирот-ство.

С трёх сторон это сиротство накатывало, до захлёстыванья.

Родион блаженствовал и не спешил вмешиваться в её тревоги.

У него дела, дела, звонки беспрерывно, и в то же время, с ней. При ней. Даже на расстоянии. Не говоря уж о постели.

Она расцвела и проснулась — во всех смыслах.

Угрызения тоже не дремали. Наастая, мстя счастью. Она пра-вильно помчалась к Постригу, чтобы отрезать совсем, вбить крест. Крест падал, но не сдавался — форменный ванька-встанька, но ведь совесть попытку зачтёт? А если б Игорь возник (с его порывом, вы-держкой и в чём-то слабостью)? Нет уж, хватит испытаний. Перед сыном (который её опекал) почему-то боли было меньше. Необъяс-нимо. И не надо. Как есть.

Под щадящим, но тропическим же солнцем, и на бархатном песке (цветом — белый мёд) наползали воспоминания о зиме, как в бабкиной деревне ходила в магазин станционный за два километра, стараясь не расплескать молоко в бидоне — мороз за 20, быстрее, лишь бы не заледенело, и где-то на повороте их проселочной, поскользнулась, прижав крышку — вдруг — стоп! — и нет никакого времени, свист в ушах (наверное, крови), так и стоит с тех пор на том повороте — донести бы — доносить бы! Зимой же случились и первые схватки, месяц восьмой, смерть как не хотелось рожать недоношенного, недели полторы ещё протянула.

Витя, Витенька — едва не вырвалось из той же груди с прижатым бидоном.

Он её увлек, потащил за собой, нагрузил виной, не дав любви созреть, всё торопился, её заслужить — и нигде ему (догадалась) покоя не обрести, живи мы в Штатах, как хотел, или в одной из родных берлог здесь, такой же непоседа и Артём, и его не остановить, а мать, какая из меня мать? Родион всех вытеснил, всех заместили.

Кем она хотела быть? Дочерью, мамой и сестрой мужа. Всеми. Просто женщиной.

Всё сбылось. Но почему, зачем тогда терзаться, зачем вина?

Мысли, тени мыслей, свист в ушах. Почему нельзя жить счастливо с чистого листа?

...На второй день отеля как со многими бывает при акклиматизации, встали, чувствуя себя разбитыми. Пили мохито, ещё какую-то кисловатую смесь, часами глядя на горизонт, ожидая заката и его многослойных опахал.

— Ди Каприо, — вспомнилось Кате, — что-нибудь с ним посмотрим?

— «Авиатор»! — Родион будто ждал этого (ноутбук возил, куда бы не заносило), — «Титаник» — это когда совсем жить не хочется, лучше «Авиатор».

— Ты веселее, — заключила после просмотра, — не люблю смазливых.

— А завтра у нас по расписанию подвиг!

— Ещё?

Он сделал круговое движение над головой.

— «Отчего люди не летают»?

— Не, такие древности не про нас. Арендуюм. У меня и пилотская лицензия с собой.

- Может, не надо? — Катя обняла, словно бы удерживая.
- Мёртвой петли не обещаю, зато... — щёлкнул пальцами.
- Там парашют имеется?
- Не веришь в моё мастерство?
- Кто сказал «не веришь»?
- CESSNA штука что надо. Всего-то час. Да что с тобой?
- Не хочу. Просто не хочу.
- Боишься.
- Совсем нет.
- Один кружок — для зависти. Потом согласишься.
- Нет, Родька...
- Птичий же полёт! Всего-навсего!
- Ты не знаешь...
- Чего?
- Ничего.
- Нет, договаривай.
- Я за нас боюсь.
- За нас? Нас же двое — значит, всё хорошо.
- Хорошо. Но я не получу!
- А хочешь, ночью? Не представляешь кайфа!
- Ты не знаешь главного.
- Я его, Кать, не хочу! Всё происходит — с Божьей помощью — да! — и с нашей. Мы хотим! Теперь я и мы — одно. Так это работает.
- Летала, — вырвалось.
- (Учебка, с парашютом — не в счёт.)
- Выкладывай — где? На чём? Посмотри на меня!
- Смотрю.
- Нет, острее!
- Я здесь, я с тобой, потому что летала уже однажды!
- И что? Можем повторить!
- Сюда, — сказала почти по слогам, — я перелетела. Не одна.
- Это было... — и вновь запнулась.
- С кем?
- Зачем тебе?
- За прошлое не цепляюсь. За твоё — тем более.
- Нет, если не знаешь, у нас...
- ...что, что у нас?
- ...всё может сорваться.

— А мы не дадим! Смотри, сколько нас! Только вдумайся, царевна — ты и я!

— Нас тогда было трое — я, Артём и одноклассник мужа из параллельного класса...

— Целый триллер!

— Одноклассник сидел в управлении ГБ, я пришла с объяснительной (так внушил муж, Виктор), что «задание» органов начало выполняться, для этого муж прыгнул с теплохода и поплыл в Турцию.

— Я запутался — одноклассник мужа, прыжок, агентурное... Зачем такая сложность? Знаешь, сколько «агентов» за кордоном, при чём здесь твой — ваш — перелёт, куда?

— Тот, из приёмной, в меня влюбился, когда писала объяснительную. А через год, на той стороне мы были втроём... Ты всё равно не поверишь, хватит...

— Ну, хоть какая-то связь? Я дотерплю, тебе же легче станет, давай!

— Артём убежал, мы остались у машины, а он за лесом, на свалке нашёл биплан CESSNA. Рассказывать дальше?

— Уже теплее.

— CESSNA, новенькая. Никогда таких не видела. В стране их быть не могло!

— Да у нас их...

— ...у вас! Год, представляешь какой, или так ничего и не понял? 74-й.

— То есть, до моего рождения?

— Артём забрался внутрь — винты уже крутились, мы влезли, как только влезли — она поднялась. Сама! Вертикально — как вертолёт!

— Может, это и был вертолёт?

— И я, которую ты видишь, совсем не я, там осталось моё все, а этот биплан, сам, никаким попыткам рулить не подчиняясь, перенёс всех — сюда, к вам! Теперь ясно?

— Если ты — это ты, во что ещё верить?

— Не веришь. Так и знала. Я и Артём прыгнули с парашютом, а на трассе одна женщина подобрала нас, подговаривала улететь с ней, с ними, с ней и мужем на восток, арабский, какие-то Эмираты, сделала мне паспорт... Игорь тоже выжил — я чувствую, не представляешь, как это мешает! А теперь ещё и CESSNA...

— ...успокойся!

— Мне садиться в неё нельзя, даже касаться!

— Ладно-ладно, покручуся один...

— ...и тебе нельзя! Боюсь тебя потерять, боюсь маленьких самолётов!

— Хочешь с этим страхом остаться?

— Кто я, чтобы хотеть? У меня ты, и Артём, его ещё найти надо. И вquina, на которую он грозил пробраться. —

— Тем более, решись! Снимутся все твои (он подыскивал слово, просилось «паранойи», но поостерёгся).

— Это сильней меня!

— Ну, чего, чего ещё боишься! — привлёк её голову, круглую, тяжёлую, целуя там, где мог быть пробор, как доверчива она в его ручищах.

— ...что всё исчезнет, как и возникло. И ты, — она сжала его застье, — потому что не понимаю, какое сейчас время года — в моём Валерьянове их было четыре, что за день, что за час, где я, в чём, ты это прикрыл — и чтоб всё испарилось?

— Лучший способ разделаться со страхом, шагнуть в него. CESSNA так CESSNA.

— Считаешь, нам всё подвластно?

— Шлемы дают. Даже на Гаити, где отели не то, что здесь.

— Ты был на Гаити?

— Губернатор взял за кампанию. Словом, утро вечера... Идёт?

Парк аренды машин и авиеток располагался позади отеля, разгонные дорожки упирались в край поля, метрах в 200-х.

CESSNA двухместная, новенькая — всё как тогда.

Катю почти знобило: из фюзеляжа ещё при подходе выпрыгивала Тёмкина в шлеме голова с пакетом парашюта на поднятых руках.

Обоих Родион обстегнул ремнями, винты закрутились.

Она согнулась по типу того ножа, которым счищала кожуру со сваренной картофелины, сейчас её обнимет Игорь, она прижмёт к груди Тёмкину спину, их взвихрит столбом, чтобы нести — в какое время?

— Спокойно, будет вираж.

Левый крен биплана заставил открыть глаза и возник океан.

— А?! — довольству Родиона не было краёв.

Зажмурилась, долго не открывая глаз. Или тут же открыла — границы растаяли, стала зримой даже кривизна полушария (спектрально спрессованная линия). Но космическая панорама исчезла, будто всё близко-близко поднесли, стали заметнее волновые начёсы, бескрайние, переливчатой лазури, течения то смешивались, то расходились, как расстёгивают молнию — поражала прочность цветовых оттенков, от них исходили шумы, перекрывающие зуд мотора, CESSNA плавала в потоках зноя, Родион, слитый, казалось, со штурвалом, ей не мешал, как бы подгребая, подчищая слой за слоем и петлю за петлёй.

И всё это, не прерываясь, синусоидально хранило ужас восторга на пике страха, их спайку, инь-янь высоты, набирающей высоту от пупка, или возле, исчез борт, исчезла давящая поперечина крыла, стеклозащита от сводов пещеры, где с Виктором они умерли (готовясь умереть), а потом согрелись — взрывом, замедленным взрывом, бесчисленным взрывом, взрывом каждого нерва, изнанкой нерва, зыбью нерва, когда ты — это никого, нигде, а воды никак не отойдут.

Родион контролировал и этот её вихрь, и приход в себя на взлётной полосе. Хотел бы продемонстрировать «бочку», ещё несколько фигур посложнее, но пощадил. На третий раз сделал несколько кругов подальше от берега и низко-низко — можно было коснуться выныривающих дельфинов

Осмелела — вот бы и ей за штурвал! Где включать, как выравнивать крен, как разворачиваться и садиться, опять же в «автопилотных рукавицах».

Удобно села, поёрзав, и CESSNA покатилась, вздрогнула.

Крен берега достиг градусов сорока-сорока пяти, дхнуло разворотом в сторону горизонта — именно дхнуло — выровняла крен вручную.

— Сдержаннее, сдержаннее, Кать! Молодчина!

Всё слушалось, всё подчинялось, она была как распахнутые крыла ястреба, стоячие в зените. От неописуемой свободы повисла бы на шее Родиона, укрытая его спиной, кожаной спиной ли Виктора, обнятого что есть силы, но штурвал, штурвал вышибся из её рук, скакунью-машину подбросило, повело по собственной (уже знакомой, собственной) воле, спазм свёл горло, кисти, даже слух, но, не перестающий кричать, Родион, уже переползal, бодаясь, выда-

вил её к борту и на весу нажимал, нажимал, какие-то кнопки, пытаясь, как Игорь полвека тому (или сколько там ещё?) обуздать якобы лёгкую и якобы услужливую конструкцию, которая забирала и забирала неизвестно куда, в какое из песчаных, подпочвенных времён, пещер и воронок.

С ней разговаривали, поочерёдно склоняясь (одного, примерно, возраста) темнокожая медсестра, доктор (полнотелый и на явно плохом английском), Виктор, Игорь и Родион — все в белых с нагрудным — справа и слева — халатах, калейдоскопно тасуемые, на конец, Родион вытеснил всех, потому что сидел у изголовья больничного ложа, Катина же голова, удобно приподнятая устройством кровати, ничего не чувствовала, ничегошеньки-ничего.

И лишь кивок Родиона в этом ослепительно белом пространстве ставил точку. Две точки: всё позади. Ты цела.

Они целы.

Больше так не надо.

XXI

«Дэйзи, дэйзи май флай...» — включил приёмник в «Мазде» и убрал звук. Английский стал подзабываться, но эти якобы английские слова то ли сам придумал, то ли услышал искажёнными. А может, Габи напевала их, с акцентом, свойственным латинос. Эта часть Нью-Йорка ничего не имела общего ни с Манхэттеном, ни с Бруклином, что-то злачное, ни к чему не обязывающее. Настоящая, киношная заграница. Габи явно имела на него виды, а он искал способ, как бы не обидеть, не посвятить во что-то лишнее. Мог бы и остаться, конечно. Задним числом хорошо думать. Нет-нет, слово ещё в цене.

Амба, как говорится. Амбец, амбецил-имбецил. Скитания затягиваются петлю. Финдыклы, Анкара, Франкфурт, Нью-Йорк (с Брайтоном и обучением Габи на «Мазде»), штурм, забытьё, флирт с официанткой вагон-ресторана — всё промельком и свистом, как лесопосадка, и стоп за стопом: опечатанная квартира, мама в ванной и без слёз на прощание — кончены родные времена, хотя, оказывается и в новых, в их тисках ничто, ничто не кончилось и теперь всё недожитое, давит, душит.

Всё бы по-другому — пусть и наперекосяк — уговорилась Катя (Артём бы прыгал от счастья) шементом лететь в Сухуми, плыть в резиновой лодке (маршрут проверен), ну и взяли бы на третью сут-

ки, нет, на первые, определив психушку, из которой выходишь убеждённым беглецом ото всего этого (мысленно сделал обводящий жест хищника над степью), а затем ещё попытка уплыть (с Катей-II — учётчица на Мехзаводе, где слесарил — а после психушки больше никуда) — почти у цели, в турецких же территориальных водах настигнет родной злобный флот на учениях — и отсидки, отсидки, допросы, переводы с зоны на зону вплоть до помилования после победы горстки непокорённых у Белого дома (которые тут же начнут рассыпаться), а ты — с той же официанткой или с Катей-III (будущий бухгалтер из Хабаровска, дался же нам Хабаровск!) получаешь, наконец, законные грин-карты, как узник совести — провести остаток дней где-нибудь в калифорнийском Пало-Альто, остаток растянется аж на две жизни, ещё и дочь родите (полную американку) — вот как должно быть по замыслу, Божьему ли?

Выходит, что и нет. А Божий в чём? Повторить всё, с нажимом, как рыбий косяк, слепо идущий в нерест — против течения? Сил бы, желаний бы... Выходит, Катя — и есть твой стержень, сам назначил, сам сломал и сам потерял.

Он прочёсывал сто раз прочёсанное прошлое: шахматный порядок улиц, предледоходную Волгу, виражи на мотоцикле брата без шлемов, но с прижавшейся к спине Катиной грудью — всё оставалось, множилось, дразнило.

Куда теперь? На Запад можно, были бы деньги, но Катя уже с другим, Артём выбрал собственные приключения, наверняка выбрал (это ж твоя кровинка). Стержень по имени Катя сломался. Не мужское дело — рыцарская любовь (жалкая правда, но правда. Ты проверял. Я проверял. Там пусто — выскреб всё).

Поймал себя на смещении памяти об автопилотнейшем из маршрутов — Замайская с поворотом на Войнова, вниз к углу Страгановского сквера, куда скатывались на санках, а классе в 6-м «ходили» трое на трое: он, Краев и Шаганин, очкарик, способный дать в морду любому, кто намекнул бы на его полукровность — за тремя же: Анной Модилян (по кличке «Модильяни» — кто принёс? Не Краев ли? Нет, ему живопись была до лампочки, говорун и писака, задававший каверзные вопросы «историчке» и самому Арнольду Палычу), а также Риммой Ковенацкой и Никой Марчук — это ей Краев посвятил пафосно-взрывчатый стишок про якобы несчастье, и дело писаки разбиралось прилюдно в актовом зале (две практикантки-«немки» в качестве присяжных и гордый Краев, обозванный «Печо-

риным»). Их унесло, разветвились, и лишь он, Постриг долбил ту самую точку, поскольку через две зимы ходил «трое на троё» уже в другом составе, там одной из трёх и была Катя, ставшая завоеваньем, завоевал и утратил, а любовь (осенило же!) не завоевывают.

Может и нет. А иначе — как? Должен себе доказать — могу. Всё, что задумано — могу.

И ведь всё удавалось.

Он остался задирой, не переживавшим катаклизмов со страшной, от которой убегал, а она ещё быстрей бежала сама от себя. Их побеги даже не были параллельными.

Где ныне краткосрочные соседи: тренер по конькам Миша Рудольфович, грустновато-цыганистый, ботаничка (яблоко румянца во всю щёку), завучиха с шагами командора и первый поцелуй в трамвае (на спор или на смех)?

Повернул на Войнова, как бы на саночках вновь летя вниз по накатанному, пытаясь подправить курс, чтобы не врезаться в забор слева — или не вылететь на проезжую.

Мама, вечно готовая гордо вытянуться по струнке, ни разу не назвав его «сынок», батя, молчун, как на поверке в училище — что видели, бедные вы мои, глядя куда-то бок о бок?

Чего я сейчас не вижу, даже видеть нет желания...

Здание на месте, пережило разруху (не одну), и восстановление — в отличие от изб с каменным верхом и других диковинок центра, застревая в детских временах, в яминах детского времени, а вопрос всё накатывал приливной волной: где, где это смытое, но и приливающее, где? Где всё, что вращалось толклось и пульсировало исключительно в нём, внутри, по всему телу — сейчас?

Неужели стержень всего — дрожь воздуха, иллюзия?

Может, это я бесчувственный?

Стали заметнее трещины в торце не только «хрущёвок», но и у новеньких, двадцати с чем-то этажных. Трещины и разломы. Их в упор не замечали ни его, Пострига, ровесники по эпохе, ни «самокатчики» (парниковое поколение ускоренно пересекающих любые пейзажи). Зданий совсем без трещин теперь поискать.

На ком проверить: не твоё ли это наваждение?

Воронки от развалюх зарастали мусором и цепким сорняком, хотя бросать мусор туда было некому, будто сами же ямы выделяя мусор из всех культурных наслоений.

Его, «пришельца», не замечали — это ладно. В оазисе комфорта с отстранённой войной, которую новая власть якобы отменила, действия «новой» не замечали ровно с тем же успехом — возможно, что и он сам теперь власть, раз не замечают его.

А если так, зачем свобода?

От правды слабеешь. От слабости же до бессмертия веры не напасёшься.

Уже и рисковать нечем — вот, что страшно.

Точкой, точечкой. В которой прыгаешь с «Франко». Плывёшь, не возвращаясь. И центр страха есть слизистую (далее по тексту). Не может не быть выхода там, где сияет красным «вход». Как в «Первомайском (бывшем «Фуроре»), где на поцелуи пацаны свистят и стучат ногами, а ты сидишь, не закрывая рта.

Отмотать её до своего исхода — и будь что будет.

«Дэйзи, дэйзи май флай, эбаут... Дэйзи, дэйзи...»

XXII

До Сочи поезда ходили напрямую, не нужна пересадка в Ростове. Двухэтажные, без плацкартных вагонов, одни купейные. Соседи попались как раз до конечной, двое 30 с небольшим (чуть старше «сохранившегося» Пострига и «тёртый» мужик чуть за 50). Инженеры. Молодой оказался словоохотливей. Он открывал новые малые предприятия, увлёкся беспилотниками, оптимизму не было пределов, уверял, что едва забудется эта напасть (СВО, которую по привычке опасался называть «войной»), какой же страну ждёт расцвет, она и сейчас крепнет несмотря на...

Сосед напротив, мрачноватый, плотный, настороженный более чем, даже не кивал, поддакивание было выведено красным по его слегка ноздреватому лицу, он был из Сечинска и заканчивал Авиационный, молодой — новосибирцем, сын когда-то переехавших в Академгородок.

Оба не сомневались в праве убивать другую страну, это было за скобками, только-только оптимизировали поступление БПЛА, и на тебе — отбой, новосибирец хвастался какой-то новой электронной защитой простых и запускаемых откуда хочешь, пожилой от этих рассказов оживился и показал на гаджете изобретения свои. Выждав приличную паузу, он потыкал в экран и протянул соседям (от Пострига, на которого или не смотрел вовсе или с плохо скрытым

недоверием) экран, откуда раздавались резковатые аккорды патриотической агитки — с закинутой головой девчушка, будто её собирались повесить, выкрикивала «руssкиe идут!», добавил: «Ну, если уж опять немного патриотизма...» — и вдвинул экран вновь, оттуда неслась уже утроенная баланда — две ПТУ-шницы и парень в «косухе» на повышенных тонах убеждали, что не постоят за ценой во всём, чего ни коснись, дрожи, Европа!

Постриг слушал это, прижав подбородок к груди, сдерживаясь на последнем дыхании, боковым зрением отмечая, как молодой, пропуская тональность мимо ушей (и сердца), держит осклабленную улыбку, ничуть не портящую открытое лицо, лицо того, кто родился без оглядок на «органы», а сейчас воспринимающий их как нечто сезонное, вроде октябряской мороси после первого снега.

Пожилой скрывал — или казалось — завязшую, как бы в том же первом снегу, невезуху. На нём, тем не менее, прочитывались возлияния (в меру), рыбалки с друзьями, пара случайных измен привычной, когда-то хорошенькой жене, задушенные самим ходом вещей перспективы возглавить какой-нибудь серьезный отдел, (90-е возможность испарили, возрождение же растянулось на годы, но сейчас, ввиду войны, увы, прерванной, параболически укорялись, и всё же куда деть слипшиеся обиды на водоворот «дерымократии»?).

Глядя на узников вполне комфорtnого купе и подавляя страсть к рассказам, Постриг убеждался в уже давно убеждённом, как будто скользил по навеки вдавленной в спуски на одной из проsek двойной линии лыжни: как же всё безвылазно и безнадёжно в самоподбадривании, как же хочется, чтобы вся эта утрясённая матрица треснула, поползла, рухнула вконец. Со всеми своими почтовыми ящиками, с бессознанкой открытых (якобы) глаз!

Даже не сказав «сокамерникам» обязательных прощальных слов, он сошёл, специально пробравшись заранее к первому вагону, возле касс узнал, что электрички до Сухуми ходят раз в двое суток (ждать, к счастью, оставалось часов шесть). В пылу соседства забыл даже заглянуть в вагон-ресторан и не пожалел, зачем теперь воспоминания об официантке, давно уже бабушке, да и жива ли?

Одновременно всплыла и растерянность при виде опечатанной двери квартиры их с Катей и первая тогда реакция: мчаться назад, к тому самому поезду и с гадавшей ему по руке плыть назад, к благословенным островам Запада!

Мелькнул и подавленный стыд — кто не бывает слабым? — но сейчас... Да, сейчас все эти чувства были в кулаке, хотя кулак и дрожал. Что не мешало холодно выбрать в «Спортмастере» лодочонку серо-голубого колера и вместительный рюкзак для неё.

Удивительно, что никто у него не отобрал ни грин-карт, ни советский паспорт, повертели, полюбовались, да и вытолкали на улицу со всем богатством.

Теперь, держись, Витюха.

Не таким ему представлялся обратный путь (рядом на жёсткой лавке сидела бы Катя, может, дремала бы на его плече, Артём вертелся, пытаясь углядеть море меж зарослей кизила и других кустов), сейчас он собран, как никогда, чуть ли не в молитву, отвергнув йогу и другие ухищрения, ставка (бессознательная) на юркий ум, кошачью вёрткость и фехтовальную реакцию (хотя в секцию так и не записался).

Вокзал Сухуми показался каким-то мелковатым, правый флигель в строительных лесах, чем-то новым дышала и площадь, и хмурые ребята, за версту чующие любого чужака, липли взглядаами, прикидывая, что бы такое содрать, но, парни, вам и не снилось, на кого собирались влезть, на чью шею. Таксисты, как и в Москве, на перебой, казалось, готовы его подхватить, на деле же, соблюдалась гордая очередность. Он прицельно выбрал второго в этой очереди, пропустив случайного пассажира позади себя специально и на вопрос «куда» уже на сидении рядом солидно и покровительственно молвил: «Договоримся, отец. Пока вдоль моря».

Дорога освещалась плохо, сумерки только-только спустились. По обе стороны шоссе помаргивала тьма, не тьмущая, но всё же.

— Каштак знаешь? — не поворачивая головы, бросил Постриг.

— Тхубун? — переспросил водила (средних лет интеллигент, сразу слышно по произношению), — там обратно вряд ли кто сядет.

— Давай по двойному тарифу? — Постриг не стал набавлять цену постепенно.

— Не знаю... — возница колебался.

— 50.

— Чего?

— В долларах. Возьми, — вытянул из барсетки ассигнацию — и тотчас вспомнился ужас на лице козопаса, с его «шпионам помочь наш долг!»

— Хорошо?

Мужчина без слов сунул бумажку в карман и чуть-чуть прибавил газу.

— На троллейбусном круге останови.

— Троллейбусы сняли давно. Лет 20.

— Но круг-то не зарос? Там дачи начинаются, после парка.

— Дачи?! — человек за рулём впервые стал разглядывать пассажира.

Молодой. Вихры и рот полуоткрыт.

— Я не помню.

Выглядел как раз на 20 старше Пострига. Ну, да, щёки впалые, но живот, взгляд острый, усталый. Ничего не пропустит.

Вроде бы за троллейбусным кругом шоссе меняло направление. И луна тоже не помогала. Не было её. Хорошо для лодки, но до лодки ещё дожить бы.

— Сбавь немного.

— Здесь, кажется... Пройду, если что.

Он вдыхал полузыбые ароматы, двигаясь чуть ли не ощущением — обочина была узенькая. И никаких огоньков. Ни домов, ничего. Слева какие-то высоченные заборы, железные калитки, лай из глубины дворов. А справа — прогал за прогалом. Где-то здесь был дом Акакия. Постриг свернул наугад к морю, минута пересохший арык. До воды через железнодорожное полотно на глаз (точнее, на слух) были те самые метров 50–60, только ни домов — даже на сваях, ни зарослей олеандра сквозь металлические с круглыми дырами — ограды, куда бы высовывались пики олеандра — ничего. Что здесь стряслось? Оползень? Но горы далеко. И запах стоял у него в ноздрях, скорее, фантомный — никаких олеандров, никаких мимоз, раскинувших ветви чуть не до линии прибоя. Только болото стало слышнее. Будто грейдер эти участки ровнял. Или снесло снарядами.

У самой кромке прибоя галечный скрип и вяжущий запах тины перешли бали доносящиеся со стороны болот уханья и чваканья.

Скинул рюкзак. Ласкающий штиль. На рейде, по цепочке фон-рей угадывалось открытое кафе. Никакого, конечно же, Акакия. Да и в лодке ли сейчас нужда...

Он развернул резиновую поклажу, надул в несколько приёмов, ощущая зубами привкус резины, мыслями уже на границе нейтральных вод.

Вошёл, прислушиваясь, держа надутую лодку, будто бы на руках Катю, но с Катей никогда он в море не входил, и ни с кем не

входил, Господи, ведь всего 27 или сколько? 27 (а не 76, как должно было бы по прямой, но прямая пуста), ничего этого уже не будет? Ни одной вехи?

Долька месяца глянула и заволоклась, оставив мерцающий след лунной дорожки, освободил два лёгких весла и нажал на вставленные, наклоняясь.

Помолился бы? Шторм даст силы. Только шторм.

Неужели жизнь лишь для этого — для петли, петли метеорита, несгораемого (увы, но почему же, увы?).

С опозданием вняв советам Шауфас, таки пустить корни за океаном?

После облома с Катей, после увязания родины в украинском котле после того, как дано было увидеть, что другим лишь грезится — и ничегошеньки особенного в этом адском раю не найдя, не выстроил, не поймал, не приручил — опять мыкаться?

Грёб и грёб, не оглядываясь и не надеясь на огоньки горизонта.

Жизнь оказалась обманом, заслуженным, не в коня обманом.

Значит, надо в свой черёд её же и обмануть.

XXIII

...и центр корректировки ест логово страха, как соль с йодом слизистую при нырке... — неужели всё так легко вернулось?

Плывёшь себе и плывёшь, после бегства. После всех бегств.

Теша себя всякой ерундой. Например, ревизией приобретений.

Умею зарабатывать без начальства. 100 часов стажа на почти F-16. Не густо.

Тональность переплесков слушал, как настраивают фортельяно.

Кто-то вёл его через все опасные зоны, чтобы неожиданно их сгустить, но зона, зона та же, месть этой зоны была с ним.

Тикали биочасы, *не торопись, никуда не спеши, играем рэгтайм* (в «Иностранке», листая, наткнулся на эпиграф романа «Рэгтайм», не прочёл и десяти страниц, но фраза врылась). Поглаживая мордочки воспоминаний, выпрыгивающих, как дельфины.

Ну, и запахи, конечно. Как в первый раз — перелёжанного сена, и ромашки, перемешанной со спермой. На каком-то этаже подсознания стояла у окна роддома Катя, Катя, уже с маленьkim буддой, перед выпиской, и он лазил к ней на третий этаж, цепляясь то за газовую трубу, то за выступ балкона этажом ниже, то за воздух.

Всё заворачивалось в скапливание волн, в повторное всхолмие-овраг, крики, зовы, забытьё — видел себя откуда-то из крутящегося веретена, чувствуя: оно Бог и есть, топча чувство, как тушат огонь, (с риском заполыхать самому).

И в первый переплыv, и сейчас была такая полнота жизни, страхи, восторги, они до него добрались, как муравьи, сгрудясь, несут или подталкивают царь-муравья.

Только в этот растянутый на все углы и стороны миг явилось заново или впервые, или раньше первого раза, как всё у них сладилось в пещерах, откуда ощупью выходили двое суток. Не просто соитие — ужас и огонь, жар беспамятства, ключицы, линия хрупкой спины, акустика души, неделимой души на пике полной утраты.

Здесь, в эпицентре кипения, свиста, всплесков это длилось и длилось: первый взгляд (почти что жертвы), как всё отстранённее раскрывался бег с криками Чингачгуга в полынью, и целомудренная дистанция набухала, даже не чувством, а черёмуховыми холодами перед слипанием шариков магмы тополей, и как, выждав две-три вечности, полез целоваться, встреченный отчаянными взмахами рук. После чего явилось, перепрыгнуло вперёд уже прошедшее, что и толкнуло друг к другу, подобно кошке, падающей на лапы при всех кувырках: неужели, неужели умрём, так и не узнав? — Чего не узнав? — Как муж и жена... — Дура! Нам бы умереть без мучений!

...Как-кап со сводов, сырых и сосулично-землистых, никогда потом так сладко и сразу же одиноко, аукаясь из этого же «одиноко», никогда так *вдвоём*.

Надо всем этим чередовались, по-метрономному, чьи-то шорохи-оклики — ёжика, что ли? Бывают ежи в пещерах? Нет, летучая мышь рвётся жить в наружную тьму из этой, сырой.

Болтанка, пике и флаттер прожгли, прощупали, растворяя слабость, пузырь слабости, зонд слабости, уже не больно взрезать память — не любила? Мама права? Море вину поглощает — вместо живого тебя, вместо жертвы.

А как же сын? Он без тебя или ты? Оба, как на качелях. Гукающий в открытом окне роддома будда уже вне возраста, если хочется опоры — старше вас, родители, он родил нас, а не наоборот, всё потекло наоборот, как из мясорубки.

Отшелушённая мысль — мысль-мертвяк, личинка, противогаз мысли, мёртвая кожа, жизнь с такой мыслью — извращение, живёшь только в стихии, все бегства — ради неё, Катя этой стихии пугалась, йодо-солевой, ведь я попасть хотел не в унылый повтор или

повтор-мечту, а в самое-самое этой соли, этого йода на все раны, ранки, ссадины, без отзыва, какая к чёrtу любовь, я от любви бежал, вдавленной в лоб чёрной крошкой мела, бежал и бегу от параллельной судьбы: быть осуждённым, пройдя три зоны с карцером и две психушки, потеряв 25 литров крови сквозь все овалы и восьмерки ада — вариант прожёён, как лупой какой-нить жук, сущий лапками, с беспомощным брюшком. Жук-носорог-олень.

...Сейчас бы ещё патрульный...

Или квадрат эсминцев на учениях.

Чтобы, прижимаясь к одному из бортов, не попадая в прожекторное перекрестье, из ваших чёртовых квадратов же и выйти, пока там Катя-II на вёслах.

Не гребёт, просто держит, а я пока посплю.

Катер-катерок, схватят рано ли, навсегда ли, уже схватывали, поддавки не сработали, не распялся на двоих агентов,ничто не в корм.

(А при полной свободе, стоглазой, что светит?)

Показалось — или нет? — два световых снопа морзянкой: брось вёсла!

Дрон или «вертушка» ощупывает его резиновый ковчег?

Огней — шаром покати. Кто на меня?

Ах, я преступник? Подчиниться должен?

Это я, я! Я!!! Должен вам, за всё пережитое — и обещанное! — подчиниться???

...И набирая, словно бы меха растянутой гармони (которой сроду не касался) воздуха, шар воздуха, срывая через голову спасательный пояс и ласточкой (термобельё мешало, но стянул и его), выстрелил в успокоенную пучину, распугивая стайки стерегущих рыбок, и загудело, заплясало, надолго ли? — в ушах — спрашивал уже не он, имя спрашивало, устремленное ввысь, противоходом от упоённой рвоты, рвоты водой в ещё более глубокую воду, совсем без пузырей, совсем, совсем: ... а... а... а... а... тя... а... а...

XXIV

— Где у него ушиб? Рёбра? — пощупал. Не, рёбра не болели.

Артём перевернулся на другой бок — рядом, тоже под откосом и на боку, валялась пушка, под чьим чехлом он и ехал (гаубица —

возникло слово). Впереди полыхал цистерна, две цистерны, разворшило весь поезд, а тебе хоть бы хны. Только дышать от разлитого и горящего топлива трудно, кашлял.

Живой! Живой! — вот что пело. Бомба, или дрон? Он и этого слова не знал, всё возникало само, тем же взрывом, но по-слабее.

Мог бы переждать в кустах — но чего? Мог идти вдоль рельс, или ползком — но кто его найдёт? Кто выследит?

Зудящие, неизвестного происхождения звуки терзали, корябали слух. Потом всё ближе — голоса. Вроде русские слова, но исковерканные.

Хотел было сам подойти к группе незнакомых в масках, подняв руки, но сообразил, что ведут себя так лишь сдающиеся, но сдаются-то врагам?

— Бачь, Михай! Хлопчик... Ти як тут? — детина в камуфляже, ростом с дядю Игоря, но плотнее и шире, опустил автомат.

— Шпигун? — делая серьёзный вид, в тон первому добавил другой, покрепче, который и во тьме улыбался каждой бровью, а перейдя на русский, добавил:

— Парень, заблудился? Слава Украине!

— Я к вам! — Артёму полегчало.

— Прям-таки к нам? Героям слава! — вот как своих приветствуют.

— Слава! — подхватил Артем.

— Отходим, — решительно заявил первый, — если орки подберут, он же нас видел. Могут и расколоть, шо, возьмём?

— До Штабу. Колы шо, нэхай идэ до Лехиону.

— Русский? — Первый сам себе ответил, но уточнить не лишне.

— Да. Я за вас!

— Ишь ты. Стрелять умеешь?

— Научусь!

— Добре.

И все расхочатались.

Артёма «сдали» в штаб РДК, а тот передал парням из Легиона.

Околачиваться в Белгороде беглецу (сыну беглеца — намечалась династия, но кто ж знал?) как-то не очень. Артём готов был двигаться к передовой сам, но мог нарваться на засады и за ним присматривали.

Если что, будет порученец по разным делам («сын полка» — хотел было назвать один из пожилых бойцов, но был одёрнут: нечего сюда советские традиции тащить), но поручений-то и не давали.

Артёма это угнетало. Брать в диверсионные группы или воевать впрямую не спешили. Кормиться — кормись. Помогать приехали? Мы не гоним, но знай меру.

Идеально был бы разведчик. Но дитя же.

Из Киева приезжал журналист — Артема выдвинули на передний план, прекрасная возможность обратиться к маме, но... её бы вычислили, а тогда...

Он молчал о своих приключениях и маялся бездействием.

Написать бы отцу и матери, пусть даже в голове.

Для тренировок памяти, ну, хотя бы.

Начал с Пострига.

«Пап! Ты прыгал в море, чтобы перевезти нас в Америку — это мама сказала. Сначала говорила, что ты «на задании». Потом появился дядя Игорь, твой «связник». Он стал с нами жить. Мама перестала верить, что приплывёшь назад, а дядя Игорь ко мне относился хорошо, как ты. Однажды, когда мы в его машине оказались за Волгой, я убежал, наткнулся на иностранный самолёт с включённым двигателем, влез в кабину, там лежал парашют в пакете, дядя Игорь с мамой когда меня нашли, кричали, чтоб я бросил всё, но сами перелезли через борт, мы взлетели, без разбега, самолётик был, как живой, нас перенесло к Царевщине, помнишь, там сосняки? Дядя Игорь боялся, что мы все погибнем и велел нам с мамой прыгать, вдвоём. И мы прыгнули, а что с ним, не знаю. Попали в другое время — лет на 50 вперёд. Одна богатая женщина с машиной нас погодила на шоссе и взяла на дачу, к себе, уговаривая маму лететь с ней (и дочерью, ей лет 11) в Эмираты: Валерьянов (теперь Сечинск) опасен, там какой-то мятеж, мама боялась, а мне было интересно всё, и заграница тоже. Пока мама спала, я убежал в город, мятежа не видел, зато в церкви разговорился с попом, и узнал, что идет война, мы напали на украинцев, а я сейчас у них, меня здесь любят, они во все нам не враги, враги — те, кто напал, то есть наши. Поп очень понравился, он хороший, звал к себе ночевать, но я спешил к маме и опоздал, мы разминулись, она стала, наверное, искать меня. Пап, если получишь письмо, знай, я люблю тебя, дядю Игоря люблю тоже,

а сейчас хочу воевать, за хороших, украинцы обо мне заботятся, никуда не пускают, я прошусь в разведку, может, завтра выступим, если б играть в наших и немцев, то наши — украинцы, а я за наших. Я буду осторожен, мама говорила, что весь в тебя. В этой новой жизни всё интересно, только люди никого не видят, никто никого и самих себя не понимает.

Жду тебя всегда. Ещё хочу на рыбалку, на ту сторону, как перед твоим прыжком. Обнимаю, береги себя. Может, ещё научишь меня плавать».

Для матери текст выходил другой.

«Мамулик! Прости, что убежал с дачи — ты бы не отпустила. Помнишь, я и в лесу тебя опередил, перед тем как проснулась?

Мне здесь хорошо, я у солдат свой, меня кормят, но с собой не берут. Они все русские, но воюют против наших, потому что наши сейчас вроде немцев — напали первыми, я видел сожжёные дома, без крыш, пока везли от места, где меня нашли, там состав был с пушками, я забрался под чехол, что-то взорвалось и поезд опрокинулся, я целый, даже без царапин, взорвали то ли бомбой с истребителя, не знаю. Мне дали бронежилет. Ребята, в основном, не старше тебя и папы. И дяди Игоря. Скучаю по вам всем. Ты не отвечай, сюда письма точно не дойдут.

Беспокоюсь за тебя, хотели отвезти в Киев, но по нему стреляют ракетами.

Пишу и папе, но не знаю, в каком он времени.

Нам всем снова бы съездить на трамвайчике за Волгу, скучаю и по ней, и по лесу, где нашёл кварц, похожий гриб, он у тебя? Хорошо, если не улетела с тётей Ариной, но, если созвонитесь, привет Лоле, надеюсь, она меня помнит.

Здесь теплее, чем у нас, и звёзд больше.

Один раз ты приснилась, в цветном платье, на какой-то горе. С какой-то группой, они все весёлые, а ты стояла чуть дальше и кого-то искала.

Я тебя не брошу. Вы с папой и дядей Игорем думаете, я маленький? А я вас всех троих не брошу. Здесь война, не войнушка, много железок в полях, снесённых домов (а какие остались — богаче наших), рухлядь, крыши валяются, но плакать, нельзя, мы победим, и больше войн уже никогда не будет, я должен был на эту хотя бы взглянуть, зачем, не знаю, но должен. Заканчиваю, а то увидят, что не сплю...».

XXV

Со всеми почестями, не полным составом добровольцев, а узким кругом, чтобы не давать повода устраивать дроновый террор, Сезара хоронили.

Лучшей памятью погибшему нелепо, как было заявлено, командиру будет новый поход на Москву, подготовленный основательнее.

Наличный состав начал прирастать быстрее, хотя жёстче стали проверки, пока ещё не корпус, но две дивизии, обстрелянные — это мощный костяк.

Удивляло, правда, исчезновение нескольких тысяч, примкнувших уже в Москве, без амуниции, со старым советским оружием и будто бы только-только с митинга — никто их больше не видел, и не ждал вновь. Какое-то небесное воинство или эскорт.

Место Сезара занял Коллина, его Артём побаивался, просьбами о взятии хотя бы в любую из разведгрупп, уже не надоедал, Сезар при всей занятости, его выслушивал, новый командир строго наказал: никаких поблажек. Отдельные вылазки на Брянщину, продолжались. Подоспело новое обмундирование, тепловизоры, М-16, два Т-90 (Леопарды украинцам запретили передавать).

Артёма пытались пичкать присланными сладостями, но «дающую руку» отводил, чувствуя себя, как и с мамой, старшим (пусть в душе, а что сильнее души?).

Письма родителям перенёс на бумагу, обещали в следующую вылазку передать кому из местных, чтобы тот отправил уже в открытую. «Второму папе» так и не написал. А и отдавать готовые передумал — адресов-то нет? Разве что, если в церковь, на Буянова, где трапезничал с попом? Выход есть всегда — он и раньше это знал, оба письма пусть на этот адрес, а третьего писать нет настроения всё равно.

Предзимье выдалось ясным, порой даже припекало.

Его научили пользоваться израильской винтовкой. Пацанчику что-то всё-таки позволяли (под приглядом), а он верил, что рано ли поздно ли окажется и под огнём.

Взрослел ускоренно, Сезарова реакция на всё, на любой разговор, на любой шаг «Честь имею!» стала и его личной. Она как-то сочеталась с оттачиванием готовности в любой момент быть взятым

на задание. Украл на кухне разделочный нож, нож поместился во внутренний карман куртки, подаренной кем-то из местных, на размер больше, но свободное как раз любил.

Поговаривали, что в Москве новый президент, «ложный», но и впрямь поубавилось обстрелов, а последнюю неделю и вовсе тихо. Разведка о каких-то передвижениях техники не сообщала. В Белгороде все три соединения дали первую общую пресс-конференцию, укрепившись уже и в Курском регионе, что-то сдвинулось и с тусовкой политэмигрантов, и с финансами.

Артёма, вряд ли что понимавшего в накапливании сил, это не заводило. По той же причине и к письмам, как намекавшим на прощание, остыл. Ещё сильней хотелось воевать по-настоящему, как в фильмах про Сталинград, с киданием зажигательной смеси в башни танков, ползками под колючей проволокой, взятием «языков». И хотя на планшете не давали участвовать в запуске дронов), обучился компьютеру за три сеанса. И в отношении всех легионеров, как и с родителями он ощущал старшинство (не будь CESSNA, по прямой линии сейчас за 60, конечно, дед. А он и в 60 дедом не станет! Откуда взял? А вот взял. Ответ прилетел как та самая CESSNA, которую обнаружил на свалке, а без находки так и жил бы себе — старик стариком).

Ему б пару гранат и пистолет (лучше с глушителем). Пригодилось бы при взятии пленного. Пленных где искать? Как где? А склады бомб и всякого оружия, где наверняка дневалият срочники, зачем? Их бы и «снять»!

Видела бы его сейчас Лола! Купается, наверное (он видел, как в кино, её, заходящую в подползающие, с пеной, мелкие волны, как брызгается, лежит, спиной к тем же волнам и качаемая ими. Он бы в это прибрежное влетел с разгоном, с тучей брызг, а потом, они бы рядом заплывали, не оглядываясь, а он бы ещё и нырял.

Персидский залив (помнил разворот у деда с бабушкой гигантского размера книгу, темно-синюю, с матерчатой обложкой цвета бархатной портьеры Оперного театра — его 7-летним водили на «Лебединое озеро». Лучший момент — это когда тяжёлый сборчатель занавес раздвигается в обе стороны, а по сцене уже порхают (пытался сосчитать, сколько?), перебирая пуантами «стрекозы» в белых пачках.

Лежит себе на песочке и не видит меня, с ножом и гранатой. А если б выходящим из боя? Лола, я б, стоя на одном колене, снял шлем с тепловизором и тронул руку, предлагая её, а также сердце. Как в «Трёх мушкетерах».

Нет, в куртке и джинсах. Захватить бы ещё бумаги какого-нибудь штаба. Или в кабину, как тогда за Волгой, и чтобы не сам взлетал, а от моих нажатий, где надо.

Только не назад, не в школу, ну её.

Запустили б на беспилотнике, разведывательном. Чего боитесь? Сбегу? Вы чё? Сам вызвался, столько везений, а теперь сбегать?! Я смышлённый, забросьте — да хоть за Брянск. Присмотрюсь, где охранник, оглушу гранатой, а ножом вскрыть любой замок, это ж просто...

Загрохотало. Ещё, ещё.

— Прилёт! — заорал дневальный.

Забегали с ракетами. Был бы Пэтриот, за час бы до подлётов предупредили, но и С-300, и два БУКа неплохо. Не до Артёма с его нытьём.

— Ара, в укрытие!

Артём повиновался, но лишь для вида. Замигали трассы реактивных установок — с обеих сторон — у Легиона стреляла дальше, но враг подобрался скрытно.

Вот настоящая война! Не беда, что сам снаряды не подносил, не управлял наводкой с программным обеспечением, даже вдавленный в землю, он, то и дело, поднимал голову, находясь в центре этого вихря, этой воронки.

— Кассетная! — заорали справа и надо было прятаться кто за что мог.

Артём перебежал к углу одного из складов, но стена оседала, отполз в сторону барбариса, к доскам. Возле них корчились двое бойцов, их надо было тащить, хотя бы одного, в одном из скорченных он узнал Никиту, научившего и стрелять, и компьютеру, поволок было за руку, прошитую осколками в нескольких местах, но сил хватило на метр, не больше.

Картины перед глазами участились, как трассы ракетных установок. Отец в моторной лодке держал перед ним здоровенного язя (это было накануне перевода из Гродно из Хабаровска и развед-круиза вдоль побережья). Артёму разрешили чистить язя, развести костёр из газет и хвороста под железным поддоном на камнях (редкой для этих мест породы), он же и простирая из окна «Жигулей» руку в сторону слияния Соки с Волгой и убегал, оставив мать и её спутника, ставшего «вторым папой», к редколе-

сью, где скрылся, вновь махал рекам и горизонту из машины, плюхал язя в котёл, входя в пустую церковь, но уже не растерянно, а как домой.

Боли не чувствовал, ничего не чувствовал. Всё горело, и он был в самой сердцевине горения, неся на себе колыхание огня как плащ, как плащ-палатку, пока не наткнулся на чуть присевшее белоснежное туловище на колёсах с иностранными буквами вдоль борта, пока не влез туда, кубарем, на место пилота.

В этом огне перелезать через борт, даже приближаться к «туловищу» опасно, и всё равно занёс левую ногу, а там и весь, понимая, что бак полный, полыхнёт, будет он огонь в огне, без боли — чистый взлёт, как и хотелось, с войной и после неё.

И взлетел, без усилий, без взмахов руками, съеживаясь воронкой сберёгшего его же пламени. Сберёгшего всю краткую, тесную событиями жизнь, рвущую круги (а ведь их девять, пусть и с копейками) лет, куда втянулись метеором первая, до-первая (она же и вечная) влюбленность вместе с первой (она же и последняя) войной — он застал, добрался, черпнув от неё, как прикуривают на ветру.

Видел. Но так и не попробовал, не пришлось.

XXVI

Жизнь такая штука — чем дольше (и привычней) живёшь, тем бесповоротней в ней увязаешь. И ничего менять неохота. Удобства плетут свою паутину.

Привык обходиться без самоката, заказывая Яндекс такси, бросать «здравьте» на вахте, сидеть на планёрках, ранжировать предложения выступающих, ему было так ненавязчиво комфортно, словно бы это длилось вне мыслимых временных рамок. Он обжился — а это ведёт к застою бизнеса, душу подмариновывает, но и высвобождает. Хотя... Она ведь «обязана трудиться» — брось, мантра к поэтам, да и поэты ходят на службу, не на подачки же существовать?

Им были довольны. Наташа — ободряюще первая. Рекламный отдел процветал. Для Игоря, тем не менее, оставалось два незатихающих оселка: пересечение в Казани с новым образом Краева, который хотел непременно пораспросить «Старухина-сына» (так ему вбилось в голову), но Игоря идея не грела, он тщательно избегал

реминисценций. Из-за второго «оселка» — прекращения поисков Кати с Артёмом, который к нему привязался сильнее, чем к прыгнувшему в Чёрное море отцу.

Война была за скобками. О ней не задумывались, как и о 1-й и 2-й Чеченских, Игорь их счастливо миновал, да и кто помнил вообще?

Страхи мобилизации растаяли. Новый президент (и.о.) был далёк, вроде той же войны, если не дальше.

Правда, для военнообязанных закрыт выезд за границу, но, если в его родное время это провоцировало мысли о бегстве, сейчас — зачем? Комфорт практически сравнялся. А здесь я любим. Люблю сам? Лучше не прашивать, не заморачиваться.

А как же совесть?

Главное, чтоб не встревала.

В конце концов, для чего-то перелёт был дан? Бог или что? Судьба? Пусть судьба.

Наташа не заводила речь о детях, он и не настаивал.

Обречённая страна?

Обречённая. И что? Можно и обреченнность вынести за скобки.

Ровесники? Многих, скорее всего, нет. Если живы, видеться с ними (как случай в Казани подтвердил) не тянет.

Считай, ты в раю.

Рай, он же бывает разным? Вот жил такой швед — Сведенборг, визионер, истово верующий, написавший целую книгу об устройстве Того Света (где побывал, если это не выдумка). И что? Вся пирамида слоёв, туда попавших одна для всех и на всех? Да бросьте. У каждого — верующих касается в первую очередь — а ты верующий? — у каждого будет свой. Каждому по вере его — так? Так или нет?

Верующий ли он? Честный ответ придерживал. Родителей поминал двумя свечками каждый год, именно в этот день (надо же, чуть не забыл).

Он заторопился в Храм на Спортивной (ближайший, подал двум нищенкам, а на самом деле облюбовавшим подход к воротам с Буянова крепким бабулькам, даже не смотрящим в сторону тех, кто подает, миновал двор (границающий с троллейбусным депо) и вошёл в прохладный неф (ещё не топили), купив две длинные свечки тут же, слева от входа. Мимо него просеменил чуть ниже ростом уже в сутане батюшка, готовый к алтарной службе, о. Сергий, не знаяший, что этот скандинавского вида прихожанин имеет прямое отношение к беглецу, который удивлялся наклонам головы в иконах, а потом трапезничавший с ним.

Свечки воткнул в песок на подставке перед иконой святой Великомученицы Варвары, осеняя себя знамением, и стало неловко, что крестится, выйдя же, ощутил ни с того, ни с сего крайнюю усталость. Ведь при видимых 28, ему фактически (куда спрячешься) — за 70 (для подведения итогов оба возраста уязвимы в самый раз). С Катей он мечтал начать что-то новое в Турции, а, может, и в Японии. Теперь ни Кати, ни карьеры инженером, ничего. Сейчас его ценят, в коллективе на хорошем счету, Наташина машина к услугам. Но чего-то не хватает. Дерзости — вот чего. Гнуть свою линию вопреки обстоятельствам.

Ведь он предназначался совсем для другого. И это не мечта, не художественный вымысел, а параллельная версия, дразнящая миражом: физфак в Новосибирске, два брака, трое детей от второго (дочь американка, сын — британец, раз в году всем кланом ходят на яхте по Лене, или вблизи Крита, самое же из желанных — Норвегия.

Все счастливы лучшим в мире отцом, у всех карьерные перспективы и никакой ностальгии по 2-му этажу белокаменного дредноута, о чей овальный нос переламывается Замайская под приглядом липовой аллеи на пару с женской баней и школой для отстающих в развитии. Вот, для чего был создан — для ветра на борту маневренного судёнышка, для почёта в кругу обожающих взрослых детей, для, наконец, привычной и нерассуждающей, как снег и солнце, любви. В самую пору возвзвать: Боже, Боже, куда же ты меня отмёл, я не уж, не змея под камнем, я мальчик, отпускавший на волю жука-носорога и зазевавшихся стрекоз. И благодарить бы надо за всё, хотя бы за хватку память, за книги, прилипшие страницами наизусть, за батю, напевавшему под баян и слёзы *«На том большак, на перекрёсток...»*, я свинья, скотина, без плана, без стержня, но и самоедство — теперь лишь ноющий аппендиц.

Да и аппендиц-то некрещёный.

Мама, как же мы встретимся, если не покрещусь? И с отцом тоже.

Креститься, сейчас же!

Он повернулся и размашисто, как Пётр на картине Серова, двинулся к храмовым ступенькам. Слыша уже внутри здания только эхо своих поспешных шагов.

Не сразу, но из-за алтаря показался бородатый юный батюшка, отчаяние Игоря вышедший угадал по лицу, несмотря на видимую сдержанность.

— Вы хотели бы...

— ...да-да, креститься!

— Без трёх дней подготовки никак. Хотя бы одного... Знаете молитвы? «Отче наш»?

— Нет. А сейчас, прямо сейчас, нельзя?

— По закону — нет. Это ведь... Новое рождение. Верите ли? Давно?

— Врать не буду. Понимаю, что есть что-то. Не может не быть, но чтобы сам...

— Честно и прямо. Но поймите и Церковь... Приходите дня через три, не раньше. Три дня поста рекомендуется. Почитать Евангелие. Сейчас это просто.

— Вы правы... Простите меня.

— Бог простит. А почему спешка? Чем взволнованы? Ведь войну остановили?

— Я... я на другой войне...

Отцу Сергию, при всех его юных годах, объяснять, что за война снедает пришедшего, было излишне.

— Хорошо. Завтра, к утрене? Сможете? На исповедь. Вечером подготовьтесь Соберитесь. За всю жизнь. Так полагается. И пост — мясного, хотя бы, есть не надо. И, если женаты, ну, вы понимаете...

— Да. Да!

Назавтра Игорь, окунувшийся с вечера в Евангелие, ничего не сказав Наташе и не притронувшись к ней, к такому обращению не привыкшей, входил по тем же ступеням, как идут на казнь — торжественный строй текста словно бы остерегал: «Подумай, а лучше не ходи. Ведь не знаешь, что с тобой теперь начнётся».

Он терпеливо выстоял трёхчасовую службу вместе с парой-тройкой старушек и одним бородачом в хаки, от которого пахло стрельбой и взрывами. Затем встал последним в очереди на исповедь.

О. Сергий его узнал, давая понять это глазами — глаза у него были совсем даже мирские, подвижные, внимательные, но вовсе не цепкие, а участливо-мажорные.

— Вспомните, — подбодрил он Игоря, торжественно подведя к амвону с раскрытым ровно посередине книгой, чьи тончайшие страницы выглядели как морская зыбь, — что было стыдного, самое-самое. Может, сильно чем гордились. Обманывали.

— Обманов не помню. Нет, вру. Когда погибли в авиакатастрофе родители, от отчаяния женился на девушке, я ей нравился, сам «люблю» не говорил, но в принципе, это же обман. Затем

(тесть позвал) с завода, где маялся «молодым специалистом», перешёл в управление ГБ, а там без обманов невозможно, догадывается.

— ФСБ?

— Комитета.

— ...А-а... — уточнять батюшку не стал, — оправдывали себя?

— Особо не отличался. Хотя знал, что дед и другая мамина родня пострадали.

— Ещё.

— С другом лет в 12 силком кота напоили ромом. Он умер.

О.Сергий вздохнул.

— Брать мог без усилий, где требовалось, там и врал.

— Потому и вместо «служба» употребили «комитет»? Вам не дашь 30, о «комитете» забыто уже 30 с лишним тому.

— Ещё грешен, батюшка. Влюбился в женщину, чужую жену, муж бежал заграницу, вплавь. Она колебалась, ждать его или нет. Случилось так, что за Волгой её сын обнаружил посреди свалки легкомоторный самолёт, и он перенёс всех троих — вот в это время из 74 года, вряд ли в это поверите, но меньше 30 мне только на взгляд, я старик.

— Сыну 9? — невозмутимо пропустил рассказ о «чуде» исповедующий.

— Зовут Артём?

— Откуда? Откуда вам известно?!

— Он приходил.

— Один? Сам, без матери?!

— Он вас называл «второй папа». Даже собирался «подружить с «первым». Насколько я понял, мать где-то здесь, ждала его на чьей-то даче.

— А он где? Больше не приходил?

— Рвался на войну, очень рвался. В трамвае я слышал объявление о его поисках. Наверное, кто-то помог матери объявление оплатить, это ж дорого...

— Она здесь, я знал!

— Но мы отвлеклись. Прелюбодеяние...

— ...с мужем учились в параллельных классах, он приплыл из Турции, тайно, тоже попал в это время, мы сейчас ищем и сына, и мать. Вернее, ищет он. Я живу с другой женщиной. У нас всё хорошо. Но...

...но ту любовь не забыли...

— ...это и мучает.

— Раскаяние дорогого стоит. Но если вас любят, наверное, обе, постараитесь никого из них не обманывать. Господь подскажет. Наклоните голову.

Игорь покорно подставил роскошную шевелюру и затылок под бархатный плат.

О.Сергий быстро, но внятно, с чувством отпустил оглашенному все грехи. АннСтепанна принесла ножницы, табуретку с тазом и большой кувшин воды.

Идя за батюшкой босиком вокруг табурета с тазом воды, Игорь повторял слова молитвы. Чувствуя себя вновь 12-летним, когда с Краевым у него на квартире, откупорив уже початую 0,7 кубинского рома споили кота — Игорь держал Кузю, с удовольствием лакающего из миски едкое пойло, пока не вылизал её до дна.

Священник срезал прядь Игоревых прямых волос и бросил в таз, прядка долго не тонула. Примета добрая.

Отпустив поцеловавшего крест, о. Сергий старался не думать о совпадениях рассказов новокрещёного и сына его бывшей возлюбленной насчёт двух времён. Всё ж таки, что за знак подан ему этими двумя визитами. Пораспросить «Георгия» он бы хотел о многом, безо всякой снисходительности, но что-то и останавливало. Слишком уж мятущаяся душа. Может, просто неловко, а может опасение, что чересчур глубокое участие отвлечёт от служения, а ведь он только-только начинает и сам ещё от мирского во многом зависим (идя на улицу, не снимал сутану, чтобы хоть так отличаться — без неё вряд ли кто признал бы за служителя).

Мутил бы его новокрещёный Георгий более глубоким рассказом о своих мучениях? Да нет, откуда? Но тогда что же останавливает от прямодушия, от лёгкости? Забота о своём душевном комфорте? У них с матушкой Марией трое, у неё в Питере брат, реставратор икон, своих семеро, возможно вакансия где-то вблизи Питера и будет их тогда целый клан, две прочные любящие семьи, ничто внешнее их не растрясёт, не поколеблет, и неясно, шорох какого искушения вызван приходом сына «двух пап» и жаждой креститься у папы «названного», и зачем тебя это всё взволновало?

XXVII

После ночной поездки и узнаванию, что его родители с Наташиными дедом и бабкой погибли в одном самолёте, что-то сдвинулось в их союзе. Крещение добавило.

Всё реже хотелось бывать в огромной окнами на Волгу квартире, он придумывал разные предлоги для возвращений попозже, порой оправдываясь магазинами — дарил бижутерию, черепаховые гребни (собранные сзади волосы очень шли), рискнул и на золотое колечко — впору бы венчанию, только с ним не спешил.

Крепло несмыываемое чувство вины перед обеими — перед Катей, как основа, перед Наташой — за параболически нарастающий обман без измен, однако это и была самая подлинная измена. Прутник измени. Ещё мучало, что потерялся Постриг (хотя зачем им теперь видеться?), пусть 1,5 миллионный Сечинск вроде бы мегаполис, а старый центр и центр поновее — к северо-востоку — предполагали большую частотность пересечений, но место ровесника по тем и этим временам зияло, а вместе с ним зияла и сама временная дыра, затягиваться не желавшая. Казалось, уже по самые плечи, по самые уши врос в эту новехонькую жизнь, но зыбкость, возможно, придуманная, заставляла всей спиной, как в воронку, втягиваться в то, чего уже не было и не могло быть нигде — во времена диковых желаний покончить с этой страной, хотя она, вроде бы, покончила с собой и без твоей помощи, но если копнуть — лишь укрепилась в буксовке, в бессознательных кругах и квадратах.

Дела в компании демонстрировали устойчивый рост, кроме Казани побывать пришлось в Твери, в Краснодаре, даже в Тюмени, Тюмень очертилась краем этой Ойкумены. Восточнее Бог миловал, хотя разве не в Хабаровске учился рулить бипланом? Нет, это был совсем другой, отсечённый Игорь, как отсечены теперь «Швейк» и диалогия с Бендером, лёгшие на гибкую память чуть ли не тропическим ливнем — она-то вынесла, только возвращаться в себя желания нет. Игорь даже само слово «память» слышать не мог — переключаясь на воображение, или отсутствие воображения, чаще насильтственное.

Постриг волновал не меньше. Соперник по ностальгии — в этот же отсек переместилась Катя, точнее, вина перед ней и самим собой, хорошим, гармоничным.

Не мог Игорь знать, что Постриг в эти самые часы мучался как его же зеркальный близнец, который, потерпев крах на всех путях, оставил себе самую невероятную лазейку: повторить бесславный путь в обратном порядке, ни на что не надеясь. Тогда был подвиг, сейчас — жалкая пародия, ну, а вдруг?

Появилось у него два очерченных чётко страха — страх случайно встретить Катю и страх войти в церковь уже после крещения. Бред, правда? Но боялся. Боялся, что, действительно, за грехи — а рассказал на исповеди не обо всех, какие мог бы вспомнить — может воздаться тут же, не сходя с места. Именно в храме. То есть, не сознавая что есть язычество, именно после крещения он стал ему привержен.

Опять же, о двух походах к о. Сергию Наташе не сообщил. Они оставались не расписанными. А почему сам не зовешь в ЗАГС? Логично бы и позвать. Оправдание простейшее — красивую, щедрую свадьбу организовать нет денег. Взваливать на способные это выдержать Наташины плечи как-то не по-мужски. Ограничиться ресторатором на двоих — бледно. То есть, куда ни ткни. Хорошо, что Наташа вопрос не поднимает. Или чувствует всё, слишком чувствует — дополнительно этой чуткостью его же и обязывая. Запутаешься. Даже подарков ей пока не делал. Дрянь ты, Старухин. Жадина, что ль? Да нет, с воображением швах. Сюрпризы — тоже не твоё, выходит. Совсем себя не уважаешь.

А на кладбище, к родителям, тоже сложно?

Здесь хоть с Наташой, вдвоём, почему нет?

В одну из суббот предложил. Вызвался рулить. Потому что приятно с головой на правом плече. Оказалось, тяжёлой, но всё равно. Волосы Наташи, совсем не длинные (длинные не любил) пахли осенней свежестью, дымом от сжигаемой листвы — кое где просачивался этот дым, дымок. Катя ему голову так не клала, но ведь хотелось, остро хотелось. Лучше бы вела Наташа, но тогда и объяснить бы пришлось. Любой шаг, полшага, поворот — им всё бывшее-небывшее берёт в тиски.

Начали с могил её деда и бабушки. Грядка у большой плиты с двумя овальными фото, наподобие медальонов, ухоженная, крест гравирован, бабушка чуть ли не копия внучки: тот же лоб, те же скулы и глазные впадины, даже выражение лица — впрочем, неудивительно, погибшие были чуть-чуть старше сегодняшней внучки. Дед — покровительственно сдержан, готовый подмигнуть.

— Кем он был?
— Ведущий конструктор, на Фрунзе, в КБ. Космос, всё-такое.
— А как же секретность?
— В Болгарию можно. Мне как бы тогда жилось... о-о-ой, — глубоко вздохнула, — надо полить, а бутылку забыла. Но там у кранов, есть всегда.

Игорь вернулся на главную просеку и у одного из поворотов нашел два крана и поддон, пустая пластиковая стояла тут же, принес и Наташа воткнула в разрытую же детской лопаткой землю четыре скромные розы, купленные при входе. Перекрестилась. Игорь (незаметно) сделал то же самое.

У могилы родителей он вторично пережил озноб, который охватил и не отпускал несколько дней подряд после получения всего, что найдено было прямо на взлётно-посадочной от всех разбившихся, идентифицировать останки, по счастью, удалось сравнительно легко, в нём угнездилась травма от похорон, облепленная пухом деталей — в июньском пуху тогда весь центр тонул — и как незнакомые женщины спрашивали, кого хоронят, и как напротив из корпуса психлечебницы выходили, крестящиеся нянечки, санитарки, другая обслуга, как трясло потом в ПАЗе до ворот Рубёжного и автобус долго не пропускали.

XXVIII

Миновал месяц нового «президентства». Войну зафиксировали. Но только в головах у одной из партий («почётной ничьи», то есть, «капитуляции с условиями»). Хотя БПЛА постепенно гасили «нефтянку», огрызались ракетами по жилым домам, помочь Украине сворачивалась в трубочку, твердо стояли Лондон, Варшава и балтийцы. Берлин зажимал нос и уши, откупаясь списанными танками, хотя требовалась минимум сотня TAURUS, а курс всё не менялся. Соустина даже на заседания Совбеза не пускали. Равновесие могло в любой миг взлететь на воздух. Быть ширмой, фронтменом, куклой у Мавзолея он, конечно, подписался, но договороспособность не самый большой конёк этой хлябоеобразной массы. Полковник уже был произведен в генерал-полковники, а могли бы и в генералиссимусы — итог один. Вернее, два. Либо «по состоянию здоровья», либо подберут двойника, а ты питай червей.

Двойник — дорогая и малоэффективная отсрочка, это было привилегией всем надоевшего на букву П (с чехардой двойником), тебе же, к счастью, не успеть. Значит, к червям. И остаётся опережать. При тотальной слежке и прослушке.

Партия «ничейнистов» проигрывает по определению — ей не что, и не на кого здесь опереться, на тн «оппозицию», распылённую по закордонью, тем более. Ястребы («партия почётного суицида», как назвал её Соустин) возьмут, пусть на короткое время, хоть день да её, верх стопудово. Там есть почва — страх, пофигизм, каждый даже не за себя, а за никого. Значит, игра направляется «суицидники». Умных там хватает, пусть зашоренных, но всё равно. Зачем проникать на ваши заседания, если захочу сам всё запланирую, значит, надо успеть, обскакать, возглавить (как в Сечинске) уже не выйдет. Меня подставят всенепременно. Для этого и визиты — в Лондон, затем на Генассамблею ООН. Тебе дают (и даже предписывают) свободу либеральных речей, максимум обещаний, этакая горбачёвщина-2, только уже без разоружения и стирания «красных линий». Дескать, скован внутренним сопротивлением, общей усталостью и неверием в лучшее у разрозненного избирателя, к нему, не имея права не прислушиваться, вы это знаете по своим избирательным циклам. А тогда, спросят, что же вы решаете? Я. Отвечу — сдержанка и противовес. Вряд ли вы пойдёте на тотальный политический ленд-лиз (и я вас понимаю, но поймите и вы: моё положение шатко, антизападнические настроения насчитывают около восьми столетий, почему расчленение по регионам опасно для вас же первых, западные друзья, об этом лучше меня расскажут ваши же советники.

Словом, он должен исповедоваться Западу, желательно, под камеры (набирая очки «предателя» у «суицидников», которые к этому и будут подталкивать), и вот когда исповеди превысят критическую массу, он окажется нигде. Просто нигде. Как это принято у нас, у мхов и папоротников. И худших сменят гораздо худшие, эксперимент в очередной раз окажется накрытым тазом Дон-Кихота.

Мы же хотели? Народ не дал — вы же не сотрёте народ конвенциональным, что у вас там ещё? Родовые ценности не позволят. А меня разменяют. Если сыграю, как велят и подталкивают.

Да, Мызгин читает внутренности моей черепной коробки. Способ сбить его с толку — имеет две взаимоисключающие версии — выберу любую, как пойдёт. А ты, машина, гадай. Итак, бегство. Ассамблея кажется предпочтительней, Лондон слишком открыт и на-

шпигован русскими разной степени тяжести. В Сечинске ты запрещивал полномочия, предусмотрев три варианта: разгромить, спустить на тормозах, ни то, ни сё. Оставили на усмотрение, а я возглавил (якобы). Время выиграно, правда, выигрыш уже съеден. Бегство в Лондоне маловероятно. И всё же, надо попытаться их напрячь, сдать основные (расчехлённые) фигуры Ми-6. Аня — вот якорь. Её можно подготовить даже мимикой, но согласна ли? Удача всю нашу «подпочвенную» жизнь обнулит. Потребуется изменение внешности, ну и всё прочее.

С удовольствие вытащил бы и Шибаева. По слухам, внезапно сдавшего назад, к православному имперству, а с началом войны, ушедшего, как в скит, в стихи. С ним бы славно, потягивая старинный русский напиток, виски, в дружеской перепалке на родной из веранд где-нибудь в Айдахо, но лучше бы в Вермонте, или в штате Вашингтон, зимой — там зима почти наша закусывать консервами утопий — он же мечтал о новой даче (прежнюю, под Калугой бандитски отсудили). Если найду Шибаева. Если Шибаев сдастся на дружбу. Даже прерванный полёт этой дружбы — всё равно полёт.

Дачи (государственные) у них с Анной были в разных концах Подмосковья, у него в Пахре, у Ани — по Нижегородской трассе, за Савёлово. Встреча предстояла за двое суток до визита в Лондон. Светиться им обоим не давали. Такой вот, Господи, ШИЗО. Такая вот отсроченная свадебка.

Наряжаться никогда не любила, скромно себя оценивая, но здесь было не устоять. Вместо президентского кортежа к ней привезли вороха одежды прямо в домик.

Никаких советов. Сама, всё сама. Разве что, имиджмейкер и массажист.

Ей ограничили общение даже с родителями, никто не должен был до определенного времени знать, что за семья у нового «лидера» (споры об этом заняли целых три заседания Совбеза), не говоря о подругах.

Чувствовала, будто на ней семь кринолинов с обручами.

После месяцев нежничанья на белых песках Кабо-Верде это заложничество, хотя и сидело в печёнках, имело тенденцию к стокгольмскому синдрому. Гуляй не хочу, к озеру и назад. У Соустина же просто никаких вольностей — сумрак ночи тысячью биноклей на оси. Поднятие ноги не по уставу (не говоря о «вправо-влево») — если бы расстрел — хуже, хуже расстрела. Догадайся сам.

Двое суток было только, чтобы насытиться друг дружкой. Или остыть окончательно. Вышло где-то посредине.

К Даунинг-стрит 10 их подвезли на видавшем виды, но поблескивающем Роллс-Ройсе, гвардейцы в шапках отсутствовали. Их там и не бывает, разве не знал? Премьер с широкой индусской улыбкой провёл их в скромно отделанный кабинет, показал другие комнаты, военная выправка Соустина его не смущила, напротив, одарила повышенным уважением. Здесь ещё помнили скромного (враскачу) молодца, оказавшегося подлинным Янусом из табакерки. Переговоров с глазу на глаз не планировалось, хотя английский переводчик был вроде того гвардейца в шапке, что незримо, почти что воображаемо застыл (подрабатывая после королевских смен).

Лондон отложился по одной из поездок военной делегации в 90-е. Тогда можно было многое, тогда у него была широкая гордость за освобожденную — казалось — державу (всё-таки, державу, не страну — это и пустило ядовитые отростки, заменившие ствол).

Перед отлётом домой был брифинг, Соустина вместе с переводчиком сопровождал также пресс-секретарь, молодой, грузный усач, отводивший ненужные вопросы мановением наполеоновской кисти. Он же и передал (в пересказе) сдержаный полуосторг части оппозиционеров и ветеранов отношений с «врагом», молодые воздержались. Но в целом «новый» оправдал. Пообещал ускорить переговоры о reparations, назвав их «компенсациями». Принимая удары.

Ночь в посольстве решающая. Бумага не годилась. Только шёпот и только на ушко.

Реакция Ани ожидалась: муж выигрался и поверил в свою игру.

Легли. Он коснулся указательным её губ. Это могло значить «сейчас расскажу, поклянись забыть». Мешало, что жест включил их ощущения на самой ранней стадии, стадии райских волнений. Он поцеловал мочку её уха, прежде чем выкладывать всё, как есть и как оно должно быть.

Она продела с его левым ухом ровно то же самое.

«Да».

«Будь готова».

«Да».

«Это шанс. Прикидка шанса. Будь предельно чуткой».

Ни звука.

«Не знаю, где от них оторвёмся, не выказывай волнений, иначе нас тотчас вернут!».

Вместо «да» поцеловала его ключицу, путешествуя от предплечья к шее, откинулась и он увидел мерцание левого же глаза, благодарное мерцание.

Потом долго-долго, держась за руки, летели, как надоблачно виснет лайнер, в едва ощутимом шорохе накрахмаленных простынь. Инфракрасными лучами камеры их могли просвечивать, а рассыпать — никак. Невозможно. Со стороны — любовные игры. Сколько лет, сколько ж этим их узнаваниям! Первый раз и до первого.

Теперь, даже в интимнейшие моменты, он держал ум «сухим», помня, что их наблюдают и пронизывают, до костей, как декабрьская слякоть.

Завтракать можно было в апартаментах посольстве, либо в общем блоке первого этажа, но Соустину взбрело прогуляться до ближайшего паба или кафе — охрана, делая вид, что это не она, попыталась было загородить выход на стрит, создав маленькую толчею, но, видимо, получив по рации приказ, отступила.

В пабе их бдительность надо было проверить. Ми-6 или другая служба работала профессиональней, следила тоже, выделяясь на порядок меньше — Соустин отличал и «наших» и «местных», как режиссерам удаётся фиксировать избыточное актёрство на репетиции, а также сразу после неё. В зале паба «местных» было двое, из «своих» он рассчитывал, что увяжется один.

И не спеша направился к туалету.

Из широкого зеркала возле кабинок на него смотрел многое по-видавший интраверт, редкие пятнышка на щеках сигналили о возрасте, чего нельзя было сказать ни про лоб (практически, без морщин), ни про наступательный подбородок. Соустин потрогал его — костяк прочный. Общий вид — узник в тюремном саду, типа, к оружию равнодушен. Смукал нос — расширенные ноздри, слегка напоминало балахон.

За правым плечом (в зеркале — за левым) показалась якобы легкомысленное) до боли знакомое лицо Мызгина, который, как всегда, соткался из воздуха.

— Иван Арсеньтьич, импровизация (люди узнают, будут подходить, жать руку, фоткаться) в целом верная. Нам ведь чего стесняться, — у куратора появились нотки Моны Лизы в переводе на гэбешный утренник. Но...

(Соустин продолжал споласкивать руки, давно чистые.)

…я бы не советовал импровизировать ни в Белом Доме, ни в кулуарах Ассамблеи. Не совершите задуманной ошибки. Там наши «уши-глаза» работают как часы.

Включив сушилку, и.о. продолжал испытывать терпение Мышкина. Молчание всегда лучший ответ, а глаза научились его не выдавать.

— Очень надеюсь, — куратор, заученно улыбнувшись, исчез, хотя и не появлялся.

(Неужели «жучок» они вживляют и в ухо — не в серёжку ли? Может, блефует? Действуя по схеме «психология преступника выражается его внешним видом, реакцией или отсутствием реакции», дескать, рефлексий не скрыть, пусть думает, что мы везде, даже в унитазе при спускании воды.)

Беспокоило куда более вероятное. Американцы выслушают — и ничего не предпримут. Им не надо. Не каплет. Отправят на пластическую операцию по программе «защита свидетелей и перебежчиков». Ане в жилу, для меня крах.

А почему должны верить? Почему стойти рушить всю военную структуру врага? Хватит ли воображения (и отчаяния!) — сжечь опухоль превентивно?

Всплыла затравка из Солженицынского «В круге первом». Что юный баловень-дипломат, что — формально — первое лицо врага, пытающийся не о каком-то секрете (ты ли один?) предупредить, а сдать всю Зону с потрохами — разницы ноль. Мыслимо ли выросшим в парниковой атмосфере закона, что дикое по беспределу понимает лишь огнемёт, иначе сливай воду? Что здесь не про деньги, не про ценностную логику, а про что? Понимает, что глубинно мы не люди? Ну, предположим — и что со мной, столь крупной птицей, делать? Разрешить открытую пресс-конференцию? Это не плевок, это блицкриг, а его подготовке требуется тишину. Ваня, Ваня, глубоко гребёшь, весло не выдержит. А вдруг ты провокатор? Вдруг вброшен органами для последнего решительного блефа? Где их воля? Отчего я решил, что своим аршином они азиатские наши рожи прижмут к столу переговоров? Может, как раз наоборот — наладили с дьяволом тайные контакты, статус-кво устраивает всех, а тут я — стреляйте, палите из всех шахт: американское отчество в опасности (заодно и нам свобода)! Бред, скажут: ну какая и где у вас наскреблась там тяга к свободе? Живите. Места — зашибись. Пошлая эмиграция. Для этого я готовился, гнулся, а потом всё — срыв?

Месть за всё? Для них не аргумент. Ну, да, сенсация просочится. Это вам не Сноуден. Это сигнал: русских надо бить, пока спят (хотя и во сне они упорно доказывают, что являются страной-войной).

Охрана (круговая) через два-три столика была или казалась безучастной. И когда мимо, слегка споткнувшись о стул Соустина прошел некто в тонких (летних) перчатках, киношной (хотя уж очень мятой) внешности — вида не подала. Удержав равновесие, споткнувшийся, как бы извиняясь, «мятый» коснулся предплечья Соустина. Плечо не отдёрнулось. Расплатившись, они с Аней вышли на Латимер Роуз, до посольства было перейти стрит и ещё метров 150. Зная предупредительность здешних таксистов, особенно, индусов, Соустин, оставляя Аню по привычке слева, зачем-то на полтора шага её опередил, влево же и глядя, забыв, что движение на островах и во всем содружестве левостороннее.

Да и движения-то хоть сколько значимого в этот воскресный день не прощупывалось. Киоски закрыты. Улица, преимущественно безофицная, пустовала, как если бы вместо Лондона была сиеста где-нибудь в их любимой Португалии.

Обострённые сенсоры подсовывали клочки схожих ракурсов по, большей части, французским триллерам (хотя здесь, он уверился, сериалы круче (в смысле подробностей интриговой воронки).

Он смотрел влево, но там был полный штиль. На фоне этого штиля всплыл сюжет конца 90-х с принцессой Дианой, когда машина только-только помолвленного с ней сына какого-то арабского магната влетела в тоннель, в них врезалась другая, на той же полосе, вернее, машина принцессы и её жениха была взята в некую «коробочку», а из открытой окна обгоняющей высунулась узкая рука с «береттой» — Диана и счастливый араб от двух выстрелов скорчились, повалясь (не будучи пристёгнутыми) на подлокотники шо-фера и офицера охраны.

Эта картинка (может, и дутая — из-за неприцельной памяти) — была последним, что увидел Соустин, приподнимая (как в замедленной съемке) ногу, занесённую для шага на проезжую часть — несущийся справа хэтчбэк, вильнув именно туда, где шаг Соустина готовился занестись и якобы президент уже не чувствовал даже маленькой свинцовой дрели в устье сердца, не чувствовал её холостого верчения.

На срочном брифинге зам. пресс-секретаря Мызгин (сам секретарь был срочно вызван в Москву) обвинил в устройстве теракта

вооруженные группировки самоназванной оппозиции, получившей чуть ли не карт-бланш от британских властей совершать охоту на представителей российской власти, включая главу государства. В частности, была названа группировка РДК-ЛСР, которая, по не-проверенным источникам, взяла ответственность за нападение на и.о. президента Соустина. В связи с этим правительство и Совбез РФ настоятельно рекомендовал британским властям усилить меры охраны в отношении своих официальных лиц, а также принять все меры для запрета деятельности на территории королевства группировок, имеющих признаки террористических.

Вопросы журналистов были отстранены. Мызгина ждал рейс на Москву. Но в назначенный час зам. пресс-секретаря ни в посольстве, ни на аэропорту не нашли. Посольство России заявило протест лорду-канцлеру и премьеру. Ни в тот же день, ни через неделю Мызгин так и не объявился. Россия потребовала быстрейшего расследования предполагаемого похищения (вместе с расследованием теракта), запрета деятельности любых неправительственных российских организаций, особенно, оппозиционного толка, посол Кутепов также срочно покинул Британскую столицу, вместе с военным атташе. Жёлтая «Сан» и другая прессой наперебой застремотали о некоем подковёрном перевороте в Кремле, инициированном партией тотальной военизации («почётного суицида», по Соустинской классификации), крайне обозлённой «предательскими речами преемника».

Трёх минут хватило реанимобилю, чтобы доставить русского и.о. в лучшую клинику, где к специальной палате была приставлена охрана из 5 лейтенантов королевских вооружённых сил. Состояние сбитого неизвестной машиной стабилизировали, но сам и.о. не вышел из комы ни на вторые, ни на десятые сутки.

Анна Львовна всё это время не покидала палаты мужа, к ней приставили дополнительную охрану, через ту же охрану премьеру была передана записка с просьбой о политическом убежище для них обоих, разговор об этом со срочно прибывшим премьером длился часа два, после чего на Даунинг стрит 10 созвали секретнейшее совещание глав силовых ведомств, итоги которого пресс-секретарь премьера комментировать отказался...

В ответ на это Москва разорвала дипломатические отношения с Лондоном и массированно, как при вторжении, обстреляла в Киеве несколько посольств баллистикой. Сбитой почти поголовно.

И тем не менее, одна из ракет разорвалась прямо перед главным корпусом американского посольства на улице Сикорского, погибло семеро сотрудников и десять киевлян.

Расчёты Соустина до подобной фазы не доходили, но тянуть кабель к точке невозврата было ему вполне по силам, он что-то накапливал в своей коме, мелкая дрожь показателей перекликалась с невозмутимой стойкостью охраны, Анна Львовна отказывалась покидать палату, а Томагавки на своих мобильных установках, Стеллы, Мирахи, а также бункерные бомбы под крылами В-22 ждали последнего ультиматума распорядителям «красной кнопки», безликим, в отсутствии распятого комой Соустина.

XXIX

Когда нет и не было ни общества, ни (тем более) народа, ни власти (неуловима и несменяема, этого не замечают, на все происки того, что властью названо, махнули, махнули в любую сторону. Впрочем, недостаточно и подобного заворота. Нет и не было разных поколений, либо прорастаний одного в другое, даже солидарность — эрзац: очажки, норки, не обязательно, подвальные).

Чем всё-таки стянуты пространства, не признающие границ, какими нитями прошиты болота меж тенями тайги, островки мегаполисов посреди вакуума, который, согласно опять же гипотезам, а не замерам, не пустота, где прячется или, подобно, китам, выплёскивается на поверхность хоть одна прочная тропа, веточка, и почему согревает либо доводит до ледяного треска пульсирующий в груди клапан с отростками, жаждя чего-то высшего, переключатель и оператор восполнляемого ресурса, якобы источник и лакмус любви, её экран, её пружина, её мяч?

Её закруглённая свобода.

Или всё перекрутить, распутать, выбить почву из-под сухостоя цепкой, бесплодной правды, не доставайся же никому, торчишь, ничего не держа и в рост не пуская, даже сорняк теплее, их ведь тьмы, и тьмы, и тьмы, сорняков, они мешающие, но предтечи, сигнальные, жертвенные семена, смертные догадки о настоящем.

Додуманное до конца, до тупика, устраниет концовку, но друг, не вызревший в брата, лишь ностальгирует о развеянной дружбе, повествование, не устремлённое к роману, и роман, равнодушный

к мифу, барахтающийся от его протуберанцев на расстоянии горизонта — рыхлятина, выкидыши, больней всего, чего нет, нет и нет.

Высока планка, дразняща, подобная самим собой укушенному локтю — всё в ход, всё в топку, всё сюда, всё самородственно, всё на волновом подхлесте попирания агрессии войной, изуверства — гневом (тем же инстинктом любви, но со смещением, в профиль, сквозь рёбра — в туннель изъятого и путеводного ребра).

Из-под ритма слышен его архив, а из-под архива капкан параллельной истории, бывает правда, которая просто правда, прозрачнее воды со всеми её минералами, кредитами, выданными для разминки огнетушителям, таяниям, как в копеечку, островкам шуги, бьющейся о дебаркадеры на переучёте канатов и цепей.

И когда все торосы и промоины сгрудятся в скрежещущий, ломкий позвоночник с концами невпрогляд, сколько хватает сил подняться, аки посуху по чужой крови, без место — и времяимений, это не начало, даже не подступ к незавершённому началу, но счастливее, неразумно счастливее и протяжённее вечности, чем самая выровненная линейкой вечность, её перевал, её поляна полян до — и послепотопная, откуда расходишься своей аномалией, кто кого пасёт вслед и поперёк райской скучище, выпадая в незатоптанный костёр обетований веткой-веточкой, ветвию.

... Выехали рано, с запасом. Прежний вокзал («Зимний дворец в изгнании») худо-бедно покатую площадь успокаивал, «сменщик» узнавался по вздыбленному штырю с купольным завершением («крышке заварочного чайника с прессом»), то есть, чему-то лагерному (Валерьян славился крупнейшей пересыльной тюрьмой, мысль архитекторов подсознательно била в славное прошлое).

Уже к полдесятому они были на перроне, под навесом, напоминающим киевский. Совсем не походила на прежние электрички: ни тебе деревянных с волнообразной спиной лавок, ни попрошаек с баянами — отдельные, на кожзамениелях, сидения, вентиляция, бесшумно растворяемые двери, по два туалета с каждого конца вагона.

— Наше свадебное, — съязвила Майя.

Павел, виновато приобнял ту, которой робел в бесконечно возвращаемые дни преддипломной халявы. Отметая виды Кёльнского и Амстердамского крытых вокзалов, Берлинского, Мюнхенского (до Венеции с Иерусалимом тоже недалеко), а ведь — никто за язык не тянул — обещал венчание в Храме Гроба Господня?

Осталось чуть потерпеть, так?

Но вслух не надо.

Целью, как не хотел признаваться, были не Майстрюки, а сана, растянутая, стоячая, как осенняя вода по щиколотку на Кондурче или на Соке, поездка.

Майя притулилась к его плечу.

Встречный на какие-то секунды перестрелял горизонт, обеззвучив удары по стыкам.

— Мы где? Ты не перепутал направление?

— А я его искал? — Краев не спешил покидать гнездо блаженства.

Найдут поляну? Лучше бы не нашли. Сама идея возникла как судейский (или биржевой) молоток. Из отчаяния, которое грех. Набирающий силу.

Волга вилась студёных оттенков змеей, пока не скрылась окончательно за лесопосадками, бараками, водокачкой и рыболовецкими сетями на заборах.

Да-да, та же самая колея, единственная, вытеснившая вторую, как Майн локоть вытеснил на снимке смешливую танцоршу с Краевского колена, удобно разместившись на обоих.

Платформа станции была на уровне вагонного пола и они решили дойти до её обрыва, чтобы побалансировать на рельсе — Краев держал Майю за руку, несколько метров Майе хватило и Краев, как тогда, принял её на себя всю, грудь в грудь и она шепнула, дохнула ему на ухо, сколько весит, ужасную, лживую цифру, поскольку и тогда, и нынче ничего не стоило это родное тело удержать.

Отпустил аккуратно и глянул назад через плечо — но никакой дрезины с распаренной машинисткой не чувствовалось.

Дорожка вниз, храня знакомый извив, обогатилась канатными «перилами», оскомину этот комфорт не вызывал, метров же через 100-120 был окончательно вытеснен за черту сознания, когда начало не по-октябрьски пригревать.

Машинально, как и тогда, глянул — но теперь не на циферблат подаренной отцом «Победы», а на экран Самсунга: 11 с копейками.

Классика. Всё по-заданному.

Провел по Майнным волосам, у затылка и она прильнула, сжалась (он любил малозаметную неровность спины, кожу, меняющую как бы на молекулярном уровне эпителиальный слой под его пальцами, все эти ложбинки, тропки, перевалы...).

— Спешим? — её близкий к солному голосок, грудной и всё же звонкий, пошевелил не до основания сгоревшие стебельки былинок. Он так и не отдал долги ботанике, «не закрыл гештальта», вокруг плескалось и дразнило не названное, вся хаотическая память не могла с этим справиться, всё недоданное, недопрожитое, а ведь самой сильной неутихающей Майиной опаской была до паранойи доходящая страсть соединять в Павле его, как она говорила, «прежних Павлов», всех, кого знала и кого скрывал, кого знать больше не хотел — в миг предшествующий «самому-самому». Это была и осадочная неуверенность в себе и месть ему за все без неё прожитые времена. Разубеждать он терпеливо пытался, а потом отсёк, махнул. Да, говорил — из подсознания ничто не утекает, но жить подсознанием абсурд.

— О чём думаешь? — часто наводила на резкость Майя.

— Не фокусирую, — обрывал её Краев.

Но это и было правдой. Он верил во взаимность и только в неё, остальное списывая на взрывы невроза. Неразделенность — вот невроз, а уж этого наелся.

— Я усвоила, но ведь ничто не проходит, слова твои?

— Миг — вне сравнений, а тебе надо сравниться, встать в ряд. И это меня унижает.

— Да, я шизофреничка, но и обреченные имеют право на просьбу? Последнюю.

Они сидели на обочине тропы, уже свободной от поддерживающих канатов.

— Я готов, — напрягся Краев.

— Не пиши об этом.

— С чего ты взяла, что я об том напишу?

— Ну, а как же роман? Ты ж всё в него берёшь. И эту наша поездку, не сомневаюсь.

Как же? Не надо. Ты выбрал её финалом. Не хочу, чтобы твой финал влиял на всё, что с нами будет на самом деле. Это ж ты выдал: все герои живые, ты о них думаешь, как о живых, ты их видишь — не видя наперёд картинку, не можешь писать. Они и выходят живыми. Нам с тобой мешая. Будут вместо нас! Не хочу.

Краев искал ответ и не находил. Майя попала в лакуну из уязвимейших. И теперь дело его жизни, его судьбы подвисло, как те канаты, которые остались выше.

— Кстати, — он вывернулся, — идем к реке, а тогда скатываемся по другую сторону...

— ...которую ты же и выдумал. Иди ко мне!

Упали в траву. На траву. Та немного распрямилась и подросла. Застрекотали кузнечики, совсем не по сезону. Вместо серого пулlovera на нём появилась ковбойка в зелёную клетку, а на ней яркая блузка, тоже не по сезону. Сезоны подменились.

Исчезли он, она, их стало целое, исступленное целое в своих шумах и лабиринтах, в океане касаний, выдохов, жара. Миг оглушающее захватывал всё и вся.

Кто первым оторвался? Кто был кто? Где небо, где часы и где поляна?

Шептаемые слова сыпались сквозь пальцы, дельфинами ныряя в стихию немоты.

Потом, одним целым так же согласно привстали.

Маяя взяла его рубашку за край кармана и потёрла двумя пальцами.

— Та самая?

Вынырнувший Краев пытался углядеть просвет Волги.

Просвета не было.

— Ты в такой же рубашечке лежал метрах в пяти от палатки и кусал травинку. Я даже обиделась — зачем вышел? От меня?

— Нас там было много, я боялся.

— Чего?!

— Ну, как же, коснусь, а ты отдёрнешься.

— Дурачок! Надо быть смелее.

Он молча её стиснул и зацеловал шею, ключицу — блузка сползла с плеча, рука пошла за спину, там и была желанная поляна. Там, но не снаружи.

— Не пойдем дальше?

— Нет! — он встряхнулся и щурясь, продолжал сличать дальний пейзаж с искомым, — чуть ниже и в стороне. Кажется, правее.

— Тебе повтор нужен, чтоб всё-всё как тогда? Зачем?

— Чтоб все остальные всплыли.

— И всё-всё повторилось? Или боишься правды?

— А правду кто назначил? — он взял её лицо близко-близко, — мы и есть она, других не бывает. Да, я затеял эту поездку. Может, зря. С некоторых пор стал всё забывать — ты мне потом это вернула и не знаю ничего, знать не желаю.

Они продолжали спуск, придерживая друг друга за локоть, за талию, замедляясь и отдыхая. Шли не годы, а какие-то другие отрезки, вне измерения.

— Здесь.

— А где мои коленочки? Чтобы я на них легла. А ты зажмурился. И почти коснулся?

— Вид на Сок, значит, здесь.

— А что вон там слева? — Майя повернула голову Краева двумя пальцами.

За травой почти в человеческий рост угадывалось расчищенное место. И над всем этим и впрямь торчал винт, край винта, очевидно двукрылки.

...SSNA — надпись по белоснежному борту, часть надписи. Покраска свежая. Место было той самой поляной, а увиденное совсем про другое.

Воздух ещё, казалось, дрожал, не остыв от гудения.

— Смотри-ка, — Майю находка не удивила, — может полетаем?

На вертолётную площадку ты же не согласился...

— ...согласился, — парировал Краев, — но позже.

— Почему? Ну... квадро, крибле...

— ...квадрокоптер...

— А почему не на этом?

— Не знаю.

— Жена твоего Пострига рассказывала, на такой вот «игрушке» они в наше время и перелетели, даже управлять не пришлось.

— Ты веришь?

— А как могу не верить? Откуда ей про нас знать? Вдруг попадём сюда же, но в то время. Ещё не в наше, но в то. Где нас не двое. Ты бы хотел?

— Боюсь...

— ...что не попадём сюда, в сегодняшних?

— Боюсь, этот шаг я и должен отменить.

— Чтобы что? Чтобы страна осталась нераспавшейся? Та, где нас разбросало?

Ответы исчезли, выгорели. Как трава. Все ответы.

— И чтобы война, вроде бы остановленная, если это не какой-то новый обман, если... Пусть всё течёт, как течёт?

— Давай поедим, что там у нас.

Метрах в десяти от винтов Майя неспешно расстелила простынку, Краев достал из багажника термос, приборы, две тарелки, ёмкости с провизией, которые сам же и запаковывал.

Хорошо бы ещё с вином, но вино клонило Майю в сон, любая доза.

— Я не рассказал? Почему, когда ко мне с яблоком ты наклонилась там, в «Авалоне», память вышибло — за полвека?

— Не помню.

— После удаления лишних 70 см толстой кишки, а затем реанимации начальник тогдашнего Угрозыска (отец друга — спас меня, так и не узнав диагноза) сообщил, что якобы живу я сразу в нескольких своих же временах, и что в меня вживили собиратель энергии всех этих времён, весь ресурс...

— ...такое возможно?..

— ...и если выберу любое, конкретное, своим в нём пребыванием изменю ход истории, страна уцелеет... Они поверили, так как под наркозом вешал, сквозь меня вешалось о засекреченных событиях, всё совпало, значит и пророчества (мои — не важно чьи, но сквозь меня озвученные) сбудутся. А я могу их разогнать. Ну, типа камешка, брошенного в воду.

— А как тебя перенесло?

— Из сурдокамеры. Про неё — последнее, что помнил. Запись обрывалась на прошлой зиме. Задача была: попав, куда выберу, отменить какой-нибудь поступок — и тогда вся лента вильнёт в другое русло, в единственное. Но вернуться в момент, откуда энергию впрыскивали, обещания не получил.

— Вот это, наше?

— Не знаю. Очнулся перед тобой с яблоком и печеньем.

— Отменил?

— Мне теперь дела нет до страны, до распавшейся в 91-м, до этой, нет вообще.

— Почему ты?

— Якобы за мной наблюдали, долго, подобных феноменов не было.

— А если бы не согласился?

— Три клона были в запасе. Но со мной, посчитали, надёжней.

— Вынесло всё-таки сюда? Ко мне?

— К нам. Я наконец-то я, меня двое (впервые!) и этим чудом пожертвовать?

— Неужели не хочешь начать с этого же места? Со снимка!

— Ты веришь?

— И мы бы прожили неотрывно, все полвека. Или больше. Куда ты их украл?

— Судьба — всего лишь предложение. Но и уклон... Какой уклон предпочесть? Единственное русло — где, кто?

— Ой... Судя по стихам... у тебя их было...

— Сжечь стихи? Они теперь сами по себе. Яблоко ещё осталось?

Нарезанное.

— Да, дорогой.

— Можно и целое. Хотя, дай нож.

— Я сама!

— Ты это делаешь на весу, неужели ни разу не резалась?

— Неужели!

И спать, спать.

XXX

— Знаешь, — Краев привскочил, опираясь на Майнин локоть, которого тогда коснулся или так и *не*, — жили б мы здесь...

— ...детей рожая и добра наживая, — подхватила, — безо всякого шалаша?

— Шалаш за мной.

— Из чего лепить? Дай руку, — она привстала тоже, — из дрока?

— Дрок я выдумал.

— А я слышала треск.

— Мы его проскочили.

— Много чего проскочили, — она умела сердиться не сердясь, — холодно, кофту забыла, бестолочь.

— Бестолочь — моя монополия, — обнял и ещё раз, и ещё несколько раз, до исступления, которому нельзя, не смогла не отозваться.

— Пашенька, Пашенька-Пашенька... Глянь в телефоне, электричка, обратно, когда, чтобы не пропустить.

— Последняя?

— Ближайшая.

— Ты же была рада съездить...

— Была.

— Я только здесь понял, какое событие отменить...

— Чтобы что?

— Чтобы мы, — пафос нашёл-таки дырочку, — спаслись.

— Выдумал, — теперь не останавливало даже счастье, которое вслух закрепить, обязательно улишнёт, — всё: и Пострига (охотника за своей единственной). И её любовника в органах, и пещеры. Даже правду.

— Фотку, общую, в которой всех рассадила-расставила? — тоже?

— На каком десятке всё заново, после двадцати лет одной? А полвека, тебе неинтересно, с кем я в них и куда? Твоя теория — «ничто не исчезает»? И пустота живее всех живых?

— Электричка, — он показал на смартфоне, — через полтора часа. Она же и последняя.

— За временем последишь?

— Подожди! — вперился в экран, двигая пальцем картинки Ютуба.

— Одноклассников, операцию, задание, с которым сюда запустили, придумал, чтобы что? Страну спасти! А она просила?

— Всё, — он захлопнул истёртый местами чехол гаджета и растянулся на траве, глядя в пока что высокое, обманчиво прозрачное небо, — капкан.

— И про своих барышень.... Сколькоих скрыл? И даже эту фотографию, якобы смотрел на неё, смотрел — и вдруг — мать Божья! — пробило!

— Да погоди! — экран вновь высветился.

— Жалко, что единственная твоя...

— Границы закрываются. С полуночи.

— ...ускользнула, — Майя сидела, чуть сгорбясь, себя не слыша, его же и подавно.

— Этого можно было ждать...

— Тебе со мной удобно, вот правда...

— ...как и начала войны...

Спружинила и поникла уже поникшая, казалось, трава.

— ...И самолётик. Всю жизнь придумал, скомкал.

Сидели бок о бок, с легчайшей горбинкой затенённый русыми волосами профиль (породу не скрыть) незримый, волновал.

Редко бывала серьезной, но как только и когда — почти чужая, на грани с чужой (хотя и здесь «почти» скользкое, не ухватишь).

Она чувствовала его губу на виске, на макушке, пляску этих губ, будто пробующих — где уязвимая точка, где сдаться — и не сдавалась, её здесь не было, а где, он бы объяснил, но сейчас ребёнок, ему бы объяснил кто чего.

Приступы трезвости вспыхивали по разным поводам и без них, замаскированные под шутку и совсем нагие, этот — жил отдельно и клевал его, клевал, не насыщаясь.

— Ладно, — сама поднялась, не без труда.

...SSNA продолжала сторожить периметр поляны, винты крутились, воздух дрожал.

Комендантский час, всеобщая мобилизация без повесток, отмена отпусков (кроме работников стратегических предприятий), перевод экономики на военку, карточная система, приостановка (фактическая отмена) Конституции, отмена выборов на всех уровнях, частичное (без суда) блокирование соцсетей и сайтов с намёками на оппозиционность — шло потоком, нерестом, ордой.

Краев оторвался от экрана в сторону чуть задравшей нос аветки, всё в нём дрожало тоже, готовое к отчаянному решению.

Зрение Майи материализовало покорно опустившую ресницы Тихановскую, Брюхнову вполоборота, Ронина с его последними волосинками, они только и ждали команды «взлёт» (им двоим, не себе), а Харчелло на корточках разводящий костёр и танцующая пара сгостились в точку тропинкой вниз к якобы шоссе, Краев же — тот и сегодняшний, слитые воедино и она (если верить Краеву) слитая с той лучистой девочкой только и могли скомандовать «назад!» или «стоп!»

— Летим? — сказала будто топчась и поворачиваясь, как перед зеркалом.

Машина затаила дыхание — слышно стало далеко, на километры. Менялся и спектр сезонов — от октябрьской ясности до конфетти сырого снега и обратно. Их ждали.

Не зими «ждала, ждала природа», всего.

— Разве? — Павел вновь не находил берегов поляны.

— Трусишь? — и утвердила, — трусишь, врушка моя.

— Думаю. Ты ж знаешь, со мной это редко.

— Знаю-знаю. На тебя посмотришь: вот он, мыслитель!

— Дымовая завеса.

— А хоть бы! Но как это? — не думать?

— Представь.

— Это не для моего мозга.

— Ты и думаешь за меня!

— Ведь всё прочёл вслух, — и после этого не улететь?!

— Только с тобой. Это благодаря тебе твоей искре, нашей, мы исправим путь сюда, ничего не отменяя. Иначе — разрушится всё.

— Я не могу оставить, знаешь кого. Но ты... Посадят? Или — как это? — интернируют?

— Хочешь этого?

— Нет! — прижалась изо всех сил. — А роман ты когда-нибудь закончишь?

— Придётся, — он чуть ослабил её руки, но...

— ...что «но»? — подхватила, вместившая все жизни, все полуи четвертьжизни, все придуманные вариации «самнезнаюктоя» захмуриенно распятоого с её локтем на обоих коленях, здесь же, с чем посчастливилось, наконец-то совпасть.

...с риском остаться безо всего, что с нами сейчас.

— Мне мало, мало тебя сейчас! Хочу всё сначала.

— С этого места?

— Раньше успевала и прибраться, и запечь, и наготовить, застал бы меня такую... Хочу остаться. Но с тобой — с тем! А не прешьцем непонятно каких миров. Уминающим всё и всего себя в роман, который окажется пшиком, да?

— С последней точкой он свернётся. И вспыхнет.

— Что вспыхнет?

— Прожитое. Как в «Ста летах...».

— Ну, и гори оно!

...В электричке с ними соседствовали грибники, безвзрастные, и не особо разборчивые в кофтах, джинсах, платочках. Делясь сетованиями о несобранном и малом урожае. Добродушие смеха, привычные, не замечаемые произносителями через два слова на третье матюги. Война? Какая война, где? Вы чё?

Ноль патрулирующих и по вагонам, и на выходе через чистенький тоннель. Ждать троллейбуса к Войнова пришлось с полчаса, стояли обнявшись — Майина спина к его груди, рука в руке, словно молодые, никем другим быть не оставалось.

Ноль происшествий. Скрипучий лифт, заляпанная олифой реомта площадка этажа, любовно прибранная прихожая — тут они будут жить всегда. Провожать друг дружку в магазин, целуясь, словно бы в последний раз, вновь и вновь. Словно бы нет никакого

биения счётчиков и смены сезонов по всем путям обмена, шипов и карнавалов (чужеродных данному беспределу с телевизором, который всегда на бесполезной страже. Или за бесполезным?). Грамматика — она для тёплых краёв. Где ностальгия роскошь, пена демократии. Вечер демократии. Или ещё *не* вечер.

Иногда она будет звонить незаметно расплывающимся подругам, а Павел — перебирать изданные и не отрецензированные книги, чьи тиражи остались на складах «вражеской страны» (может и в подвалах), от бомбёжек порой провисит дольше положенного инверсионный след сверхзвука и тогда они, взявшись за руки, будут спускаться к набережной, протянутой вдоль течения ещё на полтора километра, встречая молодняк с забеганьями и без, сосредоточенных самокатчиков, чьи трассы пересечены то прогулкой профессора с руками за спиной, то в наколках и линялых майках работягами доминошных столов, школьницами в коричневых фартуках, стайкой, но чинной — ни одна из лже-эпох другую не оцарапает, а вот они, которые видят, не вмешиваясь, будут подзаводить друг дружку прыскальем, и выверенный маршрут, не дожидаясь проверки ногами, сам бы их понукал и творил.

Бесконечный этот путь окажется лентой повторов, как в зале прибытия крутится эскалатор с чемоданами, сумками, рюкзаками, пока их не разберут, крутится неостановимой восьмёркой, и до, и после всех вечностей.

По дороге к переплеску холодноватых волн в этом стеснённо-просторном биваке под названием «город» («старый город») они, конечно же, встретят, не пересекаясь, подобия Старухина и отдельно Пострига (из оставленных, буксующих лет — хотя узнать ничего не стоит, они-то выпали обличием из путинь времён), и Катю (чья девичья фамилия нигде не упомянута) с Родионом, паркующим KIA напротив Дворца бракосочетания, и Наташу, выискивающую Игоря в месиве нестыкуемых эпох — все здесь, все под контролем точечных высоток и вообще новоделов, а Павел, не умеющий двигаться медленно, терпеливую Майю потянет обратно, в гору, к их гнёздышку, чтобы монопольно разбойничать на кухне и подсыпать корм синичкам, за декабрями в обе стороны включатся июньские декабри не до конца прожитые, прожитые вбок и по диагонали, безоглядно и ступором, когда вздуваются пузыри некрологов друзьям, сообщникам семинаров, и не надо лишних слов на поминках и типа «нельзя дышать» (они особенно фальшивы). Ни с какого бодуна отряд не замечает потерь, собственной кончины отряд не замечает

принципиально, крутится лента чемоданов, боязно жать на «стоп», и Павел ровно также боится дописывать переживаемое, зная, что последняя точка, даже открытый, но финал — это крах.

И, раздваиваясь, автор тянет и тянет, оправдывая паузы, живые разбросанные друзья (Шибаев, к примеру), фантомны в полный рост, самое же болезненное всё знать про них и про себя — непременно запутаешься.

Из лабиринтов этой пересыльной жизни вновь мелькнёт водительница дрезины, одетая не по июльской жаре, но твёрдо указующая конец путей на хребте холма, оба отрезка пути, чтобы выжить и не задохнуться от понимания — оба вниз — влево и вправо. И капитан Смолов, сменивший свой ИЖ на патрульный Форд, пыль (уже не Прорана) смахивать с американских ботинок лень — силовики в этом наследственно Пугачёво-Разинском kraю особо не светятся, он легко вписался в карьерную спираль, тёртый ворон меж мальчиков ботанического склада, он так и не наткнулся на Катиного с Постригом сорванца, и Сезар, воскресший после удара дроном на трассе отступления от крюка в сторону расчёта с недостаточно судьбинной, поломанной любовью, и другие беглецы — Иван Арсентьевич («Джон», положивший на условия посланца «либералов» Мызгина), и.о. президента в коме клиники Лондона после наезда родных киллеров; Арина, готовясь к Эмиратам и юный о. Сергий, оттолкнувший Артёма от прислуживания в храме перед бегством на войну — они все, и все неназванные, нежатся броуновой толпой, считывая её пульс беспечно, как склёвывают синицы горсть семян из пластиковой бутыли на лоджии, откуда Павел вволок с мороза разлапистую сосенку, держа в уме финиш всыпую набросанного романа, который перебеливается над штормом, сквозь шторм, вновь со штормом, доплескивающим до поляны серого зноя, где вот-вот всё и начнется.

Сейчас, сейчас начнётся.

(Если не уже.)

С ветвью жёлтых цветков, обмотавшей винт.

Один только, почему не оба?

(Спроси что-нибудь ещё.)

— Это дрок? Помнишь, ты вдруг назвал: дрок! И нас окликнули.

— Специально, чтобы не взлетели? Ничего не вижу.

— Так хорошо?

— А где мы?

— Так хорошо?

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I	5
Часть II	155
Часть III	284

Літературно-художнє видання

СЕРІЯ «Бібліотека “Крещатика”»
Заснована у 2023 році

Александр САМАРЦЕВ

ВЕТВЬ ОБЕТОВАННАЯ

(російською мовою)

Макет обкладинки і верстка
Друкарський двір Олега Федорова
Формат 60x84 1/16. Наклад 200 прим. Зам. № 7707
Папір 80 офсет. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 25
Гарнітура «Cambria».
Підписано до друку 03.01.2025 р.

Видавець Федоров О. М.,
«Друкарський двір Олега Федорова»
Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,
e-mail: relaks-oleg@ukr.net

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»
Адреса: 07400, Київська обл.,
м. Бровари, б-р Незалежності, 2/148
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.



Александр САМАРЦЕВ москвич в первом поколении (отец уроженец Одессы, окончил Харьковский Механико-машиностроительный, мать, выпускница 2-го Московского Мединститута, появилась на свет в южноуральском Троицке, где предки её, покинув Украину, проживали уже со второй половины XIX века). Семья обосновалась в Куйбышеве, там же Самарцев с дипломом Авиационного института (факультет двигателестроения), отработал в КБ чуть больше трёх лет, после чего вернулся в Москву, сумев годом ранее (1974) поступить на заочную режиссиру училища им. Щукина при Вахтанговском театре. Но профессионалом в итоге так и не стал, выбор был сделан в пользу литературы, конкретно, поэзии. В середине 90-х Самарцев обитает в Кельне, регулярно выступает в программе радио «Свобода» «Писатели у микрофона», затем в послужном списке появилось телевидение (канал ТВЦ, шеф-редактор отдела спецпроектов). Именно тогда стали появляться основные поэтические публикации («Новый мир», альманах «Золотой Векъ», «Новый журнал», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Эмигрантская лира», другие печатные и сетевые издания), выходят книги (из восьми поэтических четыре вышли в Украине, последняя в Израиле — «Легион», 2024). В январе 2014 Александр оказался свидетелем четырех дней Майдана, приняв который всем сердцем уже не мог продолжать номинальное существование россиянина, став гражданином Украины.



ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛЄГА ОВОДОВА

